ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

10

2000

10 НОВЫЙ МИР 2000

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

ДО КОНЦА 2000 ГОДА И В 2001 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. **Диверсант** (роман);

БОРИС АКУНИН. **Новый роман;**

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. **Приключения Спирьки** (повесть); **Затеси; Рассказы;**

АНДРЕЙ БИТОВ. **Общество охраны героев** (повесть);

ЮРИЙ БУЙДА. **Меконг** (роман);

МИХАИЛ БУТОВ. **Новая повесть;**

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. **Гость случайный** (роман-эссе);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. **Мария из Магдалы** (повесть);

АНДРЕЙ ВОЛОС. **Недвижимость** (роман);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. **Русский узел и Ален Безансон** (актуальные заметки);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. **Я помню;**

НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. **Голос жизни** (повесть);

ИГОРЬ ДЕДКОВ. **Дневники 1980-х годов** (из наследия);

БОРИС ЕВСЕЕВ. **Отреченные гимны** (роман);

БОРИС ЕКИМОВ. **Рассказы и очерки;**

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. **Свечка** (роман);

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. **Стариковские записки** (из наследия);

АНАТОЛИЙ КИМ. **Остров Ионы** (роман);

МИХАИЛ КУРАЕВ. **Дом без адреса** (повесть);

ОЛЕГ ЛАРИН. **Пятиречье** (сцены из захолустной жизни);

БОРИС ЛЮБИМОВ. **Очерк современной сцены и зрительских реакций;**

ВЛАДИМИР МАКАНИН. **Новая повесть;**

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. **Любовь к отеческим гробам** (роман);

(См. на обороте)

АНДРЕЙ НЕМЗЕР. **Империя от Павла I до Николая I в зеркале новейшей историографии;**

ВЛ. НОВИКОВ. **Филологическая поэзия; Высоцкий** (главы из книги);

ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. **Заморозки** (повесть);

ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. **Новые рассказы;**

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. **Новый роман;**

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. **Ужас победы** (повесть);

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. **Бог в городе** (повесть);

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. **«Гамбургский счет»: возможность и действительность;**

МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное повествование);

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман); **Спецэффекты в жизни и в литературе** (эссе);

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания** (часть третья);

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. **Гостиница «Океан»** (повесть);

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. **Сансаныч** (повесть);

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. **Уйти по-английски** (рассказы);

ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. **Лапландия** (история одной болезни);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Моление о Еве** (повесть);

а также романы, повести, рассказы ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, АНТОНА УТКИНА; стихи МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ЕВГЕНИЯ КАРАСЕВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, МАРИНЫ КУДИМОВОЙ, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, МИХАИЛА СИНЕЛЬНИКОВА; статьи, очерки, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ИРИНЫ СУРАТ, СЕМЕНА ФАЙБИСОВИЧА, МАРКА ФЕЙГИНА, ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара *за пределами Российской Федерации и стран СНГ,* могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» *без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.*

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир"» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2000 и 2001 годах: $ 14,
СТОИМОСТЬ годового комплекта: $ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир"» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража *за счет редакции,* обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры *за счет редакции,* немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: nmir@aha.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я *(фамилия, имя или название организации)* _____

_____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ *(месяц, год)* на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ *(число месяцев* x *число экземпляров* x *$ 14).*

Дата оплаты *(Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты)* _____

_____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала *(почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя)* _____

_____

_____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2001». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталожная стоимость подписки на первое полугодие 2001 года — 240 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на первую половину 2001 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман», «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: http://www.kubon-sagner.de/ksinfo)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir». Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб. Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г. **№ 10 (906)** **Октябрь, 2000 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ — **Купавна.** Роман 7
ИЛЬЯ ФАЛИКОВ — **За крепостной стеной...** Стихи 67
НИКОЛАЙ БАЙТОВ — **Суд Париса,** повесть 72
ЛЮДМИЛА АБАЕВА — **На зов неведомой отчизны,** стихи 95
РОМАН СОЛНЦЕВ — **Двойник с печальными глазами,** рассказ 98
СЕРГЕЙ ХОМУТОВ — **У темной двери,** стихи 109
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ — **Второе чтение.** Вместо романа 112
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — **Понемногу о многом.** Случайные записки 116

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

НАТАЛЬЯ САВЁЛОВА, ДМИТРИЙ ЮРЬЕВ — **Первое лицо, единственное число.** Россия и президентство 149
ЕЛЕНА ОЗНОБКИНА — **Тюрьма или ГУЛАГ?** 166

ПОЛЕМИКА

ВАЛЕНТИН НЕПОМНЯЩИЙ — **О горизонтах познания и глубинах сочувствия.** Поэзия, филология, религия. По поводу выступления Сергея Бочарова 175

ОПЫТЫ

СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ — **В русском жанре-18** 195

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Харитонович. Современность Средневековья 207
А. Ю. Плуцер-Сарно. Веня Ерофеев: «Разве можно грустить, имея такие познания!» Комментарий к комментарию 215

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО 227

(См. на обороте)

МОСКВА 2000

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

БИБЛИОГРАФИЯ

Книги (составитель Сергей Костырко) 234
Периодика (составитель Андрей Василевский) 238
Сетевая литература (составитель Сергей Костырко) 251
SUMMARY 256

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАУМА МОИСЕЕВИЧА КОРЖАВИНА

С 75-ЛЕТИЕМ!

Уважаемые работники библиотек!

С января 2001 года прекращается бесплатная рассылка журнала, которую на протяжении последних лет осуществлял Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса). Редакция не имеет возможности рассылать журнал на бесплатной, благотворительной основе, поэтому мы просим вас, библиотечных работников России, заранее оформить подписку на «Новый мир» на первую половину 2001 года!

Сетевой журнал «НОВЫЙ МИР» (htt://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi) зарегистрирован как электронное периодическое издание в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации (свидетельство Эл № 77-4013 от 26 июля 2000 года). Для входа в сетевой журнал удобно пользоваться одним из следующих простых WWW-адресов: http://www.nmir.da.ru, http://www.novmir.da.ru, http://www.novymir.da.ru

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала «Новый мир».

© Журнал «Новый мир», 2000.

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ

*

КУПАВНА

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Того времени, когда плодовые деревья были не выше крапивы, а окрестности плоской мещерской земли просматривались до самого горизонта, Колюня не застал. Болотистую местность, на которой сорок с лишним лет назад высадился пионерский десант и разбил ее на прямоугольные участки длиною в сорок и шириной в двадцать метров, а затем обнес колючими заборами и стал вешать на колья убитых гадюк, он видел только на фотографиях. На нечетких черно-белых любительских снимках были изображены молодые дачные соседи в клетчатых рубашках, кедах и шароварах, и среди них толстый Колюнин дед, оказавшийся, несмотря на дворянские корни, снабдившую его белым билетом шизофрению, опасную для жизни дружбу с чекистом Аграновым, долгую преподавательскую деятельность в Инженерно-строительном институте и едва не уморившую голодом эвакуацию в Алтайском крае, человеком весьма предприимчивым и обладавшим тонким нюхом на такие, казалось бы, необязательные вещи, как приобретение и освоение земельного участка в живописном месте под Москвой. Сам дед вскоре после этого в очередной раз женился на вдове с зимней дачей не то в Сне-, не то в Снигирях и на голом дачном участке МИСИ, где первыми постройками были дощатые туалеты и крохотные сарайчики с керосиновыми плитками и лампами, больше не появлялся.

Основанное им товарищество зажило своей жизнью. Трудолюбивые садоводы-целинники выезжали туда, едва сходил снег, распахивали и засаживали семенами неприхотливых растений нещедрую, только что осушенную землю, нежно ухаживали за саженцами, а когда приходило время, собирали первые урожаи, обменивались рецептами, угощали друг друга плодами, делали консервы, настаивали наливки, варили варенья в медных тазах, снимали пенки и пили с ними чай, счастливые, что прошла война и никого больше не коснется голод. Из ближайшего леска носили простыни маслят, в соседней деревне дачникам наперебой предлагали молока и яиц, по лесам и малолюдным дорогам бродили лоси, а в ледникового происхождения Бисеровом озере, до революции принадлежавшем Донскому монастырю, водилось столько рыбы, что, когда вдоль восточного берега прокладывали дорогу и часть водоема пришлось осушить, огороды удобряли карпами, лещами, карасями, плотвой и окунями.

Варламов Алексей Николаевич родился в 1963 году. Закончил МГУ. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Москва», «Грани». Первый лауреат премии Антибукер за опубликованную в «Новом мире» в 1995 году повесть «Рождение». Живет в Москве.

Роман создан при поддержке московского Литфонда и Альфа-банка.

И Колюня, и Сережа, и Гоша, и Артур родились много позже. Уже не осталось на земле гадюк, поубавилось в озере рыбы, а в лесу зверей и грибов, было порезано почти все деревенское стадо, но с детства каждого окружали быстро принявшиеся и отзывчивые на уход смородиновые кусты, крыжовник, ирга, бузина, сирень, владимирская вишня и вишня войлочная, слива, груша, облепиха, жимолость, калина, черноплодная рябина и яблони.

Яблонь было больше всего: ранняя грушовка, изысканная мельба, кисловатый поздний штрейфлинг, жесткая антоновка, маленькая райка и сладкий белый налив. Посаженные в честь рождения детей, деревья застилали заборы, зеленую водонапорную башню, телеграфные столбы и трансформатор, которыми вскоре обзавелось процветающее товарищество «Труд и отдых». Крона и корни росли вместе с ними, но мальчики не замечали их роста, а только видели, как уменьшаются стоявшие посреди садов покрытые шифером или рубероидом деревянные домики с застекленными террасами, увитые вьющимися бобами, клематисами, хмелем или диким виноградом.

Самым старшим из детей был Артур, самым младшим — Гоша, они росли на одной улице и вместе играли в чьем-нибудь саду или у калитки, а если была плохая погода, то шли к Колюне, потому что его бабушка, единственная, разрешала мальчикам находиться в доме и занимать сразу две комнаты, первая из которых, проходная, была побольше, а вторая, смотревшая на кусты сирени и улицу, совсем крохотной.

К неудовольствию соседей стены на Колюниной даче не были обклеены обоями, краска снаружи облезла, внутри узкие доски с шершавыми сучками потемнели от времени, а над железными кроватями и самодельным топчаном висели тканые коврики. На одном был изображен зимний лес и упряжка лошадей, за которой гнались волки. В санях сидело несколько человек, и среди них мальчик в полушубке. Волки окружили людей со всех сторон и кусали брыкавшихся лошадей. Мужчина стрелял из ружья, патроны у него кончались, спасения ждать было не от кого, но ужаса эта сцена не навевала, хотя больше дети все же любили другой коврик, висевший в спальной комнате над бабушкиной лежанкой. На нем был выткан дом у реки и лодка с пожилым рыбаком. Раннее воображение дописывало идиллическую картинку, и жаждалось этот домик с лодкой найти, чем всю последующую жизнь мальчики только и занимались.

А дача таким домом не была. Она была большой колыбелью, с которой для каждого начиналось постижение мира, поначалу ограниченное садом, затем огромной улицей, потом участками и, наконец, всей загородной стороной, встречавшей их кузнечиками, бабочками, улитками, стрекозами, голосами птиц, коровьим ревом, жестким клювом петуха, цапавшим на пыльной деревенской улице за тощие и пухлые попы, горячей золой от костра, куда, думая, что это песок, сунул четырехлетний Колюня рученьки и потом их перевязывал сосед-доктор.

Этот мир был залит солнцем и умиротворен вечерней зарей, наполнен лунным сиянием и блеском звезд, теплой водой и горячим песком, гулом пассажирских самолетов и низко летящими за озеро «кукурузниками» и вертолетами с красной звездой, паровозом, который они выбегали смотреть четыре раза в день, дождями, лужами, радугой, утренней росой и сырыми туманами.

Приезжали на летние дни рождения московские гости, привозили подарки и хвалили Колюнину бабушку за пироги, бродили по саду, сидели в раскладных креслах и непритворно вздыхали, оттого что надо уезжать, а потом их ходили провожать на полную, душную воскресную электричку и снова погружались в одиночество и тишину дачных проселков, где перетекали друг в друга долгие дни, измеряемые цветением и созреванием клубники, смородины, малины и вишни, падающими яблоками, огурцами, па-

тиссонами, кабачками, первыми клубнями молодой картошки, заготовкой варений, походами в лес за грибами и купанием.

Последнее было самым важным ритуалом дачного времяпрепровождения, и по-настоящему лето начиналось тогда, когда становилась теплой вода, и заканчивалось, едва она остывала. Плавать никто из мальчиков не умел, но ласковая текучая стихия была им ближе и роднее твердой земли. В жаркий день, ощущая ее запах и сырость, видя, как играет, отражаясь от гладкой поверхности, солнце, Колюня ликовал, билось от возбуждения и радости сердечко и кололо под ложечкой. Он был таким маленьким, что, когда они заходили с папой в карьер, едва доставал отцу до купальных трусов, и, поскольку песчаное, выложенное волнами, словно сливочное масло на витрине магазина, дно обрывалось у самого берега, мама боялась, что мальчик оступится, поскользнется, захлебнется и утонет. Колюня не совсем точно уразумевал смысл взволнованных материнских глаголов, но предчувствие того непонятного, что имелось в жизни, касалось его души. Чем взрослее и опытнее становилась душа, проживая как годы целые дни, тем больше он убеждался, что дачный покой и восторг не были постоянными и абсолютными, но время от времени омрачались, и всюду его подстерегали опасности.

Они были очевидными, как грозы, которых боялась даже бабушка, после того как в округе сгорели два дома и дачники ходили смотреть дымящиеся пепелища, как деревенские мальчишки, которые курили в десять лет и говорили плохие слова, или же, напротив, тайными — например, доносившимися до детей разговорами взрослых. В них маленький Колюня пытался услышать что-нибудь про тщательно упакованный и сокрытый от пугливых малышей секрет уязвимости сущего и умирания живого и однажды услыхал, что у тети Наташи родился ребеночек и ему пришлось сразу же делать операцию, а иначе б он задохнулся.

Бог весть отчего так мучила его тайна начала и конца, почему оставались к ней равнодушными и заводила Артур, и ученый кролик Сережа, и ябеда Гоша, почему могли безмятежно барахтаться в куче песка, гонять на велосипедах, толкаться, драться, шкодить, объедаться до рези в животе незрелыми ягодами и врать по пустякам, но только душу белоголового, похожего на девочку с его длинными ресницами и глубокими глазами Колюни она иссушала.

Иногда он просыпался посреди душной, звонкой от стрекота кузнечиков и жужжания комаров ночи, и ему чудилось, что ожили картинки на тканых ковриках и невидимое, неведомое существо очутилось в комнате. Оно стояло и шевелило тени на стене, отражалось бледным светом в зеркале; на ощупь высокое, гибкое, оно наклонялось над мальчиком и прикасалось к разгоряченному телу, холодком скользило по рукам и животу, по волосам, по лицу, и от этой ласки он каменел, не было сил ни плакать, ни звать бабушку, а была только ровная, покорная безучастность. А оно никуда не уходило, сидело на кровати и, когда Колюня пытался хныкать, снова касалось его, и звук застревал у ребенка в горле.

Наутро он ничего не помнил, пи́сал с теплого крылечка, умывался из подвесного рукомойника, съедал на завтрак манную или геркулесовую кашу с ягодами, тискал кошку, потом ходил с ребятами и Сережкиной бабушкой на карьер, где бодрую, как и все дачницы, пожилую женщину обкусывали муравьи, а мальчики в это время катались с огромной песчаной горы, и прибегал домой голодный, возбужденный, с сыплющимся из волос песком. Но чем ближе было время сна, тем беспокойнее Колюня становился, плохо ужинал, упрямился и не хотел идти спать. Никто не мог понять, что с ним случилось, почему послушный ребенок сделался вдруг боякой и капризулей.

— Ты не заболел, Коленька? — подозрительно спросила однажды бабушка, и мальчик кивнул, чтобы хоть как-то оттянуть время, когда снова окажется один в темной комнате.

Ему поставили градусник, он лежал повернув голову и рассматривал тканые коврики, волков, лошадей и рыбака, а бабушка сидела около стола и пришивала пуговицы к рубашке.

Потом вынула чуть потеплевший градусник и, наклонив его к свету, проговорила:

— Ты просто сегодня перегулял. Не надо так долго купаться. Спи, Колюшка.

Колюниным глазам стало вдруг горячо, но он еще крепился, потому что был большим и плакать имел право только Гоша. Когда бабушка встала и потянулась к настольной лампе, Колюня не смог дальше сдерживаться.

— Да что с тобой? — сказала она в недоумении. — Никогда не боялся — и вдруг... Ну хорошо, я не буду тушить свет, хочешь?

— Хочу, — сказал он, хотя было стыдно признаться.

Она вышла, а Колюня повернулся лицом к лампе, чтобы лучше видеть ее свет. Над лампой в полумраке спускались длинные гибкие ветви традесканции, а под нею стояло несколько солдатиков. Они отбрасывали на деревянную стену большие нечеткие тени и тихо переговаривались друг с другом. Через десять минут бабушка вошла в комнату — мальчик спал, разметавшись во сне, и дышал легко и ровно.

Но среди ночи Колюня проснулся, и ему стало еще страшнее, чем в предыдущие ночи. Теперь он ведал этот страх, всю его мучительность: слабый отблеск уличного фонаря на треснувшем наружном зеркале старого шкафа, колыханье выцветшей занавески, ночные шаги старенького подслеповатого сторожа и тяжелое дыхание дряхлой овчарки Лады, горячую подушку и гулкое пространство вокруг кровати. Он не знал, сколько прошло времени, пока *оно* не встало и не ушло из комнаты, но облегчения Колюня не почувствовал; обессилевший, он уткнулся в подушку и забылся.

В следующий вечер мальчик снова лег спать при включенной лампе и стал убеждать себя, что теперь-то ночью ни за что не проснется, обманет, ловко ускользнет от безликого ночного существа. Однако быстро заснул и не понял, как в кромешной душной тьме холодной, рассеянной лаской *оно* опять его разбудило, и Колюня ощутил его присутствие еще сильнее и не спал почти до утра, пока тусклый сизый рассвет не влился в комнату.

После этого он стал просыпаться очень часто и подолгу не спал. Днем еще как-то крепился, и на улице ему удавалось забыть о ночных пробуждениях, он отвлекался и играл, и так было до тех пор, пока однажды белым знойным днем дети не услыхали безудержную горестную музыку, доносившуюся из поселка за железнодорожной веткой. Ее звуки наполняли все пространство вокруг, раскачивая ветки деревьев и пригибая траву, так что казалось, играл не плохенький, пьяный, сверкавший на солнце трубами оркестр, а сама сухая летняя природа.

— Назара хоронят!

Мальчики подбежали к забору, и Колюня вслед за ними стал смотреть на людей, которые шли по пыльной поселковой улице вытянутой толпою. Их было много, впереди музыканты, за ними несколько человек несли на плечах обитый черной тканью открытый гроб, где лежал померший от белой горячки деревенский мужик.

Ни на кого не глядя, уставившись в землю, одетые в большие пиджаки, с прилизанными волосами, шли тяжелой походкой за гробом двое подростков-сыновей, состоявших на учете в поселковой милиции, залезавших в чужие дома и обворовавших однажды сельский магазин, а рядом с ними едва переставляли ноги их мать и бабка, и вся округа обсуждала, сколько денег истратили на похороны ничего, кроме побоев и слез, не видевшие женщины.

Фальшивая музыка взвывала все отчаяннее и надрывнее, и тогда Колюня почувствовал — прямо, здесь, днем — его присутствие, *оно* прошло

мимо, коснувшись взметенной пылью лба и живота, и от этого в животе стало больно.

— Айда купаться! — крикнул Сережка, и мальчики понеслись по улице, но Колюня так и не успокоился — теперь он знал, кем оно было, знал, что скоро и он умрет и его точно так же понесут на плечах чужие люди и опустят в яму.

Иногда он пытался понять, что значит «я умру», но ничего, кроме сырой ямы, представить не мог и не находил, с кем об этом поговорить. Он уже успел расслышать и познать, что некоторые люди были и умерли, но сам Колюня не видел ни одного человека, который бы жил и умер. Каждый день люди уходили спать и утром приходили, умирали только игрушечные солдатики в бою, и тогда их убирали в коробку, а потом снова доставали. Но когда умирает человек, другие люди кладут его в яму, и оттуда он выбраться не может.

Однажды Колюня спросил у бабушки:

— Ба, а когда я умру?

— Почему ты об этом спрашиваешь?

— Вы только не кладите меня в яму, когда я умру.

Он сказал это тихо и спокойно, но у бабушки вдруг задергалась щека, и она проговорила так же тихо:

— Никогда так не говори и не думай об этом.

Но не думать об этом Колюня не мог. Он знал, что умрет не внезапно, уже начал умирать, и с каждым днем ему остается все меньше жить, и почувствовал, что мир вокруг него начал неуловимо меняться. Он больше не ходил купаться и не играл с мальчиками, но стал бояться ночи. Он привык к ночному существу и все время что-то вспоминал, пытался думать и погружался в странное забытье — не сон, но повторение своей огромной жизни, и в этом забытьи ему открывались видения младенчества и лицо очень старой женщины. Желтая, морщинистая, она лежала в соседней комнате и иногда приходила к Колюне, наклоняясь над его кроваткой с высокими решетками и погремушками, и рукой проводила над ним несколько раз: сверху вниз и из стороны в сторону.

Потом Колюня вспоминал дорогу, жаркую, пыльную, они идут по ней с мамой, над дорогой плавится, течет воздух, и в его дымке дрожит далеко за кромкой поля лес. У Колюнчика в руках лопатка, очень тяжелая, и нет сил ее нести, он плачет, но мать не соглашается взять лопатку, тогда он бросает ее, они идут дальше, и Колюня то и дело оборачивается. А дорога становится все суше и жарче, и снова слышится давешняя горестная нестройная музыка, они возвращаются за лопаткой уже с папой и не могут ее найти и ходят, ходят по пыльной дороге, а солнце висит на одном месте и не плывет вниз. Колюнчику очень хочется пить, он облизывает пересохшие губы, тихо стонет и оказывается в темной комнате с бесформенным существом. Колюня знает, оно живет не только здесь, оно уводит с собой людей по сухой дороге, когда-то давно оно увело женщину с морщинистым лицом, оно уведет с собой всех.

Он просыпался бледный, с сиреневыми кругами под глазами, и ему было странно, что до сих пор находится здесь; бабушка допытывалась, почему мальчик такой грустный, и об этом же спрашивал отец. А потом повез Колюню в город и повел к смешному врачу, который совсем не был похож на врача, не слушал его, не заставлял открывать рот и показывать язык, не мял живот, но долго с мальчиком разговаривал и попросил нарисовать несколько картинок, после чего остался с папой в кабинете, и Колюня даже устал ждать, хотя сидел не на клеенчатой банкетке, как в поликлинике, а в глубоком кресле, и красивая медсестра дала ему карандаши и бумагу.

Наконец папа вышел, и они отправились в парк культуры. Папа тормошил и веселил Колюню, водил на аттракционы, спрашивал, какую ку-

пить игрушку, хотя день рождения у Колюни недавно прошел и ему и так подарили огромный настольный футбол, где на ворота была натянута сетка, которая трепыхалась, как настоящая, когда в нее влетал вечно терявшийся маленький и блестящий железный шарик. А потом они поехали в Купавну, пошли на озеро, и папа разрешил ему сидеть в воде сколько захочет.

Колюнчику было очень жалко папу, он видел, как тот старается и страдает, и будь у мальчика хоть капля интереса, наверняка попросил бы красную пожарную машину с лестницей за семь рублей, которую ему иначе никогда не купили бы, потому что и так не хватает денег на сахар и хлеб. Но все это уже было совершенно не нужно — и пожарная машина, и футбол, и лук, и купанье в озере, и Колюня так ничего ему и не рассказал про ночное существо — оно запретило о себе рассказывать.

От одиночества и заброшенности не было спасения; целыми днями мальчик бродил по саду, боясь и ожидая, когда снова наступит ночь, уже совсем не в силах ей сопротивляться, вялый, равнодушный, полусонный, потерявший всякий вкус к еде, и бабушка не знала, чем его накормить, пока однажды, стоя на террасе, он не услышал обрывок ее разговора с соседкой:

— ...щеный — вот и мается.

— Отец не позволит.

— Да что отец? А вы на что? Сами и отведите.

Колюня не знал, о чем они говорили и куда должна была бабушка его отвести, не спросив разрешения у папы, а соседка была злая и неприятная женщина, она всегда ругалась, если во время игры к ней за забор перелетал мяч, и Колюня не хотел никуда идти. Тихо отступив на шаг, он поднял голову к небу.

Белесое мутное солнце пробивалось сквозь пелену перистых облаков, мычала на деревне корова и громыхал вдали веселый паровозик. Мальчик не понимал, что с ним происходит, бешено колотилось косточкой сердце в узкой груди, выпирали ребра, как если бы и в самом деле настал этот последний час. Он со страхом и мольбой смотрел на небо, и казалось ему, что, не дожидаясь ночи, тьма упадет на сады и накроет деревья, дома, заборы, цветы, флюгеры и водокачку. Бабушка пошла провожать соседку, сетуя на то, что который год не удаются розы, а Колюня бросился на террасу, и глаза его стали что-то искать. Они скользили по старенькому буфету, по подвешенному колпаку с лампой, под которым висела липкая лента, а на ней дохлые мухи, по перевернутой подкове на стене, заросшему паутиной углу, ведрам с водой на табуретках, пыльным коньячным бутылкам с выцветшими этикетками, и наконец он увидел то, что искал, — старенькую, потрепанную картинку, вырезанную из цветного журнала для взрослых и приколотую к черной щелястой стене.

Удивительной красоты и нежности тетя несла на руках ребеночка. Колюня стоял перед картинкой, засунув в рот палец, глядел на тетю и не услышал, как вошла бабушка и встала за его спиной.

— ...а эта-то, видишь, гордячка, отвернулась. Ну беги, я буду ужин готовить. Может, яичко скушаешь? Тетя Маша дала, настоящее, только что из-под курочки. Теплое еще...

Мальчик вышел в сад, где по-прежнему сгущалась полумгла, дурманяще пахло жасмином, ноги его подкосились, он лег на траву, и громадное светлое небо, куда уходили четыре березы, качнулось над головой. Он закрыл глаза и вдруг почувствовал — что-то изменилось в мире, неуловимое, но очень важное, тьма ушла, отцепилась и поплыла по течению, освобождая Колюнину душу. Колюня встал и нетвердыми шагами, держась за стенку, вернулся в дом и стал жадно есть яйцо. Потом выпил парного козьего молока и не раздеваясь лег на кровать у самого коврика.

— Я посплю, ба...

— Поспи, поспи.

Он спал покойно и глубоко, спал целый вечер, всю ночь и до полудня следующего дня, ни разу не просыпаясь, хотя ночью была гроза, били молнии, сотрясался от грохота дощатый домик и вздрагивала и охала на высокой кровати старуха, которой некого было просить о защите. А когда проснулся, в окно светило чистое и яркое солнце, на кровати сидел папа и смотрел на сына.

Колюнчик тотчас обо всем вспомнил и хотел сказать, что плохое кончилось, его простили и отпустили, и теперь можно снова идти купаться, вкусно кушать и играть в футбол, но вместо этого уткнулся и заплакал, и папа, всегда отталкивающий его, когда мальчик пробовал ласкаться, прижал сына к себе, так что Колюня не мог видеть печального лица.

Страх ушел, но, как слабый отзвук, осталась неуничтожимая, бессмертная людская печаль, разлитая по миру с того дня, когда Господь изгнал прародителей из Эдема; она навещала Колюню в самые неожиданные моменты его жизни, так что он вздрагивал, и все плыло у него перед глазами, как если бы совсем близок был переход на другую сторону.

2

Быть может, поэтому он рос худым и на всех дачных снимках, большеголовый и умненький, стоял на кривых ножках не по летам серьезный и основательный, сжимая в руках сделанную из ирги удочку, которой в канаве на соседних дачах у химиков вытаскивал бычков и изредка, если везло, карасей.

Карасей прижимистые химики, с которыми мальчики ловили рыбу, заставляли отпускать обратно, а брать разрешали только бычков, по-научному — ротанов, из них получалась сладкая до приторности уха. Но все равно для маленьких удильщиков не было более благодарной рыбы, чем страшный живучий пожиратель чужой икры, который клевал в любое время суток и при всякой погоде, сразу же утаскивал поплавок под воду, почти никогда не срывался и даже посаженный в банку или ведро продолжал поедать червяков. Единственная неприятность состояла в том, что ротан мог заглотить крючок до самого пуза, а мальчики были такими маленькими, что им не разрешали носить перочинные ножики, и нечем было снасть высвободить.

Еще головастых бычков ловили на трех прудиках — крохотных, как садовый участок, заросших ряской и густой злодейкой элодеей, — прямоугольных водоемах по левую сторону от старой железнодорожной ветки. Поезда по ней давно не ходили, она медленно зарастала травой и кустами, а когда-то вела к рыбхозу, странному для дачной местности поселению, состоявшему из нескольких двухэтажных блочных домов, одиноко торчавших посреди открытого пространства полей и вод. Там сушилось во дворе белье и висели громадные стенды с таблицами и цифрами, обозначавшими центнеры пойманной рыбы, а справа за насыпью лежали огромные, как озера, неглубокие, с колышащейся тростной и камышами по берегам пруды, в которых разводили карпов. Про рыбхозовские пруды бытовали легенды, сколь много в них рыбы; иногда она плескалась, и по воде расходились большие круги, но ловить в прудах было запрещено. Водоемы охраняли, и однажды летом дачную округу облетело жуткое известие о том, что сторож застрелил прямо на берегу нарушившего запрет рыбака.

Говорили, сторож был психически ненормальным человеком, и его не стали судить; взрослые возмущались, боялись за детей и запрещали даже приближаться к проклятому угодью, хотя ходить пешком или кататься на велосипеде по дамбе не возбранялось. Но родители бывали на даче редко; проведав детей и привезя продуктов, поделав в охотку или для видимости

что-нибудь в огороде и поев ягод с кустов, они уезжали до следующих выходных, а все тревоги по поводу запретных прудов, купания в карьере, поломок велосипедов и мальчишеских стычек, брани с недовольными соседями, поносов, ушибов, синяков и ссадин, подростковой грубости, курения и похищения с подоконника молодого домашнего вина из малины, ирги и крыжовника ложились на Колюнину бабушку, которая опекала сразу четверых внуков, на всех готовила и на всех стирала, работала в саду, ходила в магазин, а по утрам, когда маленькие обитатели дачи спали, садилась писать стихи.

Этих стихов у нее было несколько тетрадок. Они были посвящены каждому из детей и внуков, собакам, кошкам, семейным праздникам и переменам, переездам детей с квартиры на квартиру и из города в город, защите диссертации средним сыном, бойкоту московской Олимпиады, гимназической подруге, окончанию очередного года, поступлению внучек в школы, институты и университеты, и словно молитву мальчик слышал по утрам:

Кукла Алла
Рано встала:
Лялю в школу провожала.

«До свиданья, мама Ляля,
Все ли вы для школы взяли?
Есть ли карандаш и книжки,
Дома ждать мы будем с Мишкой».

Слышит Аллочка в ответ:
«Мамы Ляли больше нет,
Лялю в ясельки носили,
Лялю в детский сад водили.
А теперь учусь я в школе,
И зовите меня Олей».

Но больше всего стихов, серьезных и шутливых, писала бабушка про своего единственного мужа, с которым разошлась еще до войны, сменившего с той поры Бог весть какую по счету жену, но всякий раз приезжавшего к первой за советом, с кем и где ему теперь жить.

Среди брошенных дедовых жен значилась крохотная и скромная переписчица нотных знаков по прозванию Тузик, с ней бабушка была очень дружна и поручала стеречь московскую квартиру на время алтайской эвакуации, куда по обоюдному согласию двух женщин и самого не призванного по душевной болезни в армию деда он отправился вместе с первой женой и детьми; еще одной его попутчицей уже в послевоенное время оказалась родная сестра писательницы Валентины Осеевой. Замечательные детские книги в их доме на Автозаводской про синие листья, Динку и Васька Трубачева были подписаны аккуратным женским почерком далекой и ни разу не виденной родственницы из таинственного мира большой литературы. Были наверняка и другие женщины, о которых Колюня ничего не знал и позднее долго не мог взять в толк, чем привлекал их себялюбивый, нездоровый и жадный, но, видно, по-своему очень обаятельный, жизнерадостный, по-детски беззащитный и имевший легкий доступ к женским сердцам человек. Однако сколько бы ни было в его жизни этих несчастных и доверчивых созданий, бабушка ни на кого из них зла не держала и к своему невенчанному супружеству относилась как к непоколебимой святыне.

Полсотни лет тому назад
Мы с дедом в загсе расписались,
Тогда не в моде был парад,
В любви и верности не клялись.

Жизнь завертелась колесом,
Но шла она и вкривь и вкось;
Мы все же создали свой дом,
Хотя годами жили врозь.

Стихи она зачитывала обыкновенно при большом стечении народа, на застолье с пирожками, домашними наливками, салатами, селедкой, студнем, мясным бульоном, яблочным пирогом и тортом ленивой хозяйки, так названном оттого, что торт не запекали в духовке, но делали из «Юбилейного» печенья, вымоченного в креме.

Эти пиры устраивались несколько раз в году — в дни рождения членов семьи и в дни больших советских или народных торжеств, яства для них хозяйка готовила целый день накануне и никого не подпускала близко к плите, навсегда освободив и в будни и в праздники от кухонных хлопот занятую учительством дочь. Захмелевшие, сытые гости числом не меньше дюжины и обязательно не тринадцать человек бурно хлопали в ладоши, требовали на бис продолжения, поднимали тосты, и о бóльшей признательности и поэтической славе счастливая пожилая женщина не помышляла.

Сед дед Мясоед,
Натворил он много бед.
Вдруг затеял он жениться,
У внучат пришел спроситься:

Посоветуйте, друзья,
С кем счастливей буду я.
Много у меня домов,
Как у зайца теремов,

Где всегда зовут и любят,
Приласкают, приголубят.
Здесь покормят повкусней,
Там целуют горячей.

Не могу я сам решить,
Где мне голову склонить.

Все это было смешно в стихах и печально в жизни. У Колюни не было дедушки — но имелся дед, седой и грузный, совсем не похожий на растерянного героя бабушкиных опусов. Мальчик его боялся, и когда старик изредка появлялся в их доме, старался держаться от важного посетителя в стороне. Однако мама подталкивала маленького сына к своему отцу, и приходилось терпеть, покуда великан потреплет по голове или обхватит большими пухлыми ладонями щеки и подарит несколько замусоленных конфет.

За праздничным столом с хрустящей скатертью, низко наклонив над тарелкой из польского сервиза квадратную крупную голову с седыми волосами, обрамлявшими его немалую лысину, дед жадно набрасывался на еду и сметал все подряд, так что чувствовалось, какое удовольствие доставляет ему вкусная пища и как не хватает домашней стряпни и ухода в повседневной жизни, подливал из хрустального графина водки или наливки, никого не дожидаясь, не чокаясь выпивал, но успевал проследить, сколько шоколадных конфет или кусков торта запихали себе в рот дети.

Иногда, захмелев не от вина, но от еды, он оставался на Автозаводской ночевать или даже по нескольку дней гостил, громко храпел во время дневного сна, а когда бодрствовал, то до мальчика доносился вялый, скрипучий и странно высокий и тихий для грузной фигуры голос, что-то нудно бубнивший бабушке про неумеренно дорогой стол и слишком большое количество приглашенных, про непочтительных сыновей и нахальных невесток, про облигации и деньги, про нее саму, во всех жизненных неурядицах и бе-

дах виноватую с ее плебейским происхождением и дурным характером и, наконец, про его аристократическую кровь, хотя на самом деле скорее именно дед был по-купечески оборотист, после войны удачно спекулировал недвижимостью, погорел во время денежной реформы сорок седьмого года, но сумел подняться, скупал золото, серебро и облигации и относился к окружающей бедности с тем высокомерием и брезгливостью, которые распространились повсеместно много лет спустя после его смерти.

Никто не знал в точности, сколько у него денег, старик был скуп и по отношению к себе и к детям, его, однако, мучительно любившим, и исключение делал лишь для дочери, от которой в детстве долго скрывали, что у папы другая жена, пока она наконец обо всем старшеклассницей не узнала и горько плакала, а потом твердила своим дочери и сыну, что, если и была в чем-то перед ними виновата, слишком много времени отдавая работе, чужим тетрадям и чужим детям, все с лихвой искупалось тем, что нашла им замечательного отца, полную противоположность своему гуляющему родителю.

В самом деле трудно было представить более разных людей, нежели Колюнины отец и дед, и ребенок, как ни был он мал и несмышлен, догадывался, что дедовы приезды вносят смуту, нарушают привычный домашний распорядок и волнуют обыкновенно спокойную бабушку, будоражат маму, а то, что старик дает ей денег, вызывает неудовольствие отца: два невольно связанных любовью к одной женщине человека друг друга не любят и не доверяют, как мальчишки с разных дач; он ловил взрослых на редких противоречиях между тем, что они говорили и делали, но все же противоречия казались слишком незначительными и не разъедали, а лишь отбрасывали зыбкую тень на детскую душу и обнаружились в полной мере только годы спустя. Колюня сызмальства знал, что назвали его в честь деда, и честолюбивого старика это обстоятельство неимоверно тронуло, тем более его собственные сыновья, Колюнины дядья, назвали своих отпрысков иначе, но какое все это имело отношение к Колюне и почему он должен был улыбаться неприятному толстяку, не понимал и имени своего не любил, втайне мечтая его поменять и назваться, например, Виктором или Алексеем.

Дед жил в ту пору на Филях у очередной жены, и иногда они с мамой туда ездили по очень смешной ветке метро, где студеный, сырой поезд почти все время неспешно, не со свистом, как в черных тоннелях, а едва-едва, покачиваясь, пробирался по улице вдоль забитых товарными поездами железнодорожных путей с одной стороны и Москвы-реки с другой, покрываясь зимою изморозью, а осенью и весной каплями частых дождей, и остановки были в стеклянных павильонах, а улица, на которой стоял дедов дом, принадлежавший Западному порту, называлась почти так же, как и Колюнина, — Новозаводской. А еще была в этом доме срочная фотография, куда, как утверждала мама, приезжали со всей Москвы. Но этим достопримечательности странного местожительства исчерпывались, и Колюне было невыносимо скучно в захламленной и затхлой квартире, где впоследствии он провел три самых счастливых года жизни и где в ту пору жила совершенно чужая, безрадостная, вскоре умершая от рака тетя.

Хотелось поскорее с Филей выбраться, но дед маму не отпускал, расспрашивал про дачу и про сыновей, изливал свои на них обиды, советовал, как жить и копить деньги, какие и когда покупать облигации и где их хранить, снова ругая за непрактичность и строптивость Мусю. Колюня догадывался, что речь идет о бабушке, отчего объемный, страдающий одышкой, тихоголосый и одинокий старик становился ему еще неприятнее. Но когда наконец прощались и, тяжело дыша, дед открывал засовы и снимал с двери цепочки, то, стоя в темном коридоре, изнывая от нетерпения и жары, мальчик читал в умильном и мутном старческом взгляде что-то заискивающее, как если бы, глядя в детские глаза, сластолюбивый толстяк

добивался Колюниного прощения за все грехи своей долгой жизни, по которым расплачивался нездоровьем, угрюмостью и тоской, а Колюня, верно, мог проклятье с него снять и что-нибудь за свое участие и заступничество от старика получить.

Он этим никогда не воспользовался, напротив, с годами деда в душе все больше осуждая и по-детски его боясь, но ни ему, ни зятю, ни дочери, ни невесткам, ни сыновьям не позволяла бабушка говорить о муже худое. Никто этого не мог понять, все возмущались или восхищались ее великодушием, а Колюне казалось, что в бабушкиных чувствах, равно как и в ее сердечных стихах, присутствовало иное: что-то вроде благодарности и смущения, которые испытала она впервые много лет назад в родной Твери, где

Однажды он зашел на телеграф,
За поздним временем была закрыта почта.
К окошечку за мною встав,
Проговорил вполголоса он что-то...
Я обернулась... —

и блестящий столичный молодой дворянин, носивший одну из самых известных и старых на Руси фамилий, внук сенатора и сын известного адвоката, защищавшего до революции социал-демократов, вследствие чего в молодости дед получил поблажки от новой власти и сумел закончить в Иркутске юридический факультет университета, заговорил с невзрачной и уже немолодой девушкой-провинциалкой незнатного роду-племени, мало что в жизни видевшей и ожидавшей, а потом стал ее мужем и отцом ее детей. И, быть может, именно поэтому, а не потому вовсе, что иначе пропала б замечательная филевская квартира с ее большими изолированными комнатами, высокими потолками, балконом и немаленькой кухней, расположенная в тихом дворе в двух минутах ходьбы от метро на третьем этаже кирпичного дома, странная история древней и неравной любви окончилась тем, что за несколько лет до смерти овдовевший и оставшийся без ухода старик женился в последний раз.

Его женой оказалась снова Колюнина бабушка, Бог весть что испытавшая в душе в тот день, когда пятьдесят с лишним лет спустя их вторично объявили в Киевском районном загсе мужем и женой. Вместе с возвращением к единственной женщине, рожавшей ему детей, закольцевав свою блудную судьбу, дед вернулся и на некогда купленную дачу и успел построить в садовом домике голландскую печь, обнести участок новым забором и расширить террасу, где теперь не помещалось его уродливо-грузное, непослушное тело.

Толку от наспех сложенной за большие деньги жуликоватым и неумелым деревенским мастером печки было мало, она жрала много дров, топила улицу, тепло из щелястого строения выдувало мигом, но и Колюня, и бабушка все равно любили ее топить, слушать, как трещат короткие поленья, и глядеть, как пробиваются в щель между дверкой и кладкой языки пламени и отблески его играют на темном окне и стенах.

Бабушка была высокой, жилистой и худощавой, с чуть сгорбленной спиной и одним плечом ниже другого, она выращивала цветы, которые росли от самой калитки вдоль дорожки до дома и дальше уходили в глубину сада, и их названия звучали для мальчика словно малый список гомеровских кораблей.

Там были нарциссы, тюльпаны и анютины глазки, незабудки, колокольчики и ромашки, флоксы, пионы и ирисы, васильки, крокусы и гладиолусы, а еще георгины, астры, табак, фиалки, маргаритки, маки, ноготки, китайские гвоздики, розы, люпины, лютики и тигровые лилии. Они цвели в разное время года и суток, перед дождем и по вечерам одуряюще

пахли, бабушка радовалась каждому из них, выходила в сад, подолгу смотрела, разговаривала с цветами и никому не разрешала до них дотрагиваться, но охотно раздаривала: никто не уезжал от нее с пустыми руками. К ней приходили за житейской мудростью, и она всех мирила и рассуживала; на даче перебывали разные люди вроде ее родного брата, племянницы, невесток, иногда там велись серьезные разговоры и споры, собиралось больше десятка человек, кричали и капризничали дети, а потом, быстро наевшись, убегали на улицу, оставляя взрослым пространство и время для скучных и вялых дел.

Но то была лишь видимость мира. Колюня чувствовал раздражение невесток, их отношения были настолько причудливыми, что только бабушкины покровительство и власть удерживали породнившихся, но все равно чужих и разных людей за одним столом. Он не мог в этом разобраться, тем более что строгие мама и папа запрещали бабушке рассказывать детям о взрослой жизни, но у замечательной женщины, ближе которой не было у Колюни никого на свете, водился, пожалуй, лишь один серьезный недостаток: как ни била ее судьба, бабушка оставалась болтливой, не умела хранить ни одной тайны, зато берегла предания, истории происхождения, рождений, знакомств, женитьб, замужеств, новых рождений, болезней и смертей всех представителей своего ветвистого рода, помнила подробности, о которых иные из участников тех историй желали бы позабыть, а она упрямо твердила свое:

В моей семье шестнадцать человек,
Она росла, как снежный ком,
А я, вступив в двадцатый век,
Им управляла, как челном.

Позже, когда воспоминания и ненароком или нароком подслушанные разговоры прояснились в Колюниной памяти, как на фотобумаге, и очистились от недомолвок и простодушия, он писал об иных из этих людей и вызывал обиды, ведь то, что он рассказывал и сочинял, виделось ему — а может быть, им — иначе, чем было на самом деле.

Уже взрослый, Колюня не мог понять смысла этих обид. Для него в дачной истории куда важнее интриг и споров о владении домом и садом, важнее соперничества и придирчивого сравнения своих и чужих детей, наследования филевской квартиры, раздела фамильного серебра, облигаций, денег и драгоценностей, важнее ревности, зависти, злорадства и окончательного разрыва были нетленные обряды ежевечернего мытья ног в тазу, стакан парного козьего молока, стояние в очереди за вкусным белым хлебом в деревенском магазине, бибика — кушанье, приготовляемое из взбитой клубники, сахара и яичного белка, бабушкин салат, который она делала в июне из картошки, редиски, яйца, зеленого лука и подсолнечного масла, и выходило невероятно вкусно, и все называлось таинственным и волшебным, древним, язычёским словом — Купавна.

3

А ехать до Купавны надо было от самой Автозаводской, от автомобильного завода, бассейна и ТЭЦ, с которыми Колюнина семья жила, как с соседями за стенкой, в двухкомнатной квартире на первом этаже. В одной комнате — бабушка, в другой, поделенной ширмой, — родители и двое детей. Иногда ночью ТЭЦ начинала утробно, точно осел, реветь, выпуская клубы белого плотного дыма, и тогда папа разгневанно туда звонил, и так оно было или нет, но Колюне запомнилось, что теплоцентраль с ее громадными корпусами тотчас же после этих звонков виновато умолкала.

Семья была счастливая и дружная, хотя, наверное, от детей что-то скрывали, и вряд ли постороннему взгляду было заметно, что три состав-

лявших ее и очень сильных женщины в ней властвовали подобно мойрам, определяя Колюнино воспитание и саму его судьбу, то без меры сына, внука и брата балуя, а то возмущаясь его избалованностью. Порой, доведенный до отчаяния чужой природой, не в силах ей противостоять, одинокий папа молча собирался и уходил из дома смотреть футбол на стадионе «Торпедо». Колюне хотелось пойти вместе с ним, но папа его не брал, а глядел сердито, как если бы мальчик был в чем-то виноват. Никто не смел его задерживать, все в доме затихали, словно боясь, что он уйдет навсегда — но куда было ему от них уйти? — и странным образом печальный папин опыт, вся его жизнь тягловой лошадки надолго запали в детскую память, только вот извлечь из нее урока Колюня так и не удосужился.

Он рос в меру шаловливым, был трусоват, дурашлив и пуглив, любил фантазии и грезы, легко поддавался на розыгрыши, правильная сестра жаловалась родителям, что братец не дает ей делать уроки и у нее дико болит из-за него голова, вечно занятая мама, отрываясь от тетрадей с диктантами и сочинениями, ругала сына, когда он выливал из тарелки ненавистный суп с клецками или щи за массивный кухонный стол с тумбами, удачно скрывавшими следы обеденных преступлений, и вообще за плохое поведение, учила никогда не врать, не грубить старшим и не бояться возвращаться домой, буде вдруг потеряет деньги, смазывала пальцы на ногах холодным йодом, чтобы не завелся грибок, а еще читала наизусть сказку Маршака про глупого мышонка и Корнея Чуковского про тараканище и зачем-то шутя прибавляла, что никогда не отдаст его в интернат, из чего Колюня недетским умом заключал, что такое, значит, при каких-то условиях возможно, и боялся осиротеть. А папа, когда сын шкодил, бессильный наказать, как ему хотелось, и видя бессмысленность этого наказания, надолго умолкал и этим невыносимым неразговариванием с сыном его карал.

Колюнчику не с чем было эту жизнь сравнить, и даже делившую их комнату ширму со звездочками он воспринимал как нечто само собой разумеющееся, как цветы на подоконнике и папины альбомы с марками, как больших иссиня-черных чуковских тараканов, которые, наевшись до отвала Колюниных клецок, забирались в пустые стеклянные банки на полках в долгом коридоре, голубой диван с расшатанными пружинами, старенький письменный стол и открытые стеллажи с книгами, по которым он лазил, словно по шведской стенке, тазы в ванной, которые однажды с грохотом упали на каменный пол, и бабушка закричала, испугавшись, что это китайцы сбросили на дом атомную бомбу.

Ребенком он никогда не задумывался, тесно или просторно, бедно или богато они живут, а бабушка безо всякого назидания, но просто бескорыстно любя воспоминания рассказывала, что прежде в шестнадцатиметровой комнате в коммунальной квартире в соседнем дворе жили она, старший Колюнин дядя, дядя Толя, с женой и двумя детьми, которых за неимением кроватки клали спать в открытые чемоданы, а еще другой дядя, Глеб, с женой — они и зимой и летом почивали на балконе в спальных мешках, даром что были туристами и даже свадьбу сыграли в лесу у костра — и, наконец, Колюнины родители с маленькой и горластой сестрой Валей. И жили эти десять человек мирно, не ссорились, хотя не от хорошей, наверное, жизни разбежались при первой возможности по общежитиям в разных городах, а потом именно благодаря запланированному Колюниному явлению на свет их семья получила квартиру в соседнем четырехэтажном кубике-доме прямо возле Тюфилевских бань.

Колюня помнил — и то было самое первое, младенческое воспоминание жизни, — как бабушка носила его на руках по огромным, словно во дворце, залам и коридорам и не могла поверить, что она, некрасивая и нелюбимая в своей семье купеческая дочь и гимназистка, умеющая играть на фортепиано и говорить по-французски, воспитавшая одна троих детей так, что каждый получил высшее образование, работавшая учительницей, во-

жатой, редактором, машинисткой и еще невесть кем, болевшая раком и облученная, битая-перебитая русская баба, сподобится получить на старости лет отдельную квартиру, а в ней свою комнату, где будет стоять старенькое пианино, комод, высокая кровать и древний шкаф с зеркалом.

У нее доставало сил вести этот большой дом, на всех готовить, обстирывать, шить и ходить по магазинам, отвозить на санках в ясли, отводить в детский сад или в школу внуков, покупать им подарки с сорокарублевой пенсии, дарить каждому по три рубля к Седьмому ноября, принимать гостей и ездить в гости самой к сыновьям и родственникам, благоразумно ладить с соседями, но никогда не сидеть на скамейке во дворе с другими бабками, не жаловаться на болячки и не обсуждать проходящих мимо.

Она царила в этом мире, как его матриарх, никто не оспаривал ее мудрости и авторитета, купленного обычной и безжалостной женской судьбой, и Колюне тоже доставались крохи этого владычества и негласного звания любимого бабушкиного внука. Этого не признавали вслух, но все знали и, не смея открыто ее выбор оспорить, втайне мальчика ревновали и приписывали ему даже больше недостатков, нежели он на самом деле имел, и с ранних лет он мучился от невнятной неприязни, косых взглядов, а всего более от неведения их причин и оттого рос с тягостным чувством неосознанной вины.

Потом, когда сестре исполнилось пятнадцать лет и у кареглазой, начитанной девицы с высоким лбом и старомодной толстой косой, от которой тщетно пыталась она избавиться, завелись свои тайны, Колюню отселили из большой комнаты с ширмой к бабушке, и у нее за столом он стал делать уроки, пялиться на улицу и, тяжело вздыхая, отправляться по велению отца спать в половине десятого, когда начинались самые интересные фильмы — про разведчиков. Обида не давала уснуть, мальчик прислушивался к мужественным голосам за стенкой, выстрелам и погоням, под окнами неспешно проезжали редкие машины, и свет их фар отбрасывал тени на стены и потолок, отчего комнатные цветы — вьетнамские кактусы, бегонии, лимонные деревца, финиковые пальмы, инжир, традесканции, аспарагус и алоэ — приобретали расплывчатые очертания тропического леса, куда уносилась и наконец засыпала Колюнина душа, мечтая о взрослой жизни как об освобождении.

Ну да Бог с ней, с квартирой и с Автозаводской, с пыльном сквером у райкома партии, где росли тополя и забрасывали в июне окрестности пухом, с бомбоубежищем во дворе и с пустырем напротив дома, Бог с ним, с гулким душным бассейном, где напрасно пытались обучить Колюню плавать, с кошмарным зиловским детским садом и насильственным кормлением гречневой кашей с молоком, с сильной и безжалостной английской спецшколой под номером пятнадцать, подобно маяку собиравшей со всего заводского района интеллигентских детей и, как форпост, возвышавшейся над враждебной пролетарской округой, и ее соседкой школой обычной, пятьсот третьей, ученики которой поджидали за гаражами маленьких образованцев и отнимали у них деньги — пацан, дай десять копеек, — Бог с ним, с конструктивистским дворцом культуры шефствовавшего над школой автозавода, с окружной железной дорогой, по откосам которой катались школьники на санках, и с Кожуховскими прудами, где им запрещали купаться, потому что дно было истыкано железками, и каждый год, как ни предупреждали родителей и детей, в них гибло по нескольку человек.

Однажды на школьном дворе возле спортивной площадки едва не погиб и сам Колюня, в припадке восторга рыбкой прыгнув на длинную ржавую трубу с метровым сечением в диаметре, которую прикатили со свалки старшеклассники. Он думал легко и ловко (как на уроке физкультуры, где лучше всех кувыркался на матах, делал березку, лазил по канату и стоял на голове) с трубы соскочить, но гулкая махина неожиданно пришла в движе-

ние, сбросила мальчика на асфальт и стала под себя подминать. Бог весть какое чудо уберегло его от этого катка и заставило трубу остановиться, но отделался он только ссадинами на лице и ушибами, как если бы его побили за гаражами пятьсоттрешки. Прибежала из дома перепуганная бабушка, мальчика повезли в больницу, а учительницу физкультуры отругали и весь металлолом в тот же день спешно вывезли. Сам же виновник школьного переполоха сделался еще непримиримее, уверовав в свою неуязвимость, и денег хулиганам не давал, но ходил со своим дружком Димкой Светловым по вестибюлю станции метро «Автозаводская» и искал, не закатился ли под разменный автомат пятачок.

В этих хождениях после школы по пыльным автозаводским дворам и узким кожуховским улицам, в преследовании хорошеньких одноклассниц Элечки Саберовой и Инги Ермолиной, живших возле кинотеатра «Свобода» на улице Трофимова, в азартных играх в «американку» и прятки, в надолго запоминавшихся простудах и поездках в поликлинику на другой конец района пролетали недели и месяцы, Колюня переходил из класса в класс, пережил смену школьной формы, которую носил не снимая и в ней хаживал на дни рождения к одноклассникам; он знал все закоулки, киоски, футбольные площадки, баскетбольные кольца, голубятни и автобусные маршруты, лазил через забор на территорию каких-то складов, бродил вдоль широкой реки, но как ни был он связан с этой землей и ее городским пейзажем, задымленным небом, силуэтами труб и высоких сталинских домов, меж которых, как в ущелье, текла, разделенная на два рукава зеленым сквером Автозаводская улица, все равно его драгоценной, возлюбленной родиной была не эта фабричная окраина возле Симонова монастыря и крутой излучины Москвы-реки с волнующими контурами портовых и башенных кранов, а ласковая, озерная, лесная, полевая, цветочная, ягодная Купавна с ее вольницей, изобилием, запахами костров и тишиной, высокими антеннами и стрельбищами за Бисеровым озером... За руку с бабушкой, ехал он в первом вагоне метро по долгому прогону под Москвой-рекой. Прижавшись к закрашенной краской стеклянной дверце, отделявшей кабину машиниста от пассажиров, встав на цыпочки или пригнувшись, Колюня смотрел в протертую дырочку на черный тоннель и боялся, что своды могут обрушиться и поезд с пассажирами затопит. Однажды с той стороны двери к дырочке приблизился страшный и громадный глаз помощника машиниста, и мальчик в ужасе отшатнулся.

На «Павелецкой» делали пересадку, ехали две остановки по кольцу до «Курской», а на вокзале, в стареньком еще, тесном здании, выбирали у расписания электричку; если было место, Колюня садился у окошка и пялился на заводскую слободку в «Серпе и молоте», на Андроников монастырь на крутом берегу Яузы, на Рогожскую слободу с ее знаменитой, опечатанной в середине прошлого века раскольничьей колокольней, на высокое здание карачаровского завода, где делают лифты, окруженную деревьями и оттого сумрачную станцию со смешным названием Чухлинка, кусковский парк, новостройку Новогиреева, кольцевую дорогу, унылое Реутово и тихое Никольское с огромным, пугавшим дитё кладбищем и церковью, похожей близ расположенными высокими куполом и колокольней на двуперстное знамение, хотя храм был обычным, недревлеправославным. Колюня жадно глядел на культовые сооружения и сызмальства пытался понять их назначение, но ни спокойные разъяснения отца, ни беспокойные бабушки удовлетворить любопытства не могли.

Дорога казалась утомительно долгой. От скуки, прижавшись к грязному окну, шевеля губами и бормоча, словно старый дед, он принимался сочинять странные истории, рассказывая их сам себе, маленький сказочник, увлекаясь и варьируя сюжеты про другую жизнь, в которой был не чумазым и хилым пацаненком с удочкой из ирги летом и в самодельной

страшной куртке зимой, а известным спортсменом, пионером-героем, путешественником, космонавтом, разведчиком или еще Бог знает кем, так что, когда вываливались в Купавне на платформу, не сразу понимал, в каком из миров очутилось его астральное тело.

Но из всех умственных странствий и сверхчувственных грез нужно было возвращаться в реальность и переходить разветвляющиеся железнодорожные пути со стрелками и низенькими, похожими на сусликов синими столбиками семафоров, где несколько лет спустя произошла страшная авария, о которой говорила вся Купавна и даже передавали по Би-би-си, долго гудели в память о погибших пассажирах и машинистах проходящие мимо электрички, и только промолчало старенькое дачное радио.

За железнодорожными путями поворачивали направо к распивочному павильону в форме не то пентагона, не то звезды Давида, который, впрочем, рано снесли, и впоследствии расплевавшийся с мистическими глупостями отрочества, но зато вовлеченный в юношеские поиски врагов Отечества нерасторопный патриот так и не успел сосчитать, сколько было у пивнухи углов и какая именно темная сила спаивала вечно толпившихся вокруг купавинских мужиков.

От распивочной несло пряными запахами пива и вкусных коржей, но сколько мальчик ни просил, ему не разрешали туда заходить, они шли по асфальтовой дороге вдоль заборов чужих дачных участков, освоенных много позже Колюниного, — по невыносимо долгому прямому отрезку пути, и маленький путник влачился с синим бидоном из последних сил, уже ничего не воображая, пока не начиналась заболоченная топкая лужайка с чахлыми деревцами, чуть дальше сменявшаяся холмами. Здесь, ровно на середине пути, бабушка делала привал и садилась на кочку.

По мере приближения к дому идти становилось веселее и легче, сами ноги гнали по заросшим березами светлым пригоркам и большой поляне, где росла земляника, клевер и луговые опята, до самой калитки под трансформатором. И сразу исчезала усталость, Колюня погружался в мир неровных улиц, заборов, дачных домов, лавочек, калиток, высоких деревьев, разросшихся кустов, пахучих трав, полевых и садовых цветов, прислушиваясь к родному звуку паровоза на земле и гудению самолетов в вечернем небе, окунаясь в безмятежность и покой.

4

На каждом купавинском участке лежал отпечаток физиономии его владельца. Там были большие двухэтажные дома с отдельными кухнями, окруженные тенистыми садами, где висели между деревьями гамаки, а под ними росла аккуратная травка, стояли шезлонги и столики, и люди не возились в грядках, но с утра до вечера отдыхали — пили чай из самовара, играли в лото или бадминтон. Имелись напротив небольшие, хоть и очень ладные домики, занимавшие совсем немного места, а вся остальная земля на окружавших их участках была вскопана и засеяна до последнего клочка, и чего только на аккуратных, продолговатых и щедро удобренных грядках под присмотром не разгибавших спины хозяев не произрастало!

Почти у всех садоводов, несмотря на то что официально это не разрешалось, была распахана полоса земли метра два в ширину перед забором со стороны улицы, и на ней росла картошка. Были те, кто специализировались на кустарниках и отводили полсада под малину или крыжовник, были помешанные на цветниках, сирени и жасмине, но самой популярной дачной культурой считалась клубника, хотя, как объяснил Колюне педантичный папа, в действительности ярко-красная, кисловато-сладкая крупная ягода никакая не клубника, а садовая земляника, и наперекор всем так ее называл. Колюня пробовал подражать отцу, но быстро сбивался, гово-

рил как все, а потом смущался, когда в разговоре с навещавшим сына два раза в неделю родителем невольно совершал ботаническую ошибку.

А еще были участки, на которых росла высокая трава, одуванчики, сныть, васильки, крапива, чистотел, пижма и чертополох, и хозяевам вообще дела не было ни до какого огородничества и садоводства; были и такие, что, напротив, все творили по науке, брали пробы почвы и грамотно вносили минеральные и органические удобрения, пытаясь одолеть кислотность подзолистой почвы; приезжали на участки громадные грузовики, привозили ворованный навоз или торф и, неуклюже разворачиваясь в тесноте проулков, вываливали кучу на улице, и потом целый день ведрами и тачками садоводы разносили удобрение по грядкам, и еще долго в воздухе стойко держался неприятный запах.

Такими же разными, как люди, были и дачные улицы — диковатые, малолюдные по краям товарищества и шумные, населенные в центре. На каждой была своя жизнь, свои прихотливые отношения между соседями, свои собаки, дети, машины, велосипеды, обеды, обиды, нравы... У кого-то стояли высокие плотные крашеные заборы с человеческий рост, у других вместо ограды была натянута проволока, а то и просто веревка, были участки с парниками и теплыми грядками, в основание которых на глубине полуметра клали старые вещи — сгнивая, они подогревали почву; кое-кто разводил кур, кроликов и нутрий, иные из дачников каждый год белили деревья, одних восемь соток кормили круглый год, и они даже ездили на рынок торговать зеленью или редиской, а прочие просто спасались на даче от жары. Но для всех Купавна была чем-то вроде первобытной религии, которая занимала помыслы загородных насельников круглый год, отвлекала от житейских горестей, вдохновляла и продлевала их жизни; едва успевал кончиться один сезон, начинали готовиться к следующему, покупали, где могли, элитные семена, обменивались усами клубники, ездили за редкими сортами плодовых деревьев и кустов, ранней весной высаживали на подоконниках в городских квартирах огурцы, помидоры и перец, потом в мае вывозили рассаду и помещали ее в теплицах, все лето пололи, поливали, пасынковали, окучивали, подвязывали, подкармливали, опрыскивали, боролись с вредителями и болезнями.

На такие подвиги у Колюниной бабушки, впрочем, сил недоставало — но она все равно работала много и всегда приговаривала, что участки даны людям не для отдыха, а для труда, и они тут не дачники, но садоводы, что и было закреплено в уставе товарищества — тоненькой книжице, которая имелась в каждом доме и провозглашала высшей целью всех купавинских жителей создание коллективного сада.

Колюня легко представлял себе этот огромный, не поделенный заборами вертоград, где круглый год цвели кусты и плодоносили деревья, краснели вишни и синели сливы, тянулись вверх подсолнух и горох с налитыми стручками, а еще было выкопано несколько прудов, в которых можно было ловить карасей и купаться, никто не ругался на детей и не заставлял их трудиться, не болел живот, не ходили по улицам злые деревенские мальчишки с выгоревшими на солнце волосами и намотанными на кулак солдатскими ремнями, не гремели грозы и молнии не сжигали деревянные дома, не снились страшные сны, не доносилась жаркими летними днями зловещая музыка из-за железнодорожной ветки, а само лето никогда не кончалось. В этом саду он бы хотел поселиться навечно, но бабушка звала его болтушкой, и в ее словах Колюня распознавал подспудный страх умудренной жизнью женщины, что участок в восемь соток могут отнять и каждый год надо трудом доказывать свое право владения.

— Как отнять? — беспокоился он.

— А вот так. Соседи скажут, что мы плохо работаем, вот и отнимут. И отдадут тем, кто будет работать хорошо.

Было непонятно, как могут благожелательные, улыбчивые соседи пожаловаться, что Колюня и его семья плохо трудятся. Но не верить бабушке он не мог и ради спасения малого сада и приближения тайной мечты покорно шагал на грядки выдергивать сорняки.

Их дача и стиль жизни на ней были усредненной Купавной в миниатюре. Там имелось все: и размашистость нелепого дома с громадным незастроенным вторым этажом, где хранились старые газеты, дырявые самовары, сломанная дядюшкина байдарка, чемоданы, телогрейки, ботинки, корзины и куча прочего хлама, в нем мальчики любили копаться дождливыми или холодными днями, и огород с южной стороны, там выращивали лук, горох, репу, морковку, свеклу, чеснок, огурцы и кабачки, были плодовые деревья, которыми занимался папа и прививал к дичкам благородные сорта, взятые в Тимирязевской академии, но потом между взрослыми случилось что-то непонятное, от Колюни сокрытое, и папа все работы в саду забросил; был дальний участок — так называлось место в противоположном от дома конце сада, где росли четыре березы, стояла лавочка, и все это было окружено густой травой, кустами малины и смородины, щавелем, ревенем, ландышами и лесной земляникой.

Колюню учили копать, полоть, поливать — для этого у него имелась своя маленькая белая лейка и детский инструмент — лопатка с грабельками. Мальчик еще не умел лениться, выдергивал одуванчики, приносил воду и собирал под яблонями падалицу. А когда выполнял свою работу, его отпускали гулять, шли с ним на озеро или в лес. То были счастливые и почти незамутненные, но очень скоротечные времена, когда они жили в Купавне вместе с дядей Юрой, бабушкиным родным братом, загадочным, печальным стариком с кадыком и огромной бородавкой на шее. Он любил варить летний овощной суп из всего, что произрастало на огороде, совершал вместе с Колюней прогулки по окрестностям купавинской земли, показывал внучатому племяннику деревенскую живность, которую маленький мальчик распознавал не по названиям, но по звукоподражанию: ко-ко, га-га, му-му, мэ-мэ.

После обеда дядя Юра спал, а сырыми вечерами слушал последние известия, напрягаясь так, что вздувались вены на висках, когда диктор, понизив голос, упоминал остров со странным названием Даманский.

Иногда дядя Юра и бабушка говорили о своих непонятных делах, вспоминали хорошо знакомых или же, напротив, неведомых Колюне, только мельком виденных людей, толковали про болезни и старость, про бабушкину гимназическую подругу, у которой не было детей и ее грозились отдать в дом престарелых, где люди заживо гниют, про двоюродного брата Ваву, архитектора Воскресенского, спроектировавшего по велению Хрущева ужасное здание «Интуриста» в самом начале улицы Горького, и Вавину несчастную больную дочь, про дяди Юрину дочку от недолговечного брака с безвестной актрисой Вахтанговского театра тетю Музу и ее мужа Давида Ивановича, который изобретал детские настольные игры, но злопыхатели в Министерстве просвещения эти игры не одобряли, хотя Давид Иванович утверждал, что с их помощью все дети научатся правилам уличного движения и не будут попадать под машины, а сам изобретатель наблюдался у психиатра и получал пенсию по инвалидности; про богатую и благополучную, но бездетную тетю Веру с Чистых прудов и ее покойного мужа — Сергея Алексеевича Первушина, профессора геологии, а прежде известного экономиста, проходившего по делу какой-то Промпартии, удачно севшего не то в конце двадцатых, не то в начале тридцатых на пять лет в Туркмению и перешедшего после отсидки в более спокойную отрасль. И выходило из этих разговоров, что слишком мало счастья и благополучия вокруг, что печальна жизнь, все больше в ней горестей, болезней, бед и смертей. И неужели же они не минуют маленького мальчика, игра-

ющего дешевыми пластмассовыми машинками на покосившемся теплом крыльце?

А еще вспоминали пожилые брат с сестрой безрадостное детство в купеческом доме, знакомого семьи — крестьянского поэта Спиридона Дрожжина, счастливую Февральскую революцию, на которой по-хорошему следовало остановиться и не доводить дело до революции Октябрьской, толковали, понизив голос, про какого-то Ивана Денисовича Солженицына, о котором дядя Юра узнавал по Би-би-си, и про то, что только чудо уберегло Седого — так бабушка называла филевского деда — с его происхождением, замашками и длинным языком от посадки в тридцать седьмом и еще, что Гогусь — Колюнина мама — появилась за год до этого на свет тоже чудом: бабушка собиралась делать аборт, но накануне у нее поднялась температура, она слегла, а потом прерывать беременность оказалось поздно. И Колюнчику вообще начинало казаться, будто доля чудесного, странного, сверхъестественного в жизни столь велика, что жить иначе, как доверившись ему, невозможно, и он все время пугливо и чутко к признакам этого чуда присматривался и прислушивался, отыскивая их где только можно.

Бабушка с дядей Юрой говорили и говорили, потом играли в «девятку», обучив к неудовольствию папы простенькой карточной игре и Колюню, спорили, сидя за большим обеденным столом на узкой террасе, и, снова позабыв о запрете дочери и зятя, не замечали, что внучек, раскрыв рот, их слушает — да и что могло быть интересного мальчику в воспоминаниях двух стариков и что он мог из них вынести, не понимая и половины слов?

Колюня сам не знал, что влечет его к на вид строгому, очень доброму бабушкиному брату, похоже, никем, кроме нее, не любимому и ненужному, выглядевшему совершенно посторонним в легкомысленном мире и страдавшему от его грубости и упрощенности. Высокий, худощавый, темноволосый старик всегда тщательно одевался, аккуратно с ножом и вилкой кушал, был церемонно вежлив и не выказывал предпочтения никому из обитавших на даче людей, но однажды, когда жарким воскресным днем старшая Колюнина кузина Тоня уселась за стол в не просохшем после озера купальнике, ни слова не говоря, поднялся и ушел.

Все тягостно молчали, оскорбленная Тонина мать сидела красная и злая, крупная в отца Тоня оправдывалась духотой, а Колюня — странное дело — чувствовал себя неловко и виновато. Казалось ему, все догадываются о его солидарности со стариком — не в том, что он осуждал Тоню, пусть сидит в купальнике, если ей так удобнее, хотя его очень смущал золотой крестик, болтавшийся у самой ложбинки, разделявшей полные груди молодой работницы Ленинского райкома комсомола, а в том, что ему было жалко несчастного, одинокого, убогого человека, инженера городского транспорта в Туле, женатого вторым браком на цыганке, с которой он познакомился на колхозном рынке, где та торговала папиросами, некогда красивого и сильного, а теперь болезненного и мнительного, воспитанного, как и его щедрая сестра, совсем для другой жизни, но в отличие от нее так и не сумевшего найти себя в новом мире. И Колюне казалось или же предчувствовалось, что, когда он сделается взрослее, ему станет грозить повторение дяди Юриной судьбы, он так же не отыщет места в изменившемся времени и пространстве и на старости лет или даже раньше примется бессильно и печально наблюдать за чужими людьми, а они не будут понимать, что он здесь делает и какое право имеет их одобрять или порицать.

Потом дядя Юра и бабушка поссорились. Это случилось после того, как в небольшой коммунальной квартире на улице Обуха возле Курского вокзала, где старик жил после переезда в Москву с чернявой, золотозубой и без устали курившей женой, молодая соседка купила своей дочке собаку.

Цыганка потребовала, чтобы пса удалили, угрожала написать жалобу и довести дело до милиции и суда, и, как ни умоляла их мама девочки согласиться, как ни убеждала, что пес будет все время в комнате и ничуть не обеспокоит, при молчаливом непротивлении невенчанного толстовца настояла на своем. Собаку пришлось умертвить, и бабушка простить этого брату не смогла. Она написала гневное стихотворение, которое читала всей родне:

История Герасима с Муму
Нам с детства хорошо знакома.
Однако в толк я не возьму,
Ужель жива та барыня в хоромах? —

и дядя Юра перестал в Купавну приезжать.

В тот год все вокруг смотрели слезливый фильм про Белого Бима, и Колюня легко представлял себе незнакомую девочку, которая играла с собачкой, кормила и ходила гулять, а потом собаку у нее навсегда забрали, и наверняка она догадалась, что произошло. Мальчик думал о том, как должна эта девочка, возможно его ровесница, ненавидеть дядю Юру, которого он, Колюня, так любил, и все это было странно, совсем не укладывалось в голове и казалось чудовищной ошибкой и нелепостью — первой, повстречавшейся ему в жизни.

Но чем дальше шло время, тем больше этих нелепостей, ошибок, разрывов, ссор и обид накапливалось; они вырастали, как годовые кольца на стволе подтачиваемого неведомым жучком фамильного древа, и по ним куда точнее, чем по делам радости и любви, определялась хронология ушедших лет.

5

Теперь уже невозможно сказать, тогда или немногим позднее, наталкиваясь на мрачные взгляды второстепенной женской родни, восприимчивый ребенок думал о том, что едва он уходит гулять, как все на даче принимаются обсуждать и маму, и папу, и сестру, и самого Колюню, подозревая, что ласковый теленочек двух маток сосет и его водят к богатому филевскому деду не просто так, а чтобы, пользуясь слабостью старика и его растерянностью, хитрый отрок смог сыграть на заискивающих взглядах и извлечь из них выгоду.

Еще сильнее они подозревали в том же Колюнину мать, которая приезжала посреди недели на дачу без предупреждения, и ее звонкий голос раздавался в сумерках, оглушая вечернюю тишину, а Колюня смущался и не понимал, зачем так кричать. Обрадованная бабушка высыпала ворох дачных новостей: долгоносик сожрал клубнику, у Колюньки сломался велосипед, а сам он сломал дяди Толин пожарный топорик, когда открывал погреб, Артур уже курит, а еще приезжала сноха Людмила Ивановна, которая опять всем недовольна, Тоня получает золотую медаль и готовится поступать на мехмат МГУ.

Будь Колюня смышленее, то из этих разговоров уяснил бы, что подозрения родни оказались ненапрасными и далекий филевско-снегиревский дед-дворянин, в очередной раз уязвленный и обиженный на сыновей за непочтительность, на которой был так же помешан, как на золоте, акциях и облигациях, и посмеиваясь над чем бессребреница баба Маша любовно писала:

Жил на свете старый дед,
Было деду много лет,
Но на каждый день рожденья
Требовал он поздравленья.

Дети, внуки, зять и снохи,
Подавив глубоко вздохи,
Дружно выстроились в ряд,
«С днем рожденья», — говорят.

Но поклона деду мало.
Попадешь к нему в опалу,
Если к своему привету
Не приложишь ты монету, —

так вот, этот самый антик, быть может, не получив на именины желаемого подарка, наконец выполнил давнее обещание и переписал дачу на любимую дочь, что произвело взрыв на тихой дачной улице, где дома, кроме одного, были выкрашены в зеленый цвет и до сих пор вопрос о принадлежности и наследовании садовых участков не обсуждался, но теперь был создан грозный прецедент, и много позднее по схожей причине распалась едва ли не половина купавинских поместий.

Почему дед так поступил, истолковывалось всеми причастными к дачной истории персонажами по-разному; вспоминались, например, времена середины пятидесятых, когда отец основатель священных купавинских камней привел свою молодую и несмышленую дочь на неосвоенный участок с кочками и лягушками и горделиво заявил: «Здесь будет город заложен», — а легкомысленная студентка, ради которой все и было затеяно, лишь повела плечиком, озабоченная совсем иными думками, зато куда серьезнее к земельной затее отнесся ее старший брат и одолжил скуповатому родителю на строительство дома две тысячи старыми, что и дало ему право в Купавне жить и работать. И хотя из-за неожиданного и коварного дедова решения внешне ничего не переменилось и новая хозяйка не торопилась устанавливать свои порядки, предусмотрительная бабушка на всякий случай сочинила и заверила в правлении товарищества с юридической точки зрения сомнительную, но все же защищавшую интересы старшего сына бумагу, благословила его на строительство собственного домика и на время сумела пригасить взметнувшийся пламень родовой вражды.

Ничего этого Колюня, разумеется, знать не мог, сама же так и оставшаяся беспечной маменька оправдывалась и говорила, что отца ни о чем не просила и не нужна ей эта дача, и вообще пусть все идет, как шло, потому что настоящая владычица здесь все равно бабушка и все будет согласно ее воле до скончания века. Потом она отправлялась кататься на стареньком дамском велосипеде и купалась в тихом и теплом вечернем озере, хорошенько ужинала, рано ложилась спать на раскладушке под ближней яблоней и рано утром под неодобрительные взгляды соседей уезжала в Москву.

Бродяжья и легкомысленная, вовсе не хитрая, как полагали недоверчивые братья и их сторожкие жены, простодушная душа ее не лежала ни к даче, ни к земле, за детей она не волновалась никогда, зная, что с бабкой будет надежнее, и, случись ей выйти замуж не за такого строгого и правильного человека, каким был Колюнин папа, Бог знает как сложилась бы жизнь Колюниной матушки. Однако сотрудник ответственной партийной газеты, искренний агитатор и пропагандист, ее удерживал, и необузданная энергия его супружницы — кровь от крови своего предприимчивого и безалаберного отца — уходила в средние школы Пролетарского района, где она преподавала русский язык и литературу, вдохновенно проводила родительские собрания и назидательно твердила сидевшим за партами взрослым людям, словно малым детям: ребенок учится тому, что видит у себя в дому, — а еще конфликтовала с завучами и директорами, ездила с учениками по пушкинским, лермонтовским, тургеневским, некрасовским, тютчевским, толстовским, чеховским, блоковским и Бог весть каким еще местам, занималась постановкой поэтических композиций под названием

«Учитесь видеть и понимать прекрасное!», всякий раз заставляя участвовать в них Колюню и декламировать стихи очередного юбиляра.

Они остались в его памяти, эти вечера, подвижница мама с красивой прической и золотым медальоном-часами на груди, ее притворно-послушные ученики, мартовские путешествия вместе с ними в плацкартных вагонах на дальних поездах, обеды в столовых и кафе провинциальных среднерусских и южных курортных городов, ночевки на матах в физкультурных залах чужих школ, где взрослые дети чувствовали себя рядом с маленьким учительским сыном неловко, и такую же неловкость испытывал он, зеленая громоздкая гора Машук, у подножия которой был убит Лермонтов, домик над Соротью, яркая, совсем-совсем ранняя Карабиха, Углич, заволжское Щелыково, Ясная Поляна, белый город Севастополь с каменоломнями в пригороде, красивыми военными кораблями, на одном из которых школьников накормили сытным обедом, диорама, аквариум и рассказы о крымской войне, алупкинский дворец, Бахчисарай, Гурзуф и чеховский домик в Ялте.

Это было продолжением уроков, во всем присутствовал элемент нравоучительности — и Колюне казалось, что он окружен, обложен, взят на абордаж утвержденными школьной программой классиками русской литературы, их книгами, которые по малолетству не читал, портретами, фотографиями, мемуарами и присутствием на территории страны повсюду, кроме разве Купавны, и раньше прочих слов он выучил: Белинский, Гоголь, Чернышевский, Добролюбов, Некрасов...

> Белинский был особенно любим...
> Молясь твоей многострадальной тени,
> Учитель! Перед именем твоим
> Позволь смиренно преклонить колени, —

повторяла нараспев поэтичная матушка, когда мыла в квартире пол или мокрой газетой оттирала по весне пыльные окна — то была ее едва ли не единственная обязанность по дому — и завораживала, гипнотизировала и заговаривала детское сознание, навсегда отрезая послушному сыну губительные пути в геенну жизненного постмодернизма и шутовских экспериментов и благословляя его на служение отечественной народолюбивой идее.

Мама была учительницей, а Колюня — учеником, и этим было все сказано. Мальчику нельзя было делать в школе ничего из того, что разрешалось другим детям, — ни прогуливать уроки, ни дерзить учителям, ни отлынивать от общественной работы и сбора металлолома, его беспощадно преследовали за тройки по английскому, русскому и алгебре, он должен был собирать деньги девочкам на подарки к Восьмому марта и ехать закупать в «Детский мир» дурацкие игрушки в виде дешевых кукол или резиновых ежиков, а если денег не хватало или кто-то из мальчиков их не сдавал, то мама доплачивала из своего кармана и не говорила, что не хватает на сахар и хлеб; из него лепили примерного ребенка и радовались легкой удаче, и никто не подозревал, что, не решаясь поднять бунт и восстать, он таит в душе обиду и злость, тихо ненавидя и школу, и учителей, и девочек, и Восьмое марта, и Бог весть куда только эта ненависть могла его завести, когда бы не те три вольных месяца, что он был ото всего свободен и предоставлен сам себе.

Только однажды образцовое дитя не выдержало и посреди учебного года, устав ждать лета, взбунтовалось против учительницы английского языка, пожилой, одинокой и очень чистоплотной женщины с простым деревенским лицом, которая по дидактическим соображениям не произносила в классе ни слова по-русски и, казалось, вообще не умела на Колюнином языке говорить, но зато заставляла учеников после уроков убирать свой маленький кабинет на пятом этаже, куда с таким трудом поднима-

лась. Они не были обязаны это делать, у них был свой класс для уборки и другой классный руководитель, к тому же англичанка была женщиной по-английски въедливой и на ненависти к пылинкам и соринкам помешанной, так что чистка помещения затягивалась на полчаса, дети тихо роптали, но не смели протестовать, и тогда не слишком приученный в своем женском царстве к домашнему труду белоручка, но при этом борец за справедливость, маленький и глупый купавинец подбил одноклассников всем вместе отказаться от незаслуженного бремени. Однако когда в полном молчании и почти без ошибок он старательно изложил требования всей группы, те, кто еще минуту назад его поддерживали, опустили головы и притихли, и тогда разгневанная, онемевшая и ожидавшая от кого угодно, но только не от учительского сына неповиновения яростно-диккенсовская missis Анастасия Александровна Глинская азиатски-грубо вызвала в школу Колюниных родителей.

Лучше бы упала в ванной вместо тазов китайская бомба! Бунт был подавлен безжалостно обоими родителями — подавлен до захлебывающихся слез и такой горечи, такого одиночества, каких Колюня даже не мог вообразить себе. Его заставили признать неправоту и публично покаяться на языке родных осин, он сделал это через силу, но с того момента в жизни мальчика что-то хрустнуло, как если бы перекатилась через него стальная труба и случилось непоправимое, оставшееся с ним навсегда, отчего, быть может, не могла уберечь ни Купавна, ни единственно сочувствовавшая ему, но не смевшая открыто перечить дочери и зятю бабушка.

А еще, сколько помнил себя Колюня, замученная теснотой их жилища матушка вдохновенно занималась обменом квартиры, чему посвящала свой обычный досуг, так что с детства детей окружали кипы бюллетеней по обмену жилой площади, над которыми словесница склонялась, как над тетрадями, и ручкой подчеркивала возможные варианты; до детей доносились телефонные разговоры и хорошо поставленный материнский голос: изолированные комнаты двадцать и четырнадцать, потолки два восемьдесят, кухня восемь, кирпичные стены, пять минут пешком до метро и — наконец пониженным, печальным голосом — этаж первый, но высокий.

Только какой же он был высокий, когда изредка, болея и сидя у окна, Колюня видел лица прохожих, а однажды сломался дверной замок и они с сестрой пролезли в квартиру с улицы, подцепив пряжкой ремня шпингалет, и — были же времена! — никто из прохожих не обратил на пробиравшихся в квартиру детей внимания?

Приходили обменщики, и все это было ужасно стыдно, потому что чужим и враждебным, деланно вежливым людям, с которыми маленького жильца заставляли здороваться, а они фальшиво улыбались в ответ, открывалось сокровенное нутро их дома, бросалась в глаза бедность, потертая старенькая мебель, выцветшие обои и ободранные книжные полки, дощатый пол, тараканы и жалкие комнатные растения в глиняных горшках, и хотя незнакомые мужчины и женщины ничего не говорили, а только внимательно смотрели по сторонам, заглядывали на кухню, в ванную и туалет, Колюня читал в их глазах какое-то растерянно-брезгливое выражение, и казалось ему, что тот же самый, если не больший стыд и горечь испытывает папа, которому затея с обменом совершенно не нравилась, и оттого мальчик носил в душе двойную обиду: за себя и за него.

Прощаясь, незваные гости обещали позвонить, но не звонили или требовали суммы, какие честным трудом заработать невозможно; желавших переселяться на первый этаж под окна автозавода не находилось, обменщиков называли обманщиками, но матушка не падала духом и снова звонила, давала объявления в газету, ездила на Ленинский проспект и на Профсоюзную улицу. Жили в радостном возбуждении и ожидании перемен, однако поменять свою квартиру на трехкомнатную конуру в новом районе возле недавно построенной станции метро «Беляево» смогли лишь

после того, как роно, где работала до пенсии бабушка, пообещало выделить ветерану народного образования комнату за выездом в коммунальной квартире.

Дело шло туго — мало ли было в районе ветеранов и очередников при минимальной норме пять квадратных метров на человека, а в Колюниной семье выходило по семь. Мама умоляла папу сходить к своему начальству; пугая мальчика, от отчаяния рыдала и твердила, что делает все ради детей, но папа отказывался и был настолько искренне ли деланно равнодушен к переезду или же ему противился, что, когда без устали ходившая по исполкомовским комиссиям, заседаниям и инстанциям учительница все же добилась своего и получила ордер, даже не поехал смотреть с таким трудом выменянную квартиру и первый раз увидел ее вместе с Колюней, выпрыгнув из кузова большой крытой машины, что перевозила исцарапанную мебель, холодильник, черно-белый телевизор, цветы в горшках и сложенные в коробки пачки журналов «Проблемы мира и социализма», «Юность» и «Наука и жизнь», а также тяжелые послевоенные однотомные сочинения русских классиков, за безрассудную приверженность к которым Колюню впоследствии без устали долбили бесцеремонные и вздорные люди обоих полов, чем-то похожие на брезгливых посетителей их первого дома.

«Беляево» было конечной станцией метро, а за девятиэтажным блочным зданием, хуже которого были в Москве лишь пятиэтажные хрущобы, начинался и тянулся за окружную дорогу, до самой Оки и дальше до Дикого Поля и скифских степей, курганов и каменных баб непроходимый лес, в нем катался новосел на лыжах, и по вечерам ему мерещились волчьи глаза и глухой вой. И хотя зеленые глаза оказывались огнями лесной деревушки, а выл в вышине, стряхивая с веток снег, ветер, летали темные птицы, лес был исхожен и затоптан хуже купавинского, Колюнчику все равно ужасно все нравилось: и то, что они живут теперь на восьмом этаже, откуда видна вся державная южномосковская даль, и что ездят на лифте, и что у них есть лоджия, где папа устроил крохотную Купавну и выращивал в ящиках зелень, и красивые панельные стены, и маленькая уютная ванная комната, и даже невысокие, соразмерные его росточку потолки и красивый линолеум вместо крашеных досок. Он легко пережил переезд и единственное, чему огорчился, — отсюда, из Деревлева, удлинялся путь на дачу, и теперь надо было выезжать больше чем за час, чтобы поспеть на электричку.

А потом Беляево перестало быть окраиной, снесли деревушку, которая стояла посреди лесистых холмов, на ее месте принялись строить еще более красивые, высокие и разноцветные дома с улучшенной планировкой, заполонившие горизонт. Прибавилось лыжников в лесу, продлили ветку метро, и в этом-то районе с чудным названием Ясенево, не сговариваясь, поселились оба Колюниных дядюшки — Толя и Глеб, те самые, что сумели превозмочь тяготы голодных лет и избежать участи затеряться в послевоенном хулиганском безвременье, выбились в люди и когда-то проживали вместе с молодыми Колюниными родителями в шестнадцатиметровой комнате возле четыреста девяносто четвертой женской школы, а затем покинули Тюфилеву рощу и зажили каждый своей жизнью.

6

Много лет спустя, в самом конце долгого Колюниного детства, когда овдовевший филевский дед, буйный ровесник и верный сын своего неверного века, в глубокой старости вернулся в Купавну и подружился с Колюней, то, беседуя с ним о великой русской литературе, которую основоположник садоводческого товарищества преподавал в Инженерно-строительном — поди разбери, кому и зачем? — институте, грузный и неизменно

деятельный старик, восседая в глубоком прокурорском кресле, вопрошал внука о двух вещах: кого Колюня больше любит, Пьера Безухова или Андрея Болконского, а также — дядю Глеба или дядю Толю?

Колюня не был достаточно начитан в ту пору, дабы нацелить деда на сравнение с героями Достоевского, которые подошли бы для этого случая куда больше, ибо и сам богатый женолюб, и трое его размашистых детей ложились бледной, но верной тенью карамазовского семейства. Однако на прямо поставленный вопрос отвечать затруднялся, как, впрочем, затруднился бы выбрать и между толстовскими протагонистами, по младости и глупости своей не любя их неистового создателя вовсе и предпочитая всем русским классикам тишайшего, задушевного владельца дивного имения в Спасском-Лутовинове.

А вот дядюшек он, напротив, любил, к каждому из них его по-своему влекло, и рассказы об их замысловатой жизни, которые всякий раз с новыми подробностями излагала дождливыми вечерами за «девяткой» речевитая бабушка, были одними из самых им любимых, и так же любил он, когда вместе или порознь, но всегда неожиданно они объявлялись в Купавне.

Старший, Анатолий, — высокий, красивый, породистый человек, в молодости отданный сразу после возвращения из эвакуации на казенный кошт в военное училище, чтобы кормить семью, отлично там проучившийся, но получивший на выпускных экзаменах заниженный балл, после того как написал в сочинении слово «гостиница» через два «нн» и утешенный почетным председателем экзаменационной комиссии, стареньким артиллерийским генералом: «Не горюй, сынок, я бы тоже так написал», — был обречен на служивую судьбу, много кочевал по казенным домам и гарнизонам, не самым, однако, глухим, часто ездил в командировки и приезжал на дачу урывками и чаще в одиночестве.

Деловито, не отвлекаясь на перекуры, разговоры или поиски собеседника, как если б то был боржоми, он выпивал бутылку водки, заедал ее хорошо посоленным крутым яйцом и перьями зеленого лука, после чего слегка качаясь, как деревенский бычок, шел копать грядки. Устав или же заскучав, офицер ракетных войск сражался с Колюней в шахматы и безо всякого труда обыгрывал головастого племянника даже тогда, когда нарочно отдавал ему в дебюте ладью или две легкие фигуры, и максимум, чего Колюня за долгие годы совместных игр сумел добиться, так это сведения партии вничью при одном пожертвованном дядюшкой слоне.

Потом Анатолий разбирал по памяти партию и показывал ошибки и верные ходы так играючи и легко, что Колюня лишь поражался собственной тупости и дивился мощи дядиного ума. Но присутствовала в этом большом и добром земляном человеке мальчишеская обида, будто был он создан для чего-то другого, куда более значительного, нежели должность военпреда секретного завода, только никто этого не понимал, и как самое потаенное и горькое выдавал Толя застывшему внимательному подростку не то в утешение, не то в огорчение, что во времена его далекой молодости зеленый свет, погоны, звания и должности давали только фронтовикам, а он родился в двадцать девятом, на войну не попал и выше подполковника подняться не смог. Был, правда, один шанс — поехать на Байконур, где тогда все только начиналось, но переселяться в степную глушь не захотела Людмила Ивановна — хорошенькая полуполька, которая — опять же по рассказам спешно устроившей сватовство бабушки — вышла замуж за дядю через день после их знакомства и укатила с молодым лейтенантом в Восточную Германию, где он в ту пору служил и, томимый мужским одиночеством, пригрозил перепуганной матери привезти домой чистокровную немку, буде мать не сыщет жену на Родине во время положенного служивому отпуска.

История эта была достойна отдельного упоминания, и всякий раз изложение ее обыкновенно начиналось с того, что немцев бабушка боялась как огня и, чтобы уберечь и себя и сына от беды, подыскала ему сразу несколько невест. Однако несмотря на дядюшкину благородную внешность, служебные перспективы и, наконец, главный козырь — скудное на женихов и богатое на невест послевоенное время, с женитьбой офицеру не везло. Он ездил делать предложение в Серебряный Бор, переписывался с девушкой из Томска, по поводу чего шебутной дед Мясоед распевал песенку собственного сочинения:

Зашумели высокие ели,
Получил я письмо от Нинели, —

а отпуск меж тем подходил к концу, во вторник холостой лейтенант должен был отбывать к басурманкам, и тогда накануне, в пятницу, опечаленная бабушка поделилась горем с товарками.

Какая другая беда может быть милее женскому сердцу и где вернее встретит оно участие и поддержку?

В тот же день хлопотливая офицерская матушка получила адресок, по которому и послала неведомой двадцатичетырехлетней воспитательнице детского дома под Икшей телеграмму, о содержании коей можно только гадать, а назавтра высокая, пушистая, похожая не только по пословице на вынутую из мешка породистую кошечку красотка объявилась в Тюфилевой роще.

Обстоятельства написанного бабушкой скоропалительного житейского романа, чем-то похожего на похищение Зевсом Европы, с указанием чисел и дней недели, встреча двух блестящих молодых людей в шестнадцатиметровой густонаселенной комнате, смотрины, сговор, любовь с первого взгляда, посещение в понедельник загса, бабушкин вздох облегчения, двухмесячная разлука, покуда оформлялись выездные документы новобрачной, и в эпилоге отъезд за границу вчера еще не подозревавшей о перемене судьбы молодой воспитательницы с драматическим прошлым, на которую успел положить глаз, кусал локти и пробовал было устроить скандал директор брошенного шухинского детдома, — все это составляло один из самых важных родовых мифов и свидетельствовало в пользу проверенного предками решения вопроса о выборе суженой.

Людмила Ивановна оказалась женщиной эффектной не только внешне: вернее всего ей подошла бы роль старомосковской барыни, которую челядь боится во всяком образе, или даже корыстолюбивой старухи из сказки про золотую рыбку, положение же офицерской жены было для офицерской дочери с Кавказа нестерпимым, всю жизнь она страдала от защемленного, как нерв, честолюбия, недостаточного признания и такой ко всему ревности, что много лет позднее схожие черты характера встретились Колюне в совершенно далеких от тетушки по облику и духу собратьях по перу, и если бы его воспитательницей оказалась она, то играючи подготовила бы изнеженного питомца к будущему ремеслу и не подчинявшимся никаким правилам писательским петушиным боям.

Правда, в отличие от литературной публики тетка ни на что не жаловалась и не ныла, несла свою судьбу как крест, в Купавну ездила на такси, по всем вопросам имела и высказывала собственное мнение, преимущественно консервативного характера, никогда не лицемерила, прямых подлостей не совершала и ни патриотических, ни демократических доносов в прессу не писала, лепила в глаза правду-матку, умела хорошенько поджимать губы, преподавала математику и дослужилась до завуча, держа и вверенную ей школу, и порученную семью в кулаке. Мужа своего частенько прилюдно поругивала и разве что не колотила, свекра не переносила на дух, и он платил ей теми же облигациями, однако бабушку боготворила, и

не только за оказанное благодеяние, а за душевную щедрость и силу и за, если так можно выразиться, равновеличие себе и пристально следила, как живется Марии Анемподистовне с дочерью и зятем. Время от времени тетка Людмила звала свекровь переехать к старшему сыну, бабушка благодарила, выказывала невестке уважение, однако от настойчивого приглашения уклонялась и предпочитала издалека наблюдать за насмешливым семейным счастьем своего первенца.

Там, на чужбине, родилась ее первая внучка и было заложено материальное благополучие новой семьи, в дальнейшем перебравшейся в город Куйбышев, куда плавала каждое лето Мария Анемподистовна на белом теплоходе в каюте третьего класса, а в прочном автозаводском и затем беляевском доме, где на ее роль хозяйки никто не покушался и где властвовала она до конца дней, иного места себе не представляя, осталось от покинутой сыном страны Германии множество елочных украшений: больших тонких шаров, нежно звенящих колокольчиков, разноцветных птичек, гирлянд и венчающей елку звезды, похожей на звезду кремлевскую и как символ великой государственности перенесенной в скромное интеллигентское жилище. Эти хрупкие сокровища по заведенной большухой традиции доставали каждый год первого декабря, рассматривали, любовались, пересчитывали и складывали в коробку, а потом через месяц вынимали заново и украшали елку. Шары и колокольчики иногда бились, и тогда обычно спокойная и житейски не привязанная к материальным ценностям мира старая женщина кричала, а может быть, даже и плакала, собирая осколки.

Но украшений с каждым годом становилось все меньше, а таинственная Германия навсегда осталась в Колюниной памяти волшебным краем, где живет Новый год. Много позднее, попав перед Рождеством почти в то самое место, где дядюшка некогда служил, племянник поразился, насколько точным оказалось это ощущение и как понравилась ему туманная и вовсе не враждебная прекрасная закатная сторона. Он бродил по веселым улицам старого саксонского города, и в магазинчиках, лавочках и прямо на тротуарах лежали запомнившиеся в детстве, словно воскресшие и заново склеенные из мелких осколков колокольчики и шары, стояли облитые глазурью домики, внутри которых таинственно светились лампочки, висели гирлянды и продавались конфеты в прозрачных сапожках Санта-Клауса.

Ничто не переменилось в этом закутке, и можно было представить, как сорок лет назад по чистым мостовым ходил высокий славянин, офицер оккупационной или освободившей эту землю — читай как хочешь — армии с молодой прелестной женой и маленькой дочкой в коляске. Они покупали игрушки, посуду, детскую одежду, женские наряды и украшения и чувствовали себя уверенно и спокойно, зная, что за их спиной раскинулось огромное, могучее государство. Но к тому времени, когда Колюня в готическом городке оказался и было ему немногим больше лет, чем тогда дядюшке, давно не осталось в близких и дальних окрестностях древнего селения ни чужеземных солдат, ни офицеров, ни даже пугавшей весь мир державы, сохранилась только ее урезанная на треть территория, и мало что напоминало о том, что когда-то здесь, далеко за неприступными границами, были размещены храбрые воины. Всех пережили хрупкие и бессмертные елочные украшения, и можно было купить их сколько угодно, привезти и утешить бабушку — только вот и той тоже не было в живых, а постаревший отставной военный, все больше и больше напоминавший в преклонные годы своего отца, ходил по бывшей улице Двадцать пятого октября в редкой толпе угрюмых пенсионеров, размахивал красным знаменем и требовал восстановления преданной и порушенной державы.

Но задолго до этого, еще до Колюниного рождения, не чуявшего никакого подвоха в будущем и хорошо обеспеченного дядюшку перевели служить в таинственный подмосковный городок под названием Новостройка, куда однажды автозаводский мальчик поехал с бабушкой на зим-

ние каникулы. Серым промозглым днем в окружении совершенно иных, чем в купавинской электричке, людей почти полтора часа тряслись они в переполненном вагоне по незнакомой железнодорожной ветке до городка с красивым и древним названием; там долго под мокрым снегом ждали на платформе следующего местного поезда, пока не стало темно, и полусонный Колюня едва запомнил промелькнувший за окном огромный монастырь, купола церквей и высокую колокольню, заснеженные леса, редкие огни деревень, встречавшего их на тихом полустанке дядюшку и дорогу к незнакомому дому. Мальчик устал и сразу же лег спать, а когда проснулся и в окно брызнуло солнце, не поверил глазам. На улицах среди невысоких веселых домов лежал чистый снег, темный хвойный лес виднелся под окнами, люди в городке были не по-столичному улыбчивы и дружелюбны, а посреди комнаты стояла большая мохнатая елка, прямо в лесу срубленная, совсем не похожая на дохлые осыпающиеся деревца, что продавались на московских предновогодних базарах.

Будь Колюнина воля, он бы поселился в этой Новостройке навек и не запросился никогда в скучную и грязную Москву, но его восхищение городком показалось взрослым неуместным, а тетушка Людмила Ивановна в очередной раз завела разговор, что если Колюня будет плохо относиться к бабушке, то они возьмут ее к себе.

Маленький московский гость слушал испуганно и ничего не понимал: он не относился к бабушке ни хорошо, ни плохо, и если бы его спросили, любит ли он бабушку, то не знал бы, что ответить. Высокая женщина с суровым, удлиненным морщинистым лицом и ласковыми печальными глазами, выглядывавшими из-под густых бровей, с огромными ступнями — бабушка носила обувь сорокового размера — и жилистыми руками, со следами облучения на шее и острыми складками возле прямого носа была такой же непременной частью мироздания, как деревья, снег, вода, солнце или земля, и любить или не любить ее было невозможно, без нее попросту замерла бы и навсегда остановилась жизнь, а потом настал бы тот самый конец света, научным изучением которого занялся и даже написал на эту тему диссертацию ее пятый внук много лет спустя.

Вечером дядюшка с Людмилой Ивановной поссорились, Людмила Ивановна ушла в комнату и не выходила. Она ссорилась с мужем довольно часто и, как казалось Колюне, с видимым удовольствием, точно желая этим свекрови нечто продемонстрировать, а мальчику всякий раз хотелось дядю утешить, сказать доброе, с ним на даче было не страшно, он мастерски собирал грибы и по дороге со станции умудрялся отыскать несколько белых, мимо которых ходили толпы народу, он играл в волейбол, ловил рыбу и выращивал огурцы с помидорами и кабачки, построил себе в Купавне отдельный домик с глубоким, сырым погребом, неказистый, темный и неуютный, но ставший предметом его гордости — дядя Толя был в глазах интеллигентного ребенка с фабричной окраины Москвы образом той неведомой мужичьей, могучей, себя не жалеющей, разоренной страны, которую хотел познать и не смог приблизиться и слиться с ней позднее Колюня. И все-таки дядя был чужим.

Однажды летом на даче он взял племянника на рыбалку. Дитя пришло в невероятное возбуждение от предчувствия удачи — ведь оно шагало с самим дядей Толей, который запросто вытаскивал на своем катере из Волги огромных судаков, щук, сазанов, лещей и даже сомов. Но когда Колюня, затаив дыхание, старательно, торопливо и оттого неловко закинул удочку, у него зацепился за рукав крючок, и пока дядюшка таскал хоть и не сомов, но больших и удивительно светлых окуней — то был очень короткий и странный период, когда на карьере попер на живца окунь, — мальчик отцеплял, бессильно плача, здоровенный крючок, который никак не хотел отцепляться. Наконец цевье отломилось, и до самого вечера рыбачок про-

сидел на берегу, глядя на загорелую широкую спину маминого брата и ритмично поднимавшуюся и опускавшуюся мускулистую руку.

Однако Колюня не обижался на дядю за то, что тот не отцепил крючка и племянник так и проходил, вытаскивая жало, всю жизнь — может быть, в кропотливом и бессмысленном действии и была заключена его будущая судьба, ее неясный еще в ту пору прообраз, но и тогда, и много позднее мальчик испытывал перед этим великолепным человеком неловкость и вину. Причиной тому было не какое-нибудь конкретное Колюнино прегрешение, как, например, сломанный топорик, — то было мнимое или истинное, но очень сильное ощущение вины человека сравнительно небольшого и незначительного, но хотя бы чуточку более удачливого, взявшего от жизни немногим больше успехов и впечатлений, перед личностью крупной, щедрой и великодушной, но при этом несправедливо обделенной.

7

А вот с другим, более мелким и успешливым дядюшкой, как-то позднее в подтверждение невысказанного детского сочувствия к Анатолию печально обронившим, что старший брат его — человек величайших возможностей — был погублен Красной Армией, все обстояло совершенно иначе, и никаких покаянных чувств Колюня к нему испытывать не мог, хотя влияние его на племянника было гораздо мучительнее и сильнее. Глеб был сам настолько иным существом, что, несмотря на внешнее сходство, трудно было поверить, будто Толя и он родные братья. Шалопай в детстве и необыкновенно обаятельный, быстрый умом и лучше других в родне устроившийся во взрослой жизни, закончивший в начале пятидесятых вовсе не престижный в ту пору — кто бы теперь поверил — экономический факультет Московского университета, собственно, и принятый-то туда по подсказке профессора Первушина лишь потому, что случился недобор, и уже осенью наголо обритый в военкомате призывник сдавал дополнительные экзамены, дядюшка был к почве равнодушен и в купавинском эпосе ни на что, кроме справедливости и потребности искупить перед старшим братом вину, не претендовал и оттого приезжал в озерный край гораздо реже и еще реже брал с собою жену.

Не особенно красивая, неприметная и молчаливая тетка Наталья котировалась, по Колюниным ощущениям, в соцветии сородичей несколько ниже, нежели прекрасная Людмила, и связано это было не только с тем, что к женитьбе своего среднего сына бабушка руки не прикладывала и даже не была приглашена на лесную свадьбу. Через эту обиду она в конце концов переступила так же легко, как сшила для Натальи платье из привезенного Толей из Германии отреза. Причина ее снисходительности к младшей невестке заключалась скорее в совершенно чуждом складе ума и души и угрюмой потаенности Глебовой избранницы, повстречавшейся молодому экономисту на туристической тропе, впоследствии дядюшкой описанной в одной из его замечательных книжек, на обложке которой была помещена фотография, изображающая молодую Наталью в клетчатой рубашке, верхом на олене с ветвистыми рогами.

К тому же, в отличие от рано потерявшей родителей Людмилы, невысокая пухленькая наездница с двумя высшими образованиями — филологическим и геологическим, — с чуть монголоидными чертами лица и частой нездоровицей была обременена собственной родней, обитавшей в Загорске, и летом в тамошнем кумушкином мирке, Колюне совершенно неведомом (хотя если бы его туда позвали, он сразу бы узнал монастырь, мимо которого ездил в Толину Новостройку), а зимой в железнодорожном Перове произрастали и воспитывались под бессонным женским надзором, как под лампой дневного света в оранжерее, двое ее деток: стеснительная,

забитая, очень милая дочка и баловной, улыбчивый, добродушный сынок — единственные, кто звали купавинскую бабушку не просто бабушкой, а бабой Машей, чтобы отличить от другой, все время с ними жившей бабки.

В этой роли второстепенной родственницы Мария Анемподистовна отчасти чувствовала себя неловко и виновато, полагая, что уделяет самым младшим внукам недостаточно внимания и они почти ничего от нее не перенимают, да и дядюшка, по-видимому, не слишком жаловал загорскую родню и бывал в монастырском городке нечасто; дети его воспитывались и росли по чужим правилам и недобирали мужской ласки, однако подобная жизнь, требовавшая от Глеба минимум усилий и оставлявшая много времени и сил для собственных утех и дел, его вполне удовлетворяла.

Дядюшка был достойным сыном своего отца и в избытке унаследовал те черты дворянского характера, от которых так страдала купеческая дочь, бывшая в курсе семейных перовских неурядиц благодаря маленькому Пашке, который простодушно рассказывал бабе Маше о папа-маминых ссорах. Наталью свекровь понимала и жалела, но поделать с сыном ничего не могла. Человек он был из породы не домашних, но путешествующих и постоянно находился в движении, так что состояние покоя, казалось, было для него невыносимым.

Когда, сбегая из Перова или Загорска, Глеб приезжал в Купавну, то обычно выходил на две остановки раньше — на шумной станции Железнодорожной, до революции Обираловке, где, по словам тоже, видно, не обойденного тенью классики политэконома, бросилась под поезд Анна Аркадьевна Каренина. От рокового места веселый путник привычно топал лесной дорогой двенадцать километров до дачи и точно так же возвращался назад. Колюня, которому по-прежнему преодолеть несчастные две с половиной версты, что отделяли дачу от ближайшей станции, казалось несусветным испытанием, смотрел на бородатого, похожего на интеллигентного попа дядю Глеба как на сверхъестественное существо и мечтал о том, что, когда вырастет, тоже станет носить бороду.

Летом дядюшка уходил либо далеко в горы, либо в леса, что вместе с философскими книгами, стихами и романами и было главным призванием, наполнением и смыслом его независимой жизни, и наверняка во всей громадной Колюниной стране от Камчатки до Карпат не было такого места, где бы он ни побывал, и такой книги, которую бы ни прочел. Как волшебная музыка звучало для маленького мальчика слово «поход», так что, когда он капризничал или баловался, стоило только бабушке пригрозить, что дядя Глеб не возьмет его с собой, ребенок мигом успокаивался и соглашался на любую уступку. Но хотя Колюня хорошо себя вел, в поход Глеб все равно так ни разу его и не взял, и тоска по странствиям терзала, как зацепившийся рыболовный крючок, душу купавинского дитяти, а позднее и сами походы стали представляться ему не просто бродяжничеством и познанием новых мест, но образом той свободы, которой добивался человек в несвободной стране.

Всякий раз навещая бабушку в середине июля и подставляя ей перед очередным восхождением на Памире или Тянь-Шане сыновью умную голову кандидата экономических наук и автора нескольких профиздатовских книжек не токмо о пользе туризма, но и о вреде алкоголя (и было что-то очень трогательное в том смирении и серьезности, с какою он склонялся перед старухой, а она целовала его и приговаривала: Бобик, Бобик, береги свой лобик), дядюшка Глеб, обаятельно улыбаясь, по неведомому, но бесспорно принадлежавшему ему праву жизненного баловня съедал всю чернику, которую Колюня с трудом собирал в опустошенном дачниками лесу для пирога и не смел ничего возразить, а потом уходил с портативной пишущей машинкой в братову хижину, несколько часов работал и возвращался обедать. За тарелкой щавелевого супа со сметаной и яйцом, потирая переносицу, брат принимался рассуждать с братом о политике: зачем

Брежнев поехал в Вену на встречу с Картером, кому нужнее разрядка и сокращение вооружений, чего добивается своими выкрутасами Евтушенко, почему его терпят и чего следует в будущем ждать.

После обеда пили чай, и дядюшка, когда ему предлагали лимон, отказывался, со значением говоря, что никогда не следует смешивать две замечательные вещи, а ему, пожалуйста, одной заварки, что Солженицына выслали правильно, он — враг, а вот Гумилева стоило бы напечатать; равнодушный к кулинарным изыскам и философским книгам, всему на свете предпочитавший жизненную дилогию Александра Чаковского «Год жизни» и «Дороги, которые мы выбираем», дядя Толя посмеивался, Колюня слушал раскрыв рот, а бабушка смотрела на могучих сыновей неодобрительно: чересчур вольное толкование политических событий и упоминание табуированных имен казалось ей не то чтобы опасным, но ненужным.

Сама она нимало не конфликтовала с окружающим миром и его властителями и, несмотря на беспартийность и приверженность к идеалам Великого февраля, была довольна тем, что трое ее детей и зять — коммунисты, ибо это указывало на их относительно благополучное положение в обществе; хотя ее справедливую натуру возмущало забвение минувших лет, и всего более переименование Твери в Калинин, и за неимением в доме «Одного дня Ивана Денисовича» она перечитывала малоизвестную повесть Алдан-Семенова «Барельеф на скале» из журнала «Москва» и не любила за ложь шолоховскую «Судьбу человека», зато оттого она ведала временность и преходящую суть всех людей и явлений на свете и нисколько не обманывалась насчет ценности последних.

Увидев однажды в беляевском магазине на витрине два совершенно одинаковых по качеству шелковых платка, на одном из которых были изображены цветочки, а на другом крейсер «Аврора» и написано «Слава Великому Октябрю», бывшая гимназистка совершенно спокойно купила революционный, ибо он стоил в три раза дешевле. Единственное, чем была она в жизни по-настоящему напугана, так это далеким воспоминанием о лишенцах, к которым принадлежала во дни юности не то сама, не то кто-то из ее близких друзей, и своей святой обязанностью полагала участие в выборах кандидатов от нерушимого блока коммунистов и беспартийных, а когда голосование совпадало с дачным периодом, очень нервничала, требовала, чтобы ей взяли открепительный лист, шагала по жаре за несколько километров на избирательный участок и наверняка осудила бы взрослого Колюню за то, что ни в каких голосованиях ее ленивый и надменный внук не участвовал, хотя это были уже совсем другие выборы, о которых сама демократическая бабушка могла только мечтать.

Разговоры двух братьев, которые в эти более поздние, посткупавинские времена ринулись в политику и оказались на разных, хотя и смежных баррикадах (Глеб, по слухам, имел отношение к мятежному Белому дому), совсем не походили на то, что говорил в семье, подобно бабушке не заставший наступления новой эпохи и обоих путчей, Колюнин отец; он пил умеренно крепкий чай с лимоном и особенно торжественно раз в году с тем, что вырастал у него на подоконнике, и никогда бы не позволил себе так фамильярно и запросто, как если бы то были его соседи, отзываться о высших партийных лицах и приоткрывать хотя бы щелочку в завесе, отделявшей красивые слова от некрасивых дел, и узнай, что Колюня присутствует на этих пиршествах, сильно бы рассердился.

Мальчик о том догадывался, но не мог с собой ничего поделать. Дядя Глеб с его тончайшей примесью губительного вольнодумства и легкой оппозиционности, таившейся в растрепанной метелке поповской бороды подобно Черноморовой силе, притягивал ребенка независимостью и остротой ума, поражая не шибко грамотного, как выяснилось, племянника познаниями в древней истории и родословных русских князей и бояр. Все эти рассказы были отголоском Глебова увлечения исторической наукой, а

вернее, как проговорилась однажды бабушка, молодой учительницей истории, в которую старшеклассником весьма посредственно учившийся дядя был безнадежно влюблен и только по этой причине ринулся на исторический факультет, где никто троечника не ждал. Влюбленность во взрослых женщин, а тем более учительниц, была Колюне хорошо знакома и понятна, психологически с дядей сближала и заставляла подозревать, что под маской иронии и цинизма насмешливого походника таится обожженное, умеющее плакать сердце, а благодаря слегка взволнованным генеалогическим экскурсам и элегиям даже привычная, вся как азбука знакомая купавинская дорога обретала новые приметы и черты. Колюня узнавал о владельцах Кускова и Салтыковки, мир открывался перед ним с иной, неведомой стороны, вроде бы давно похороненной в скучных школьных учебниках, но, оказывается, не исчезнувшей.

Дело было не только в дядюшкиной эрудиции, романтическом прошлом и безупречном вкусе — Колюня восхищался его привычками, жестами, словечками, мимикой, смесью грубоватости и изысканности, смотрел в рот и ловил каждое слово, а умного взрослого человека это обожание забавляло. На всякий житейский случай у кандидата наук была припасена история, казавшаяся Колюне необыкновенно оригинальной и глубокой: когда у старшей сестры подоспело время выпускного вечера и все в доме переживали, хлопотали и обсуждали ее праздничное платье, дядюшка невозмутимо и весело рассказывал про выпускной бал в Сорбонне, где каждому участнику мужеского и женского пола выдавалось по кусочку материи размером с обыкновенный лист бумаги, из которого только и дозволялось торжественный костюм скроить.

Все в его байках выходило так непринужденно, завлекательно и ловко, будто Глеб сам в этой загадочной Сорбонне учился и на великолепном костюмированном балу танцевал; он дарил женщинам на Восьмое марта не мимозы, а сирень, рассказывал анекдоты про армянское радио, читал экономические лекции на коньячном заводе и шоколадной фабрике и, казалось, вообще делал лишь то, что хотел, живя иной, не доступной большинству людей жизнью, не ведая их обыденных тягот и забот.

— А знаешь ли ты, шкет, чем деревенский дед Пахом отличается от интеллигента? — насмешливо спросил он однажды у запыхавшегося, прибежавшего с улицы и по обыкновению побросавшего в честь дядюшкиного прихода-приезда все игры Колюнчика.

— Не-а, — протянул племянник, заранее восхищенный ответом.

— Дед Пахом, когда сморкается, закрывает пальцем одну ноздрю и сморкается на землю. Потом закрывает другую и опять сморкается. После чего достает чистейший платок и легонечко, аккуратно подтирает нос. А что делает интеллигент? Достает мятый платок, сморкается в него и запихивает в карман.

Несмышленый ребенок пришел в восторг и назавтра пересказал нехитрую байку папе, против которого она, очевидно, и была направлена, как и все, что дядюшка говорил, выращивая в автозаводском доме пятую колонну, но обыкновенно сдержанный, не позволявший себе никаких выпадов в адрес живописной жениной родни Колюнин отец неожиданно рассердился:

— В следующий раз спроси у своего Глеба, как он сморкается, когда сидит на редколлегии или партбюро?

Мальчика это поразило, и он даже удивился: как я сам не догадался до такой простой вещи? Но все равно, чем взрослее становился послушный и бестактный пассажир пригородных электричек, тем больше тянулся к дяде и с ним советовался, вызывая уже настоящую ревность и обиду у своего отца и сожаление у самого дядюшки, чей собственный сын, закормленный воспитанник загорского мирка и свидетель яростных родительских разбо-

рок, был совершенно равнодушен ко всему, что Глеб мог бы с куда большим удовольствием ему поведать.

А потом в дядюшкиной жизни настала черная полоса. Давно уже хворавшая тетка Наталья слетала в командировку на Камчатку, после чего ее разбил инсульт. Едва живая, она попала в Первую градскую больницу, Глеб как раз в те дни должен был срочно ехать в Венгрию и визита своего отменить не мог, а только до минимума сократил; за бессознательной больной ухаживали по очереди невестка с золовкой, потом вернулся дядя — а она все лежала, не двигалась и не говорила ни слова, угроза жизни миновала, но из больницы выписали потерявшую речь, полупарализованную женщину с первой группой инвалидности в сорок с небольшим лет.

Оказавшиеся без материнской опеки дети задурили. Примерная отличница Ленка собралась бросать школу и поступать в ПТУ, сын принялся лоботрясничать и прогуливать уроки, не внимал ничьим словам и угрозам. Похудевший, исстрадавшийся и покорно воспринимавший все произошедшее дядюшка первый раз за много лет не пошел в горы и занялся детьми, девицу сумел пристроить на родной экономический факультет, а что делать с парнем, не знал; Пашкино баловство и шалости сменялись хулиганством и наглостью, Глеб пытался скрыть печаль и надеялся, что все образуется само собой, вспоминал свое беспризорное военное детство и дерзкие проделки, но дела шли все хуже, теперь уже Пашке грозило ПТУ, и тогда в отчаянии, скрепя сердце, самолюбивый брат обратился за педагогической помощью к сестре. Колюнина мама отправилась в чужую ясеневскую школу, разговаривала с учителями и просила Пашку не отчислять, а когда возвратилась домой, то до Колюнчиковых ушек на макушке донеслись осуждающие разговоры, что Глеб слишком поздно опомнился и сам во всем виноват, а шутки и прибаутки его только портят.

Восторженный племянник запальчиво ринулся брать походника под защиту, он поверить не мог, что у удачливого Глебушки что-то может не заладиться, и страстно его жалел, вспоминал деланно беспечное, мужественное лицо, за которым угадывалась настоящая боль и мольба о помощи, но, когда раскрыл рот, взрослые его оборвали и посмотрели укоризненно и печально.

Никто не решался сказать благополучному мальчику о несуразности его слов и поведения прямо, никто не втягивал детей в фамильные трения, вырастут — сами все поймут, но как сильно малых сих ни берегли, все происходившее и обсуждавшееся в мире больших людей косвенно влияло на бабушкиных внуков и внучек. И однажды Колюня, отчего-то поссорившись из-за ерунды с другим своим, старшим, любимым кузеном Кокой, про которого твердили, будто у него две макушки — знак удачи и счастья, вдруг сам запальчиво и хамски выкрикнул в круглое, доброе лицо:

— А Купавна — не ваша, а моей мамы! Вот я ей скажу, и никто из вас сюда приезжать не будет!

Кока опешил, обиженно и растерянно поглядел на сопляка, не зная, что сказать и делать, уезжать сразу или подождать до утра, потом пошел жаловаться своим родителям, те — бабушке, и Колюню жестоко, куда более жестоко, нежели в день, когда он сломал топорик, отругала сама новая законная владелица дачи, поражаясь, как он успел это понять и где таких разговоров набрался — не от самой ли бабушки во время игры в «девятк »? — но зерно раздора, которому суждено было прорасти много лет спустя, было брошено именно тогда и, возможно, именно им, Колюней.

Оно прорастало не прямо, а извилисто, цепляясь корнями за хорошо удобренную колкостями почву, принимало на поверхности вид благодушного и бесхитростного кустика, который никому в голову не придет выдергивать; много было еще общих вечеров и встреч, вместе копали и сажали весной редиску и морковку, делили осенью банки с вареньем и бу-

тылки самодельного сока и наливки, дружили, перезванивались, ездили друг к другу в гости, собирались на день рождения бабушки, на новоселья к дядьям и на свадьбы двоюродных братьев и сестер, помогали в болезнях, печалях и несчастьях, — но подспудно пикировались острее, глубже увязали во вражде, а несправедливо поделенное Мясоедово наследство становилось тем оселком, где все проявилось и сшиблось.

Впрочем, таилась ли родовая междоусобица в одной только дедовой вотчине, без которой крестьянский дядюшка Толя не мыслил жизни, как кочевник Глеб не мог обходиться без гор, и сама мысль зависеть в будущем от милости младшей сестры и ее кичливых деток представлялась и офицеру, и туристу нестерпимой, или причина была еще глубже — в изначальной несовместимости столь разных людей, чьи гены мальчик с Автозаводской улицы унаследовал, Колюня не знал, но, равнодушный ко всякой собственности и в конечном итоге сам ничего, кроме счастливых воспоминаний, от дачи не получивший, долгие годы не мог он избавиться от власти и обаяния своих могучих дядьев и подспудно, отступнически и вероломно мечтал о такой же захватывающей судьбе, как у Глеба, но не как у родного отца.

8

Это уже потом, когда отношения с родственниками были порушены и ядовитые обиды сделались глубже прощения, когда все хорошее позабылось и перестало существовать, вспоминая и оценивая не замеченные им по малолетству, невнимательности или общей восторженности обстоятельства миновавших времен, понял Колюня, что веселые и славные дядья своего правильного зятя с самого момента появления молодого комиссара в тесном автозаводском доме откровенно недолюбливали и втихую над ним посмеивались, вольно или невольно втягивая в эту неприязнь и его, несмышленого пацана.

То были смех и превосходство не просто двух задиристых братьев над зашоренным мужем их во все времена не слишком любимой младшей сестры, но одного человеческого характера над другим, над особым психологическим типом, к которому отец принадлежал и казался сторонним людям нелепым и чудным в своей сдержанности и послушности, в нерусской какой-то пунктуальности, воинствующем консерватизме, глубокой вере в иерархию и в раз и навсегда установленный порядок вещей, которые с годами, а особенно после папиной смерти мало-помалу передались его сыну, заставив того на все взглянуть по-иному.

Папа был слишком из другого теста, нежели они, слеплен, и жизнерадостные шурья презирали зятя за полумонашеское житье, за то, что он возится с детьми и совсем не живет для себя, избегает мужских забав и не поддерживает грубоватых разговоров. Искали любого повода атаковать, цеплялись за малейший подвох, и оба любили с удовольствием и смешком вспоминать, как много лет назад, когда ненавистник частного сектора, идиотический лысый правитель, перерезавший все стадо на крестьянской Руси, отчего в соседней деревне стало невозможно найти молока, решил добраться и до дачников, издав указ сократить площадь садовых домиков до восемнадцати квадратных метров, ибо не для того земля советским людям дадена, чтобы они дома на ней строили и богатели, отвлекаясь от коллективной советской мечты, Колюнин папа, как только про правительственный циркуляр узнал, тотчас же послушно схватился за топор и принялся рубить не умещавшуюся в метраж террасу.

Тогда бабушка Мария Анемподистовна, впрочем, себя так никогда не величавшая, а просившая звать ее Марьей Борисовной, и поди разбери, почему — то ли старорежимное имя Анемподист ей не нравилось, то ли не могла простить своего безжалостного отца, Колюниного прадеда, томского

купца-мукомола, но зато на зависть и ревность сыновьям в кротком и принципиальном зяте души не чаяла и прожила с ним бок о бок до самой смерти, не выпячивая, но и не скрывая своих не вполне ортодоксальных убеждений, ни в чем ему не перечила и даже позволила «Роман-газету» с любимым «Иваном Денисовичем» изничтожить, — так вот, то был едва ли не единственный раз, когда правдолюбка неожиданно встала у папы на пути и властно сказала:

— Не ты строил, не тебе и рубить!

Знает ли Колюня этот ответ, приведший в восхищение весь дедов род, несколько раз ликующе и пристрастно осведомлялся дядя Толя, указывая на сохранившиеся на косяках отцовские зарубки, когда Купавна оказалась предметом уже не внутренних садоводческих споров и соседских пересудов, а настоящего судебного разбирательства и учитывался каждый вбитый гвоздь и вложенная в строительство копейка?

Колюня знал, но стыдливо промолчал и не взял отца под защиту, и только много позднее родительская отчужденность и неловкость, уязвимость для насмешек и банальных острот людей более в себе уверенных, успешливых и заурядных стала ему душевно понятна и близка, и все равно упрямо называвший клубнику садовой земляникой, законопослушный до патологии, прятавший голову от жизни, увидавший много лет назад на Сахалине, где служил в армии, а потом на целине, где комиссарил в студенческом отряде и положил глаз на Колюнину маму или, напротив, глаз положила она, нечто такое, что на всю жизнь шарахнуло его по мозгам, папа оказался для Колюнчика дороже всех с его историческими заблуждениями, да и заплатил партийный цензор за свою веру и службу по самой высокой цене.

Весь его ригоризм ничего не значил и не мог поколебать Колюнину любовь и память — ни у кого из двоюродных братьев и сестер не было такого отца, никто не водил своего сына на каток, не ходил с ним каждое воскресенье на лыжах по дивному оврагу от «Каширской» до «Коломенской» и не катался с крутой горы напротив заброшенной церкви, не гулял по берегу Москвы-реки, не играл в футбол и не ездил за грибами по Павелецкой дороге в Белые Столбы, не запирался в просторной ванной комнате, где в темноте двое мужчин — большой и малый — проявляли и закрепляли фотопленку шесть на девять из их чудноватого фотоаппарата «Любитель», в который надо было смотреть, когда снимаешь, вниз.

Ничего иного в жизни у отца не было, если только не считать комнатных цветов и марок — но разве это увлечение? — не то что у дядьев с их походами, огородами, выпивками и рыбалками, не ездил он никуда в отпуск, кроме все той же Купавны к детям, оставил ради семьи аспирантуру, бросил диссертацию о погибшем во время налета на Москву в ноябре сорок первого года драматурге Афиногенове и продал себя в кабалу государевой службе, а потому напрасно бубнил дед Мясоед в утомительно-долгих и почти всегда кончавшихся ссорой разговорах с бабушкой, что подозрительно замкнутый, себе на уме зять дочку однажды бросит.

— Не мерь всех по себе! — по-женски победно говорила необъятному старику брошенная жена, ибо знала, что человек, которого она бесконечно уважала (и этим отношение ее к Колюниному отцу удивительным образом совпадало с мнением мало кого признававшей тетки Людмилы) и к кому до конца дней обращалась на «вы», был привязан к ее дому, насколько только может прилепиться к чему-то человеческая душа и без остатка себя отдать.

Все сомнения, все вопросы и противоречия, горестное понимание, что отец повиновался и служил не тому господину и не того учителя слушался, что проклятое сухое древо, которое ему поручили оживить, сколько ни поливай, никогда не воскреснет и добрых плодов не принесет, тихие и незрелые подростковые бунты и чтения украдкой слепого самиздата, закон-

чившиеся уходом из дома в дворницкую в студенческие времена, весь ужас последующего духовного разрыва с ним и страх, что положивший жизнь на его воспитание, оскорбленный человек не простит сыну выбора иного пути и воспримет как предательство, — случились гораздо позднее.

И тем мучительнее и невыносимее оказалось для Колюни положение дел, когда одновременно с этим из-за Купавны впервые за много лет душевного единения двух светлых людей разошлись между собой завещание бабушки жить на даче всем вместе и последняя прижизненная отцовская воля — Купавны не отдавать, и мальчик оказался на распутье, где каждая из дорог вела в никуда.

Он не брался никого судить и не мог ничьей стороны принять, потому что слишком хорошо понимал и обманутого, нахохлившегося, словно великовозрастного ребенка, старшего в роду и на идее старшинства помешанного, подстрекаемого женой дядюшку Толю, за которого неслышно взывала его покойная мать, а еще сильнее — своего приблизившегося к краю земной жизни отца с его чувством выношенной и так долго удерживаемой и хранимой в душе обиды, но и тогда, и много позднее, куда больше, чем невыносимое, неразрешимое настоящее и безликое будущее, любил Колюня и хотел спасти от забвения и искажения — прошлое, отцовское, материнское и своих дядьев, как, впрочем, и всякое другое прошлое, объединяющее и разделяющее, запечатленное в передававшихся из уст в уста и в торжественно исполнявшихся на пирах семейных гимнах.

То были незыблемые и священные саги, истории и анекдоты о том, как во времена жесточайшей безработицы в тридцатом году бабушке удалось устроиться в какую-то контору, удачно скрыв пятый месяц беременности и получив впоследствии все полагавшиеся матери льготы, и, должно быть, именно в тот момент взошла счастливая звезда находившегося во чреве матери дядюшки Глеба; как до войны была у деда самая первая дача в Болшеве, а по соседству жил знаменитый летчик Папанин, который, прежде чем поздороваться с выстроившимися в очередь детьми, спрашивал, мыли ли они руки; как Колюниного двоюродного брата Коку положили в Кремлевскую больницу, невероятным образом умудрившись выдать за внука конструктора Туполева, и с тех пор за неуклюжим чудесным мальчиком закрепилось прозвище «туполевский внук»; как от несчастной любви уехал в город Чернигов после окончания университета тогда вовсе не ироничный и не покрытый панцирем, а нежно-ранимый дядюшка Глеб, и бабушке стоило большого труда прописать одумавшегося сына год спустя обратно в Москву; и наконец — как в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году бабка с дедом получили и сохранили письмо от комиссара институтского целинного отряда с требованием выслать сапоги для их двадцатилетней дочери и тотчас же смекнули, что одними сапогами дело не ограничится, хотя совсем негде было молодым жить и, не забеременей студентка потемкинского педа, неизвестно, чем бы закончилась ее любовь и появился бы на свет пять лет спустя после рождения сестры и сам летописец Колюня.

— Страшные были времена, страшные, — говорила бабушка, чья память легко скользила по прошлому и перебегала от года к году, и вспоминала, как в начале тридцатых где-то на краю ржаного поля в Подмосковье она рассказывала двум маленьким сыновьям про хлебные колоски, для наглядности один из них сорвав, как вдруг откуда-то появился вооруженный человек и поволок женщину с детьми за собою.

— Дала ему паспорт, а он и не посмотрел, что паспорт старый, — объясняла она свое чудодейственное спасение, и маленького Колюню вполне удовлетворял этот не совсем ясный ответ, потому что все представлялось страшными сказками со счастливым концом. И сколько раз ни ви-

села на волоске судьба этого человеческого побега и сколько на него ни ополчалось сил, бабушка, пускаясь на хитрости, как волшебница-берегиня, хранила всех, кто был рядом с нею, от несчастий и скорбей, всех благословляла плодиться и размножаться, служила домашним и семейным божествам и звездными купавинскими ночами писала:

Наш дом достатком не блистал,
В нем подрастали дети.
И это был наш капитал,
Ценнее нет на свете.

Когда она читала, голос ее слегка дрожал, и Колюня ощущал ее гордость за могучее потомство, собравшееся вокруг праздничного московского или обыденного дачного стола, за рослых сыновей и их подвижных детей, за радостные крики и смех, он заражался ее благодарностью судьбе, любовью к каждому новому дню, и менее ведомы были мальчику тревоги и огорчения за долго нескладывавшиеся жизни старшей и младшей внучек, за разбитую инсультом Пашкину мать.

Этой энергии ему не хватило на всю жизнь, но сколько мог, он ее тратил, она исчезала и снова неведомо откуда возвращалась, подпитывала его, и когда Колюня думал о суматошных, грубоватых мирских маминых братьях, когда вызывал из темноты прошедших лет их образы, то в памяти всплывало, проявлялось под красным светом высокой лампы и просилось на бумагу, но не фото, а самую обычную, писчую, как двое больших и сильных русских мужиков сидели на тускло освещенной дачной террасе за узким столом и пили почти без закуски полученный в качестве гонорара за лекцию армянский коньяк, один без меры, а другой умеренно, и вспоминали эвакуацию и алтайскую деревню с ласковым названием Саввушки, где обоих отдали в подпаски, и была у них на попечении лошадь, иного языка, чем матерный, не понимавшая, так что, когда бабушке случалось с дядей Толей куда-нибудь ехать, интеллигентная женщина затыкала уши, а ее рано повзрослевший сын понукал матюгами савраску; где было у эвакуированных втрое больше земли, чем получили полтора десятка лет спустя садоводы в подмосковной Купавне, но все равно они отчаянно голодали, потому что ни купеческая бабка, ни дворянский дед не умели на щедрой земле работать, вызывая ухмылки и презрение шукшинских крестьян, и где даже картошку чистил их все запоминавший четырнадцатилетний первенец, ибо он, единственный, умел тонко-тонко срезать кожуру, а его отец в декабрьские морозы сорок третьего года сочинял стихи, роняя в память голодной семилетней дочери самопальные и искренние строки:

Передо мной его портрет,
Обычна поза — он в шинели,
В глазах его сомненья нет,
Он знает, что достигнет цели.

Что был ему далекий кремлевский именинник, перед кем так рисовался и старался, и что за морок на него находил? — ведь неглупый был человек, интеллигент, дворянин, чуть ли не Юрий Живаго — Бог весть.

Мальчишки меж тем воровали дрова, чтобы не замерзнуть, а на обратном пути в Москву случилось несчастье: трактор сорвался с громадной платформы, на которой они ехали, потому что иначе выбраться в столицу было невозможно, ехать же надо было срочно, пока не заняли квартиру беженцы, и плохо закрепленный трактор придавил руку старшему. А в другой раз самого его чуть не посадили в тюрьму за то, что на станции он взял из буксы немного масла для костра, это увидел помощник машиниста, и спасла шестнадцатилетнего вредителя и диверсанта от неминуемой тюрьмы только случайность, но несмотря на благорасположение свыше, быть может, где-то там, на просторах Азии, родилась то затухающая, то

вспыхивающая вражда троих детей, что впоследствии разорвала изнутри весь этот необузданный карамазовский русский род.

Но странное дело, казалось Колюне много позднее, они рассказывали все не просто так, а с какой-то, быть может, им самим неведомой, потаенной целью. Как если бы присутствовавшего мальчика делегировали от этого мира написать о том, что было ими пережито, узнано, встречено, утрачено, сделано и сочинено, к чему уже приближалась бабушка, писавшая не только длинные стихи, но и короткие рассказы, один из которых про целину едва не опубликовали, но дальше этого не пошло, потому что у нее было слишком много других, по-видимому, куда более важных и неотложных, чем хождение в литературу, дел, и тогда она передала неиспользованный дар внуку. Но он своего увлечения стыдился, ему не доверял, хотя сколько себя помнил томился мукой сочинительства, вглядывания и вслушивания, влезания в чужую шкуру.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Бабушка умерла раньше, чем ее подарок принес первые плоды. Но их застал и благословил задумчивый и вряд ли ожидавший подобной забавы от сына, а еще более удивленный его первыми идеалистическими и богоискательскими опусами отец.

Рука молодого преступника дрожала, когда он надписывал родителю свою первую тоненькую книжицу, столь далекую от того, чему папа всю жизнь поклонялся, и, должно быть, из-за волнения автор не подумал о том, что никогда его отец не пытался обратить детей в свою неверную веру, и напрасно юный Колюня был с ним неискренен, зря так и не приоткрыл своей души. Старший цензор Главлита ничуть не препятствовал духовным поискам и шатаниям пытливого отрока, и если чего и хотел, так это дать сыну и дочери хорошее образование, научить трудиться и не унывать, сам однажды печально признавшись, что всю жизнь мечтал стать хирургом. Наверное, из него мог бы получиться замечательный врач, никто не умел так перевязывать ранки, парить ноги, лечить понос, простуду, закапывать в нос алоэ и просто успокаивать воспаленное тело, но папина жизнь сложилась по-другому и была определена совершенно иным, о чем Колюня позднее мог лишь гадать и пытаться восстановить по крохам и осколкам это родное целое.

У отца в прошлом тоже было голодное военное детство и свои воспоминания о Москве, где его семья провела всю войну, так в эвакуацию и не уехав, и в октябре сорок первого под бомбами готовилась покидать город вместе с отступающей, но не отступившей армией; был его папа, стало быть, Колюнин дедушка Николай Петрович, по странному, филевскому совпадению женатый три или четыре раза и, как Синяя Борода, хоронивший всех своих жен и среди них другую Колюнину бабушку — Клавдию Алексеевну Ширяеву, садовода по профессии и профессиональную большевичку по судьбе. Была Клавдия Алексеевна старше мужа на десять лет и умерла задолго до Колюниного появления на свет, оставив потомству книжку о яблонях и предание о том, как во времена ежовских партийных чисток едва сумела избежать ареста.

Сведения об этих людях были противоречивы и путаны, никто не составлял их фамильных древ и не гонялся за родословной, как это делали в могучем дедовом клане; фигурировал в тех глубоко сокрытых корнях капитан речного суденышка на Оке, была в одной из раскидистых подземных ветвей загадочная родня, отбывшая после революции в Америку, а в тридцатые годы присылавшая на родину посылки с продовольствием, — одна-

ко это обстоятельство скрывали даже тогда, когда родственники за границей стали желанным сюрпризом. Был дядя Сергей, младший папин единокровный брат, родившийся в ту пору, когда после развода с первой женой папа отказался от положенной ему отсрочки и ушел служить в армию, а недавно овдовевший Николай Петрович в его отсутствие второй раз женился.

От того времени в неприкосновенной ценности автозаводского, а потом и беляевского дома — в отцовском полированном и исцарапанном столе с двумя тумбами — сохранилась пачка странных писем, написанных так, словно их диктовал замполит части или просматривала жесточайшая цензура; в них было много о службе, политзанятиях и смерти Сталина и почти ничего о повседневной солдатской жизни, и точно так же не содержалось, должно быть, ничего житейского в утраченных ответных посланиях сыну от Николая Петровича, потому что сержант-артиллерист, все два года сахалинских зимних буранов и дождливых лет исправно тянувший военную лямку, так ничего и не знал про новую женитьбу своего пятидесятилетнего отца, покуда не увидел, демобилизовавшись, в двух тесных комнатах родного дома чужую женщину и чудом спасенного при родах младенца, своего единокровного брата.

Но странно, как все повторялось и связывалось в этой крови: худощавый, темноволосый дядя Сергей, недалеко ушедший от Колюни и его сестры по возрасту, воспринимаемый племянниками как любимый старший брат, рано потерявший родную мать и обретший в воспитательнице из своего детского сада заботливую мачеху, после школы, нарушив все интеллигентские традиции семьи, не захотел поступать в институт, а устроился учеником токаря на заводе, потом ушел служить в армию, оттуда в военную академию и стал офицером в те годы, когда ничего, кроме горечи и обиды, служба принести не могла.

Он никогда не жаловался на судьбу, как никогда не жаловался на нее и отец, хотя, должно быть, переменчивая семейная жизнь деда Николая Петровича оказалась для него еще в те далекие годы сильным потрясением, и от нее он был готов куда угодно сбежать, и вообще Бог знает сколько подобных ударов папа перенес: смерть матери и собственную неудачную первую женитьбу — но никому о них не поведал, унеся все разочарования и горести с собой. Скрытным и угрюмым, недоверчивым к жизни был Колюнин фамильный, то есть давший ему фамилию, не такой громкий, бесшабашный, живучий и энергичный, как идущий от филевского деда, но все одно коренной русский род.

Эта сторона ложилась на душу ребенка словно сон, в ней было мало плоти, как и в самом усохшем дедушке Николае Петровиче, и в тихих вечерах в ветхом доме на Садово-Кудринской улице, где родившийся в бедной деревне посреди Калужской губернии и подавшийся на заработки в Москву, окончивший Тимирязевскую академию и работавший одно время председателем заповедного колхоза «Красный луч» в пойменных лугах Москвы-реки под Красногорском, добрый и вежливый, в жизни никого не обидевший старик проживал в коммунальной квартире с девяностолетней соседкой тетей Пашей, курил крепкие сигареты, носил жесткие усы и до конца дней сохранил на голове густые, чуть тронутые сединой волосы, любил смотреть по телевизору хоккей, плохенько играл в шахматы, а летом выезжал на дачу в Нахабино.

Уже после его смерти и незадолго до смерти своей, точно ее предчувствуя и исправляя одну из жизненных ошибок, на удивление всей семье необщительный папа несколько раз собирал в Беляеве родню, никак ни с Купавной, ни с Автозаводской не связанную, и тогда Колюня впервые на веку увидал двоюродных братьев и сестер по отцовской линии, теток, дядьев, старенькую дедову даже не сестру, а тетю и, стало быть, свою прабабку — Прасковью, которая жаловалась, что всех пережила и перехорони-

ла, а ее вот смертушка не берет, еще рассказывала, как рыла осенью сорок первого окопы под Москвой, а немец каждый день в одно и то же время, по часам, прилетал комсомолок бомбить, как однажды едва не попали они в окружение, и их вывозили под пулями наступавших врагов, какой удивительной и смелой женщиной была покойная Клавдия Алексеевна, но тихие и кроткие, очень близкие эти люди промелькнули мимо, не проведя в душе глубокого следа, и родственное чувство на всю жизнь осталось в мальчике неразвитым.

Однако сколь ни было оно слабым, рожденный на скрещении двух разных древ, с годами Колюня все острее ощущал, как течет в нем дикая смесь барской, чиновничьей, интеллигентской и мужицкой кровей, густой и жидкой, покорной и буйной, окской и волжской, как лихорадит тело и мутит впечатлительную душу, и, видать, по этой причине, когда, случалось, ребенком у него брали на анализ кровь из пальца, мальчику становилось дурно, и он без сил опускался на пол, приводя в замешательство румяную мать и снова, как в детстве, погружая в печаль и тревожа бледного, с глубокими складками на лице отца, который от белокровия и умер, не дожив двух месяцев до шестидесяти лет, как если б кончился завод его внутренних часов.

Ничего странного в той внезапной и преждевременной смерти не было. Папа жил в безвоздушном пространстве, в абстрактном и стерильном мире, где торжествовали правила и неподсудные истины, так что вся грубость и бесстыдство, а следственно, и достоверность жизни, открывавшиеся каждому советскому дитяти и взрослому члену общества, его не касались и к нему не приставали.

Когда в середине семидесятых годов в Купавне появились на станции вольные автолюбители, за двадцать пять копеек с носа отвозившие на личных автомобилях садоводов до самого товарищества, папа услугами спекулянтов не пользовался принципиально, хотя уже тогда у него был тромбофлебит, он носил носки без резинок, обматывал ноги эластичными бинтами, и дорога от электрички до дачи давалась ему нелегко.

Он и на рынках не любил ничего покупать, ни одной взятки никому в жизни не дал, был по-своему человеком уникальным и внесоветским, ибо ни капли цинизма, ни просто здравомыслия и нормальной изворотливости, с какой купавинцы не только свое недвижимое имущество, но и самостийность обороняли от налетчиков, не имел, и, хотя Хрущева недолюбливал и в редкие минуты вольнодумства рассуждал, что двадцатый съезд надо было провести иначе, никогда бы не пришло ему в голову подобно своей бесподобной теще дерзко заявить уполномоченным лицам, пришедшим взыскивать за неисполнение указа об излишках садовой жилплощади:

— У меня одно строение. А у моего соседа — два. Вот когда он свой дом поломает, тогда и я террасу снесу.

И никогда бы не догадался он нахально и с сознанием правоты и силы ответить, как ответил опричникам сосед:

— Не знаю, какой из домов сносить, больший или меньший, а потому оставлю пока все как есть.

Эти от них отвязались, а тут как раз Октябрьский, одна тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года исторический пленум подоспел, и так отстояла свое богатство дачная, читай, та же мужицко-помещичья Русь, изгнанная из усадеб и подворий и вернувшая их в виде садовых участков, и вообще не дала себя погубить комиссарам, безумцам и ловкачам, противопоставляя им сметливость, живучесть и хитрость. Только у отца-то ничего подобного этим самым насущным для советской жизни качествам не оказалось, и, не будь он окружен такими практичными людьми, как Колюнина бабка, а в особенности матушка, его от жизненных потрясений уберегавшая, ушел бы, наверное, гораздо раньше.

Но когда настала эпоха, подобного рода людям противопоказанная, и, человек чести, он физически не смог больше жить, когда дал трещину окружавший его невидимый маленький купол и, кто знает, быть может, добавила яду в его чистую душу история с наследованием Купавны и в середине засушливого мая последнего коммунистического года папа умер, оставив детям и жене последнюю загадку, знал или нет он о неизбежной и близкой смерти и о чем одинокими больничными ночами думал, мама, пуще всего на свете истеричным, судорожным страхом боявшаяся увидеть мужа мертвым, проснулась в утро похорон оттого, что, не веривший в бессмертие души, он пришел к ней во сне и сказал:

— Не бойся, я что-нибудь придумаю.

В Боткинской больнице гроб, где лежал в костюме совсем чужой нарядный человек — так сильно изменили его измученное стремительной болезнью лицо умелые санитары, вынесли из морга и поместили в похоронный автобус, стали рассаживаться по машинам, и в этой суматохе мама затерялась. Те, кто ехал в автобусе, думали, что она в машине, а ехавшие в машине, что в автобусе, и лишь когда через полтора часа, проторчав в пробках, добрались до далекого и непрестижного Домодедовского кладбища, обнаружилось, что ее нигде нет.

На громадном погосте, на котором не было у них никакой ни родни, ни старой могилы и ничто не объединяло отца с похороненными накануне, в тот самый или на следующий день людьми, — ни одна вера, ни судьба, ни кровь — ничто, кроме общей или близкой даты смерти, — на погосте была своя очередь, а среди хоронивших — несколько ответственных людей, которые, как водится, торопились. Посовещавшись, ждать вдову не стали.

Пролетали низко над головой самолеты, не обремененный собственным гардеробом бесчувственный Колюня с заплаканной сестрой шел сразу за гробом в другом отцовском потертом и просторном костюме, нести тело ему не разрешили, сославшись на неведомый и нелепый обычай, и, если бы он мог в ту минуту о чем-то думать и вспоминать, то припомнил бы далекий жаркий летний день, похоронную процессию в деревне за однопутной железной дорогой, вороватых пацанов в чужих пиджаках, с дикими, блуждающими глазами и самого папу, что сидел на кровати мальчика далеким солнечным утром, когда Колюня проснулся свободным. Не было только оркестра с душераздирающей музыкой, на мотив которой в школьные годы по-дурацки пели «Ту-сто четыре самый лучший самолет» или «В сельском хозяйстве у нас большой подъем», и напрасно предлагали услуги родственникам и сослуживцам покойного в меру деловитые и скорбные музыканты.

Взрослые люди молча шли по границе уже возделанной и еще не тронутой могильщиками земли, пересекая ее каждый в свой черед, и была опять совсем рядом эта сгустившаяся смертная субстанция, однако Колюня больше не боялся ее. Он признал ее право на существование в земном мире под гулом приземлявшихся самолетов, она забирала всех уставших шагать по сухой дороге, словно невидимая карета «скорой помощи», и, пожалуй, сильнее поразило его своей бессмысленностью и уродством, как днем раньше в загсе, где молодой наследник оформлял свидетельство о смерти, хорошо одетая женщина средних лет взяла у него аккуратный отцовский паспорт, на глазах разорвала и выкинула в мусорную корзину.

Когда над разверстой землей были произнесены все начальственные речи и с особой торжественностью отмечено, что некролог об отце с названием его подлинной должности появился в двух центральных газетах, а прежде такого не бывало и цензоры покидали мир втайне, как разведчики или ведущие инженеры военных заводов, а потом каждый из провожавших бросил в яму горсть рыжей почвы, — показалась вдали мать, которую вела под руку ее подруга и домашний врач Ольга Петровна, на окраине по-

крывшегося несмотря на засуху молодой и упругой травой кладбищенского поля уже высился свежий могильный холм, усыпанный цветами с обрубленными стеблями, на которые вдова и упала, и безумные глаза успокоились, и разгладились искаженные черты лица.

Все произошло, как она хотела, или же он сумел отблагодарить ее за тридцать лет и три года общей жизни, во всем был свой умысел, ничего просто так не делалось — это-то Колюня ведал и немножко научился распознавать. И так они жили и жили, а потом умирали, желая или не желая, зная или не зная, подозревая или нет, что он сызмальства, ни на минуту не останавливаясь, за ними наблюдает и по-своему безжалостно, как только умеют дети, судит, а потом станет лепить из них образы, домысливая, дописывая их судьбы, ничего не забывая и не прощая, но ведь никому и не мстя, не затеняя смыслов и не роняя намеков, а просто слушая и записывая, что невнятно и сбивчиво рассказывает жизнь. И среди этого рассказа не забудет упомянуть, как однажды, когда на даче было очень много народу и его положили спать на улице между двумя дядьями, испытал такое острое счастье от причастности к гордому и беспечному мужскому миру, какого отец дать Колюне не мог, хотя был душевно богаче, умнее и красивее, но выпадали минуты, когда мальчик не просто его любил или же им гордился и чувствовал с ним кровную связь, но сталкивался с необходимостью выбирать и защищать его образ, однако никто этого не поймет, и они зачем-то станут обижаться — словно племяннику просто хотелось свести запоздалые счеты или больше не о чем было вспоминать.

Но ведь он и так многого не касался, а только скользил по поверхности, не оставляя следов и понимая, что самой страшной силой, которая им двигала, могла быть или любовь, или воздаяние: он мог расправиться с каждым из своих обидчиков и возблагодарить заступников, имел над всеми власть, хотя и не знал, кто и за какие заслуги, как привилегию или как бремя, эту власть ему дал.

2

Но что может быть глупее, чем использовать ее во зло, огорчая имевших несчастье окружать его очень хороших и добрых, так любимых им в детстве людей? И не следует ли считать тайным стимулом в разговоре с сопротивляющейся, не желающей облекаться в слова, теряющей при этом запахи, звуки и радиацию жизнью вовсе не запоздалую страсть к сведению счетов, не отмщение за детское поругание замечательной учительнице, научившей говорить его на чужом языке так, что, хотя никто больше мальчика иноземному наречию не учил, много лет спустя позабытые слова всплыли в памяти, и взъерошенный Колюня читал на птичьем языке лекции в далеких городах и университетах, не укор родителям за то, что не так воспитывали и обрекли на вечное ученичество и бескрылый реализм и, наконец, не попытку вытребовать у Первомайского суда изменить решение по вопросу о Купавне, а единственное стремление уйти как можно дальше назад и любовно, в самых мелких деталях и подробностях продлить существование падающего в небытие, истлевающего в старых фотографиях, незамысловатых корявых стихах, пожелтевших письмах и неверной памяти? В ней сохранилось, что у них, единственных из дачников на зеленой улице, в ту пору имелся телевизорик с Т-образной антенной на крыше, и по вечерам в большую комнату собирались соседи со всей улицы. К радости и гордости гостеприимной бабушки они рассаживались на стулья, табуретки и кровать, тушили свет и, вглядываясь в маленький черно-белый экран, смотрели «Щит и меч», «Девять дней одного года», «Майора Вихря» или «Войну и мир», а позднее «Семнадцать мгновений весны», эстрадные концерты, КВНы, пока их не прикрыли, и чемпионаты

мира по футболу, в том числе и тот, на котором наши в четвертьфинале продули Уругваю из-за подлой, намеренной судейской ошибки.

Были страшно расстроены и взрослые, и дети, Артур говорил подряд очень много плохих слов, и Колюня боялся, что если обмолвится про мамин запрет, то над ним станут смеяться, а потом и сам не удержался и назвал судью ужасным словом на букву «б», хотя в точности не представлял, что оно означает. Мальчики посмотрели на матерщинника с уважением, однако Артур строго, как учитель, покачал головой и заявил, что так можно говорить только про тетенек.

Но когда в следующее воскресенье они шли с папой на дачу, то родитель разъяснил Колюне, что наши футболисты сами во всем виноваты: нельзя прекращать игру, пока судья не даст свистка — не важно, в поле мяч или за полем, надо быть готовым ко всему и никогда не забывать, что весь мир против нас и нам мешают везде, где могут, умные и жестокие враги, которым мы должны противопоставить спокойную и уверенную силу. Так следует поступать всегда, и не только в футболе, а для этого надо хорошо учиться, быть здоровым, выносливым и сильным, ничего не бояться, много знать и никогда не останавливаться в движении вперед. Но что-то не вязалось в его голосе, в самом его укромном и тихом существовании, в отказе от борьбы и страстей с тем, что говорил он сыну на извилистой дачной дороге, и выглядели папины слова как напутствие или раннее завещание, призванное запасть в ребячью душу, в ней прорасти и потом, уже после смерти отца, мучить взрослого мятущегося человека вопросом: по какой причине бежал его невероятно одаренный и глубокий родитель жизни, отчего боялся ее, не имел друзей, уклонялся от правды и ничего значительного не совершил, что за глубокая обида его терзала, какая невысказанная трагедия, даже не снившаяся подполковнику дяде Толе, день за днем происходила в отцовской солдатской душе, в его умном и добром сердце, отравляя куда сильнее, чем свинцовые партийные оттиски, родную кровь, и не была ли предрасположенность к ней наследственной и неодолимой, как и странная родовая угрюмость и отчужденность от мира всей их мужской линии, не от этой ли вселенской, губительной обиды на людей отец его предостерегал и, наконец, не за тем ли, чтобы попытаться ее одолеть, взял в жены женщину из враждебного ему племени жизнелюбцев?

В нередкие минуты обострения той отчужденности и страха перед бытием, готовности все бросить, сдаться, спрятаться в кокон или вовсе уйти в небытие от малейшего щелчка, в бесплодных попытках найти ответ на тот громоздкий, но, быть может, самый важный для него вопрос и с ужасом замечая, что все эти черты повторяются и даже усиливаются в его подрастающем сыне и поделать с этим ничего нельзя, вспоминалось осиротевшему человеку, как сорокалетний служащий, которого встречал по утрам на станции Купавна с петушинской электрички в десять тридцать пять и кому исповедовал Колюнчик все свои детские обиды, грехи, радости, горести и удачи, шел между высокими заборами под ветками раскидистых яблонь с портфелем, где лежали центральные газеты, российский сыр, морская рыба для кошки, мясо и хлеб, негромко ронял слова и точно заранее, ненавязчиво и прозорливо готовил уязвимого, избалованного, не умевшего драться, но то и дело нарывавшегося на драки сынка к тому, что, подобно посредственной советской футбольной команде, ему придется всю жизнь играть в окружении мстительных, более амбициозных, нежели талантливых людей, мало-помалу им самим уподобляясь и отдаляясь от обыденной человеческой жизни, терпя умелые оскорбления, неумело огрызаясь в ответ и хорошо понимая, что единственным, чем может защитить себя от паханов, расчетливых неврастеников и милых склочников, так это черной, неблагодарной, не ищущей славы и денег работой.

Так говорил или сказал бы вещий папа, сумей он дожить до более поздних и проявившихся времен, тем утешил бы и ободрил, избежав к тому же ненужной высокопарности, которая, как сныть, росла по краям неряшливой Колюниной души, только не легко было расхлябанному и тщеславному мальчику этот правильный завет воплотить. Да и потом, не один папа ронял в детское сердце семена, а каждый из приезжавших на дачу и на ней гостивших, каждый, кто попадался на купавинском пути, норовил мальчика на свою сторону перетянуть, в каждом была своя правда и хитрость, и от этого обилия и разнообразия пухла и делалась большой, как если бы он болел вечным рахитом, Колюнина голова.

Но страсть прислушиваться к чужим советам, искать водителя и воителя надолго сохранилась во взрослом и инфантильном человеке, лишая его самостоятельности и твердости, и кто только в Колюниных идолах, кумирах и вождях не перебывал, но от всех он укатывался, как колобок. А вот с футболом, с тем самым матчем, получилось несправедливо, смириться с этой несправедливостью дитя не могло и со всем упорством, каким располагало, невзирая на полную неспособность к ножному ремеслу, готовило себя на смену армейцу Шестерневу или Шустикову из московского «Торпедо». К Шустикову, потому что его хорошенькая, надменная голубоглазая дочка, первая из тех, кто имел над мальчиком власть, ходила в тот же сад, что и Колюня, но была его на голову выше, и только однажды, когда среди детей случилась эпидемия свинки, ему удалось встать в паре с ней на танцах и пережить сполна первую и не покидавшую с той поры влюбленность.

Эта влюбленность составляла все Колюнино существо и металась, как солнечный зайчик, по окружавшему его расколотому миру, выхватывая из сумерек и многообразия девичьи лица, блеск золотых медалей, сны утомленных путешественников и грезы творцов. Потом он безумно полюбил хоккей и несколько раз пытался попасть в спортивный клуб ЦСКА, для чего ездил весной с папой на станцию метро «Аэропорт» и вместе с десятками других мальчишек катался по льду крытого стадиона, а тренеры юношеской школы отбирали приглянувшихся им пацанов. Мальчики носились по кругу, и всякий раз, проезжая мимо стоявшего у дверцы катка молодого мужчины в спортивном костюме, Колюня с надеждой глядел в его лицо и ждал, что его пригласят, но скучающий шатен с сигаретой не обращал на него никакого внимания и отбирал других. Ребенку казалось, что его просто не замечают, и старался держаться к тренеру поближе, чаще попадаться на глаза, но курильщик отгонял:

— Иди, мальчик, иди. Я всех вижу.

И хотя в этом, наверное, заключался свой урок, было ужасно обидно: как же так, почему, чем я хуже? — но все равно Колюнчик по примеру партийца папы болел только за суровый ЦСКА, никогда бы не пошел в спортивную секцию другой команды и был безумно счастлив, когда однажды ранней осенью его любимая команда стала чемпионом страны, в фантастической игре где-то в Средней Азии со счетом три — два обыграв «Динамо».

А еще раньше врезался в память жаркий, враз померкший день, когда снова доносилась отовсюду траурная музыка и передавали имена трех погибших космонавтов, Добровольского, Волкова и Пацаева, и об этом же говорило старенькое радио, которое Колюня любил слушать и только никогда не мог понять, почему оно все время передает последние известия — а когда же бывают первые?

Может быть, когда он спит?

Потом, чуть раньше или позднее, американцы высадились на Луне, и в тени дома, под иргой, где большие и малые дети объедали вкусные продолговатые ягоды, наклоняя высокие и гибкие ветки, старшие брат и сестра заспорили, должны ли мы радоваться чужому успеху, и кто-то не по го-

дам мудрый заметил, что все это не важно, ведь там тоже люди, а Колюне сделалось обидно, как будто мы снова проиграли в футбол или его не взяли в хоккейную команду, и хотелось спросить неведомо кого, почему не его великая и счастливая страна была первой и не ее дивный, лучший в мире, красивейший гимн звучал под небесным куполом, как звучал он над притихшим или возмущенно свистевшим на хоккейном чемпионате в Праге в шестьдесят девятом году залом, и молодой и сильный, торжествующий папа укоризненно говорил прямо в экран телевизора сидевшим в зале людям, которые точно младенцы засунули в рот пальцы и надували щеки:

— Ай-ай-ай! Стыдно вам должно быть, чехи, стыдно!

Но безмолвной летней ночью, забыв о славе и первородстве, утверждению которого посвятил жизнь и был горько и несправедливо обманут старший бабушкин сын, все завороженно смотрели на луну, выкатившуюся над садом и плывшую по небу, обгоняя темные со светлыми краями облака, и не могли поверить, как это по ней ходят люди. А может быть, никакого полнолуния тогда не было или вообще не высаживались на серебряном диске чужеземные астронавты, а только подурачили задравшее к небу головы человечество?

Но зато точно была война во Вьетнаме, и у лучшей маминой подруги, замечательной женщины и тоже школьной учительницы, был муж-вьетнамец, пропавший без вести на той войне, а у них в школе училась смуглая живая черноглазая девочка с большими блестящими зубами, укрепленными железной пластинкой, Марианна Лернер, которая во втором классе на продленке случайно, демонстративно или с тайным умыслом проглотила изящный комсомольский значок, а в третьем уехала с родителями в крохотную страну Израиль, должно быть, столь же прекрасную и обетованную, какой была для Колюни Купавна. А еще приезжал в Москву президент далекой-предалекой, как тридевятое царство, республики Чили Сальвадор Альенде, и Колюня тогда не знал, что несколько лет спустя он на время забудет про девочек и навсегда про футбол и на удивление всему литературоцентричному семейству, как неведомый филологам-родителям Копенкин в Розу Люксембург, влюбится в эту узкую страну и, вопреки врожденной неаккуратности, будет вырезать из газет и бережно класть в папочки статьи и заметки про город Сантьяго, президентский дворец Ла-Монеда, главного чилийского коммуниста Луиса Корвалана, лохматого чудесного певца Виктора Хару, некрасивую и обаятельную женщину Гладис Марин, великого поэта Пабло Неруду, идейного террориста Мигеля Эрнандеса из партии Левого революционного движения, что по иронии в испанской аббревиатуре звучало MIR, и про омерзительного генерала Пиночета, омерзительного даже много лет спустя, когда его вдруг объявили претендентом на роль национального героя для несчастливой Колюниной страны, и его именем назвал одну из лучших своих повестей замечательный русский писатель, а самого Аугусто засадили, как нашкодившего кота под замок, злопамятные и безжалостные островитяне из великой морской империи королевы Анастасии Александровны Глинской.

Колюня был еще совсем дитя, но его неимоверно волновал окружающий мир и далекие страны, он лучше всех в классе играл в города и, изредка болея ангиной или гриппом, любил смотреть не на проходящих мимо людей и не на дурашливые дачные коврики с картинками, что некогда доводили его до смертной дрожи, а на громадную глянцевую физическую карту Советского Союза, которая висела над Валиной кроватью, ибо целеустремленная сестра ходила в школу юнг — что вовсе не означало молодых матросов, но юных географов — и собиралась поступать на восемнадцатый этаж главного здания Московского университета. Того самого, куда несколькими годами раньше и на несколько этажей ниже не сумела пробиться золотая медалистка Тоня из закрытого подмосковного

города Новостройки, получив двойку по письменной математике, и с тех пор на упоминание самого высокого учебного заведения страны в дачном мире было наложено негласное табу.

Валя грубо его нарушила, как если бы младшая сестра выскочила замуж раньше старшей, а впрочем, два года спустя действительно вышла и вообще была теткой Людмилой за строптивый нрав, вызывающую независимость и самомнение нелюбима, а громадный дядюшка печально заключал, что детям его по жизни не везет оттого, что слишком они большие, но где было маленькому и неспособному к математике Колюне все эти диспропорции понимать и учитывать?

В те времена, когда все семейство обсуждало, а бабушка писала благословляющий стих про Валино раннее, неожиданное и вопреки папиной воле свершившееся, но вполне счастливое замужество:

В лесу на осеннем привале
Гитары послышался звук,
Задорные песни звучали,
А сердце... замерло вдруг.

И даже в глазах потемнело,
Как вышел навстречу Орфей.
Ну что же? Иди за ним смело,
Не бойся... Все будет о'кей! —

и событие это оказалось впоследствии вплетенным в общую купавинскую судьбу и прямо привело к укреплению фундамента и стен и строительству на даче второго этажа, а потом косвенно к окончательному расшатыванию родовых устоев и моральной гибели всей усадьбы и райского вертограда, и в том не было ничего странного, ибо, следуя логике заявившего «только через мой труп» отца, Валя выбрала себе в мужья человека еще более жизнелюбивого и цепкого, чем все дедово потомство, вместе взятое, меньше всего на Орфея похожего, беспечный или заранее отстранившийся от всех будущих баталий Колюня завороженно глядел на карту и совсем другими стихами думал о Родине. Он любил и ощущал свою огромную страну, равной которой по площади и числу великих озер и рек не было в целом свете, — его волновали густые зеленые цвета западносибирской тайги и желтые, переходящие в красно-коричневый оттенок цепи высоких гор. И долгие хребты, протянувшиеся вдоль длинных синих рек, что текли с юга на север к Ледовитому океану, и полуострова со смешными названиями в полярных морях, и покрытые льдом архипелаги, и Тихий океан, и похожий на огурец Байкал, и смешная Камчатка, где странствовал Витус Беринг, и безжизненное плато Путорана, и казахские степи и солончаки, и туркменские пустыни, и побережье Прибалтики, и старенькие Карпаты, и зеленая Карелия с вытянутыми с севера на юг изрезанными озерами, и безмерная сухопутная граница, долгой жирной линией обозначенная среди разных климатических зон, пустынь, степей, лесов, берегов рек, вечной мерзлоты, часовых поясов, низменностей и возвышенностей.

Что была ему крошечная Купавна, когда маленьким мальчиком он мог часами скользить глазами по этому богатству, запоминая названия маленьких городов и рек и гордясь своей принадлежностью к ним. Но — странная вещь, — разглядывая сопредельные с его отечеством страны, мальчик испытывал чувство досады. Они мешали ему своим существованием, и хотелось, чтобы его держава стала еще больше и вобрала в себя похожий на тигра скандинавский полуостров и шахство Иран, по недоразумению прилепившееся к южной оконечности Каспийского моря и закрывавшее проход к Индийскому океану, и северный кусок Китая — Маньчжурию, и смертельные Балканы, и гору Арарат в Турции. Он печалился оттого, что ни один из красивых островов или архипелагов с рифами, кораллами, атоллами и лагунами в громадном Тихом океане не принадлежал его Роди-

не, как если бы ее тоже обделили и обидели, и был готов красной ручкой написать четыре заглавных буквы — три «С» и одну «Р» — где-нибудь под островами Таити или Самоа.

С той придирчивой страстью, с какой в купавинском мирке любили сравнивать своих и соседских детей, свои и чужие огороды, сады и цветники, Колюня рассматривал диаграммы и таблицы в учебнике по экономической географии и радовался тому, что его великая страна добывает больше нефти и угля, выплавляет чугуна и стали, изготовляет бумаги и цемента, нежели ее кошмарная капиталистическая супротивница, огорчался отставанию социалистического хозяйства в добыче электроэнергии и верил, что еще раньше, чем он вырастет, держава соперницу догонит и преобразит подлунный мир, чтобы все были в нем счастливы, никто не умирал от голода и повсюду торжествовала справедливость.

Воспоминания этих желаний и ощущений не смазывались наслоениями более поздних лет, когда и цвет гор на карте, и идея прохода к южным морям стали одиозными, когда безнадежно отстала от судьбою назначенного врага отчизна, а вернее, то, что от нее уцелело, и потерпела поражение зыбкая идея всемирной справедливости. Но в ту пору все присутствовало в детском сердечке, словно осколок генетического имперского сознания, пугающего словосочетания «великодержавный шовинизм» или же еще и потому, что всем детским забавам Колюнчик предпочитал игру в ножички, когда дети чертили на дворе или на дороге круг, разбивали его на равные сектора по числу участников, а потом, по очереди меча в мягкую податливую почву перочинные ножики, начинали отнимать друг у друга земли.

3

Ведь именно земля была высшей людской ценностью, за нее умирали и убивали, ее захватывали и отсуживали, отгораживали заборами и колючей проволокой, продавали душу во всем мире, а значит, и в Купавне, и чем дольше люди здесь жили, тем больше понимали, как повезло им поселиться в сем благословенном краю, и свой маленький душевный кусок земли, за устройство которого отвечали они перед общим собранием, правлением садоводческого товарищества, страной и Господом Богом становился им дороже того, что называлось — Советский Союз.

Инженеры-строители были первыми, а вслед за ними потянулись осваивать западную оконечность Мещерской низины прочие ведомства, общества, учреждения и организации, и соседями Строительного института становились прокуроры, мелкие профсоюзные деятели, общество инвалидов, Управление делами Совмина, энергетики, машиностроители, военные, Плехановский институт — так что вскоре пчелиными сотами и сотками покрылась купавинская равнина. С каждым годом все меньше оставалось на ней свободного места. Уже негде было отдыхать по дороге на станцию и собирать землянику и луговые опята, распахали торфяное болото по пути на карьер, снесли железнодорожную ветку возле трех прудов и застроили освободившееся пространство, даже нарезали землю под откосом железной дороги на перегоне между Купавной и Черным.

Покуда Колюня строил планы, как присоединить обратно к Отечеству Аляску и отнять у Непала Эверест, чтобы именно на его земле располагалась высочайшая вершина мира, загадочные земельные дела творились в садоводческом товариществе «Труд и отдых»: спортивную площадку, на которой дети играли в настольный теннис и волейбол, попадая мячом в провода, так что сыпались искры и несколько раз случалось короткое замыкание, отдали под участок проректору института, и возмущенные купавинские подростки грозились перебить захватчику окна, а еще годом раньше секретарю парткома выделили кусок улицы и часть санитарной зоны

вокруг водонапорной башни, отчего участок у него напоминал по форме кособокий и неглаженый пионерский галстук, и несчастный партайгеноссе, ради куска земли взваливший на себя позорную ношу, был страшно обижен тем, что неторопливый проректор его обскакал, получив почти полноценный надел, а не обрезки.

Дядюшка Толя спешил прочнее обустроиться на земле, построил парник для помидоров и мечтал спилить затенявшие огород березы, на защиту которых бабушка так же встала грудью, как когда-то на оборону террасы; появление полиэтиленовой пленки произвело на огородах революцию и было важнее высадки человечества на Луне; на общих собраниях возле сторожки выбирали и скидывали председателей и членов правления, которые ходили повсюду с инспекцией и ставили оценки за благоустроенность участков и их внешний вид, стремясь унифицировать многообразие купавинских привычек, причуд и нравов, снова пугая бабушку открытыми угрозами отнять землю у ленивых и непокорных и передать ее институтским функционерам; рвался в бой и перешедший на работу в Институт космических исследований подполковник, которому ни разу не довелось воевать, потому что новые войны из-за земли начались, когда он уже вышел в отставку. Но как бы предвосхищая их, насмерть ссорились соседи и родня, пытаясь делить участки, ценность которых за эти годы возросла так, как если бы под покровом песчаной почвы обнаружили нефть или золото.

Люди богатели, обзаводились холодильниками и телевизорами, строили новые красивые дома с каминами и высокие прочные ограды, они уже не были такими дружными, как на выцветших черно-белых фотографиях, не вставали в четыре утра, не собирались вместе смотреть новые цветные фильмы и футбольные матчи чемпионата мира в Германии и Аргентине, не ходили всей улицей за грибами в Бисеровский лес. Времена не объединяли, но разъединяли их судьбами детей и внуков, болезнями, по-разному прожитыми годами, характерами и привычками. Идея коллективного сада все еще числилась в первом параграфе садоводческого устава, но так же уходила в небытие, как незаметно ушла из жизни идея великого коммунизма, в которой вопреки очевидности отказывался разувериться по старозаветному упрямству один-единственный человек на Земле — Колюнин отец и, как несменяемый часовой, ждал по ошибке торжественно объявленного года наступления царства Божия на земле.

А вокруг была совсем другая, обыденная жизнь, в которой все барахтались, как умели, мелко грешили и сплетничали, и, хотя подросшие деревья и кусты закрывали участки от посторонних глаз, спрятать все тайны они не могли, и причастный купавинской повести временных лет Колюня знал, что у соседки справа муж алкоголик, а соседа наискосок день и ночь пилит жена, требуя продать дачу и купить кооперативную квартиру в Зеленограде, что лечившего его от ожога доктора, Гошиного папу, доброго душевного человека, у которого, первого на их улочке, была машина, жена прогнала. Все ее осуждали, а она была молодая, чувственная женщина, но замуж так и не вышла — и вместе с матерью, курившей «Беломор», седой благородной старухой, воспитывала рыхлого сына, которого не брали в мальчишескую компанию, над которым смеялись и издевались, а когда, изнывая от тоски, он приходил на площадку или к воротам — бросали обычные игры, начинали играть в «жопки» и заставляли его бегать за мячом, сами валяясь на травке и доводя Жиртреста до полного изнеможения.

Соседка просила бабушку, чтобы она повлияла на Колюню и он заступился за бедного мальчугана, который от отчаяния не хотел жить на даче и просился домой, но у Гоши был слишком противный характер, и все уставали от его нытья.

Однажды на площадку пришла сама красавица мамаша и попыталась наладить отношения сына со злыми мальчишками, предложила им игру, где не надо водить, но ее освистали, и, поняв, что сделала только хуже, она ушла униженная, ненавидящая всех и вся, а больше всего Колюню, хотя он ее не оскорблял, не хамил, а глядел сочувственно и испуганно.

Но назавтра Гоша опять увязался за мальчиками, и ему пришлось водить.

— Живей, живей! — орали они.

Гоша шатался от усталости и из последних сил кидал мяч, стараясь попасть в развалившихся на траве ребят. Мяч летел слабо, неточно, и мальчики играючи отбивали его сильными футбольными ударами на сухую выгоревшую траву.

— Бегай, бегай давай! Шевелись!

Гоша вяло подбирал мяч и кидал его двумя руками, одной сил не было, хитрил, старался подбросить поближе, чтобы оттуда уже ударить точно. Но они разгадывали его хитрости, орали, и кто-нибудь, касаясь рукой земли, как того требовали правила, подбегал к мячу, опережал Гошку и что есть силы бил по нему. Вместе со всеми Колюня испытывал мстительное удовлетворение, но одновременно с этим его душа раздваивалась, и он начинал чувствовать водившего, его обиды и переживания, точно это он бегал за мячом и против воли шептали губы: «Они меня ненавидят, они нарочно, нарочно», а из жаркого марева доносилось:

— Жухала! Жухала!

Но какой же он жухала — он просто устал.

«Да разве так отыгрываются?» — думал Колюня, глядя на Жиртреста. Надо не жалеть себя, а бегать, бегать быстро — они отобьют, а ты беги, не давай им опомниться и бей, забыв про усталость и жару, не позволяй себе обижаться и разнеживаться, не смей себя жалеть, и тогда назло бесчестным судьям и смотрителям чужого жилья обязательно попадешь и забьешь проклятому Уругваю гол.

Точно услышав его, Гоша принялся носиться по площадке, снова дрожали руки, тек по лицу пот, удар, они отбили, снова удар, но теперь мяч уже ближе. Артур увлекся и не заметил, что у него открылась задница, он уверен, Гоша не будет по нему бить, но тот неожиданно наклонился, отвел руку в сторону и резко бросил мяч под Артуркину ляжку.

Мяч стукнулся, откатился, и Гоша, а Колюня мысленно вместе с ним, с радостью и торжеством заорал:

— Есть!

— На жопе шерсть!

На Артуровом лице появилось смешанное выражение досады и угрозы. Он посмотрел на Гошу прищурившись и процедил:

— Води, давай!

— Было! Было!

— Не было!

У Гоши задрожал от обиды голос, а Артур дал ему пинка и закричал:

— Води, щенок!

— Сам води!

Артур рассвирепел, вскочил и стал бить Гошу кулаками по лицу наотмашь, а Гоша захлебывался от боли и орал только одно:

— Было! Было!

— Еще?

— Жухала ты, понял? Было!

— Кто жухала?

Артур бил уже несильно ладонями, точно пощечины давал, наслаждаясь силой, из Гошиного носа брызнула кровь, а из глаз полились слезы. На него было противно смотреть, и Колюня не жалел, что не вступился, а умный Сережа, мягко подталкивая, увел подальше от дороги — не дай Бог кто из взрослых увидит.

— Вякнешь — убьем!
— Я папе скажу-у!
— Катись, маменькин сынок!

Они пошли смотреть диафильмы к Артуру на второй этаж, и Сережка рассказывал удивительные вещи про американские спутники и про Египет, где жил с родителями, строившими Асуанскую ГЭС, мальчики листали красивые глянцевые журналы с картинками автомобилей и нарядными смуглыми женщинами, рано и непонятно взволновавшими детское сознание, но гораздо сильнее, чем полураздетые красавицы, тяготило Колюнину совесть какое-то неприятное ощущение, и словно в оправдание самому себе он вдруг вспомнил про другого изгоя — своего одноклассника Сашу Колоскова, который с вызовом и гордостью говорил всем в классе, что он еврей (по матери, объяснял Саша, но для евреев это важнее), а другие евреи благоразумно помалкивали, а Колюня и вовсе не понимал, что это значит, так же, как не знал, что сам русский. Он знал и гордился тем, что советский, но участь отвергнутого рыженького мальчика, которого не любили в классе вовсе не за опасную национальность, а за вздорный нрав и неуравновешенность, за то, что он всегда опаздывал на уроки, но очень по-взрослому спрашивал разрешения войти в класс или же просился в туалет, в то время как Колюня никогда бы не решился об этом во всеуслышанье сказать и несколько раз из последних сил досиживал до звонка, его необыкновенно тронула, и однажды купавинский мальчик даже подрался из-за Колоскова с главным силачом в классе Юркой Неретиным, бабушка которого работала в школьной библиотеке.

Юрка играючи безо всяких усилий подбил Колюне глаз, чтобы не лез не в свое дело, пришлось идти в поликлинику и смотреть глазное дно, бабушка-библиотекарша извинялась перед Колюниными родителями, и одним интеллигентным людям было неудобно, что другие интеллигентные люди оказались в неловком положении. Но даже побитый Колюня не чувствовал себя униженным, а Колосков пригласил его к себе домой и стал читать стихи Эдуарда Багрицкого про смерть пионерки Вали.

Дело было не в Колюне, а в противном Гошке, и оттого хотелось чувство наложенной без спросу и согласия ответственности стряхнуть и не знать за собой вины, как не испытывали ее давно позабывшие и про Гошу, и про игру в «жопки» друзья. Но почему-то не получалось, вставало перед глазами лицо Жиртреста с томными коровьими глазищами, и Колюня смутно догадывался, что, подобно тому, как следит за всеми, все запоминает и записывает он, точно так же кто-то смотрит за ним, а за смотрящим подглядывает кто-то еще, и все превращается в надоедливую слежку, дурную, нескончаемую череду зеркальных дверей, где отражаются, множатся, наслаиваются и путаются образы, события и поступки, но как бы они ни переплетались и ни усложнялись, однажды все содеянное каждым откроется, всплывет и зачтется, и снова горькая печаль, что будила его в позднем младенчестве, касалась Колюниной души, и он не спал до самого утра.

4

До того часа, покуда еще совсем не рассветало и невыспавшиеся, дрожащие от холода и возбуждения мальчики собирались на террасе Колюниной дачи, торопливо съедали по куску хлеба, запивали холодным молоком и под причитания вставшей проводить их бабушки — куда в такую рань? — по сухой еще траве, до того, как старшие братья и сестры успевали вернуться с ночных гулянок, брали накопанных накануне червяков, удочки, белое пластмассовое ведерко и уходили на старый песчаный карьер. На старый — потому что был еще новый, лежавший по другую сторону однопутной железной дороги, соединявшей вечно дымивший завод «Акрихин» в Старой

Купавне с железнодорожной станцией. На новом карьере была чище вода, и был он красивее и глубже, но рыбы больше водилось в карьере старом с его зеленой мутной водицей, и летними зорьками там собиралось так много народу, что если бы рыбаки взялись за руки, то могли бы водить вокруг рукотворного водоема, удостоенного чести попасть в зачитанный друзьями справочник «С удочкой по Подмосковью», гигантский хоровод и петь либо песенку про каравай, либо интеллигентский гимн Булата Окуджавы.

Многие приезжали из Москвы и здесь же на безлесом берегу жгли костры, сидели всю ночь у донок с резинками, прислушиваясь, не зазвенит ли во тьме колокольчик, который позднее спас влюбленного Колюню от припадка ревности и тоски, а самые основательные и преданные переправлялись на надувных лодках на острова или, заякорившись, ловили с глубины.

Каждый год очертания карьера менялись. Там, где раньше были ямы, намывало отмели и косы, уходили под воду берега, появлялись новые острова и ямы, возникали горы песка на берегу, и никогда нельзя было знать, что здесь ждет и рыбаков, и рыбу, за которой они охотились. Может быть, поэтому она так ошалело и клевала.

Мальчишек рыбаки не любили. От них было много шуму, они буйно радовались каждой поклевке, а еще больше вытащенной рыбе, у них запутывалась леска, и, раздевшись до сатиновых трусов, они ныряли в парную воду, чтобы ее отцепить. Мужики, те, что были побойчее, их прогоняли, а более робкие уходили сами, но мальчишки не унывали и возвращались на карьер, занимая в потемках лучшие места в глубоких заливах и на отлогах песчаных кос.

Поначалу с рыбалкой им не везло. Каких только жирных и вертлявых навозных червей и выползков они ни нацепляли, как только ни штудировал Колюня потрепанную книжку «Как ловить рыбу удочкой» и альманах «Рыболов-спортсмен», где содержалась масса полезных сведений о способах выуживания рыбы, приметах клева, рыбацких приспособлениях и любительских художественных рассказов с назидательной концовкой, по образу которых стал впоследствии благодарный читатель чудесного альманаха лепить одну за другой собственные новеллы, — что только ни выдумывали они, клевало вяло.

Будущие лавочники и доценты с купавинских дач с завистью глядели на больших мужиков в брезентовых плащах, у которых к черным болотным сапогам были привязаны тяжелые садки, набитые отливающими серебром карасями, но вскоре более практично мысливший Артур прознал, что рыбу на переменчивом карьере ловят не на червя, а на распаренные хлопья геркулеса, о которых в Колюниных колдовских книгах ничего не сообщалось.

Всеведущая бабушка научила своего любимчика, как геркулес делать: надо было класть его в марлю и опускать на десять секунд в кипяток, и с той поры мальчики тоже начали таскать. У них, правда, были слишком короткие удочки и чересчур толстая леска, они не могли зайти так далеко в воду, как взрослые, и потому караси попадались некрупные, но все равно дети вылавливали за утро по тридцать — сорок штук и выпускали их в бочку. Однажды у Колюни сорвался некрупный карп — сорвался по неопытности удильщика: задохнувшийся от восторга мальчик уже подвел его к ногам, но вместо того, чтобы отступить на берег и осторожно выводить карпа по воде, дрожа от нетерпения, Колюня принялся вытаскивать его прямо там, где стоял. Обалдевшие от вида заскрипевшей и полусогнутой, как радикулитная спина, ирги, и ребята, и мужики раскрыли рты, но едва недоуменная рыбина показалась из воды и поглядела на рыболова радужным круглым глазом, ослабшая за зимы жилка лопнула, и, сверкнув зеркальным боком, в котором отразилось небо, облака, след реактивного са-

молета в нем и расширенные от ужаса серые глаза мальчика, загадочный карп, которому даже не пришлось демонстрировать силу, неспешно и важно ушел на несколько лет в глубину, а у Колюни на все отроческие годы осталось в руках ощущение вялой легкости и пустоты.

Мужики разочарованно крякнули, обозвали пацана лопухом и разошлись, ребята — искренне, нет ли — утешали, спорили, на сколько кило сорвавшаяся недобыча потянет, а Колюня, несчастнее которого не было никого в целом свете — что там Гошка с его девчоночьими обидами! — остался на карьере до поздней ночи, приманивая со всей имевшейся у него душевной страстью ушедшего карпа обратно к наживе. Когда в темноте на берегу появились деревенские, которых все дачники боялись, как боялись интеллигентные дети из пятнадцатой спецшколы пятьсоттрешек, хотя деревенских было мало, а дачников много, но дачники были разобщены, — рыболов даже не шевельнулся, чтобы убежать. Ему было все равно, что с ним сделают, и деревенские это почувствовали, считай, не тронули, ткнули несколько раз кулаком и даже не отняли мелкую рыбу, к которой Колюня отныне потерял всякий интерес, заболев мечтой о зеркальном карпе.

Караси жили в бочке по нескольку дней, а потом их забирал кузен Кока, продавал с дружками на железнодорожной станции и покупал в распивочной вино и сигареты. У Коки была своя взрослая компания — старшим в ней был черноволосый и очень умный Владик, лучший купавинский настольный теннисист и владелец телескопа, не удочки-телескопа, таких удочек тогда еще не было, а настоящего телескопа, с помощью которого Владик открыл новую звезду и без экзаменов поступил учиться в университет на астрономический факультет. Напротив жила хорошенькая Маруся с правильным личиком, как у дорогой куколки, и выразительными круглыми глазками, был кудрявый Степа-Петушок с третьей линии, был Юрка Лебедев, похожий на хоккеиста Фирсова, а еще Люсина подруга — коротковолосая девушка Лера. Им было по пятнадцать — шестнадцать лет, а мальчикам по десять — одиннадцать, но Колюне казалось, что они никогда не догонят старших, и с годами это чувство не проходило, так что даже в двадцать, двадцать пять и тридцать ему оставалось меньше, чем тогдашним, шестнадцатилетним, прогонявшим их с площадки и от теннисного стола и собиравшим дань большим мальчикам.

Иногда младшие дети пробовали ерепениться, но Степа-Петушок, когда добродушный Кока забирал карасей и было жалко их отдавать, упитанных, приятно тяжеленьких, с влажной чешуей и радужными оболочками глаз, наезжал на Колюню или Артура тонким колесом полугоночного велосипеда, отчего на штанишках оставался узорчатый след от шины, и страшным шепотом говорил, что они их убьют, если те проговорятся, куда делись караси.

Все понимали, что Степа шутит, красивые кукольные девушки завистливо смеялись, Кока криво улыбался, будто и сам был заложником в этой шебутной компании и делал все не по своей воле, но мальчикам и смех, и шутки были неприятны. Они чувствовали в них что-то гаденькое, трусливое и одновременно показное, предпринимаемое даже не столько ради вина, сколько для того, чтобы пофорсить перед кокетливыми девочками, с которыми старших связывали очень сложные и прихотливые, непонятные малым детям отношения.

Колюня догадывался, что эти отношения гораздо интереснее, нежели рыбалка или игра в ножички, ему было любопытно, почему взрослые ребята играют в теннис странными, неравными парами, а иногда делают такое, отчего девочки нарочно или искренне краснеют и кричат кому-нибудь «дурак!», а то вдруг противно хохочут, визжат или же друг с другом не разговаривают.

Однажды Бог весть отчего Колюня подрался с Иришкой с соседней улицы. Она была всего на два года его старше, но гораздо крупнее, и, когда девочек не хватало, ее брали гулять с большими, а потом за ненадобностью отсылали к малышне. Иришка не могла скрыть досаду, томилась, скучала, вредничала и задиралась, то соглашалась играть в малышовые игры, а то над ними смеялась, и, когда оскорбления сделались невыносимыми, Колюня принял вызов, сумел девчонку побороть и навалиться сверху.

Стоявшие вокруг парни заржали и стали подбадривать:

— Давай ее! Давай!

Колюня гордился тем, что оказался сильнее, пыхтел и прижимал к земле полные Иришкины руки и ноги и все ее пухленькое тельце в коротком платьишке, парни ржали все громче, а девочка вдруг покраснела до слез, возмущенно сопляка от себя отпихнула, убежала, закрыв лицо руками, и потом долго не выходила гулять.

Иногда Колюню посылали с записочками или просили что-нибудь девочкам передать, а когда он отказывался, то клялись в дружбе, обещали взять на настоящую ночную рыбалку с бреднем, но потом оказывалось, что это розыгрыш, и он как дурачок на него попадался. Он крепился, но однажды не сдержался и рассказал маме про то, что Кока и другие большие мальчики курят, ругаются нехорошими словами и покупают вино, испытав смешанное чувство облегчения и стыда. Но мама не стала отягощать Колюнин грех и ничего не передала ни дяде Толе, ни Людмиле Ивановне, да и вряд ли прошедший через голодное и хулиганистое послевоенное детство дядюшка удивился бы или огорчился.

Сами же взрослые мальчики ловили рыбу не удочками, а руками в канавке близ карьера. Глядя на эту заросшую травой канаву, исследованную от истока до устья и торжественно нареченную сестрой-географиней речкой Камышовкой, трудно было поверить, что здесь может водиться что-нибудь кроме лягушек и пиявок. Однако потому ли, что канава текла рядом с рыбхозовскими прудами и в весенний паводок с ними соединялась, то ли икру переносили птицы, но в Камышовке развелось множество карасей, и не серебряных, как на карьере, а золотых. Иногда они начинали клевать на червя, но гораздо успешливее были ребята, которые, надев кеды, чтобы не поранить ноги, загоняли рыбу в тину и руками доставали из черноты блестящего зловонного месива.

А потом большие мальчики выросли, поступили в институты или ушли служить в армию, у них и без того появились деньги, чтобы выпивать, и симпатичные подружки, Купавна стала им неинтересной, они начинали понимать, что ничего особенного в ней нет и существуют куда более живописные озера, чем Бисеровское, и более красивые и уступчивые девочки, чем дачные, что только в младенчестве и раннем детстве можно восхищаться заплеванным, истоптанным леском, случайно уцелевшим посреди полей, прудов, дорог и невзрачных дачных поселков, отравленных «Акрихином» и восточным ветром с отстойных полей города Электроугли. Они ездили к теплым морям или заснеженным горным вершинам, в стройотряды и экспедиции в Сибирь или Казахстан, в командировки и турпоездки в соцстраны, рано женились и выходили замуж, рожали детей и возвращались в Купавну с колясками, бутылочками, пеленками и манежами играть в совершенно иные игры, а на состарившихся дачных улицах большими стали Колюня со друзьями, которые убожества малой родины еще не видели, но отныне владели всеми ее богатствами.

Никто не отнимал у них рыбу, не прогонял с площадки и не угрожал, не заставлял носить записки и не обманывал. Теперь то же самое могли делать с визжащей малышней они — однако ж не делали. Они были очень привязаны друг к другу, трое мальчишек с дачной улицы, что даже не имела имени, а по-петербургски называлась Восьмой линией, никогда не

бросали друг друга в опасности и поровну получали тумаки от деревенских, а потом уже и сами давали и не боялись. Ничего друг для друга не жалели и так привыкали за лето к своему братству, что осенью не могли расстаться.

Конечно, у них были друзья и в городе, в школе и во дворе, но московская дружба была ограничена и скована, как сама тамошняя жизнь. Эти две линии не пересекались ни в детстве, ни позднее в отрочестве, тринадцатилетний Колюня мог влюбляться одновременно в дачную девочку Лену и в школьную Иру не потому, что был чересчур влюбчив, а потому, что обитал в двух параллельных мирах, и ему было бы странно представить, что кто-то из одноклассников мог очутиться в Купавне или же купавинские друзья появиться в Москве.

Осень была несчастьем.

Еще приезжали на выходные в сентябре, сгребали листву, копали под зиму грядки, обрезали смородину и малину, сажали чеснок, срывали с деревьев последнюю антоновку и штрейфлинг, собирали с усыпанных иголками веток облепиху, запах которой сводил с ума мышей, и те начинали метаться по холодной террасе. Но уже не ночевали и запирали дом до весны, убирали посуду и снимали занавески, разве что однажды в феврале или в марте вместе с папой выбирали солнечный день, на лыжах пробирались по метровому снегу, усеянному заячьими следами, к мерзлому дому, пили из термоса сладкий, быстро остывавший на холоде чай и скидывали с крыши снег. А потом Колюня прыгал до обморока с трехметровой высоты в глубокие сугробы, на обратном пути, когда смеркалось и становилось зябко, глядел на садившееся в голые ветви садов зеленое солнце, и было жаль возвращаться, жить в городе, жаль этих месяцев, что бездарно и безрадостно съедали три четверти года.

5

Время в Москве шло медленно, и мальчик заполнял его тем, что уныло ходил в школу, занимался спортивной гимнастикой, настольным теннисом и фехтованием, собирал марки и макулатуру, учился на четверки и пятерки, читал книги, проводил политинформации, сочинял продолжение к «Незнайке на Луне», исписав первым литературным опытом толстую тетрадку, придумывал истории про свои героические похождения, а еще по примеру старшей сестры и велению родителей стал работать в школьном музее боевой славы воинской части 9903, которая во время войны засылала группы диверсантов за линию фронта и среди них Зою Космодемьянскую. Он был так занят, что не хватало времени гулять, и в пятом классе, члена совета дружины, его не взяли из-за худобы и зеленого цвета лица в специально отобранную из отличников и хорошистов цветочную группу, поздравлявшую на сцене Дворца съездов в Кремле Центральный комитет партии.

Кормилица бабушка страдала и считала виноватой во всем себя, пропагандист отец хмурился, озабоченный не ясной сыну думой, куда более глубокой, чем о самом субтильном Колюнчике с его отдельной, несчастливой и несправедливой судьбой, но так и не поднял бунта. А его хилого отпрыска, забраковав, но не решаясь или жадничая отослать вовсе, загнали вместо сцены на самый верхний балкон, где сидели, наверное, такие же бедолаги партийцы, не заслужившие более достойного места под коммунистическим светильником. Вместе с ними грустный мальчик глядел на преуспевших лицом и телом, раскрасневшихся, раскормленных одноклассников в синих шортах и белых рубашках, под звуки горна и стук барабанов с цветами поздравлявших на торжественном заседании, посвященном тридцатилетию победы над фашистской Германией, товарищей Брежнева, Андропова, Подгорного, Громыко, Косыгина, Суслова, Капитонова, Деми-

чева, Соломенцева, Гришина, Романова, Гречко и других, а после того возбужденно обсуждавших, кому какой член Политбюро, ЦК или кандидат в члены достался.

В раздевалке громко и ревниво дети спорили, кто из этих дяденек главнее, бледная, как Колюня, старшая пионервожатая Таня торопилась поскорее увести мальчиков и девочек на улицу и сдать на руки родителям, и отвергнутый, к тому же влюбленный в Таню ребенок слегка запереживал, оттого что не может поучаствовать в этом занимательном споре.

Вообще-то он не слишком расстроился из-за первого общественного поражения, однако ему были неприятны насмешки, странные взгляды учителей, их смущение и неуверенность — да ведь он ни о чем и не просил. Он больше переживал за огорченных родителей и не стал задавать вопросов, на которые даже папа не смог бы найти ответа, разве что дядя Глеб, а еще вернее хорошо знавший, что такое хорошо и что такое плохо, высокий дядя Степа Маяковский, чей стих «Блек энд уайт» матушка любила цитировать по всякому поводу, а особенно в тех случаях, когда у нее что-то не ладилось.

Потом опять началось лето, круглая физиономия быстро порозовела и загорела, он ел свежие яички и жадно пил коровье молоко, которые по великому блату, по праву старожила удавалось брать бабушке у деревенской старухи тети Маши, ибо, хотя теперь никто не ограничивал крестьян ни в коровах, ни в кормах, возиться с худобой и птицей они не желали.

Но все, чем Колюня жил до этого, ему наскучило, включая и занудную пионерскую работу, и сбор макулатуры, и совещания в пионерской комнате у красивой Тани, и сама она, и составление плана-сетки, жуткого бюрократического документа, предполагавшего, что каждый день жизни совребенка должен быть ознаменован общественным мероприятием, а отвечать за все должен лично председатель совета отряда, отчего не позеленеть, а почернеть было впору. И шефство над первоклассниками, и бодрые пионерские линейки в актовом зале на пятом этаже, и даже встречи с ветеранами войны — бодрыми женщинами предпенсионного возраста, которые глядели на старательного и бедно одетого пионера жалеючи, норовили хорошенько накормить и громким шепотом говорили, что всю правду про диверсионщиков знает только один человек — их командир генерал Артур Карлович Спрогис, однако неприступный и угрюмый латышский стрелок, охранявший некогда кремлевский кабинет Ильича и проживавший теперь в номенклатурной квартире в Большом Гнездниковском переулке прямо под редакцией пухленького журнала «Вопросы литературы», школьной поисковой группой и рядовыми бойцами соединения брезговал, на традиционные ежегодные собрания 6 декабря не приходил и никаких тайн ни детям, ни их одинокой учительнице, хозяйке музея Ольге Алексеевне Гурычевой не открывал. И тогда Колюня заскучал, ему надоело таскаться к ветеранам после уроков с портативным магнитофоном на другой конец Москвы, а потом часами, словно над домашним заданием, сидеть и расшифровывать пленки с воспоминаниями, где война была совсем не похожа на ту, какой ее показывали в кино, вовсе не героическая, не красивая, а печальная и скучная, как сами мемуаристы и мемуаристки.

До лета было так далеко, а детская душа жаждала праздничного, не подернутого пылью обыденности, дискриминированный по цвету лица Колюня томился от автозаводской рутины и однообразия и, спасаясь от них, принялся учить экзотический революционный язык в странном заведении под названием Клуб интернациональной дружбы во Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах.

Правда, Куба с заматеревшим Фиделем показалась ему скучноватой, чем-то похожей на музей былой партизанской славы, и Колюниной любовью стала таинственная Чили; в приземистом, широко раскинувшемся здании детского дворца, возле зимнего сада под стеклянной крышей, где рос-

ли тропические деревья и имелся небольшой пруд с зеленой водой и усеянным монетками дном, а вокруг прогуливались надменные и бойкие девицы, оценивающе разглядывая всех мимо проходивших, он быстро освоился, полюбил сидеть за длинным столом из мягкого желтого дерева, на котором шариковыми ручками было написано со смешно перевернутыми восклицательными знаками впереди лозунгов «¡Viva Chile!» или «¡Che Guevara presente!»[1], и, хотя был самым маленьким, делал успехи по языку, учил стихи испанского символиста Густаво Адольфо Беккера, никарагуанца Рубена Дарио и кубинца Хосе Марти, на равных с девятиклассницами спорил о левом революционном движении, партизанской войне герилье, майоре Эрнесто Геваре с молодыми латиноамериканцами, приезжавшими учиться в Высших партийной, комсомольской или профсоюзной школах, и совсем не подозревал, что через много лет его любимый бескорыстный авантюрист Че, отказавшийся от министерских почестей и привилегий на Кубе и избравший смерть в душных боливийских лесах, станет символом торговой эпохи в России, и удачливый Колюнин ровесник налепит изображение родного лица на глянцевую обложку своей неряшливой книги.

Этой книги он так и не прочтет и не замутит в душе образ не искавшего личной выгоды аргентинского астматика, но зато на всю жизнь запомнит прочитанные от корки до корки серьезные политические труды про революционный процесс в странах третьего мира, биографии великих революционеров в серии «Жизнь замечательных людей», путевые заметки и чилийские впечатления побывавших на противоположном краю земли по линии общества дружбы двух своих соотечественников: хилого драматурга и крупного союзписательского начальника и главного редактора «Огонька» Анатолия Софронова и написавшей поэму про Зою Космодемьянскую старенькой поэтессы Маргариты Алигер.

Зимними вечерами Колюня смотрел по многу раз чилийские фильмы Романа Кармена, ходил вместе с мамой на дешевый мелодраматический спектакль по пьесе Генриха Боровика «Интервью в Буэнос-Айресе» в Театр Маяковского и на очень крепкую пьесу «Неоконченный диалог» в Театр Вахтангова, где Юрий Яковлев великолепно играл Альенде, а другой, позабытый актер, чуть хуже Че Гевару, и двое великих спорили, какой путь — мирный или военный — лучше для революции избрать, матушка скучала, но ради сына все терпела, а отзывчивое сердце самого маленького в зале зрителя разрывалось, не зная, кому из героев отдать предпочтение; еще он носил самодельные круглые значки за тридцать пять копеек, из которых вынимал дурацкие картинки с волком из «Ну, погоди!» или Карлсоном и вставлял вместо них флаг с белой звездой, портрет Луиса Корвалана или Виктора Хары, тщетно надеясь найти в толпе московских подростков с красно-белыми шапками и шарфами хотя бы одного единомышленника. Знал историю любимой страны, имена всех ее президентов и названия политических партий и написал реферат об истории Союза коммунистической молодежи Чили, который зачитал при большом стечении народа в день юного героя-антифашиста 8 февраля.

В дом не разрешалось приводить иностранцев, и никому нельзя было рассказывать, где работает папа, потому что сам факт существования загадочного учреждения, надзиравшего за тайнами в печатной продукции, был еще более страшной тайной и публично отрицался, но все равно Колюнчик переписывался с кубинцем Рубио и с чилийской девочкой Валерией Леппе, жившей после изгнания с родины в финском городе со смешным названием Карккила, засматривался на темненькую кареглазую испаночку Лену Висенс из эмигрантской семьи в третьем поколении, ходившую к ним в группу учить язык предков и впоследствии писавшую заметки в

[1] Да здравствует Чили! Че Гевара с нами! *(исп.)*

буржуазной газете «Сегодня», обмирал, глядя на свою молодую, хорошенькую и очень талантливую преподавательницу Елену Эммануиловну, подрабатывавшую во Дворце пионеров студентку филфака МГУ, ревнуя ее к более взрослым мальчикам, с которыми та легкомысленно и изящно заигрывала.

Над скрипучим топчанчиком в беляевской квартирке висела теперь карта не СССР, а Латинской Америки, и, как некогда названия сибирских и дальневосточных речек и озер, пионер жадно вбирал в себя названия далеких чилийских городов — Пуэрто-Монт, Вальпараисо, Пунта-Аренас, Консепсьон и Пуэбло-Ундидо, а под Новый год, чокаясь лимонадом с родительским шампанским, загадывал заветное желание: пусть в Чили победит революция и будет уничтожен проклятый убийца генерал в темных очках.

6

Однако проходила долгая московская зима, наступала весна, а из такой невыносимо далекой страны, что не только день и ночь, но даже времена года в ней были противоположны московским сезонам, доносились вести про новые расстрелы и аресты, тайную полицию DINA, убийство в Америке политэмигранта Орландо Летельера, про пытки английской медсестры Шейлы Кессиди, отозвавшиеся кровожадному диктатору много лет спустя позором на родине несчастной женщины, про подпольные съезды левых партий и споры о тактике борьбы с тиранией.

Колюня знал, что самая правильная из этих партий — Коммунистическая во главе с верным ленинцем Луисом Корваланом, но сердцу были ближе «миристы», единственные, кто продолжали оказывать вооруженное сопротивление фашистам и даже угнали на Кубу один из чилийских самолетов. Дитяти тоже хотелось стрелять, для чего оно записалось в школьный тир к отставному подполковнику, предводителю военных зарниц Михаилу Дмитриевичу, транжирило свинцовые пульки, паля из духовушки из положения лежа по круглым мишеням и попадая почти всегда в «молоко», пока военруку это безобразие не надоело, и Колюня был тихо из тира изгнан. Но все равно, трясясь в купавинской электричке, маленький писатель сочинял теперь сказания не про спортсменов и космонавтов, а про то, как перенесется вместе с прелестной маэстрой в Чили, где никто и ничто уже не помешает их возвышенной дружбе-любви, совершит сотни подвигов, какие не снились даже Артуру Спрогису и его подчиненным, освободит всех узников и страждущих людей, после чего в последнем бою с врагами отдаст за свободу далекой страны молодую жизнь, станет бессмертен и популярен, как команданте Че, а безутешная темноволосая женщина, дочь самого древнего, скорбного и мудрого на Земле народа, будет оплакивать до конца дней юного ученика, носить траур и водить экскурсии на место его героической гибели.

С той милой и очаровательной женщиной, которая так вскружила мальчику голову и давно уже не играла, но лишь с улыбкой наблюдала, как играют в революционные мениппеи подрастающие детки и пела им на гитаре нежные мексиканские песенки, стараясь увести в страну весенней любви, Колюня сделался на много лет необыкновенно дружен, часто бывал у нее в ветреном Теплом Стане, а потом и вовсе по соседству на целый год поселился, и о чем только не переговорили ученик и учительница долгими зимними вечерами, вспоминая без обиды и огорчения странноватое детство и обсуждая тревожную университетскую молодость, научный городок Пущино на реке Оке, замечательную преподавательницу испанского языка Марию Луису, бабушку Лены Висенс, блистательную плеяду талантливых филфаковских мальчиков конца семидесятых годов и шумные университетские капустники. И хотя в тех разговорах, равно как и в самих

обожаемых учительницей говорливых филологах, было слишком много ненужного, вычурного и пустого, не сразу мог юноша с затуманенной головой распознать, из тех частных эпизодов и нечаянных встреч складывалась, надвигалась и дразнила Колюню сама будущая судьба.

Но, впрочем, все это относилось ко временам гораздо более поздним, насмешливым, сомнительным и скользким, дух Купавны никак не затрагивающим и оттого неинтересным, в те же простодушные и доверчивые годы сильнее всего пылкий ребенок любил, когда к ним в пионерский дворец, в это чудо света, подобного которому не было ни в одной стране, приходили на митинги солидарности студенты из Второго московского университета.

Соединенный с основным зданием детского замка стеклянным переходом концертный зал, напоминавший в миниатюре Кремлевский Дворец съездов, наполнялся гулом трескучей испанской речи, произносились звонкие слова, которые пронзительным высоким голосочком переводила со сцены президент КИДа — худенькая, с мелкими и невыразительными чертами лица девушка Лола, под грохот аплодисментов выходил на сцену ансамбль чилийских студентов «Лаутарос», и толпа возбужденных латинов начинала скандировать:

— Чиле — си, джянки — но, Чиле — си, джянки — но![2] — И Колюня орал вместе с ними, так что сердце таяло от восторга.

Вслед за этим в зал бросалась следующая, еще более торжественная и патетичная, речевка:

— Эль пуэбло унидо — хама́с сэра́ венсидо! Эль пуэбло унидо — хама́с сэра́ венсидо![3]

Гул нарастал, звучала потрясающе красивая песня, зал подпевал, и, когда она кончалась, кто-то опять кричал с нечеловеческим надрывом:

— Ком-па-ань-йэ-ро-о Саль-вадо-ор Айжендэ-э! — Голос обрывался на высокой ноте — и весь зал, словно ухая вниз с ледяной горы, в экстазе отзывался:

— Прэсэнтэ-э!

Еще отчаяннее, уже за пределом мыслимого порога пухленький толстогубый солист, сложив руки у рта, вырывал из охрипшего, с набухшими жилами горла:

— Аора-а!

— И съемпрэ-э! — ревел как один человек восторженный зал.

— Аора-а!

— И съемпрэ-э!

Что означало — товарищ Сальвадор Альенде с нами, не умер, бессмертен. Сейчас и всегда. Сейчас и всегда.

Вместе с этой родной, любимой толпой Колюня требовал свободу Луису Корвалану, Хорхе Муньосу и всем политзаключенным и только жалел, что никак не похож на латиноамериканца, и чернявые парни в малиновых рубашках чилийского комсомола, чье испанское название *хота-хота сэ-сэ* звучало так трогательно и красиво, не то что казенное *Вэ-эл-ка-эс-эм,* и куда Колюня с гораздо большей радостью готовился бы вступать, но толстые красивые девушки с медными лицами, в разноцветных пончо не признают его за своего и удивленно смотрят на восторженно кричащего вместе с ними маленького альбиноса.

А когда в завьюженном декабре семьдесят шестого года, опередив Колюню, Корвалана неожиданно, невероятно освободили из концлагеря на Огненной Земле, и об этом торжественно, прервав обыденные программы, как если бы был запущен очередной пилотируемый космический корабль, заговорили по телевизору и радио, тринадцатилетний мальчик, стыдясь

---

[2] Чили — да, янки — нет! *(исп.)*

[3] Объединенный народ никогда не будет побежден! *(исп.)*

слез, заплакал, но не от ревности, а от счастья и печали, что до заветного дня не дожил хрупкий сын Корвалана Луис Альберто, узник другого, еще более страшного концлагеря на противоположном безлюдном северном конце страны в Чакабуко, за год до своей ранней смерти приезжавший к ним в КИД и по согласованию с ЦК принятый в почетные пионеры.

Сама растроганная до слез, испанская учительница плачущего пионера утешала, а потом вместе с другими кидовцами Колюня поехал на Арбат, в Плотников переулок, в маленькую партийную гостиницу без вывески, где якобы жил Корвалан.

В особняк с пальмами и бассейном детей не пустили, однако Колюня был все равно счастлив, и единственное, чего не понимал, так это почему все вокруг говорят вполголоса про какого-то Буковского, на которого, оказывается, обменяли товарища Корвалана в честь семидесятилетия Леонида Ильича Брежнева. При чем тут и Брежнев, и Буковский и что значит обменяли? — не трехкомнатная же квартира на первом этаже со смежными комнатами из маминого бюллетеня по обмену жилой площади el secretario general del Comité Central del Partido comunista de Chile[4], — хотя глядеть, как обнимается тоненький нежный Лучо с дряхлеющим шамкающим юбиляром и огромный бровастый дядя, которому вручала глупая Колюнина одноклассница с белым бантом цветы и на нее потом приходила смотреть вся школа и растерянно таращились учителя, снисходительно, по-хозяйски хлопает по спине маленького, будто выкупленного из рабства и подаренного барину на день рождения чилийца, говорит ему «ты», а тот в ответ, смущенно улыбаясь: «Vuestra merced»[5], было досадно.

Но это неприятное чувство Колюня быстро давил и летал по улицам города, недоумевая, отчего не разделяют его восторга ни незнакомые люди, ни домашние, а, напротив, высказывают некоторое беспокойство в связи с Колюниным энтузиазмом, посмеивается дядюшка Глеб, коммунист папа старается перевести разговор на другие темы и даже невозмутимая матушка качает головой, после того как ее ненаглядный сыночек в школьном сочинении по известной картине Серова отказался описывать раскрасневшуюся, непоседливую Веру Саввишну Мамонтову, поскольку она изволит кушать персики, в то время как простой народ голодает.

Наступило следующее лето, удивленно глядели на Колюню мальчики с дачной улицы, не понимали, что с ним опять стряслось, крутили пальцем у виска, присвистывали и насмехались, как давно смеялись над юным интернационалистом в школе, где Луис Корвалан был таким же скучным, лживым и бессмысленным персонажем, как и прочие герои пионерской пропаганды и поэтических композиций «Чили с нами!», которыми славянским детям забивали головы, но не сердца.

Я проснулся утром рано,
Нет Луиса Корвалана, —

повторяли нараспев школьницы и дачники, звали любимый Колюнин Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы на улице Миклухо-Маклая обезьянником, и Колюнчик на них сердился, топал ногами, бледнел, говорил и делал много такого, за что его можно было бы жестоко высмеять и изгнать, но всякий раз мальчиков что-то останавливало, и юного чилефила держали за блаженненького, за дурачка, которому позволено то, чего стыдились другие.

Колюня ничего не замечал, любил пылающий континент, его сердце было открыто всему, и он был готов принять за свою любовь какое угодно

---

[4] Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Чили *(исп.)*.

[5] Вежливая форма обращения в испанском языке.

страдание от малолетних гонителей, дрожащим голосом рассказывая им летним полднем на берегу застывшей судьбоносной Камышовки про Чили, ее отказавшегося улететь после путча в другую страну и погибшего с оружием в руках народного президента, он считал долгом приблизить к снежной, дачной Советской России далекую гористую страну, чье несклоняемое и неизвестно какого рода название переводилось на русский язык как «жгучий перец».

Но вот историю о том, как идеологически выдержанный Луис Корвалан вместе с легендарным парагвайским аристократом Антонио Майданой, отсидевшим в стреснеровской тюрьме больше двадцати лет, и уругвайским интеллектуалом Роднеем Арисменди таки приехали к ним во Дворец пионеров и Колюня пожимал всей коминтерновской троице руку и водил по длинным этажам чудесного детского замка, передавал скомканно и нехотя.

Они появились на пороге заведения неожиданно, маленький, остроносый и сильно загорелый Корвалан с жесткими седыми усами, одетый в новенькую партийную дубленку и пыжиковую шапку и чем-то похожий на деда Николая Петровича, был мрачен, выглядел затравленно и смотрел на окруживших его, лопочущих по-испански и старательно заменявших мягкое кастильское «элье» на жесткое южноамериканское «дж» мальчиков и девочек в белых рубашках с золотыми пуговками и красных галстуках неприязненно, ни разу не улыбнулся и ни о чем не спросил, и холодность человека, которого столько раз видел Колюня по телевизору, на фотографиях в газетах и в кино и за которого не задумываясь отдал бы жизнь, невероятно поразила и оскорбила юного революционера. Он не мог ничего понять и ни во что поверить — этому нежданному часу суждено было стать звездным в Колюниной жизни, мальчик должен был все рассказать про свою любовь, но Корвалан со товарищи, бегло оглядевшись по сторонам, заторопились, никаких речей произносить не стали и скрылись в черной машине с занавешенными окнами.

А после этого Лучо надолго исчез, хотя здесь, в Москве, остались как две заложницы его дочери: изящная, в отца, балерина Вивьен и крупная, в мать, старшеклассница Мария Виктория, и только много позднее, когда образ Корвалана, подобно страху смерти, затерялся в безднах памяти, из занимательной статьи в «Комсомольской правде» про гэбистских гримеров неожиданно выяснилось и легонько укололо сердце, что, оказывается, изменив до неузнаваемости внешность, интеллигентный чилийский генсек уехал на родину делать революцию, так и не прихватив с собой Колюню, как когда-то не взял его в поход дядюшка Глеб.

(Окончание следует.)

ИЛЬЯ ФАЛИКОВ

*

ЗА КРЕПОСТНОЙ СТЕНОЙ...

Даль

Эти литеры, яти эти, вся Россия от Аз до Я —
синий лес, корневые сети прямоствольного Бытия.
Из ковыльных великолепий, серебрящихся до небес,
вышел выше Великой Степи заколдованный русский лес.
Хоровое пространство птичье.
Хвойнолиственная молва.
Сокол, плачущий по добыче, —
Слово, пролитое в слова.
Муж и Муза гнездятся рядом,
око в око, рука в руке,
и пожаром за плац-парадом
Смута пляшет невдалеке.

Это ходит старик высокий с вящим отсветом на лице,
вещий лекарь, таящий сроки Солнца в самом его конце.
Проходя по железной коже колокольного языка
мертвой зыбью, идет, похожий на луганского казака.
Не похожи такие лица
на мясистый снаряд во рту —
золотая садится птица
на коломенскую версту.
Во Вселенной, чужой и нищей,
на просторе семи небес
нет венца лучевого чище,
чем его золотой обрез.

* *
*

Памяти Андрея Сергеева.

На пешеходном переходе сидит все время эта птица —
привычно при любой погоде ей в черном зеркале светиться,
и в лобовом стекле, разбитом ее большим воображеньем,
она над мрамором-гранитом
кричит с присущим вдохновеньем.

Фаликов Илья Зиновьевич родился в 1942 году во Владивостоке. Окончил филологический факультет Дальневосточного государственного университета. Среди восьми изданных им книг — «Ель» (1982), «Месяц гнезд» (1986), «Ласточкино лето» (1990). Живет в Москве.

Ей слышится любой прохожий, предвосхитивший непогоду,
ведь каждый вечер непогожий знаком любому пешеходу,
как чернокнижный пух вороний, как пах частушечной цыганки,
и вороные скачут кони
в снегах, где ты волочишь санки.

На санках едет запах рынка, столь нужный для семьи и дома,
пожизненна твоя волынка, и лямка мне твоя знакома,
и, если я кивнуть успею или словцо из сердца выжать,
то уличному ротозею
удастся уцелеть и выжить.

Но плохо видит свет зеленый и дальнозорка башня Брюса,
необязательны поклоны в снегах московского улуса,
и азиатчина густая с Дорогомиловского рынка,
на Сухаревку набегая,
летит, как конная Ордынка.

Она тебя и переедет на пешеходном переходе,
где звездочет о звездах бредит, толмач — о точном переводе,
и Див темнит, прокыча дивно над площадными матюгами.
Снег летописью конспективной
белеет в коллективном гаме.

Москва не так еще тосклива, чтоб, долистав свои страницы,
под джипом на глазах у Склифа полечь от клюва вещей птицы
и тихо в призрачные дали уйти в белопростынных ризах.
Однако нас предупреждали
о климатических капризах.

Но ты успел не обознаться в далеких изумленных лицах,
на вздохе нового абзаца сыграть пиесу в разных лицах,
психоделическими снами делясь, зазвав ее в беседку,
с каменой, вздорной временами,
пешком проделать кругосветку.

* *
*

На неполучающейся прозе
душу отведу,
постою, поплачу на морозе,
окажусь во льду,
как полузабытая колонка
или чахлый куст,
а зима опухла, ждет ребенка,
взгляд ее не пуст.

Нет, не акушером-самоучкой
что-то там приму —
я обучен музой-белоручкой,
кажется, всему.
Все я понимаю в этом деле,
в этой чехарде.
Густо жил. А вы чего хотели?
Каши на воде?

На снегу гусином и лебяжьем
жизнь произошла
и прошла, и виду не покажем,
и уйдем в дела,
каковых в посмертии немало, —
шевелись, не ной
и катись за славой запоздалой
с горки ледяной.

* *
*

На втором этаже пустота.
Этажерка хрома и чиста —
только матушкин фикус поник
над рядами истопленных книг.

А на первый этаж, гомоня,
злоба дня затолкала меня.
Желтизной ежедневных газет
отдает отдаленный рассвет.

Вся надежда — на тайный подвал,
где какой-то писец побывал,
тепля свечку в ночи бытия.
Двухэтажная память моя.

Памяти Луговского

Гусь, у которого горло забито песком.
Песня варяга, и профиль его на щите,
вбитом в песчаник.
Русь, по которой гуляют басмач и ревком.
Стаи русалок, закатанных по простоте
в битум, печальник.

Есть на лице моем место: лети и садись,
черная кряква, чирок, шилохвость и кулик,
чернеть, лысуха.
Ясень и пихта, фиалковый корень и тис,
лотос подземных озер, золотой сердолик
в органе слуха.

Лебедь-кликун заселяет мое зимовьё,
сокол-сапсан обручает Сихотэ-Алинь
с синей пучиной.
Все это дело мое, не твое, а мое.
Если немного твое, то похоже на клин
стаи гусиной.

Коллекционным оружием грянем хвалу
нищему ветру, плутая по грани земли,
как молокане.
Мордой возили и нас по чужому столу.
И государственный пыльник в базарной пыли
на великане.

Нечего мне процитировать — точит слезу
сердце, набитое ритмами со стороны
Азии Средней.
Мы недоели морошки — в дремучем лесу
буйные крики летят из кремлевской стены,
пьяные бредни.

Честный язык, намоловший немало вранья,
шаг по брусчатке, впечатанный в камень сырой,
горькое горе.
Сколок погибшего слова под сердцем храня,
около рынка по воздуху шарю рукой
в северном море.

Высокий берег

Свою чеканили монету, хлеб в метрополию везли,
по вечному скучали лету на северном конце земли.
Цикорий цвел, изнемогая от блеска бронзовых зеркал, —
сияй, Горгиппия родная!
И козы блеяли со скал.

Над морем сероводородным звенел закатный алый шар,
и на ветру международном лес полыхал, шумел базар.
Гремели орды лавой конной по раскаленному песку
и женщин с грудью обнаженной
прихватывали на скаку.

О преходящих непогодах высокий берег умолчит,
и о шести моих походах[1] молчит кладбищенский гранит.
Но говорят аборигены о новых дырках на ремне,
и спорит скарабей священный
с навозным братом — обо мне.

При мне рожает мать-природа, раздвинув лядвии свои.
Язык ушедшего народа поет, как в море соловьи.
Пчела с цикадным подголоском под Марриконе запоет,
и тутошним беленым воском
залепит уши мореход.

За крепостной стеной домашней сдается комната в любой
разрушенной турецкой башне, встающей в дымке голубой.
Хвала шести моим походам за то, что я еще могу
меж кладбищем и винзаводом
жить на высоком берегу.

---

[1] Российские походы в Причерноморье 1788, 1790, 1791, 1807, 1809, 1829 годов.

* *
*

Это посох в спине суковатый,
или воздух, спрессованный в мозг,
или кровельщик сходит крылатый
под Кремлем на дырявый киоск —
сизокрылый ремонтник, воркуя,
пресловутый сизарь повторит
скрытый смысл твоего поцелуя:
— Ничего, подождем, не горит.

Это память, на Лобное место
бросив опытный взгляд на ходу,
старой брошенкой, вечной невестой
в Александровском бродит саду.
Я клянусь тебе кайрой убитой,
я ручаюсь вороной живой,
что не рухнет с небесной орбиты
камень, схожий с моей головой.

НИКОЛАЙ БАЙТОВ

*

СУД ПАРИСА

Повесть

Рассказывает Валерий Вениаминович В. Я не знаю, верить ему или не верить. Он странный. Иногда и не поймешь, о чем он говорит: волнуется, начинает глотать слова или бормочет что-то бессвязное, как во сне. А то остановится и молчит несколько минут, глядя испуганно на что-то за спиной, за затылком собеседника, и тому опять приходится думать, что Валерий Вениаминович заснул внезапно с открытыми глазами прямо посреди рассказа. Задашь ему вопрос — он: «А? Что? — Начинает вспоминать: — Я хотел... какое-то слово... вылетело из головы»... — и в результате вдруг вспоминает что-то совершенно другое, о чем вроде бы и не собирался говорить...

Рассказ записан на магнитофон. Я передаю его по возможности плавно, без перескоков, стараясь домыслить, интерполировать связи между фрагментами. В тех случаях, когда это затруднительно, я ставлю в скобках свои собственные пояснения.

— Я не покупал в жизни мебель ни разу. И вообще мало покупал. Еду, одежду, книги — вот и все. И то — одежду редко. Не помню, чтобы я когда-нибудь бывал в мебельном магазине... Нет, не бывал... Та мебель, что у меня дома, вся досталась по наследству. В основном от родителей. И от жены покойной... Не понимаю, зачем люди мебель покупают. Ведь она и так имеется, окружает нас. Если нам кажется, что она устарела, выкидываем ее, — это значит, что она не срослась с нами. Скажем, не составляла часть нашей жизни. То есть, собственно, мы ею не владели по-настоящему. Какой же смысл? — мы и новой точно так же не будем владеть, потому что не получили навыка. А если мы постоянно что-то выбрасываем и заменяем, то, значит, мы не имеем и жилища! Это все равно, что жить в гостинице. Пожил в одной гостинице год, допустим, — переехал в другую. Потом в третью... Вот Набоков под конец жизни жил в гостинице. Наверное, ему как-то нравилось, что все — не свое. И то он прожил, кажется, несколько лет на одном месте. Десяток, что ли, лет... Или больше.

Так я зашел в этот магазин и остолбенел — настолько мне все там показалось странным. А меня должна была встретить женщина. Я позвонил ей. Она работала там главным бухгалтером. Ирина Сергеевна. Договорились, что я подойду к семи. Она заканчивала работу. Я должен был ей передать большую сумму денег от ее бывшего мужа и еще кое-что сообщить на словах. Посредническая такая миссия. В общем-то, примирительная... Поэтому она не хотела встречаться на улице или в метро, сказала, что в магазине будет удобней. Мы раньше никогда друг друга не видели. Описал

Байтов Николай Владимирович родился в 1951 году. Образование — высшее математическое. Автор сборника стихов «Равновесие разногласий» и прозаической книги «Прошлое в умозрениях и документах». Публиковался в журналах «Знамя», «Лепта» и др. Живет в Москве. В «Новом мире» печатается впервые.

ей, как я выгляжу, она тоже примерно... только просила, чтоб я никого не спрашивал, она сама выйдет. И вот я зашел, оглядываюсь по сторонам...

(А надо видеть Валерия Вениаминовича. Если не знать, что у него двухкомнатная квартира, которая вся представляет собой его кабинет, то можно принять его за бомжа. Одет в какой-то потертый бушлатик со сломанной молнией, штаны неопределенного цвета, с мешками на коленках, грубые башмаки со шнурками, порванными много раз, растрепанными и кое-как связанными... Лет ему шестьдесят или немного больше. Его жена умерла давно. Дети разъехались, двое, оба где-то за границей. Лицо обрамляет жидкая серая бородка и волосы, свалявшиеся большими клоками. Подумаешь, что он спит всегда одетый. Хотя он почти не пьет. Курит только много. Непонятно, кто стирает ему одежду...)

— Оглядываюсь по сторонам. Меня как-то ослепило... Ищу кого-нибудь наподобие Ирины Сергеевны, а ко мне подходит молодой человек. Я потом понял, что он там вроде швейцара. Говорит: «Здесь мебельный салон». — «Да, я знаю», — говорю. Он смотрит, помолчал. Потом спрашивает: «Хотите что-нибудь купить?» А мне неудобно называть Ирину Сергеевну, потому что она специально просила, чтобы не было никаких... Я говорю: «Да, возможно. Я хочу посмотреть... Не исключено, что я что-нибудь...» — в таком роде. И он начинает говорить в радиотелефон, который у него в руке, — что́ — я не разобрал. А потом — мне: «Вы можете подождать тут минуту? Сейчас к вам выйдут и обслужат». Ну хорошо. Я стою. Что еще делать? Ирина Сергеевна не показывается. Вообще народу нет... И вдруг выходят несколько мужчин, и все прямо ко мне. Один несет телекамеру. Другой протягивает мне руку, и тут уже телекамера начинает снимать. Он говорит: «Мы рады вас приветствовать в нашем салоне. Я — директор, меня зовут... Забыл, как он назвался, потому что я не сразу понял, что происходит. — А ваше как имя-отчество?... Ну вот, Валерий Вениаминович, хочу сообщить вам, что у нас сегодня праздник. Вы — наш тысячный покупатель. И по этому поводу позвольте...» Ну, я мнусь: «Постойте, я еще, может быть, ничего не куплю». — «Это не важно. Главное, что вы обратились к нам за разрешением каких-то проблем вашей обстановки. Так я понимаю? И конечно, мы сделаем все возможное... Но сначала позвольте вам задать несколько вопросов для телевидения. Скажите, Валерий Вениаминович, вы обставляете новую квартиру? Вы купили квартиру себе или своим детям?» — «Нет, квартира у меня старая. Дети живут отдельно»... — «Так. Значит, вы решили обстановку немного подновить, она вам надоела? Или поменять всю сразу?» Но я плохо вникаю в смысл того, что он говорит, потому что, во-первых, все не вижу той женщины, Ирины Сергеевны, а во-вторых, позади директора стоят еще трое мужчин, которые начинают перешептываться, причем как-то злобно, и у меня чувство, что вот-вот должен начаться скандал или что-то такое. Мне неприятно, и не могу собраться с мыслями. «Нет, — говорю, — обстановку менять... Дело в том, что когда долго живешь... а я живу в своей квартире сорок лет без малого... жилище становится частью тебя самого, оно облегает тебя — привычно, комфортно. Даже если были какие-то неудобства, то постепенно они превращаются в удобства, и тебя раздражало бы, если б они вдруг исчезли... Я, например, мог бы ослепнуть и все равно уверенно действовать, передвигаться в своей квартире. А поменять что? — так к этому надо заново приноравливаться. Каждая новая вещь будет еще долго мешать, может быть, несколько лет, пока...» Я, видимо, сильно задумался, пока говорил все это. Вдруг замечаю, что у директора лицо постепенно киснет, кривится. Он пару раз взглянул на камеру с какой-то растерянной улыбкой. А позади него трое мужчин, напротив, перестали шепотом переругиваться и уставились на меня очень внимательно. И потом они опять взглянули друг на друга, и один сделал из пальцев кольцо. Вот так: большой соединил с указательным. Не знаю, что это означает... Только снова у меня началось

беспокойство, мысль потерялась, я замолчал... Директор к ним почему-то обернулся на мгновение — и опять ко мне: «Ну что ж, Валерий Вениаминович, вы излагаете нам очень оригинальную точку зрения. Настоящую философию жилища. Здесь есть над чем подумать психологам. И я думаю, что в скором времени нашему салону обязательно придется пригласить на работу профессионального психолога. Без этого не обойтись. Итак, насколько я вас понял, вы хотели бы найти у нас какой-нибудь предмет, который, так сказать, максимально вписывался бы в конфигурацию вашего жилища, продолжал, так сказать, гармонию, которая складывалась в течение десятилетий. Так?» — «Ну, пожалуй, — говорю я, — да, это было бы...» — «Что ж. Назовите, что именно вас интересует, и мы вместе подумаем». А мне как раз ничего в голову не приходит. Даже исчезли все названия мебели. Что делать? Мысленно представил себе квартиру и увидел груды книг на полу, на столе, которые уже никуда не помещаются. «Мне нужен книжный шкаф», — говорю. «Великолепно! — кричит директор. — Замечательно! — И хлопнул в ладоши: — Любочка! — Появилась девушка, продавщица, вероятно. — Любочка, вы сейчас проведете Валерия Вениаминовича и покажете ему наши книжные шкафы. У вас уже есть другие книжные шкафы, Валерий Вениаминович?» — «Да. Четыре шкафа старых. И еще стеллажи, которые я сам сделал». — «Вот как? А шкафы, наверное, прошлого века?» — «Не уверен. Но, должно быть, все же дореволюционные». — «Ну что ж. Антиквариата у нас нет. Но я думаю, что с помощью Любочки вы подберете себе что-нибудь подходящее. И тогда это будет подарок от нашей фирмы нашему тысячному покупателю в наш праздничный день». И Любочка мне улыбается, делает жест следовать за нею, и вся группа вместе с телекамерой начинает перемещаться от дверей в глубь салона, туда, где мебель выставлена...

(В общем, у них там какие-то «комплекты», как выразился В. В., которые они «не могут разъединять». Но в конце концов ему показывают шкаф, который лишний, что ли, у них в «комплекте».)

— ...Хороший. Мне понравился. Высокий, черный, с стеклянными дверцами. Любочка рассказывает, что он итальянский и из настоящего дерева. Как-то так она выразилась... Я не совсем понял, но постеснялся спросить. Похвалил этот шкаф. Стали оформлять мне доставку. Записали адрес. «Вы завтра будете дома?» — «Да, конечно». — «В первой половине вам привезут». А сам думаю: куда ж я его дену? Все забито. Потом догадался, что один стеллаж можно распилить поперек и поставить сверху на гардероб в два ряда, он влезет. А на его место шкаф... «Но праздник еще не кончился, — говорит директор, — он только начинается. Сейчас мы попросим вас, Валерий Вениаминович, быть судьей в конкурсе трех наших лучших продавщиц. Каждая из них проведет вас по всему салону, и вы должны будете оценить ее эрудицию и обаяние. И той, которая сумеет понравиться вам больше других, вы вручите приз нашей фирмы — вот это», — и протягивает мне небольшое яблоко. Даже маленькое. Но оно было, по-моему, из чистого золота. И такое изящное. Я подумал: «Прямо Фаберже!» — хотя я Фаберже ни разу не видел. Только в альбомах. «Вы, должно быть, очень начитанный человек, — продолжает директор. — Позвольте вас спросить: вам это ничего не напоминает?» — «Что?» — «Этот конкурс, это яблоко». — «Конечно, — говорю я. — Суд Париса». — «Вот именно! — восклицает и делает размашистый жест в сторону камеры. — Суд Париса! Древний античный миф о том, как три богини — Гера, Афина и Афродита — спорили, кто из них прекраснее. И разрешить этот спор должен был Парис, сын троянского коня... прошу прощения, ха-ха-ха! — сын троянского *царя*. Царя, конечно! Ха-ха-ха!» — «Однако, — отозвался я, потому что все это меня озадачило. — Ведь Парис был юноша и красавец. А я, можно сказать, старец. К тому же непритязательной наружности, как вы видите. При чем же тут... По-моему, это как-то...» — «Все отлично!

Все замечательно! Вы для нас самый красивый, потому что вы — наш тысячный покупатель. И что с того, что вы не молоды? Зато вы — мудрец, и вы уже доказали свою мудрость вашим тонким рассуждением о жилище. Это гораздо интереснее: ваш суд будет глубоким и оригинальным, я в этом не сомневаюсь!» — «Постойте, — прервал я, хмурясь все больше: совсем стало не по себе. — А вы отдаете себе отчет в том, что такие игры очень опасны?» — «Опасны? Что вы имеете в виду?» — «Вы забыли, что суд Париса повлек за собой колоссальные бедствия многих народов?» Это я сказал, совершенно не думая, что что-то может быть... И вдруг, к своему еще большему беспокойству, я вижу, что лицо директора опять киснет и начинает как-то мельтешить, увертываться. Правда, он сразу оправился, но от меня не укрылось... Да что ж такое?.. «Ну, в нашем случае нам нечего опасаться», — начинает он. «Все равно, — я настаиваю. — Всякое состязание порождается завистью, самой губительной из человеческих страстей. И всякое состязание, в свою очередь, порождает зависть. Это замкнутый круг! Зло увеличивается и нагнетает само себя посредством этого механизма...» — «Нет, ну зачем так, Валерий Вениаминович! — Директор окончательно взял себя в руки и снова пустился рассылать беззаботные улыбки то мне, то телекамере. — Вы слишком мрачно смотрите на вещи, позвольте вам заметить. Ведь зависть бывает черная, бывает белая, как сказал один поэт. Конечно, черную зависть мы будем гнать из своего сердца, мы ее не допустим. А белую — зачем же гнать? Она порождает состязание по-настоящему доброе, творческое. Без нее не было бы прогресса в человечестве. Вы не согласны со мной?» — «Ну, о прогрессе, господин директор, я не буду с вами спорить, потому что мы, наверное, разные вещи понимаем под этим словом...» — «Как бы там ни было, — он поспешил свернуть дискуссию, — я не сомневаюсь, что наше состязание, наш суд Париса, только поможет нашим соискательницам Золотого Яблока в совершенствовании их профессионального мастерства. И сейчас мы... Вот они, наши красавицы». И передо мной возникли три красавицы. «Оля. Илона. Альфия», — назвал их директор. Но я не успел понять, кто из них кто, потому что тут за спиной телевизионного оператора появилась женщина, с которой я должен был встретиться. Она была в пальто, как она описала, и с сумочкой. Я смотрел на нее, она на меня. Ее лицо было очень странным. Мало того, что оно было озабоченным и угрюмым, оно еще как бы отчаянно пыталось передать мне какое-то сообщение. Женщина даже сделала незаметный жест — сначала неопределенный, а потом быстро затрясла указательным пальцем возле своего правого уха. Это уж я понял однозначно как предостережение. «Ну что ж, Оля, — говорил в это время директор, — вы первая. Приступайте. Ведите нашего дорогого гостя, Валерия Вениаминовича, нашего философа...» Красавица плавно шагнула, протягивая мне руку... А у меня яблоко. Я переложил в левую, а правую так сомнамбулически ей навстречу... И тут в магазине погас свет.

...Движение кругом. Крики: «Опять!» — «Черт знает что такое!» — «Щиток, будь он неладен!» — «Коля!» — «Я здесь». — «Коля, быстро в подвал!.. Спички есть у тебя?» — «Есть. Я говорил, надо менять!» — «Говорил-говорил! Беги быстро... Зоя Львовна, свечи у меня в кабинете». — «Да, я сейчас...» — «Ключ, ключ возьмите! Вот он... Я здесь».

Посреди этой суматохи я стою — и чувствую, что меня кто-то нашаривает. Потом берет под руку — и шепот в самое ухо: «Валерий Вениаминович, это вы?» — «Да». — «Я Ирина Сергеевна. Только, ради Бога, ничего не говорите и слушайте внимательно. Мы с вами встретиться здесь не можем. Так получилось. Я сейчас ухожу. Вы тоже постарайтесь уйти как можно скорее. И я буду вас ждать на «Киевской-кольцевой» в центре зала... Только ни в коем случае... Вам, наверное, предложат подвезти вас на машине домой. Не соглашайтесь ни под каким видом. Это очень опасно! Ни под каким видом! Вы поняли меня? Только на метро!»

Я ничего не понял. Она исчезла. Тут принесли свечки из директорского кабинета, зажгли на столе... Потом приходит этот Коля: «Щиток сгорел напрочь, дотла... Я говорил, надо менять. Замкнуло...» — «Ну что ж теперь... Завтра сделаем...» А кто-то из мужчин: «Завтра? А кассовые аппараты? Будем терять день?» — «Хорошо, хорошо. Я сейчас позвоню. Попробуем сегодня... Вот только провожу гостя», — и директор поворачивается ко мне. И я вижу, что все разом отступили. Мы одни остались в освещенном месте, а остальные скрылись в тень и оттуда пристально смотрят. Как будто сначала забыли про меня, а теперь вспомнили. И опять такое страшное напряжение, что я даже чувствую всем телом... не дрожь, а — вот-вот готов задрожать. Директор меня ласково, успокоительно рукой коснулся: «Валерий Вениаминович, вы видите, как получилось нескладно. Из-за этой аварии все насмарку... Сорвался праздник! Вы знаете что... Я вас очень попрошу. Мы обязательно должны снять этот конкурс для телевидения. Вы можете прийти к нам завтра, допустим, в три часа дня? Мы бы закрыли магазин с обеда, провели конкурс, а потом устроили бы банкет...» — «Что?? — Я удивился, растерялся, испугался — не знаю, как сказать. — Завтра? Нет... Никак... Я буду занят... Никак... Вот возьмите». — «Что такое?» — директор смотрит на мою руку. А я протягиваю яблоко. И я вижу, как он меняется в лице. Он отскочил назад. И руки сразу за спину убрал. «Нет, я не возьму у вас!... Валерий Вениаминович, я вас умоляю! Оставьте яблоко у себя, и завтра вы проведете конкурс. Я вас готов чем угодно заклинать! Отложите все дела, перенесите...» — «Нет... Не получится... Если вы не возьмете яблоко, я его сюда вот, рядом со свечкой положу. У всех на виду...» Я сделал движение, но он кинулся ко мне и с силой обхватил за плечи. Зашептал: «Не делайте этого!.. Вы не представляете! Если только вы выпустите яблоко из рук, то сейчас начнется просто ужас. Они все передерутся. Это будет катастрофа. Это конец...» — «Ну а мне-то что?.. Ну, пусть. А что я должен? Я же сказал...» — «Нет, Валерий Вениаминович, нет, дорогой мой... Вы культурный человек, и я никогда не поверю... Вы не убедите меня, что вам безразлично... что вы не испытываете отвращения ко всем этим безобразным выходкам... к несправедливостям, которые совершаются... к жадности, к разбою, прямо скажем... Неужели вы сможете смотреть на это без содрогания?.. Нет, безусловно, вы никогда не уклонитесь от своего прямого и справедливого суждения — я это знаю, я в это верю!..»

Не могу вспомнить всего, что он мне нашептывал столь горячо. Но он не успокоился, пока не увидел, что начинает как-то достигать цели. Я действительно немного размяк. Страх постепенно отступал, испарялся... «Ну вот... Завтра утром вам привезут шкаф, наш подарок. И вы будете в приятных хлопотах по его установке, по размещению книг. Какие же потом дела? Вам надо будет не менее приятно и отдохнуть. Поэтому я надеюсь, что мы с вами договорились: ровно в три мы вас ждем здесь всем коллективом нашей фирмы. Свет будет исправлен, столы накрыты к вашему приходу. Никаких досадных случайностей больше не произойдет, я обещаю, клянусь вам. Не забудьте приготовить большую речь. Думаю, это не сильно вас затруднит... Необычайно оригинально вы сегодня высказались о человеке и его привычках... О жилище и обстановке как о продолжении, расширении нашего тела... это я уже додумываю сам... Вот если вы еще разовьете эти мысли, это было бы...» Говоря так и продолжая обнимать за плечи, директор незаметно направлял меня к выходу из магазина — подальше, подальше от освещенного места, где я грозился положить яблоко раздора. И вот уже он жмет мне руку и кланяется, прощаясь. Я вижу себя на улице в каком-то тумане... На самом деле и был туман. Конец марта...

«Валерий Вениаминович, могу вас подбросить домой. Вот моя машина. Вы где живете?» Это сказал мужчина. Он появился рядом, в пальто. Я

в первый момент не узнал, а потом сообразил, что он из трех, стоявших позади директора, которые ругались. Я понял, когда увидел, что и другие оба подходят. Тоже успели одеться. И машины у тротуара. «Меня зовут Владимир, я один из хозяев фирмы. Ну что, поедем? Куда вам?» — «Нет, спасибо, — отвечаю, — я на метро». — «Зачем? Ведь быстрее, удобнее». — «Нет, я не пользуюсь личными автомобилями». — «Никогда? Что так? Это принцип?» — «Не то чтобы принцип... Я, знаете ли... Хотя и принцип, пусть...» — «Уж не боитесь ли вы машин?» — сказал другой слегка усмехнувшись. Теперь все трое окружили меня. Говорю им: «Конечно, боюсь. Разве мало происходит аварий?.. Но дело не только в этом. Я считаю, что человек, ездящий на личной машине, поступает безнравственно. И не хочу в этом участвовать». — «Вот как? Почему безнравственно?» — «Он слишком много занимает места. Теснит других. Отбирает общие жизненные ресурсы, которые ограниченны». — «Хм, это какие же ресурсы?» — «Всякие. Да начать с того, что он портит воздух. У людей возникают болезни... Или хотя бы просто он тратил кислород. Ведь мы дышим: сжигаем свободный кислород в атмосфере. Но это необходимо. Без этого мы умрем. А без автомобиля не умрем, поэтому нет необходимости сжигать кислород еще и двигателями... Но в этом еще самая незначительная часть вреда. А главное — то, что автомобилист уменьшает вероятностный ресурс безопасности окружающих людей. Если б он его уменьшал только для себя — это пусть. Но другие почему должны страдать из-за него?.. Понимаете, о чем я говорю?» — «Хм, вероятностный ресурс...» — «Я считаю, — продолжал я, — что в мире с ограниченными ресурсами нравственно — это стараться занимать как можно меньше места, во всех смыслах, по всем измерениям. Пользоваться минимумом из набора возможностей». — «А почему вы не думаете, — вступил в разговор третий, — почему вы не допускаете, что я, например, когда пользуюсь машиной, экономлю свой ресурс времени? А за это сэкономленное время я, может быть, гораздо больше полезного дам людям, чем то, что я отнял у них своей машиной?» — «Я в это не верю», — парировал я. «Почему?» — «Ну, во-первых, вы сэкономленное время потратите не на людей, а опять же на себя: на свои удовольствия и наживу. — Все засмеялись. — Во-вторых, даже если вы дадите что-то людям, то ведь не бесплатно. Вы же не станете с этим спорить. А общий-то ресурс между тем вы брали задаром. Поскольку вы не платите ни „экологического" налога, ни налога на „общественное страхование". Таких налогов вообще не существует в том смысле, который я сейчас имею в виду...»

(Так они поговорили недолго. Распрощались, и В. В. пошел к метро.)

— Дело было в том, что я много говорил в этот вечер. Мне не часто приходится высказывать, что я думаю. Особенно в последние годы: встречаюсь с людьми редко — так чтобы поговорить... А уж если и говорю, то на обыденные темы. Я не думал, что это меня угнетало. Но тут заметил, что чувствую удовольствие и некое умиротворение. Тем более меня слушали, поддакивали. Даже называли мудрецом и философом. Нет, понятно, что это в шутку — или там для телевизионной игры, рекламы... Хотя не только. Была и прямая лесть, я это видел. В обычное время, в обычных обстоятельствах это меня бы насторожило: я бы еще больше испугался. Но теперь получилась такая странная со мной вещь, что я полностью расслабился. Все тревоги улеглись. И конечно, это оттого, что я пространно высказался. Так я думаю... Перестал беспокоиться и о непонятном завтрашнем дне, и о золотом яблоке у меня в кармане. Даже о женщине, Ирине Сергеевне... Хотя помнил, что она ждет меня в метро, но ее странные предостережения как-то стерлись. Казалось, что это все не важно... И вот я наконец с ней встречаюсь. «Ушли от них? Благополучно?» — она спрашивает. «Да, все в порядке». — «Если бы! Если бы все в порядке! — она восклицает. — Ох, Валерий Вениаминович, это я виновата отчасти. Вам не надо было приходить в магазин. Но я же не знала... что будет это... мero-

приятие, если так можно выразиться... Хотя знала. Конечно знала! Но мне в голову не пришло соотнести его с вашим приходом». — «Да в чем дело? По-моему, все хорошо. Я получил шкаф в подарок. Завтра еще меня будут чествовать на банкете». — «Завтра? Как завтра? Что такое?» — «Я буду проводить конкурс продавщиц в три часа». — «Вы согласились? О Боже! Так я и знала! Они вас уговорили!.. Не ходите! Скажите, что заболели. Позвоните им... Сломали ногу, расшибли голову — все, что угодно!» — «Но как же? А яблоко?» — «Яблоко? Оно у вас? Вы не оставили!» — «Директор не взял. Я чувствовал... хотел там положить, а он не дал, я теперь сам не понимаю... как-то уговорил меня...» Тут она совсем мрачно призадумалась. Потом предложила выйти из метро и посидеть некоторое время в кафе. «Мне надо многое вам объяснить. Иначе вы можете попасть в большую беду», — так она сказала.

В кафе я тоже не был никогда в жизни. У меня и денег не было на это. Но Ирина Сергеевна меня повела. Тем более я передал ей от мужа пять тысяч долларов. И еще принес ей некую весть... Или, скажем, оливковую ветвь. И она решила отметить это событие, заказала бутылку шампанского... Странно, я думал, что в кафе нужно выстаивать большую очередь перед дверьми. Может быть, целый час, пока тебя пустят. Почему мне так казалось, не знаю. Здесь ничего такого не было. Даже половина столиков пустовала. Сразу к нам подошел официант...

«Ну вот, — она начала говорить, — то, что замыкание было устроено нарочно, я в этом не сомневаюсь». — «Зачем же?» — изумился я. «Чтобы отложить конкурс. Кто-то спустился в подвал и замкнул щиток. Только кто это сделал?.. Я не заметила, кто отходил в последние две-три минуты. Это мог быть любой из них...» — «Из кого?» — «Из компаньонов. Там трое стояли, вы видели? Вот они-то и есть наши хозяева... Или могли кого-то тихонько послать. Да того же Николая... Скорей всего, так и сделали... Кто угодно мог». — «Да, но объясните... Я не понимаю. А что, собственно, им этот конкурс?» — «Сейчас объясню. Конечно... Видите ли, Валерий Вениаминович, вы оказались для них совершенно неожиданным человеком, то есть не вписавшимся ни в одну из их трех концепций... С одной стороны, это их очень устраивало. Всех троих. Вот почему я была почти уверена, что в вас вцепятся и будут держать мертвой хваткой... А с другой стороны, каждому из них хотелось выиграть время перед конкурсом, чтобы вас прощупать». Я гляжу на нее испуганно: «Как это — прощупать? Что вы говорите?» — «Ну, попробовать разузнать, чего от вас ждать. И если не прямо на вас как-то надавить, то по крайней мере дать инструкции своим продавцам, как им с вами держаться». — «Не понимаю. Разве у них разные продавцы?» — «Да. Вот эти три девушки. У каждого своя. Каждая представляет отдельную концепцию». — «Не понимаю...»

Дальше мне придется довольно большой кусок рассказа В. В. изложить суммарно. В. В. честно старался вспомнить и дословно воспроизвести речь своей собеседницы. И хотя в других местах он с аналогичными задачами справлялся мастерски (например, образ директора прекрасно ему удался, я считаю), здесь он потерпел полный крах, провал по всем пунктам. Паузы между словами и между фразами у него становятся все длиннее, будто он пытается обойти какое-нибудь представление, не вполне ясное для него...

Дело в том, однако, что и для меня здесь неясного очень много. Поэтому моя реконструкция будет, конечно, грубой...

Валерий Вениаминович, наверное, так до конца и не понял, что он попал не в простой мебельный магазин, а в такой, который предназначен лишь для *очень* богатых людей. Он, Валерий Вениаминович, может быть, и не представлял, *насколько* богатые люди сейчас бывают... Этим магазином владели три компаньона, между которыми были серьезные разногласия в

вопросе о том, каким магазин должен быть. Три их «концепции», по-видимому, являли собой примерно следующее.

Первая. Магазин должен ориентироваться на «новых русских», то есть на невежественных нуворишей с грубым вкусом или совершенным отсутствием вкуса. Они хватают все блестящее, внешне шикарное, но дешевое по своей внутренней сути и изготовлению. Таких покупателей больше всего. На этом можно получать быструю прибыль, хотя и не такую крупную, как кажется на первый взгляд, потому что эта дешевая мебель все же не может продаваться дороже двух-трех ее себестоимостей.

Вторая концепция. Магазин предназначен для «звезд» масскультуры, то есть для всяких артистов, рок-музыкантов, телевизионных ведущих и прочих деятелей, близко стоящих к этому миру. Такие люди следят за западной «звездной» модой. Поэтому они покупают вещи, которые уже *там* стоят довольно дорого. Однако важно понять, что цена вещи определяется именно модой и резко колеблется вместе с модой в зависимости от множества разных факторов. На этом можно играть и тоже делать неплохую прибыль. Кроме того, моду можно делать самим или по крайней мере както влиять на нее. И хотя до этого русские предприниматели, по-моему, еще далеко не доросли, все же вторая концепция представляется мне наиболее интересной и творческой... Ну и рискованной, конечно.

И наконец третья. Магазин предназначен для «старых русских», или «новой аристократии». Это выходцы из бывшей партийной элиты, у которых сейчас вкусы начинают сходиться со вкусами аристократии западной. Они покупают мебель строгую, для непосвященного взгляда, пожалуй, и незаметную, зато *баснословно* дорогую. Стиль мебели и цена ее во много раз устойчивей, чем во второй концепции. Прибыли большой получить нельзя, зато рынок стабильнее, и если на нем утвердиться, зарекомендовать себя, то можно жить без всяких забот. Кроме того, есть предположение, что контингенты покупателей, задействованные в первой и второй концепциях, постепенно сокращаются за счет того, что вкусы их стремятся к вкусам «аристократов». Однако с какой скоростью это происходит, сказать нельзя, а тем более вычислить...

Все это довольно сложно...

Когда я все это продумал в таком виде, мне даже показалось, что я понял, какая из девушек представляет какую концепцию. Альфия обслуживает, конечно, «новых русских», Илона — «звезд», Ольга — «аристократов». «Да уж не псевдонимы ли это?» — подумал я удивленно. А что ж? — вполне может быть...

Итак, между владельцами магазина шел бесконечный спор, который, видимо, все обострялся и грозил перейти в открытую войну. Никто не хотел уступать своих позиций. Все трое сходились, однако, в том, что неотчетливая, смешанная концепция магазина приносит им очевидные убытки, а главное, не дает развиваться, так сказать, «вглубь», тормозит их рядом с конкурентами. Наконец дело дошло до того, что согласились предоставить решение жребию... Двое обязывались продать свои доли третьему, кому повезет. Как раз приближался к ним тысячный покупатель, придумали этот конкурс... И вдруг... —

— ...И она говорит: «Я вам честно скажу, Валерий Вениаминович, я совершенно не знаю, как вам теперь поступить. Надо безусловно как-то уклониться от конкурса. Но вам не дадут... А если вы присудите кому-то премию, то другие могут начать мстить...» — «Мне мстить? За что?» — «Они будут думать, что вы подкуплены... Вы не знаете этих людей. У вас могут быть очень крупные неприятности... Во всяком случае... во всяком случае, не вступайте ни с кем из них в разговоры наедине». — «Да как же мне можно мстить? — поражаюсь я. — Каким образом?» — «Не знаю. Каким угодно. Придумают, будьте покойны». — «Но тогда... Боже мой!.. А

что, если... вот это яблоко... я вам сейчас отдам, Ирина Сергеевна. А вы завтра им передадите. Вы сможете так сделать?» Она замялась. Долго не решалась ответить. «Понимаете... Я, конечно, могу. Но вы должны знать, что это будет конец моей работе». — «Почему?» — «Ну как же! Все ясно: значит, я с вами встречалась, значит, я с вами знакома... Дело даже не в том, что я сорвала конкурс. А сразу подумают, что я вела какую-то свою интригу. Может быть, я специально вас вызвала в качестве этого тысячного покупателя. Ведь в бухгалтерии ведется счет. Сегодня были две предпоследние покупки... Нет, это будет мой последний день, точно... Я так долго искала эту работу. Два года не могла прилично устроиться... Зачем я, дура, назначила вам встречу в магазине!» — «Ой, ну, — бросился я ее успокаивать, — я не подумавши сказал. Считайте, что я вас ни о чем не просил». Она еще помолчала с минуту. Потом разлила остатки шампанского по бокалам. «Давайте яблоко», — сказала она. «Нет, не дам». — «Давайте, давайте. Не страшно. Еще устроюсь куда-нибудь... Тем более вон муж дал пять тысяч. Да я кое-что накопила за полгода. Как-нибудь проживем с дочкой... Давайте, Валерий Вениаминович. В самом деле, почему вы должны... Пожилой человек, зачем вас впутали... К тому же вы, в принципе, не имеете отношения ни к чему этому... Давайте, я им передам. А вы завтра утром уезжайте куда-нибудь, скройтесь на всякий случай. У вас есть друзья?» — «Как же я уеду, — говорю, — когда мне шкаф привезут?» — «Да, я забыла. Вам дали шкаф? Какой?» — «Книжный, итальянский». — «Плюньте на него. Уезжайте». — «Жалко». — «Ну, тогда попросите кого-нибудь посидеть у вас в квартире. Вон супруга моего попросите. Вы ему оказали услугу, теперь пусть он вам... Пойдемте, мы сейчас ему позвоним». — «Нет, Ирина Сергеевна, я отказываюсь от этого варианта. Решительно. Сам буду действовать». — «Как? Да вы же ничего не знаете в этих делах!» — «Как-нибудь. А вообще-то я знаете что думаю. Если уж случай поместил меня в такую древнегреческую комедию... или, скажем, не случай, а Судьба... то я по-древнегречески и к Судьбе должен относиться. То есть вполне бесстрастно выполнять предначертанное. Такими были их герои. Сейчас это давно забылось, и мы под героизмом понимаем совсем противоположное: своеволие и борьбу с Судьбой, с ее неизбежностью... Это романтический взгляд, который пока превалирует, но не исключено...» — и так далее я продолжал говорить, стараясь отвлечь ее от мыслей — грустных и виноватых. Потом посередине речи заметил, что эти рассуждения и меня самого как будто ободряют... Ну вот. Таким образом мы допили шампанское и расстались. До десяти часов досидели. Поехал домой.

...Я не знаю, зачем такие вещи с людьми случаются — посторонние, ненужные. Ведь это даже не как болезнь. Болезнь если и настигнет неожиданно, все равно она твоя. Изнутри происходит. Даже инфекционная... Хотя это в более широком смысле: микробы жили внутри, только не было для них условий. И вот эти условия настали... Все равно ты сам их сделал. Поэтому любая болезнь предчувствуется, а иной раз и вынашивается подсознательно: сам ее выращиваешь... Или, скажем, арест в сталинские времена. Тоже предчувствовался — и еще как! Вынашивался... Страх опять же. Он притягивает соответствующую опасность. Это многими замечено... Во всяком случае, чувствуешь определенную логику в окружающем мире и опознаешь события, которые с тобой внезапно происходят... Поэтому уж не так внезапно... Чувство рока. Шаги Командора... А тут — что? Полная какая-то неразбериха, путаница. Явилась — и ты тычешься во все стороны, концов не найдешь. Задурила голову. Откуда нагрянула — непонятно. Какая там судьба, какой рок! Я понял, что ничего похожего на античные представления. Это я просто Ирине Сергеевне зубы заговаривал, чтобы не так сильно переживала... Или, например, у Сологуба была недотыкомка. Что ж, это новый образ судьбы, не античный. Но она тоже обладает логи-

кой, вполне отчетливой. С этим спорить бессмысленно, потому что она описана как своя, внутренняя... Да, тоже вроде болезни... Ты, пожалуй, скажешь, что я столкнулся с недотыкомкой внешней, или, так сказать, общественной. Но я совершенно не верю в такие штуки, знаешь ли. У общества нет подсознания, нет коллективной души. И никакой Юнг меня не убедит. Не надо... Никакой Даниил Андреев... Просто все происходит от нашего незнания. Точней, от принципиальной непостижимости многих вещей... Просто я понимаю так, что большие информационные системы, когда они переходят некий порог сложности, перестают описываться в терминах детерминизма. В них появляются стохастические процессы и начинает расти хаос, как в термодинамических системах. Вот так примерно... А там, где нет детерминизма, там и о Судьбе не может быть речи. Правильно ведь?

...А что было дальше? Ну, не мог заснуть. Читать тоже не мог. Даже этот стеллаж... хотел разобрать книги и распилить его — не стал, махнул рукой в конце концов. Хожу только из угла в угол и курю. Потом опять лег — уже в третий раз... Снотворное я никогда не принимаю. У меня и нет... Наконец провалился в какое-то забытье. Не знаю, сколько было времени. Часов пять, наверное... В десять раздается звонок. Я насилу глаза продрал, ничего не пойму. Туда-сюда, накинул халат, подхожу к двери: «Кто?» — «Вам шкаф привезли!» — кричат. «А, ну ладно», — вспомнил. Отпираю... И где же шкаф? — никакого шкафа. Стоит этот джентльмен, один из хозяев, улыбается, как невинный младенец. «Вам привезли, Валерий Вениаминович? Доброе утро...» — «Что? Ничего еще не привозили...» — «Как? А я думал, они уже здесь, я же распорядился... Вот, хотел обмыть», — и показывает огромную бутылку коньяка в коробке. «Чего обмыть? В десять утра?» — «А что?.. Вы не будете возражать, Валерий Вениаминович, если я у вас подожду? Должен приехать мой племянник, он у нас на складе рабочими командует... А мне крайне необходимо дать ему одно задание, а то потом я его целый день не увижу...» — «Ну заходите», — бурчу с явным неудовольствием. То есть для меня явным, а он делает вид, что для него ничего не «явно». Проходит непринужденно, снимает пальто... И только тут я вспоминаю наставление Ирины Сергеевны, чтобы я ни с кем из них не говорил наедине. Ужас, как мне сделалось тошно!.. Да еще этот коньяк: он его ставит мне на письменный стол и вынимает из коробки... Я начинаю так осторожно: «Знаете что... Как вас зовут?» — «Руслан». — «Знаете что, Руслан, уважаемый... Я сейчас подумал... Мне бы очень не хотелось, чтобы вас здесь видели, когда привезут шкаф...» — «Да? — оборачивается. — А почему?» — «Так. Вы, конечно, можете здесь сидеть, раз уж зашли, но с вашим племянником встретьтесь, пожалуйста, в другом месте... А когда они приедут, я сюда прикрою дверь, и шкаф занесут в другую комнату. Давайте так сделаем». Он смотрит на меня: «Странно. Чего это вы?» И я начинаю куда-то ехать: чувствую, что делаю что-то неправильное, недопустимое, а что — понять не могу... А он совсем уж пристально вглядывается: «Вы чего-то боитесь?» — «Ну, — мямлю, — не хочется, чтобы были потом разговоры». — «Какие разговоры? О чем?» — «Ну, что мы с вами... будут потом говорить...» — «Кто?» — «Ваши друзья... компаньоны или как там...» И тут я вижу в его глазах нечто настолько страшное, что... как это назвать... металл... нет... лед... нет, не знаю. Не могу подобрать слова. «*Ах, компаньоны!* — он говорит. — Вон оно что! Понятно». Мне тоже вдруг все понятно: я погорел самым жалким образом. Мне кажется, что я нахожусь внутри кошмарного сновидения. Молчим какое-то время. Он отвернулся, сидит мрачный как туча. Наконец щелкнул пальцами по бутылке: «Так я с вашего позволения открою, Валерий Вениаминович, а? Есть у вас стопочки?» — «Да, сейчас. Открывайте». Иду на кухню, ноги еле двигаются. Возвращаюсь... «Только мне чуть-чуть. Двадцать грамм. Единственно, чтобы обозначить». — «Ваше здоровье, Ва-

лерий Вениаминович». — «Взаимно». — «Ладно, — говорит, — вы не очень-то расстраивайтесь... Скажите только... я не понял: приходил кто-то из них? вчера вечером?.. или оба?» — «Нет. Никого не было». — «А почему ж вы решили, что они — мои компаньоны?.. И насчет наших отношений... откуда...» — «Ну, — соображаю, — один успел мне представиться, даже предложил домой отвезти... А то, что вы компаньоны, я догадался: вы стояли трое за спиной директора и ругались...» — «А, вы заметили?» — «Конечно. Я не желаю вникать в ваши отношения, мне до них нет дела. Но для себя я считаю, что осторожность не повредит: не хочу впутываться в сомнительные дела». Вот так я выкручивался перед ним. А он мне не верил, я видел, потому что с конкурсом-то мои объяснения все равно не вязались, тут уж натягивай не натягивай — очевидно, что я что-то знаю про конкурс... «Вы, Валерий Вениаминович, действительно, что ли, такой мудрец по жизни?» — «Куда там! Неужели вы думаете, что надо много мудрости, чтобы жить ничего не делая?» — «Хм, не знаю...» — «Уклоняться от решительных действий — это все, чему научила меня жизнь за шестьдесят лет. А вы хотите, чтобы я вершил какой-то суд в ваших... как это у вас называется... „разборках" — я правильно употребляю это слово?» Он вдруг задумался, потом странно улыбнулся: «Да вы еще и хитры! Хотите, чтоб я подтвердил? Ну что ж, я могу сказать: *слово*-то вы употребили правильно. Но это не значит, что я подтверждаю *факт* самих разборок». — «Ух ты! — Я был искренне удивлен. — Позвольте сделать вам комплимент: как это вы тонко... Не ожидал... Вы учились? Где?» — «Я кончал юридический факультет». — «Ну, тогда ясно!» — «А у вас какое образование?» — «Да всякое... Я в основном самоучкой... Вот сижу и книги читаю... На самом деле я знаю очень мало. Совсем не ориентируюсь в жизни. Мне не хватает...» — «Чего вам не хватает?» — «А?» — «Вы сказали, что вам чего-то не хватает». — «А, информации. Я, видите ли, немного балуюсь литературой. Пописываю. А без знания жизни как можно этим заниматься? Неудобно». — «Послушайте, Валерий Вениаминович, — сказал он, подумав, — у вас есть компьютер?» — «Нет». — «Как же так? Хотите, я вам подарю?» — «Это еще зачем? Что я с ним буду делать?» — «Ой! Вы не знаете? Да вы только выйдете в Интернет — и сразу узнаете! У вас и вопроса такого не будет — „зачем". Библиотеки, фонды, энциклопедии, любые справочники, любая изобразительная информация, все самые последние новости в мире...» — «Хорошо, хорошо... Но это же нужно нажимать какие-то кнопки. А я не умею. Боюсь...» — «Да этому научиться проще простого! Я сам вам покажу». — «Вы? С какой стати? Я не понимаю, чего ради вы взялись меня уговаривать...» — «Не понимаете? — Он засмеялся. — Неправда. Все вы понимаете. Так что давайте я вам сформулирую свое предложение прямо и четко, без всяких обиняков. Вы присуждаете сегодня приз девушке по имени Альфия. А за это я вас обеспечиваю компьютером с выходом в Интернет и оплачиваю любое количество часов, какое вам заблагорассудится провести в Интернете. Ну как? Идет?» — «Нет! Ни в коем случае! Я вообще не хочу никому ничего присуждать!» — «Почему?» Я не мог признаться, что боюсь остальных. Поэтому сказал: «Просто я в этом ничего не смыслю». — «Тогда тем более вам должно быть все равно, кому отдать яблоко. А я вам предлагаю выгодную сделку. Зачем отказываться?» — «А что вам эта Альфия? Почему вы в ней так заинтересованы? Вы, может быть, влюблены в нее?» — «Влюблен? Именно! Да, Валерий Вениаминович, вы всегда смотрите в самый корень происходящего. Я влюблен и добиваюсь ее!» — «Но неужели нет других путей? Не поверю. Вы, такой преуспевающий...» — «Просто я хочу сделать ей подарок. Именно такой. Польстить ее честолюбию. Почему я не могу себе этого позволить?» — «Позволить себе? Что это значит? Моими руками? Какой же это подарок?» — «Так это и есть самое ценное. Вы не понимаете? Для нее ничего бы не значило, если б я сам присудил». — «Нет, не уговаривайте». — «Почему? Вы уже кому-то

обещали?» — «Нет. Никому ничего». — «Тогда какая вам разница? Вам это должно быть безразлично. А Интернет вам будет нужен, я вас уверяю». — «Нет». — «Почему? Или вы опять сейчас выдумаете, что компьютером пользоваться безнравственно, как автомобилем?» — «Дело не в этом...» — «А в чем же?» — «Ну... как вам объяснить... Я не верю, что Интернет даст то знание, какое мне нужно». — «Какое?» — «Он только мертвую информацию даст, а не человека. Без знания человека и его души мне эта информация не пригодится. Не вижу, как бы я смог ее использовать». — «Хорошо, но как я могу вам дать человека?» — «Никак. Это моя собственная задача, которую я должен сам решать. Никто мне помочь в этом не может». — «Все равно с Интернетом вам будет проще». — «Чепуха. Вы не знаете, о чем говорите». — «Вы тоже не знаете». — «Может быть... Да, может быть, я и не хочу знать кое-чего». — «Но тогда что же вам нужно?» — «Я не нуждаюсь ни в чем». — «Постойте, постойте, Валерий Вениаминович, но вы разве совсем один живете? У вас есть близкие? Может быть, им что-то нужно, вы подумали? Дети есть у вас?» — «Есть. А что вам мои дети? Угрожать мне хотите?» — «Ни в коей мере! Что вы! Я просто спрашиваю». — «Мои дети далеко, и вы их не достанете. Они за границей оба. Два сына». — «Вот как? И они там хорошо устроены? Чем они занимаются?» — «Один ученый, другой кинематографист». — «Давно уехали?» — «Больше десяти лет». — «А вы?.. Ездили к ним?.. У вас не было желания к ним перебраться?» — «Нет. Абсолютно. Я с ними переписываюсь, мне достаточно». — «Что же вы? И не ездили?.. Вас не поймешь, Валерий Вениаминович! С одной стороны, вы говорите, что вам не хватает знания людей. С другой — вы даже не проявляете к людям интереса. Что может дать больше знаний, чем путешествия? А я могу предоставить вам такую возможность. И сыновей сможете повидать, и еще по всему миру проехаться. Слишком больших денег у меня нет, конечно, но три-четыре экскурсии запросто. Хотите в Европу? Хотите в Индию?.. В Африку, в Японию... Куда? Выбирайте! Вы нигде никогда не были?..»

Это начинало походить на пытку. Я чувствовал приближение ада, его огненное дыхание. И я не ошибался. Он добился того, что я схватился за голову и перестал понимать что-либо. Я не помню, что он еще говорил. Сколько мне лет? Шестьдесят. Или больше? И я нигде не был? А где я должен быть? Почему я должен? Вот здесь я живу... Я сижу вот здесь — и все. Вы сидите здесь всю жизнь? И что? Это нормально. Это нормально, вы считаете? Кто считает? Вам хорошо здесь? Или вам плохо? Что с вами? Плохо. Я очень плохо себя чувствую. Это я говорю. Вы не могли бы уйти? Я всю ночь не спал. Мне нужно лечь. Я очень прошу вас уйти... «Хорошо, хорошо. Я ухожу. Вы не волнуйтесь и отдыхайте, конечно. А племянника я могу подождать в машине. У меня машина внизу. Да он скоро должен быть. — И он начал одеваться в передней, этот Руслан. — Но вы имейте в виду, Валерий Вениаминович... Я ни в коей мере не хочу на вас давить, не хочу вас принуждать ни к какому решению. Оно остается за вами, свободное. Но вы имейте в виду, что с моей стороны все равно остаются в силе вот эти виды благодарности, которые я предложил. Если не хотите Интернет, если вы считаете, что он вам не нужен... хотя я все-таки советую вам как следует подумать... но если нет, тогда — любые путешествия, какие пожелаете...» И опять все по новому кругу: никак не может остановиться. И дотянул-таки до того, что вляпался: тут два звонка одновременно — и в дверь, и телефон. Открыл — шкаф тащат. Но никакого племянника. Двое рабочих. Я не успел понять. Снимаю трубку... А с ними был еще один из хозяев. Он как увидел Руслана, так жестко: «Ага, ты здесь!» — «Ну и что? — тот. — Ты ведь тоже пожаловал!» Ему досадно, что не успел выскользнуть хотя бы за минуту — ведь уже одетый стоял! Но я их слушаю одним ухом, а в трубку мне: «Валерий Вениаминович? Это Витя». — «А, Витя, здравствуй». — «Мне Ира позвонила... Во-первых, я вам очень бла-

годарен. Все отлично. Ваша дипломатия удалась на славу...» — «Ну что ты. При чем тут я? Мы о тебе почти не говорили...» — «Да, я знаю. Ира сказала, что вы нарвались на неприятность. Я могу вам помочь? Вам шкаф какой-то должны привезти?» — «Уже привезли, — кошусь, — подожди, Витя, я должен тут распорядиться и пропустить их, они не могут занести. Не клади пока трубку». И прохожу в комнату. Рабочие за мной. Показываю, где ставить. А эти двое в прихожей друг с другом: «Раз так, то должны быть равные шансы. Ты поговорил — теперь уходи. Я буду с глазу на глаз». Это второй шипит Руслану. Иду к телефону. Они оба смотрят на меня. «Да, Витя». — «Так я могу вам помочь, Валерий Вениаминович?» — «Чем?» — «К вам эти не приходили? Ира сказала... Ну, крутые...» — «Кто? Грузчики? Да, я же говорю...» — «Нет, я имею в виду хозяев». — «А... Да... Слушай Витя, да, ты мог бы помочь, потому что я ничего не понимаю. Они уже двое здесь...» — «Так мне приехать?» — «Да. Ты мог бы быть переводчиком, что ли. Они что-то говорят беспрерывно, а я не могу уловить мысль. И вообще, честно сказать, неважно себя чувствую...» — «Так я еду. Я их выпровожу в два счета». — «Тебе не трудно? Я тебя не отрываю от каких-то... я хотел сказать... может быть, барышей? Это было бы самое обидное». Он хохочет. Мне полегчало на сердце. Как хорошо, когда есть друзья. Хотя это банальность... Но почему не повторять банальности, если от этого легчает... В конечном счете, это самое, и весь смысл литературы... Нет, давай я не буду о смысле литературы. Я не для того начал... А для чего?.. Я сбился. Теперь забыл и не знаю... Но главное, что они меня потом не убили: этот звонок меня спас... Когда я сказал, что отдам приз Владимиру, то есть третьему, я видел такое решительное их состояние — описать не могу. Все, что угодно, только не конкурс. Неотложку вызвать, в реанимацию меня. И если б они не слышали... если б Витя не позвонил, когда они тут стояли, я клянусь... Нет, всем приходится умирать в определенный момент. Раньше или позже — это не играет роли. Потому что любые «раньше» и «позже» оказываются неизбежно в прошлом. Так что можно сказать — все мы мертвы априори. Но пока мы живем... Да, мы питаемся иллюзией. А суммарное время... Не знаю, что это такое. Допустим, конец света. Мы воскреснем и вновь начнем мыслить. Вспомним прошлое, подведем какие-то итоги. Но ведь мышление — временной процесс, он обладает длительностью. Значит, опять время. А что ж тогда кончилось?..

(Здесь В. В. перескочил на более отдаленный уровень своего рассказа. И я, чтобы избежать путаницы, вынужден переставить куски. Он начал рассказывать, как его чуть не убили. Его рассуждения о жизни и смерти я опускаю, потому что они не кажутся мне интересными. А ситуация здесь получилась не совсем понятной, ибо свое решение — присудить приз третьему компаньону — он пока не выразил и ничем не обосновал. Он все делал упор на том, что его разговор с мужем Ирины Сергеевны сыграл какую-то там роль, потому что, если б эти типы не ожидали, что вот-вот этот Виктор должен приехать, они бы... — и так далее. Впрочем, я не исключаю, что все это относится больше к сфере воображения В. В. Я задал ему вопрос в конце концов: «А вы допускаете такую возможность, что все это вам приснилось?» Он честно задумался. «Допускаю, — потом сказал. — Но не все. Это правда: со мной случалось не раз, что в возбужденном состоянии я видел сновидения очень отчетливые, совсем как явь. Но дело в том, что после явился этот Владимир и выудил «жучок» из шкафа и мне показал... Не думаю, чтобы это был тоже сон, потому что состояние мое было тогда спокойное. Но ведь «жучок» кто-то должен был из них поставить? Значит, они действительно приходили, так?» Я усомнился: «Первый-то, Руслан, мог явиться к вам и во сне. Вы были после бессонной ночи». — «Да, справедливое замечание. Не знаю, что тебе ответить. Он явился, но весьма возможно, что это было потом, уже после Генриха и явления шкафа. А его первоначальные предложения я мог помыслить спро-

сонья, не продравши глаз». — «А коньяк?» — спросил я. «Да, коньяк там стоял... Но я не знаю, откуда он взялся. Ты меня сбил своими сомнениями. Теперь я ни за что не ручаюсь». — «Так, а что Генрих вам сказал?» — «Генрих-то?..»)

«Валерий Вениаминович, вы утомлены?» — «Да. Именно. Я утомлен». — «Я вижу. На вас Руслан насел? Он такой. Сами с ним мучаемся... Это он принес коньяк?.. Налить вам?» — «Чуть-чуть. Единственно, чтобы обозначить...» — «Понимаю... Ф-ф-у! Эти французские коньяки ужасны!.. Да, я не представился. Меня зовут Генрих». — «Вы ратуете за Илону?» — «Чего?» — «Девушка, на которую вы будете уговаривать, — Илона ее зовут?» — «Да. Откуда вы знаете? Руслан вам все описал?» — «Сам догадался». — «Непонятно... Ну ладно... Не отрицаю — Илона. И я действительно буду вас уговаривать. Видите ли, наша концепция магазина...» Здесь я отключился, перестал слушать, потому что и раньше ничего не понял, когда мне Ирина Сергеевна объясняла...

«У вас уютно как, Валерий Вениаминович». — «Да... Только беспорядок... Мне неловко. У меня почти не бывает гостей, и я не прибираюсь». — «Так это и прекрасно! Ощущение жизни: все кругом живое. Это я и называю уютом в настоящем смысле». — «Может быть... Но трудно ориентироваться. Хаос растет. Эти вороха бумаг повсюду начинают раздражать... Вон, видите, даже на пианино. Иногда по нескольку часов приходится тратить только на то, чтобы найти какую-нибудь запись». — «А почему бы вам не завести компьютер?» — «Спасибо. Мне ваш Руслан уже предлагал». — «Отказались?» — «Разумеется». — «Разумеется, — повторил он как эхо, хотя понял это слово так, как ему хотелось, а не так, как хотелось мне. — Этот Руслан полный идиот. Не говоря о том, что лишен напрочь вкуса. Куда вам здесь компьютер — он совершенно не вписывается... Да, так вы не ответили, как вы относитесь к моде. А мне интересно было бы знать ваше мнение». — «Что вам мое мнение, уважаемый Генрих? К моде я отношусь очень плохо. Это атавизм, доставшийся нам от обезьяньей фазы нашего развития. Если б мы произошли, скажем, от волков, у нас бы не было никакой моды». — «Ну, с этим позвольте не согласиться. Не все волки такие одинокие, как Герман Гессе! Они живут в стаях, правильно? Значит, у них должен быть какой-то стандарт, а кто отклоняется, тех они гонят от себя, вытесняют». — «Это не мода. Я бы сказал — даже наоборот...» — «Почему? Нет... Только лишенная динамики, но тоже мода. По смыслу. Можно назвать ее статической модой. Не согласны?» — «Мода, лишенная динамики, — это абсурд». — «Хм, возможно... Но вы забываете, Валерий Вениаминович, или не учитываете, что мода всегда имеет сексуальную подоплеку. Это подбор партнера, привлечение, желание нравиться. И у любых животных, я думаю, это есть: инстинктивное соответствие некоторым требованиям красоты. А красота понимается условно: только внутри одного вида, другому она может казаться безобразием. Поэтому это тоже мода или что-то близкое... Да, она статическая: меняется очень медленно, вместе с эволюцией...» — «Все равно ни о какой моде нельзя говорить, если у вида нет инстинкта подражания». — «Да он у всех есть в какой-то мере: обучение-то происходит...»

Но мне неинтересен этот разговор про моду...

(Пропускаю несколько бессвязных фраз В. В., предназначавшихся, вероятно, для объяснений того, почему этот разговор был неинтересен и злил его.)

...«Турбулентность...» — «Что?» — «Турбулентность, я говорю. Вам знакомо это понятие?» — «Слышал. Это какие-то вихри?» — «Да, завихрения в движущихся жидкостях или газах. Они описываются настолько сложными уравнениями, что могут казаться хаотическими. Ведь чем сложнее алгоритм, тем более случайным представляется его результат. Академик Кол-

могоров даже хотел аксиоматически определить случайную величину через переход к бесконечному пределу сложности алгоритма, в результате которого она получается. Он столкнулся на этом пути с трудностями, которые не смог преодолеть, но это уже другой вопрос... В турбулентности, правда, некоторые склонны видеть как раз пример самоупорядочивающегося хаоса. То есть согласованное поведение на макроуровне каких-то больших ансамблей частиц. Это сложно. Я не готов об этом судить. Я сейчас подумал об информационных турбулентностях, которые могут выражаться, например, в прозе. Наша жизнь с некоторой точки зрения выглядит как большая информационная система, и она все время усложняется. И когда она переходит некоторый порог, в ней начинают происходить процессы, которые кажутся хаотическими. Но, может быть, все-таки это турбулентные процессы, и когда мы принимаемся описывать их в терминах... ну, как бы абсолютно случайных, то мы погрешаем против реализма... то есть я хотел сказать, что наше описание не будет адекватным... Нам следует описывать вот что-то вроде таких вихрей — в смысле, не совсем случайных...» — «Простите, Валерий Вениаминович, а вы где-нибудь публикуете ваши сочинения, произведения?» — «Конечно. Хотя это бывает не часто, поскольку я как-то мало стараний прикладываю». — «В журналах печатаете или есть отдельные книги?» — «Нет, книги ни одной так и не получилось за всю жизнь». — «А почему? У вас рассказы, проза?» — «Да... проза, эссе». — «Так, наверное, нужно издать. Собрать и издать. Это было бы интересно». — «Кому? Вряд ли... Я никому не известен... Мне самому, может быть... Да и то... Авторского тщеславия у меня нет...» — «При чем тут авторское тщеславие? А вы не находите, что в литературе вещь неопубликованная, нерастиражированная — она не доведена до полного воплощения... Ну, как бы еще не существует в некотором смысле. В живописи, в изобразительных искусствах — там, если заметите, все наоборот: вещь равна себе только до тех пор, пока она уникальна. Тогда она вполне существует, да... А в словесности полноценное существование вещи начинается именно с момента ее тиражирования. В этом различие, причем самое принципиальное, на мой взгляд. Из-за этого и рынки — художественный и литературный — устроены по-разному и совершенно друг на друга не похожи. Вы так не считаете?» — «Доля истины есть, безусловно, в этом наблюдении. Правда, не ясно, с какого тиража начинается существование литературной вещи. Десять экземпляров? сто? тысяча? Все же в древности или в средневековье, когда не было печати... Да, но очевидно, что те рукописи, с которых делалось мало копий, — они-то и погибли в первую очередь и не дожили до наших времен. То есть действительно их существование было ущербным в какой-то степени... А в общем, здесь действует теория вероятностей. Катулл, например, ко времени Гутенберга сохранился, говорят, в единственном экземпляре». — «Так почему бы вам не издать книгу, Валерий Вениаминович? Давайте я это сделаю. Соберите прозу. Я уверен, что будет интересно, но дело даже не в моем мнении. Кому-то интересно, кому-то нет — это, как всегда, дело вкуса. Но читателей найдется достаточно... Я говорю так не потому, что пытаюсь вам всучить какой-то подарок, — нет. Просто я издам и получу прибыль». — «Чепуха. Вы ничего не продадите. Кто меня знает?.. Будет валяться на складе, только место занимать...» — «Ха, да вы не знаете, как делается известность? Это ж элементарно! *Раскрутка* это называется. Грамотный рекламный агент или специалист по книжному маркетингу делает это в два счета. Несколько статей, анонсов, выступление по телевидению, интервью... Потом, после выхода книги, — презентация, опять с телевидением, с фуршетом, на который приглашаются нужные люди, — и все. Книга продана! Более того, вы еще получаете новые предложения. И на все это затраты не такие большие, я уверяю вас. А прибыль можно получить приличную». — «Может быть. Я в этом ничего не смыслю. Но ведь от торговли мебелью прибыль

в сто раз больше наверняка?» — «Ну и что? Все равно мне интересно осваивать новые области... *Раскрутчики* у меня знакомые есть, и очень толковые, с опытом. Они знают, кого как подать, в каком тоне... А вы знаете, какие ничтожества раскручиваются сейчас, Валерий Вениаминович? Вы бы ужаснулись, если б узнали. Буквально из ничего, из пустоты их выдувают, как мыльные пузыри до необъятных размеров...» — «Ну вот пусть их и выдувают. А я не хочу». — «Да почему ж? Мне просто обидно за вас... Нет, давайте говорить на деловой основе. Я вам сейчас объясню... Вот я вижу в вашем лице, в вашей фигуре некую ценность, которая при определенной работе с моей стороны и вложении капитала может мне принести прибыль. И я предлагаю вам сотрудничество, потому что это выгодно и для вас самого... Совсем не значит, что я вас эксплуатирую или как-то там закабаляю. Нет. Мы составим договор, который, надеюсь, вам понравится. А если не понравится, вы потом, после выхода книги, вольны будете меня оставить и работать с кем угодно. Вы увидите, у вас отбоя не будет от предложений...» — «Вы чу́дно говорите, Генрих. Но все эти разговоры разлетаются в прах от одного простого вопроса». — «Какого?» — «Что значит „какого"? А если я отдам приз *не Илоне*, что тогда? Ваше предложение остается в силе? Конечно нет! Так что не нужно меня уверять...» — «Ох, да вы поймите же наконец, Валерий Вениаминович! Если вы присудите приз не Илоне, у меня начнутся такие трудности с моим бизнесом, которые я не могу вам описать... не могу даже приблизительного представления вам дать об этих трудностях. У меня не будет ни времени, ни сил, ни — самое главное — спокойствия духа для того, чтоб заниматься вашей книгой... Мне придется выплывать в бурлящем море! Вот представьте себе: идет корабль, и человек упал за борт во время шторма. Его смыло волной. Может, по-вашему, этот человек что-либо делать, кроме как спасать свою жизнь? Да он вообще ни о чем не думает, только инстинктивно барахтается, выныривает на поверхность, кричит, захлебываясь: „Помогите!"...»

Эта простенькая метафора почему-то подействовала на меня жутко. Я зажмурился и опять схватился за голову. «Нет! Тогда тем более! Я не представлял, что это так серьезно! Нет, я не могу решать... брать такую ответственность... Почему не вы? Почему ваши товарищи должны быть выброшены, а? Что же я должен... Нет, избавьте меня от этого конкурса! Пожалуйста!.. Заберите яблоко. Вот оно. Заберите!.. Что?.. Генрих, если у вас есть ко мне какая-то симпатия, как мне показалось, то сделайте... Единственное, о чем вас прошу! Мне ничего больше не надо!» Он покачал головой: «Не получится. Мне очень жаль, но это не выход, Валерий Вениаминович. Так вы меня сразу сбрасываете. Они скажут, что я нарушил условия, и следующий конкурс сделают уже вдвоем». — «Что за глупости! Позовите их. Я в присутствии всех откажусь, и дальше делайте что хотите!» — «Хм, дальше? Боюсь, что дальше будет гражданская война. Ничего другого сделать не удастся. Мы и об этом конкурсе насилу-то договорились». — «Но почему вы такие дураки? Зачем вы впутали сюда постороннего человека? Надо было на спичках тянуть — и все». — «О! Это сложная история. Каждый рассчитывал, что придет его покупатель. И каждый, я уверен, готовил этого покупателя». — «Что значит — вы уверены? Вы сами — готовили?» — «Да... Я позвонил кое-кому из знакомых... Только я думал, что это будет сегодня утром. Никто не мог предположить, что перед самым закрытием вы явитесь. Вчера только произошла предпоследняя покупка. Мы держались вместе, чтобы никто не мог по телефону известить своих...» — «Но это же смешно! Вы только вообразите, что сегодня с утра перед дверью магазина выстроилась бы очередь из трех человек! Да потом еще стали бы отпихивать друг друга от двери и спорить, кто за кем!.. Или как? Может быть, с ночи стали бы занимать? Ваш во сколько бы пришел? В шесть? Ага, а там уже с пяти какой-нибудь агент Руслана:

на машине приехал». — «Ох, ну ладно вам, Валерий Вениаминович. Уели». — «Нет, я не понимаю... Вот что, Генрих, ступайте и купите где-нибудь новую колоду карт, запечатанную. И остальных соберите всех сюда. Я перед вами стасую... надеюсь, вы не станете думать, будто я всю жизнь тасую колоды и набил руку, так сказать... Ну вот. Начну раскладывать. И кому первому ляжет туз... или что хотите... Нет, я назначаю: туз червей, пускай... Кому ляжет, тому, значит, и яблоко. Поняли меня? Все. Другого выхода я не вижу, ни для себя, ни для вас... И никаких посулов, никаких обещаний благодарности я не хочу больше слышать. За раскладку колоды, слава Богу, благодарить не надо...»

Так я витийствовал. А в это время снова возник Руслан. Как это произошло, не помню: тут у меня что-то перепуталось. Возможно, был звонок в дверь и я открыл машинально, думая, что это Витя приехал.

...Странное ощущение, когда от тебя зависит судьба людей. Никогда бы не подумал... Наверное, кому-то это нравится: власть... Держишь в руках решение, которое может перевернуть жизнь человека в одну минуту... Судя по описаниям, это распространено, и таких людей много — властолюбивых. Но я не только не мог бы такого героя изобразить, но даже, если б столкнулся в жизни, я не мог бы понять его мотивировок... Вот ведь!.. А может, я и сталкивался, да так ничего и не понял. Мало ли было случаев, которые остались загадками... Вот так живешь... Нет, похоже, что это связано с более глубинными различиями людей: ведь не всякому чувство власти доставляет удовольствие. Мне, например, ничего, кроме ужаса... И не говори мне, что к этому привыкают, входят во вкус. Кто так думает, тот, значит, сам не был в такой ситуации и не понимает специфики этого ощущения. Мне кажется, что привыкнуть к нему нельзя... Хотя, возможно, люди так и делятся: на тех, кто может привыкнуть, и тех, кто не может. Поэтому я и сказал, что разделение должно проходить на большей глубине и касаться более общих характеристик... Вот что понятно: оно должно касаться приспособляемости вообще, способности к адаптации. Один может приспособиться ко всему, другой не может ни к чему. Это крайние точки. Где-то посередине лежит среднее... Но я-то уверен, что среднего не существует: посередине спектра дыра и его края не соединяются... Почему? Не знаю... Может быть, эти типы несовместимы генетически и не дают смешанного потомства?.. Хотя это глупость — отсюда прямой логический путь к ницшеанству, а потом и к расизму: раса властелинов, раса рабов и вся прочая пошлая дребедень... Нет, но постой, я опять повторяю: речь же не только о власти — речь идет о способности адаптироваться. Человек, который легко привыкает властвовать, он так же легко привыкает и повиноваться... Ага! — что-то вырисовывается. А если он хорошо адаптируется, ему не надо изменять окружающих условий. Конформистом он называется: плывет по течению... Кто ж тогда изменяет условия? Творческий импульс — у кого? Получается, что у тех, кто, по Дарвину, должен умереть и не оставить потомства... А ведь творческий-то импульс связан с властью, с властолюбием... Или нет?.. Связан, связан. Тут не поспоришь... И что же? Получается страшное противоречие! Трагическое прямо. Эти люди стремятся к власти, она им необходима, но они никогда не привыкнут и будут мучиться... потому что привыкнуть вообще не могут ни к чему. А конформисты, которым власть не нужна, — по сути, они привыкают и получают от нее удовольствие. И, таким образом, тоже стремятся к ней... Страшное дело! Не вижу никакого выхода... А кто я в этом случае? Непонятно... Вот, например, я сижу дома и ничего не делаю. Что, значит, я приспособился? Нет, абсолютно. Ни к чему я не приспособился... Но и власть никакая мне не нужна. Значит, мне хорошо? Нормально. Я нашел норму для своего самочувствия. Я очень давно ее нашел... А как же тогда моя неприспособленность, в чем она...

(Слышится моя реплика. Похоже, мне надоела эта путаница, которую В. В. развел и в которой его рассказ мог совсем сгинуть. Я сказал ему, что, как известно из логики, всякая формальная классификация, претендующая на универсальность, приводит неизбежно к противоречиям, причем принципиальным, неустранимым. Так что пусть он не расстраивается. Не он первый, не он последний путается в подобных рассуждениях. Это его заметно ободрило. Он сказал: «А! Я так и думал... Только не знал... Это Руслан меня сбил с толку, когда завел разговор о моей неприспособленности». — «Разве Руслан?» — изумился я.)

— Да. Он начал говорить и опять предлагать что-то, что, по его мнению, увеличило бы мои возможности ориентироваться в жизни... Мы ему сказали про колоду карт. Начался спор, смысла которого я не мог вполне разобрать. Кажется, никто из них больше не хотел уходить. «Хорошо, — сказал я, — дело не в картах. Можно свернуть бумажки с именами, положить в мешок, и я вытяну». Я настаивал, чтобы вызвали Владимира. Они оба по очереди ходили к телефону, долго звонили, потом возвращались и говорили, что нигде его не нашли. Что-то начинало мне тут не нравиться... «Хорошо. В конце концов, я согласен ехать на конкурс. Ведь он туда наверняка придет. Там я и вытяну». — «Нет, там будет телевидение. Решить нужно заранее. А там будете иметь дело только с девушками и вручать яблоко... Если вы правда согласны ехать, Валерий Вениаминович, вы нас очень обяжете: не придется переснимать тысячного покупателя и конкурс... Но вытянуть нужно заранее...» — «Без Владимира я ничего тянуть не буду». — «Это почему?» — «Он потом скажет, что вы двое подкупили меня, чтобы его исключить из жеребьевки. Скажет, что тянули из двух». Они заспорили: «Вы боитесь? Мы обеспечим вам защиту... Да ничего не будет... Смешно! Что он вам может сделать? Да и не станет он...» Я разозлился: «Не станет? Да, похоже на то! Похоже, он не такой, как вы!.. Я никого не боюсь! Вас не боюсь! Я ему присуждаю это яблоко! Все. Никаких жребиев. Считайте, что жребий уже вытянут!» Они вскочили со стульев и завертелись вокруг: «Вы в своем уме?.. Что за вздор вы несете?» А Руслан еще: «Ну-ка, ну-ка объясните, что это за решение такое? Откуда оно вдруг взялось?» — наступает на меня. Я впал в неистовство. Никогда со мной такого не было... Вот она, власть, чем привлекательна, я понял: она позволяет человеку отпускать тормоза и бросаться в самую глубину гневного исступления. Предаваться этой страсти до конца... Что ж, приятно. Один раз можно испытать, для опыта. Но не больше... Я закричал: «Вам объяснить? Пожалуйста! Я присуждаю ему приз за то, что он единственный из вас ведет себя честно! Он не пытается влиять на мое решение. Не врывается в дом к больному старику для того, чтобы здесь пугать или улещивать. Он мужественно принимает Судьбу, как истинный герой... Нет, он даже показывает, что он выше Судьбы! Вот за это я ему и присуждаю. И я тоже ничего не желаю бояться с этой минуты. Делайте что хотите». Руслан шипит: «Ага. Умеете говорить. Только вранье это все красивое! Просто он приезжал вчера, и вы сговорились. Приезжал? Говорите честно, если вы такой поборник честного поведения. Что? Слабо вам?» — «Я ничего не скажу. Думайте что хотите». — «А что нам думать? — это Генрих. — Может, вы раньше с ним были знакомы и все это подстроено с его стороны. Мы не знаем». Ярость во мне бушевала так, что я будто совсем ослеп, перестал их видеть... Нет, видел, но смутно и не совсем понимал их действия... Видел, что они отпрянули от меня... перепугались, что ли... «И не узнаете теперь, — кричу. — Потому что наш разговор окончен. Вы добились своим дурацким поведением... только не того, чего хотели, а прямо противоположного». — «Нет, просто вы разволновались, Валерий Вениаминович... Конечно, это мы виноваты, пристали к вам... У вас, наверное, давление подскочило? Принести вам какое-нибудь лекарство?.. Нет? В любом случае вам надо сидеть дома. Конечно, мы освобождаем вас от кон-

курса. Давайте яблоко, и мы немедленно исчезаем». — «Поздно! — отвечаю я. — Поздно вы спохватились, дорогие мои! Это можно было сделать раньше, когда я сам просил вас, даже умолял... Теперь ничего не поправишь...» — «Что с вами? Да вас трясет всего, Валерий Вениаминович! У вас сердечный приступ?.. Ну-ка ложитесь... Ложитесь на диван. Сейчас что-нибудь сделаем... Руслан, звони в неотложку».

Да, это я уже рассказывал: как я почувствовал, что они могут меня убить... Ведь они действительно принесли какое-то лекарство и стали мне давать с водой. Но я не выпил, потому что заметил, как они переглянулись. И особенно как-то очень быстро это лекарство возникло, будто оно было у них специально припасено на такой случай. Это мог быть если не яд, то уж какой-нибудь наркотик наверняка... Но все-таки не было в их действиях окончательной решимости в этот момент. И я понял, чего они боялись, потому что именно тут и раздался звонок... «Вот он, наш рыцарь чести и справедливости! — язвит Руслан. — Тоже пожаловал!» — «Ну что же, — отвечаю, — если это он, значит, я ошибался на его счет. Значит, сейчас будем тянуть бумажки...» Но это был Витя.

Все. Они при нем смолкли и потом вскоре ушли. Ему не пришлось говорить даже ничего особенного. Превратились в тени и растаяли. Просто он своим появлением в один миг изменил атмосферу радикально. Все рассыпалось, и стало смешно... Это уму непостижимо, как такие люди умеют быть веселыми и независимыми где угодно. И почему он со своей женой не мог так действовать? Зачем понадобилось мое неуклюжее посредничество? Это загадка...

Они ушли, но я оставался очень зол. Я тяжело дышал. Возможно, в самом деле было что-то с сердцем. Я задыхался от ненависти. Закурил... Витя взглянул на меня и отобрал папиросу... Я показал ему яблоко. Перед этим я засунул его глубоко в карман, чтобы они, чего доброго, не отняли. Я не исключал, что они могут наброситься на меня... Витя осмотрел яблоко с изумлением. «Да-а, — выдохнул он. — Первый раз вижу такую вещь... Нет, видел в музеях — в руках не держал... Вот так посмотреть только — и сразу понятно, что за этим предметом стоят нешуточные дела, ой-ой-ой!.. Хорошо, что вы показали... особенно дали подержать... а то, я честно скажу... и то, что Ирина говорила — мне все казалось, что это накрутки... так, больше игра воображения... а теперь...»

Витя, понятно, не одобрил моего решения. «Прекрасная мысль вас осенила — жребий. Зачем вы от нее отказались?.. Нет, ваше дело. Но лучше бы, конечно... Я вас отвезу... Нет, я не говорю, что вам надо чего-то бояться — все это чепуха! Они мстить не будут, не посмеют. Да и не за что здесь мстить... Деловые люди на месть как таковую не имеют особо времени-то. Это аристократы мстили, которым делать было нечего... Или восточные народы — ну, там свои представления. И там связано с кровью, а не с такими, конечно, делами. Но все же я вам советую... Я вас отвезу. А вы перед конкурсом позовите-ка их на минутку в кабинет директора и там вытяните эти бумажки. Будет красивее и чище, я вам говорю». — «Нет, Витя. Я не могу их больше видеть. Быстро съездим в три часа, и я потом сразу уйду». — «Ну, как хотите...»

(Дальше была длинная пауза. Я не прерывал раздумий В. В. в течение минут двух. Потом все-таки выключил магнитофон. Он не обратил на это внимания. Я спросил: «Это конец? Дальше ничего, кроме счастливого эпилога?» — «Если бы!» — сказал он и взглянул наконец на меня... Но это был взгляд... можно так сказать: *исполненный глубокой рассеянности*? Нельзя: либо наполненный и глубокий, либо рассеянный, пустой. И тем не менее это был взгляд, который ближе всего описывался бы именно вышеприведенным идиотским выражением... Впрочем, это не значит, что его выражение было идиотским: я этого не говорил... «Если бы! — повторил В. В. — Тогда и не надо было б ничего рассказывать... Ради чего, ты дума-

ешь, я завел всю эту бодягу? Нет, дальше следует эпизод самый странный, который... я даже не знаю, как к нему приступить... С чего он начался-то? — никак не соображу...» — «В магазине?» — пришел я на помощь. «Нет, дома. В магазине все было быстро и неинтересно... А вот потом...»)

— Я приехал домой около пяти часов. И Владимир уже ждал меня... Но как он успел? — это непонятно. Он должен был сразу смыться с банкета, а это было неудобно, потому что он был главным действующим лицом, героем дня... Я на банкет не остался, хоть меня упрашивал директор... Витя меня сопровождал и уже не давал никому в обработку... Но домой я поехал один... По-моему, он встретил меня на лестнице, в подъезде, потому что я помню... Или я ошибаюсь?.. Нет, он мог ни о чем не предупреждать. Ведь я сразу начал в обличительном тоне, и это было то, что требовалось: я сам вписался в его сценарий... Видимо, сначала он ничего не говорил, только улыбался, по возможности глупо. А я, чуть его увидел, сразу: «Ну вот! Что вы хотите своим явлением доказать? Что я совершил ошибку, присудив вам...» — «Не горячитесь, Валерий Вениаминович, дорогой! Подумайте-ка спокойно: неужто благодарность — такое уж дурное чувство?» — «Но я думал, что вы лучше тех, а оказывается, разницы нет никакой: они тоже готовы были благодарить». — «Ну и что? Разве я вам досаждал?» — «Нет». — «Правильно. Но я не лучше других. Это вы себе вообразили. А на самом деле...» — «Что на самом деле?» — «Просто не было смысла приезжать к вам, потому что вы и так знали...» — «Знал? Что я знал?» — «Ой, ну не надо изображать-то, Валерий Вениаминович! Как будто вам не известен суд Париса! Сколько раз описан! У Лукиана, у кого угодно... Что предложила Венера? Знаете?.. Ну! Так какой смысл мне было это пояснять, навязываться вам, когда тут и так был шухер — я себе представляю!» Я тут совершенно смутился и не знал, как себя вести. С изумлением только осознал, что негодования-то у меня на самом деле и нет против него. Поэтому деланной была моя интонация, когда я вскричал: «Да подите вы прочь! Я совсем не думал об этом, присуждая вам... Наоборот: за безмолвие и бесстрастие я вам присудил!» А в это время мы уже были в квартире. Он заулыбался: «Хорошо, хорошо. Не думайте, что вы ошиблись. Безмолвие было, а бесстрастие есть и теперь. Моя благодарность виртуальна. Вы вольны принять ее или отвергнуть. Но я считал бы себя грубой скотиной, свиньей, если б не предложил ее вам. И я прибегаю единственно к вашему милосердию и пониманию, ибо уверен, что вы не можете осудить подобный порыв. Тем более, что...» — «Что? Что тем более?» — крикнул я в полном ужасе. Он придвинул свое лицо к моему и сощурился: «Вы не заставите меня поверить, Валерий Вениаминович, что вы не знали...» — «Что? Что я не знал??»

Он вздохнул: «Ну хорошо...» — отодвинулся и сел на диван. Закинул ногу на ногу. Я смотрел на него не отрываясь. «Что у вас? „Беломор"? Давайте... Я мало курю, своих не взял». — «Пожалуйста. Закуривайте». — «Отлично». Он задумался, обводя взглядом комнату... Мне было уже наплевать: столько народу здесь сегодня перебывало и все осматривало: целые экскурсии по моей внутренней жизни. Вся злоба моя выдохлась, какая была. «Вы, конечно, человек пишущий, это видно, — так начал он. — Какие-нибудь научные изыскания? Или литературные?» Я что-то пробормотал. «Не важно. Я замечаю, у вас много бумаг... Разумеется, все они в жутком беспорядке, и вам не мешало бы завести секретаря, Валерий Вениаминович... Стойте, не перебивайте. Выслушайте внимательно, что я вам хочу предложить... Конечно, здесь секретарем должна быть женщина...» — «Ага, — вскрикнул я с неловким смешком, — а я уж подумал, вы мне опять предложите компьютер!» — «Неужели? Что за странная мысль? При чем тут компьютер? Если б дело было только в упорядочении ваших записей... Нет, вам нужна сотрудница, которая помогала бы вам в более широком смысле: создавала бы условия для нормальной работы — взяла бы, на-

пример, в свои руки ведение дома, хозяйства... Компьютер, увы, ничего такого не умеет, не говоря уж...» — «С хозяйством я сам справляюсь, слава Богу», — пробурчал я. «Справляетесь? Правда?.. Хм, ведь вы один живете?.. Простите, Валерий Вениаминович, вы были женаты? Или всю жизнь так, холостяком?» — «Нет, почему? У меня была жена, семья... Сейчас никого не осталось: жена умерла, дети разъехались далеко...» — «Значит, вы — вдовец, — кивнул Владимир. — Давно?» — «Восемь лет будет в этом году». — «Порядочный срок. И вам не приходило мысли жениться снова?» — «Абсолютно. Я старый. Куда мне жениться? Как-нибудь доживу». — «Вот! Типичная мысль, внушаемая социумом для того, чтобы раньше времени убрать человека из жизни. Вы тоже попали в плен к этим представлениям! А уж при вашем критическом уме — я не ожидал...» — «Ум здесь ни при чем! — перебил я. — Чтобы иметь жену или любовницу, нужна сила совсем иная — не интеллектуальная и не критическая. А ее у меня нет». — «Этого быть не может! Простите, но я в это никогда не поверю! Это на восемьдесят процентов субъективное чувство — ваше собственное настроение, ничего больше!.. А на двадцать процентов — какие-то незначительные трудности, которые исправляются элементарно, простым лечением... Да будет вам известно, что биологическое старение человека идет гораздо медленней, чем его субъективное ощущение своего возраста. Об этом говорят сейчас очень многие ученые. Мы могли бы жить до двухсот — трехсот лет, если б у нас не вырабатывалась *привычка* к старению. А эту привычку вырабатывает в нас социум, в котором, во-первых, действует тенденция к вытеснению стариков, во-вторых, имеется система предрассудков, регламентирующая поведение человека в каждом возрасте... Помните, как в «Евгении Онегине»: «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с годами вытерпеть сумел, кто странным снам не предавался, кто светской черни не чуждался...» Что такое здесь *вовремя?* что такое *жизни холод?* что такое *светская чернь?* Понятно, что светская чернь — это социум. А жизни холод — это привычка, которую он навязывает человеку. И вовремя — это его, социума, приговор... «Кто в двадцать лет был франт иль хват, а в тридцать выгодно женат, кто в пятьдесят освободился от частных и других долгов...» Конечно, по этим меркам шестидесяти- или семидесятилетнему человеку *влюбиться* — это неприлично. Еще бы! Ему на гроб пора деньги откладывать, а он собрался новую жизнь заводить, совсем из ума выжил! Вот поэтому мы и умираем в семьдесят — восемьдесят лет — потому что социум считает это нормой, и мы сами незаметно в течение всей нашей жизни принимаем эту норму и обязываемся ее выполнять... Да знаете ли вы, как много существует примеров того, как влюбленность, скажем, в пожилом возрасте меняет человека до неузнаваемости: меняет внешне, физически — и все только потому, что он ради любви пренебрег своей привычкой, отбросил общественный стандарт! Феноменальные бывают случаи! У человека без всяких лекарств пропадают застарелые болезни... Я не говорю там — язва, гипертония, — это понятно, это еще объяснимо. Но я знал одного, у которого многолетний *туберкулез* прошел за месяц без следа!.. Рак сплошь и рядом проходит... У человека начинается просто вторая жизнь: он живет снова — сорок, пятьдесят, шестьдесят лет...» — «Послушайте! — Мне наконец с трудом удалось прервать его. — К чему вы это все рассказываете? Вы хотите уверить меня, что мне нужна любовница?» — «Конечно! А зачем же я пришел, как вы думали? Однако не торопитесь, Валерий Вениаминович, и не думайте, что я сутенер. Конкретно я предлагаю: пригласить к вам женщину на роль домашнего секретаря. И у меня есть прекрасная кандидатура: женщина культурная, с высшим филологическим образованием. Правда, она не работала, у нее было очень неудачное замужество... Сейчас она разводится, детей нет... Ей тридцать два года... Так что не нимфетка, увы. Но она весьма... изящна. Вот все, что я могу вам ска-

зать. Я буду платить ей секретарское жалованье, допустим, в течение года. А уж дальше — кто может это знать? Планировать такие дела пристало только Богу... Совсем не факт, что она вам понравится, что вы понравитесь ей...» — «Хорошо, довольно! — сказал я сухо и с раздражением. — Я понял, Владимир, ваш проект, и нет необходимости дальше о нем распространяться. К тому же он меня не заинтересовал. Слишком я привязан к своим привычкам, в том числе и к привычке возраста. Так что действительно надеюсь недолго задержаться на этом свете. А вас позвольте, так сказать, проводить к выходу...» Так я говорю дерзко. Думаю: каламбур получился — ну и пусть. И вдруг вижу что-то странное: он, улыбаясь, приложил палец к губам, потом придвинулся ко мне и зашептал: «Говорите, продолжайте говорить еще минуту. Только не реагируйте никак на то, что я вам сейчас покажу. Никаких восклицаний, я все объясню позже. — А сам громко, как бы после заминки: — Ну что ж... Это ваше право... Я ничуть не настаиваю, поймите меня... Просто я считал своим долгом... И извините, ради Бога, если мое предложение вас как-то задело, покоробило...» Говоря это, он нагибается к шкафу — новому, который сегодня принесли, — тихо открывает дверцы... там деревянные дверцы в нижнем отделении... запускает руку, легонько шарит где-то по верхней доске — и вдруг достает, показывает мне черную какую-то машинку... или приборчик, величиной с ладонь. И снова палец к губам... Показал — и сунул обратно... И так же тихо дверцы прикрыл. «Так я ухожу, — продолжает он вслух. — Во всяком случае, Валерий Вениаминович, примите мою благодарность хотя бы в словесной форме...» — «Принимаю, принимаю». Я растерялся, не знаю, что говорить. Мы стоим в прихожей. Он шепчет: «Выйдете со мной на лестничную площадку». Выхожу. «Ключ взяли? — шепчет. — А то смотрите, дверь захлопнется...» — «Взял». — «Ну, захлопывайте, да погромче... Вот так... Ну, видели? Можете теперь громко делиться впечатлениями, он нас не слышит». — «Кто?» — «„Жучок". Подслушивающее устройство. Это Генрих у нас увлекается такими штуками. Сейчас сидит в машине где-нибудь неподалеку и пишет на магнитофон... Так что я пришел к вам, Валерий Вениаминович, и этот смешной разговор повел — для вашей безопасности. И для моей тоже. Чтобы они убедились, что мы с вами чисты, как пионеры, в наших взаимоотношениях: в прошлых и в будущих... А то он думал, что сейчас понапишет на меня компромата и сможет оспорить сегодняшний конкурс. Не тут-то было». — «Он пытается выплыть в бурлящем море! — вспомнил я с ужасом. — Ищет, за что бы схватиться! А вы не только не бросаете ему круга — еще и смеетесь над ним?» Он окинул меня быстрым внимательным взглядом. «Значит, этой женщины не существует на самом деле?» — продолжал я. «Почему? Разумеется, она существует. Он же не дурак, может проверить: я действительно не спектакль тут разыгрывал. И вы тоже. Все было по-настоящему. В том-то вся и тонкость... Да он и так понял, о ком шла речь: это моя двоюродная сестра... Я вам советую, Валерий Вениаминович, сегодня попозже начать, например, расставлять книги — ну и как бы „обнаружить" этот „жучок"... Да, и лучше выньте-ка из него батарейки...» — «А потом что?» — «Да ничего. Пусть лежит. Если вас беспокоит, что кто-то придет за ним... Ну, можете позвонить в магазин завтра и сказать, что нашли в шкафу загадочное устройство, назначения которого вы не знаете. Пусть вам объяснят, что это не бомба. Поиздевайтесь над ними, скажите, что сейчас вызовете саперов». — «Хорошо. Вряд ли это доставит мне развлечение... Признаться, меня удивляет...» — «Что вас удивляет, Валерий Вениаминович?» — «Ваша самоуверенность... И... я спрошу вас...» — «Спрашивайте. Я весь к вашим услугам». — «Вы действительно настолько хорошо знаете своих друзей, что можете предвидеть все их действия?» Он улыбнулся: «Конечно. Если б это было не так, я бы не победил в сегодняшнем конкурсе». — «Гм, пожалуй. Если б вы явились ко мне сегодня вместе с ними...» — «Вот ви-

дите!» — «Но это значит, что вы и мое поведение предугадали. А откуда вам было знать?..» — «Нет, конечно, я не знал наверняка. Но вероятность была, что эти дураки вас выведут из терпения...» — «Я не про это. Откуда вам было знать, что я не куплюсь на их приманки?» Он пожал плечами: «Мне было достаточно нескольких ваших слов, которые вы произнесли вчера на тротуаре возле моей машины». — «Значит, и сейчас, когда вы шли ко мне, вы были уверены, что все пройдет гладко?» — «Да».

Я рассматривал его с какой-то непонятной мне самому неприязнью. «Здесь вы могли сильно ушибиться, Владимир...» — «В смысле?» — «Удариться, треснуться, говорю. Вы очень рисковали. Вам все-таки следовало меня предупредить, хоть в общих чертах, прежде чем мы зашли в квартиру». Он перестал улыбаться и несколько секунд смотрел на меня серьезно, даже с тревогой. «Но... Валерий Вениаминович... если так... Я, по-моему, выразился недвусмысленно, и я могу повторить: никакого спектакля для „жучка" я не разыгрывал. Все было истинной правдой... Поэтому... если вам угодно вернуться... нет, не в квартиру, а к этой теме...» — «Но вы же сказали, что она еще не разведена?» — «Да. Но это... решится в течение двух-трех месяцев, я полагаю. Вряд ли больше...» — «Ну так пусть сначала разведется. Я не хочу новой троянской войны».

(Долгое молчание.

Наконец слышится мой вопрос:

— Это все?

— Все.

— И дальше ничего?

— Абсолютно.

— Но вы... ее ждете?

— Да нет... Зачем ставить себя в зависимость от призраков?)

ЛЮДМИЛА АБАЕВА

*

НА ЗОВ НЕВЕДОМОЙ ОТЧИЗНЫ

* *
*

И все мне помнится, как ото всех тайком
по аспидной доске крошащимся мелком,
не одолев внезапного волненья,
я первое пишу стихотворенье.
О, как дрожит божественно рука!

А в синеве окна нездешняя звезда
все медлит и влечет неведомо куда —
мерцающий мелок в руке незримой Бога,
моя душа у горнего порога,
что смотрит на меня издалека.

* *
*

Все мы агнцы не божьи, но адовы,
Возлюбившие терпкость греха.
Словно сок по рукам виноградаря,
Кровь течет по рукам Пастуха.

Заходило кровавое брожево...
Боже правый, спаси и прости!
Смерть ли в землю российскую брошена
Из Твоей милосердной горсти?

Если — жизнь, то откуда старинная
Обреченность грядущих времен:
В этом мире загубят невинного
Под круженье зловещих ворон.

Абаева Людмила Николаевна родилась в городе Кизеле Пермской области, окончила Литературный институт им. А. М. Горького в 1983 году. Публиковалась в журналах «Урал», «Лепта», «Юность», «Новый мир» и др.

* *
*

Памяти Евгения Блажеевского.

Мы шли по кладбищу печальной вереницей,
На плитах скорбные читая имена.
Деревья маялись, кричали в небе птицы,
И первой зеленью цвела вокруг весна.
Мы шли в молчании среди крестов и звезд,
Среди обнов ликующей природы
И горько думали, как быстротечны годы,
Под шелест несмолкающий берез.

Тебя он принял, сокровенный Бог,
В земной глуби, в заоблачных высотах.
И, словно пчелы мед сладчайший в соты,
Мы слезы принесли на твой порог —
То наша жатва, наша благодать
От всех даров земной мгновенной жизни.
И мы на зов неведомой отчизны
Вслед за тобой идем уже — как знать...

Снегопад

Туманы тяжкие сошли с небесных гор
давай оставим безнадежный разговор

Вокруг ни щебета ни трепета листа
и только странная на сердце маета

Среди безмолвной беспредельной белизны
мы словно заживо в себе погребены

А снег все падает ликуя и слепя
как на минувшее смотрю я на себя...

* *
*

О, эта странная, глухая,
гудящая, как поезда
в осеннем сумраке без края,
и тянущая в никуда
тоска —
поворотила тайной
жизнь от начала до конца
так, что и в зеркале случайном
своим не признаешь лица.

* *
*

Духу небесному, истинно сущему,
я присягнула на горнем огне.
Тайными песнями, звездными кущами
голуби снов прилетели ко мне.

С этой поры и живу, зачарованна,
с сердцем бестрепетным в черные дни.
Где моя радость и где моя родина? —
знают далекие в небе огни.

* *
*

О, Господи, осень!
Погожий денек для двоих,
бредущих одной бесконечной конечной дорогой
все мимо и сквозь шелестящих, летящих, убогих
и солнцем последним пронзенных просторов твоих,

и солнцем последним, слегка веселящим унылость
домов, и скамеек, и скверvoв цвета дождей.
Подай же им, Господи, солнца на сырость и сирость,
на зябкую старость, на бедные игры детей.

И дай мне свободу лететь и лететь
безмолвной листвой, устилая безмолвную твердь.

РОМАН СОЛНЦЕВ

*

ДВОЙНИК С ПЕЧАЛЬНЫМИ ГЛАЗАМИ

Рассказ

1

Про этого унылого типа, который приходил на все наши собрания в геолкоме или камералке, мы знали — он из КГБ. Садился обычно в дальнем углу, доставал планшет с целлулоидной пленкой, как если бы тоже имел какое-то отношение к поисковой партии, но, надо отдать ему должное, вопросов не задавал — просто сидел, тускло мерцая черными глазками на темном же лице. То ли из казачков, то ли украинец с турецкой кровью...

Поскольку я по корням своим татарин и весьма смугл, среди прочих синеглазых нас как бы судьба подталкивала друг к другу — не меня к нему, конечно, а его ко мне. Через год-два он стал здороваться, явившись, прежде всего со мной, хотя кто я — всего лишь начальник отряда.

Возможно, не все сейчас помнят, что слово «уран», например, произносить, а тем более записывать запрещалось. Его в документах по разработке месторождений заменяли обычно на «кальцит». Да и золото, и редкоземельные имели свои псевдонимы, как если бы они были шпионами, засланными в среду рядовых минералов и металлов. Поисковые карты несли гриф секретности, так как при масштабе 1 см = 2 км они достаточно подробны. Продававшиеся же в открытой торговле карты СССР или отдельных областей были при составлении специально искажены, чтобы «враг», если вдруг проникнет к нам, запутался.

Если иногда кто-то из начальников экспедиции выезжал за границу, хотя бы даже в Венгрию или другую страну соцлагеря, с ним вместе оформлялся в дорогу также достаточно высокопоставленный чиновник из «серого» дома. Во-первых, халява, командировка в мир, где жизнь богаче и ярче, чем у нас, а во-вторых, надо же последить за командированным — вдруг выйдет на некий запретный контакт с иностранными спецслужбами.

Конечно, по здравом размышлении это было почти исключено: мы — люди советские, особый сорт, выведенный в теплице. Даже если никто с тобой не поехал, все равно боишься: вдруг вон тот с фотоаппаратом в толпе варшавян либо даже девица легкого поведения в красной рваной юбке на мосту Ержебет в Будапеште есть наш тайный агент и завтра же зашифрованная телеграмма уйдет в Москву...

Мне по молодости лет и скудости опыта долго не выпадало поездок за бугор, но иной раз приходилось встречаться со студентами геофака перед их практикой или со школьниками, которых я пытался агитировать в геологи. Пик нашей славы прошел, песня «Держись, геолог» уже не гремела с

Солнцев Роман Харисович родился в 1939 году. Закончил физмат Казанского университета. Автор книг «День защиты хорошего человека», «Две исповеди», «Имя твое собственное» и др. Печатался в журналах «Новый мир», «Нева», «Юность». Живет в Красноярске.

утра до вечера по радио и телевидению, и молодых умных парней явно не хватало в нашей зеленой армии. К нам в последнее время почему-то потянулись некрасивые одинокие девицы, но это тема отдельного разговора...

Так вот, младший чин из КГБ, которого мы прозвали между собой Козлом за постоянно скучную его козлиную морду, видимо, имел право следить только за младшими чинами, и я пару раз замечал именно его в аудитории среди студентов, а однажды даже в школе увидел, на задней парте возле директора школы и учителей, когда я говорил о подземных богатствах Сибири.

Конечно, Козел и здесь помалкивал, но все время что-то хмуро записывал в блокнот. Наверняка ерунду писал, изображая внимательно слушающего человека, но меня это раздражало, путало мысли. Да и кто знает, возможно, он вылавливал у меня недостаточно четкие, якобы двусмысленные фразы. Внезапно подступающий страх не давал мне при нем чрезмерно острить (а я очень любил в молодости посмешить аудиторию), я начинал злиться. Иногда хотелось поверх голов обратиться напрямую к нему: мол, эй!.. не пошел бы ты отсюда?!.

Увы, желание добиться благоприятного о себе впечатления привело к тому, что я ввернул в одну из своих лекций рассказик о том, как чекисты в 20-х годах не дали вывезти из России огромное количество золота... Хотя прекрасно помнил, что золото вывозили — и не раз — в Китай и Японию и люди Дзержинского оставались с носом. И я допускал, что из слушающих кто-то знает об истинном положении вещей и оценит мой грустный юмор. Он же, унылый тип, никак не переменился в лице, не просиял или, наоборот, деловито не нахмурился: мол, да, работаем, — сидел и записывал. Наверное, понял хитрую изнанку моего рассказа. И чтобы дать ему поверить, что я человек недалекий, я в следующий раз, увидев его, кивнул со словами:

— Да, товарищ, мне приятно, что вы внимательно слушаете... Родину надо знать и любить.

После такой лекции у меня во рту было ощущение, будто я лягушку лизал. «А пошел он действительно на хрен! Бездельник! — кипятился я, шагая домой. — В следующий раз возьму и спрошу: а вы тоже студент? Или: тоже учитель? Чему вы учите? В каких подвалах, какими раскаленными щипцами?..» Но, конечно, ничего такого я ни разу не сказал, а, наоборот, встретив его в другом месте, издали подобострастно улыбнулся: мол, чего уж там, мы люди свои, так и быть, присутствуйте...

И стал потихоньку ненавидеть себя. Ночью он мне мерещился под окнами — ходит кто-то по тротуару взад-вперед в плаще со вздернутым вверх воротником. «Неужели установили наблюдение? А что я такого сделал? Или их много и за всеми более или менее заметными людьми следят?» Видимо, я уже считал, что по крайней мере в нашем городе я достаточно известный человек — член Совета по разработке и сохранению недр... Впрочем, по «Голосу Америки» слышал: никто не знает, сколько в КГБ работает народу, может быть, сотни тысяч... Они что же, за всем населением следят? Вот бы напиться и — как бы перестав владеть собой — спросить у этого типа!

Но я еще не сошел с ума.

Всему свое время.

2

С этим тоскливым господином, моим соглядатаем, мы познакомились ближе, когда я полетел в туристическую поездку в ГДР (тогда еще Германия была расколота)...

В нашей группе оказалось шестнадцать человек: спортсмены, учителя, врачи, журналисты и от геологов — я. Когда садились в самолет до Москвы, откуда нас повезут поездом, я Козла не видел. Не заметил и в поезде. Но когда мы вышли вечером в сумерках из вагона на вокзале в Берлине (Восточном, разумеется), он стоял среди наших, скромно улыбаясь и ни на кого не глядя.

Он был в скромной по цвету, но дорогой куртке с деревянными пуговками, иностранном кепи, в иностранных ботинках с высокой шнуровкой. То ли раньше прикатил, то ли в соседнем вагоне ехал, не знаю.

Нас поселили в гостинице на Фридрихштрассе, в угрюмом доме с треснутыми колоннами. Всей группой ходили на экскурсию во Дворец народов (кажется, так он назывался?), где меня поразило огромное количество шарообразных фонарей внутри и затененное, почти черное стекло со всех сторон. Потом повезли в Дрезден, и я впервые увидел — она в отдельном зале — «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля...

Вечером в каком-то тесном клубе местная общественность устроила для нас маленький фуршет — голодные, стоя вокруг длинного стола, накрытого красной скатертью, как бы знаменем, мы выпивали понемногу под крохотные, не крупнее резиновых ластиков кусочки колбасы и сыра на палочках. Потом, вернувшись в гостиницу (это была наша последняя ночь), напились в номере люкс у руководителя группы Пименова, чиновника из нашей городской администрации, — у нас у всех в чемоданах нашлось по бутылке водки (хотя мы много привезли и раздали принимавшим нас немцам: «Презент, презент!.. Битте!..»). И я оказался на стуле рядом с этим самым Козлом.

— Ну как вам Мадонна? — дерзко спросил я.

— Плакать охота, — легко ответил он. — Я тоже впервые увидел.

— Впервые? Вы? — слегка пошел я в наступление.

— Да, да, — кивнул он, глядя с плаксивой какой-то улыбкой мне в переносье. — Да.

— А я думал... вас ваша... экспедиция посылает. — Я как бы берег его тайну от окружающих, вслух определяя его как геолога.

Он помолчал.

— Кстати, вы видели по дороге в Дрезден?..

— Да, — сказал он и поднял согнутую в кисти руку — изобразил подвесную дорогу с железными ковшами, в которых везли над полями урановую руду ГДР (скорее всего для отправки в СССР). — Мы же их защищаем.

Я в свою очередь тоже глубокомысленно кивнул.

— А пойдемте ко мне, у меня есть коньяк! — предложил он.

«Начинается!..» Холодок пролетел по моей коже. Я улыбнулся:

— А почему нет?..

Номер у него, к моему удивлению, был такой же, как у меня. И никаких особых телефонов на столе — обычный, гостиничный.

— Илья Лазарев, — протянул он мне руку. — Илья Петрович.

Я медленно назвал себя, он криво ухмыльнулся.

— Знаю. — Налил мне и себе по полстакана коньяка. — За наше безнадежное счастье.

Я выпил, с легким страхом раздумывая, что означает его таинственный тост.

— Назло врагам, — чтобы все же уточнить свою позицию, буркнул я.

— А-а, мой родной!.. — пропел Илья, наливая еще в стаканы. — В том-то и вся беда... — Он не договорил и, лишь убедившись, что я смотрю на него внимательно, ручкой мелко написал на листке бумаги, что лежал у телефона: «Нету никаких врагов. И скоро это станет очевидно». — В том-то и беда... — повторил он, скорее всего для подслушивающих здесь служб. — ...что они нас не слышат! Враги, я имею в виду!

— Но мы их одолеем! — включился я в его игру — и все-таки (а вдруг он сам тоже записывает на магнитофон?) оттеняя свою патриотическую позицию.

Илья иронически скривил козью мордашку свою: долил остатки.

— Разумеется. — Потянувшись, громко включил радио. Грянула музыка — Бетховен, финал Пятой симфонии. И прокричал мне почти в ухо: — Скоро все это рухнет.

Сделать глупое лицо? Зачем он меня провоцирует?

Понимая, что трушу, он продолжал:

— Тебе не надоела вся эта фигня? Мечта народов, коммунизм, фуизм... Сидим как в консервной банке, только Москва живет более-менее, а страна бедствует... Все заврались, и все всё понимают... Я знаю три языка, иногда думаю: да пошли вы все... вот сейчас встану и уйду, шагая через заборы Европы... Ты стихи Рембо «Пьяный корабль» помнишь?

Я отрицательно покачал головой, с ужасом думая, чего он от меня потребует завтра, в России, когда вспомнит, что мне тут говорил.

— Не путать с Ре́мбо, ха-ха!..

Слишком долго я плакал! Как юность горька мне,
Как луна беспощадна, как солнце черно!
Пусть мой киль разобьет о подводные камни,
Захлебнуться бы, лечь на песчаное дно!
Ну а если Европа, то пусть она будет,
Как озябшая лужа, грязна и мелка...

Он читал, и слезы текли по его темному лицу. Может быть, он искренен? И знает чего-то, чего я не знаю? Но что от меня-то он хочет? Или просто хороший актер, талантливый провокатор?

Надоела мне зыбь этой медленной влаги,
Паруса караванов, бездомные дни,
Надоели торговые чванные флаги
И на катор-ржных стр-рашных понтонах огни!

Он замолчал, откинулся в кресле, закрыв глаза и оскалясь.

— Да-а... — пробормотал я. — Хорошие стихи.

— Да при чем тут!.. — простонал мой собеседник. — Жизнь проходит впустую! Мечтал стать дипломатом — попал в контору... и это надолго. Уйти? Прямо сейчас? — Он вдруг вспыхнул глазами (иначе не могу сказать), схватил меня за руку: — Вот ты, геолог... человек полезного дела... скажи! Я сделаю, как ты скажешь! Всей этой муре собачьей еще лет десять вариться... Мне тридцать. Сидеть как в тюрьме, ждать свободы — или сейчас? — Он кивнул за окно.

— Но они же... — Я не договорил.

— Эти?! — Он прекрасно понял мой недоговоренный вопрос. — Тут же выдадут. А я — сюда... — Он мотнул головой, как я догадался, в сторону Берлинской стены. Мы пару раз проезжали мимо этой серой, высокой, обвитой колючей проволокой стены. — Я знаю, как это делается. — И забормотал страстно, брызгая слюной, вскочив и показывая на ноги: — Там поставлены автоматические пулеметы — если пересечешь линию фотоэлемента, стреляют вот сюда... — Он показал на живот. — Почему и дети недавно погибли... пулями размозжило головы. — А я... я подойду на ходулях — и прыг!.. Ну, расшибусь немного... Но зато хера вам!.. — Он отпер чемодан, достал еще бутылку коньяка.

— Больше не надо! — крикнул я встревоженно. Я был достаточно пьян и боялся совсем опьянеть.

— Эх ты! Тоже говно?! Несмотря на все свои шуточки, намеки... Ты что, боишься, я тебя буду сватать туда? А потом заложу? Да пошел ты! Я с тобой советуюсь, как МНЕ быть!.. Я боюсь вот чего: могут выдать обратно...

— Ну не-ет! — протянул я. — Эти?!

— Наши могут обвинить в каком-нибудь насилии... воровстве... сфабрикуют дело со свидетелями, фотографиями... и никакого политического убежища я не получу, поскольку предстану уголовником. — Он тяжко вздохнул. — Наши это умеют хорошо. — Налил себе. — А ты, значит, боишься даже пить?

— Ну, налей, — сказал я. — Немного.

— Тоже мне поисковик. Вы же в тайге спирт неделями жарите. — Он выцедил налитое, как чай. И минуту сидел, уставясь в пол. — Уйду. Сегодня уйду. А ты беги. Давай обратно в свой лагерь...

Я поднялся. Он не смотрел на меня, утирал лицо платком. Все-таки это смахивало на провокацию. А может быть, я ошибался. Завтра будет видно.

И утром я увидел: Илья Петрович Лазарев, сумрачный, тихий, вместе с нами со всеми выехал на автобусе в аэропорт «Зонненфельд», чтобы лететь домой, в СССР.

3

Какое-то время я его нигде не встречал. И успокоился.

Но судьба шьется незаметно — как ковер, из-под низу. Через пару лет, в одной из школ города, над которой наша экспедиция взяла шефство, на уроке прикладной геологии с демонстрацией минералов я снова увидел его. Козел, или как его?.. Илья Петрович Лазарев (впрочем, Илья ли? Петрович ли? Лазарев ли?) сидел вместе с учителями на задней парте, словно никуда не исчезал.

Он изменился, отпустил усики — узкой щеточкой, как у южных людей, и это меня почему-то дополнительно напугало.

После занятий сексот как бы случайно побрел рядом со мной по улице. Но молчал.

И я, заранее досадуя на себя, сам зачем-то спросил его:

— Куда-то ездили?

— Да, — ответил он. — Да. — И довольно охотно принялся рассказывать, что его, как и некоторых других сотрудников комитета, посылали в Афганистан. Лично он был в горах, в дальнем городе Герате, который принадлежал душманам.

Отвечая на мой неизбежный вопрос, пояснил:

— Я знаю английский. Ну, вы понимаете...

Зачем он передо мной откровенничает?.. — Тяжко пришлось. Даже ранили. — Он кивнул на плечо. И еще я заметил, что теперь, когда он время от времени приподнимает левый краешек усов, у него снизу обнажается золотой зуб. — А сейчас мы оттуда уходим...

— Как уходим?

— Горбачев так решил. — Снова сверкнул зубом. — Хрен с ним. Отдаем страну. И я тоже ухожу... почти в геологию. — Он ухмыльнулся, его узко поставленные темные глазки загадочно блестели. — Шучу. Это такое подразделение — Федеральная служба президентской связи... через космос... можем хоть самого Буша послушать... не говоря... — Уже откровенно улыбаясь, он смотрел в упор на меня.

Что-то он повеселел. И зачем, зачем мне это рассказывает?! У них что, какие-то виды на меня? Я, кажется, не давал повода... Теперь не отлипнет?

— Кстати, — сказал он, — насчет геологии. Ты еще не слышал? Есть новое указание правительства — мне говорили коллеги, которые за это отвечают, — срочно печатать новые географические карты... Наши старые сильно искажали страну?

Это он спросил у меня? Я повел подбородком. Не то слово — искажали... Многие города на картах были переставлены на сантиметр-два-три в сторону от истинного положения, реки, дороги, месторождения — все было не на месте, чтобы враг, если начнет войну, заблудился. Но сегодня-то какой смысл обманывать кого-либо — из космоса СССР сфотографирован, говорят, с точностью до метра! Как, наверное, и США.

— И кстати, уран теперь разрешат называть ураном, как и дураков — дураками! В этом смысле Горбач молодец. — Илья вновь дернул щеточкой усов и сверкнул зубом. — Так что усё!.. Полная хласность! Можем спокойно дружить. — Он остановился и весело, даже как-то лихо подмигнул. И, кажется, ждал от меня также некоего проявления добрых чувств.

Но не лежала у меня душа дружить с ним. Мы молча постояли, и, что-то пробормотав, он пошел прочь. У меня отлегло от сердца. И быстрыми шагами, пока меня не окликнули, я направился к дому.

Но вечером Илья позвонил. Голос его, медленный, мягкий, я тут же узнал.

— Алло?.. — Мне показалось, что он пьяноват. — Алло, алло? Это вы?.. С вами хочет поговорить Михаил Сергеич. — И вдруг я действительно услышал в трубке певучий говорок Горбачева: — Нам подбрасывают тут усякие вопросы... но мы выйдем на консенсус... Ну как?! — Илья захохотал. — Похоже?

— Здорово! — согласился я. И все же я побаивался такой дерзости, тем более — продемонстрированной по телефону. Провоцирует? А сам запишет мою реакцию на эти хохмы? И я, чувствуя себя последним дерьмом, все же назидательно добавил: — Но Михаил Сергеевич действительно дал нам свободу говорить.

Илья в трубке засмеялся:

— Естественно! А как же! А вот это кто с тобой говорит? — И в трубке послышался незнакомый мне голос: — Вам, ребята и девушки, нужно помнить: многие волшебные клады страны еще запечатаны мшистыми печатями... Именно вы можете открыть новый Самотлор или Артемовск... — Эти слова я недавно говорил школьникам. — А?! Не понял?

— А кто это?

— Как кто?! Ты!..

— Я?! У меня... у меня не такой голос! — удивился я.

— А какой? — веселясь, продолжал трещать в трубке Илья. — У тебя есть магнитофон?

— Есть.

— С микрофоном?

— Да. Тут два, по уголкам.

— Очень хорошо. Приложи трубку к любому из них и запиши. А я повторю. А потом спроси любого знакомого — кто? И тебе скажут.

Со странным любопытством, но и с оттенком чего-то неприятного на сердце я сделал, как он сказал.

— Бывай!.. — буркнул Илья и положил трубку.

И как раз в эту минуту в дверь позвонили — пришла моя бывшая жена. Мы с ней расстались года два назад, когда я сильно загулял, еще «в поле» — так мы называем работу хоть в тайге, хоть в горах... Правда, позже она меня несколько раз навещала — то полы помоет, то рубашки постирает и все хвалит нового мужа: такой славный, сидит целыми вечерами дома, смотрит, обняв ее, телевизор. А ты как был вонючий геолог, так и остался им. Вот и сегодня она вошла в сверкающей мутоновой шубейке, в сверкающей шапке, хотя еще осень, не зима, с хозяйственной сумкой в руке.

— Просто навестить... — пояснила Нина Матвеевна. — Вдруг ты тут умер.

— Я еще не умер, — сказал я. И чтобы не заниматься пустыми разговорами, предложил: — Послушай, это чей голос? — и включил магнитофон.

Она секунду постояла, сдвинув тонкие подрисованные бровки:

— Как чей? Твой.

— Мой?

Бывшая жена с сожалением смотрела на меня:

— Опять пил?

Я покачал головой. Неприятно стало мне почему-то. Хотя что с того, что некий Илья умеет подделывать и мой голос? Да черт с ним.

— У тебя все хорошо? — спросил я у Нины Матвеевны.

— О да! — Бывшая жена торжественно выпрямилась, как артистка Ермолова на портрете Серова. — А у тебя?

— И у меня, — ответил я.

— Я рада. — Гостья оглядела квартиру. Пол был довольно чист, на форточках над батареями не сохли безобразно рубашки и полотенца, на стульях не висели носки. — Ну, до свидания.

— До свидания.

А тебе, таинственный пересмешник, хотел бы сказать: прощай.

И в самом деле, с год я его не видел и не слышал.

4

Наступил 1989-й. Грянули митинги с мегафонами, развернулись толпы с транспарантами, с призывами вернуться к истинно ленинскому учению, искаженному культом личности Сталина и эпохой застоя. На стенах подъездов, на заборах, на столбах сначала несмело, а потом более дерзко зашелестели, засверкали листовки, размашистыми метровыми буквами самого разного цвета шагнули в наше сознание имена новых лидеров.

И черт же меня дернул в эти восторженные и жутковатые дни (а вдруг это как в Китае: «Пусть расцветают все цветы», а потом раз — и серпом?!) согласиться на веселое предложение коллег попробовать себя на политическом поприще.

Мои друзья вопили, обкуривая сигаретами «Прима»:

— Ты, блин, одинок, ты умный, ты не коммунист, но и в тюрьме не сидел, говорить умеешь... давай! — И я высунул язык, как повесившийся на веревке, — согласился.

Иногда бывал дураковат...

На собрании в экспедиции за меня проголосовали единогласно (впрочем, не обольщаюсь — в ту пору мы еще только так и умели голосовать — единогласно!), и я был включен в какие-то длинные списки. И немедленно стал ездить с другими кандидатами по городу, встречаться с людьми в школах, клубах, больницах.

Если еще недавно мне и в голову не могло прийти, что кто-то помимо геологов знает меня на свете, то теперь в областной газете напечатали письмо за подписью некоего Н. Казакова, который сообщал, что я запойный пьяница, что моя жена не выдержала, ушла, что не такие депутаты нужны народу в новом Верховном Совете. Но поскольку я действительно «не состоял», «не участвовал», да и не особенно призывал голосовать за себя, а больше веселил народ анекдотами про дураков чиновников, то каким-то чудом проскочил во второй тур.

Моим единственным противником оказался, конечно, коммунист, рабочий, член горкома по фамилии Коноваленко. Везде на улицах появились его красивые портреты. И даже в автобусах, на стеклах и на дверях. Мои же бледно-фиолетовые фотоснимки, отпечатанные в камералке при-

вычным в геологии дешевым аммиачным способом, были перечеркнуты или замараны.

С Петром Ивановичем Коноваленко я в первый и последний раз увиделся лицом к лицу на студии телевидения, в передаче, которая так и называлась: «Лицом к лицу». Крупный, с лохматыми, как у Брежнева, бровями, выше меня дядька с красным флажочком на лацкане пиджака снисходительно кивнул мне и отвернулся к своей группе поддержки.

Машинально глянув в ту же сторону, я был изумлен тем, что среди «коноваленковских» парней стоит с бесстрастным видом мой давний знакомый, Илья Лазарев, — в нарядной украинской сорочке с пояском, как танцор-казачок. Поймав мой взгляд, он как бы затмился лицом, дернул щеточкой усов и, помедлив, едва заметно подмигнул. А поскольку я продолжал тупо смотреть на него, он, стрельнув глазами на Коноваленко, поднял большой палец: мол, он победит, увидишь.

Почему-то мне было неприятно появление здесь сексота. Но что же делать... Я собрался с мыслями. У меня группа поддержки крохотная — двое дружков с гитарой из экспедиции да старая геологиня Евгения Николаевна, помнящая много цитат — от Сократа до Горбачева. Но чем они могли помочь в быстродвижущейся передаче? Я старался отвечать сам на любые вопросы как можно легче, с улыбочкой, я же понимал — только так могу противостоять самоуверенному и массивному, как танк, жующему слова, как корова капусту, передовому рабочему Петру Ивановичу Коноваленко. И надо же, как ни странно, я не провалился, телефонные звонки зрителей (тогда впервые разрешили эту форму общения) показали: народ разделился 50 на 50.

Это потрясло сторонников Коноваленко: они были уверены, что затопчут меня. Илья Лазарев ушел, затянув потуже сверкающий поясок и хмурясь. А я со сладким страхом подумал: неужто на выборах одержу победу? И что мне потом делать?

Правда, дня через два кто-то рассказал мне, что на заводе медпрепаратов, где явно моя аудитория — работают операторы с высшим образованием, — Коноваленко имел оглушительный успех! Он, говорят, работал как боксер — весь мокрый, но с ответами не тянул и ввернул пару грубых шуточек про прежнюю власть, которые в его устах сработали как изысканный юмор. И я несколько успокоился — он выиграет.

Но случилось и вовсе неожиданное: вечером позвонили мои сторонники с правого берега, они кричали в трубку, обвиняя меня в отступничестве.

— Что такое?!. — не понимал я их гнева. — Что случилось?

Оказывается, днем меня видели на митинге у завода автоприцепов, где я обнимался с секретарем райкома Ивановым. То есть я готовлю себе пути к отступлению.

— Этого не может быть! — уверял я по телефону своих избирателей. Те в ответ молчали.

Потом позвонила геологиня Евгения Николаевна, своим надтреснутым прокуренным басом рассказала, что, по ее данным, обнимавшийся с секретарем человек был одет точно как я: в белом свитерке с ромбиками, в черных джинсах, да и волосы комом... Мы пришли к выводу, что люди, которые были на митинге, обознались именно по этой причине.

А кто-то специально слух размножил, чтобы на меня пала тень...

Но бесполезно! Через несколько дней социологи, которым разрешили следить за борьбой конкурентов и опрашивать народ, пришли к выводу, что расклад наметился все равно в мою пользу. Видимо, люди устали от твердокаменных депутатов вроде Петра Ивановича Коноваленко. И победа наша была близка...

Однако в последнюю перед днем выборов пятницу случилось невероятное. По городу вдруг понесся слух, что утром, в 7.20, я выступил по местному радио и практически отказался от борьбы. Сказал, что недостоин быть во власти. Мне звонили безостановочно незнакомые люди, обзывали Иудой.

— Тебя что, они купили?!

— Кто?! Я не выступал!

В 12 часов дня выступление повторили — да, этот голос был похож на мой. Из «моих» слов следовало, что только коммунисты имеют право на власть, у них опыт. «А я кто? Геолог. Мое дело открывать для народа месторождения...»

Что за бред?! Этих слов я нигде никогда не говорил! Но мне позвонила даже бывшая жена, повторила упреки, которые уже довели меня до потемнения в глазах... Звонили учителя, журналисты...

Мой голос теперь в городе знали многие, и люди были уверены: это я, это мой голос!

Ко мне стучались. Пришел какой-то бородатый парень, физик с магнитофоном, стал объяснять, что из моих всяких-разных выступлений могли надергать куски и склеить. Но все равно не получилось бы того, что звучало по радио!

Друзья из экспедиции поехали на радиостудию выяснить, откуда взялась запись. Им ответили, что в 7.00 пленку с текстом на студию принес такой же, как они, геолог, показывал удостоверение помощника кандидата. Кто, какой геолог, какой помощник?! Из наших никто не ходил на радио!

— Но голос вашего кандидата? — спрашивали на радио. — Это же он?

И снова крутили пленку, и мои соратники только вздыхали да зубами скрипели.

Ничего себе шуточки!

Но я-то почти сразу понял: это гениальная подделка моего знакомого Ильи Лазарева. Да кто поверит? И все же стал наконец что-то объяснять группе поддержки:

— Понимаете... есть у меня знакомые... я не могу сказать, где он работает... — Потом те же слова — прибежавшим ко мне журналистам, но эти только ухмылялись...

Старая геологиня Евгения Николаевна встала со стула, погасила окурок, сплюнула и прохрипела:

— Скажи уж честно — сдрейфил! — И ушла.

Что мне оставалось делать? Вечером в пятницу бегать по городу, кричать, что я не верблюд? А в субботу и вовсе нельзя агитировать. Можно было лишь надеяться, что люди поймут, что имели дело с подделкой. Все-таки я не совсем так произношу букву «с» — Илья Лазарев слегка шепелявит из-за своего зуба... да и говорю я медленнее... а он соорудил речь прямо скорострельную... но, конечно, очень близкую по темпераменту на все мои речи...

В субботу я напился. В воскресенье лежал дома, запершись, смотрел телевизор.

К полуночи сообщили: победил кандидат коммунистов, рабочий Петр Коноваленко — правда, с небольшим отрывом в 3,4 процента. Но победил!

Утром в понедельник я выпил в «Рюмочной» стакан водки и побежал искать встречи с Ильей. Я ему всю морду разобью.

Но Лазарев словно ждал меня — встретился совсем неподалеку от моего дома, на улице. Он был в спортивной курточке с красными полосами (у меня есть точно такая!), в джинсах, в кепке.

— Ты?! — прошептал я, подходя к нему и сжимая кулаки до звона.

Илья улыбнулся, даже просиял: счастлив, мол, видеть тебя. Но как бы только сейчас сообразив, что розыгрыш мне был неприятен, дернул щеткой усов.

— Да ладно, чего ты?.. — И отступил на шаг. — Это ж просто игра.

— Какая игра?.. Какая?.. — Я задыхался.

— Я же знаю — ты не особенно и хотел!.. — тихо втолковывал он мне, оглядываясь на прохожих. — Ты сам признавался!

— Дело не в этом!.. — бормотал я и удивлялся сам себе. Я думал, что, встретив его, буду орать на всю улицу, но слова застревали в гортани. — Вы же говорили — Запад... демократия... а поддержали их. Вам заплатили? Заплатили?

Лазарев потемнел лицом, помолчал, сдерживаясь, и ответил:

— О нет. Я делаю то, что я считаю нужным.

«Но зачем же тогда?..» — хотел я спросить, но уже понял: он отомстил. За отвергнутую дружбу.

5

Прошло лет семь. Я был в командировке в Мексике — тамошнее правительство пригласило группу российских геологов для переговоров с их Министерством недр. Здесь прознали, что мы практически бесплатно помогли Кубе отыскать весьма важные руды, и, видимо, были заинтересованы в контактах с сибиряками.

Мы жили в гостинице в центре Мехико, слегка задыхались (город расположен на два километра выше уровня моря), да и дружеские возлияния нас утомили. К слову сказать, более мерзкого напитка, чем пулькэ (водка из кактуса), я в жизни не пил, сколько ты ни выжимай в стакан лимонов.

С нами все эти дни была миловидная переводчица Светлана — дама с голубыми волосами, но с юным личиком. И я почему-то разлился соловьем перед ней — рассказывал о красотах Сибири, а она изумленно ахала.

И вот в одно из наших деловых, с коньяком и пулькэ, заседаний я увидел буквально против себя, через стол, смутно знакомого господина. Эту смуглоту лица, эти печальные, с мокрым блеском глаза, эту афганскую щеточку усов я узнал мгновенно. Передо мной сидел Илья Лазарев или кто он в самом деле. Мой землячок слегка раздался, был с брюшком, на темени у него, в кудрях, похожих некогда на мои, блестела лысинка. Впрочем, как ныне и у меня.

Мы встретились глазами, но он бесстрастно выдержал взгляд. Мне пояснили между делом, что господин Лазарев — все-таки Лазарев — работник посольства, что он уполномочен встретить нас завтра на выходе у отеля и провести на прощальный обед к первому секретарю посольства.

Вечером в гостинице я посмотрел телевизор и лег спать, чтобы выспаться (впереди — важная встреча, да и перелет через океан), но среди ночи в дверь мою тихо постучали.

Теряясь в догадках, кто бы это мог быть, наверное, кто-то из геологов, я, не включая света, открыл дверь — ко мне проскользнула женщина в халате, со светлыми в сумраке волосами. Светлана?

— Это я, — прошептала она и засмеялась. Она в темноте не разглядела моего недоуменного лица. — Когда ты позвонил, я уже легла.

Я ей не звонил.

Она, хихикая, прильнула ко мне.

— И это правда — у тебя драгоценные камни с родины?

Ни о каких камнях я ей нигде не говорил.

— Как же ты провез? С диппочтой договорился?

— Да, — буркнул я.

— А какой мне подаришь? Говоришь, синий?

У меня действительно всегда был с собой кристалл синего сапфира, никакой, правда, не драгоценный камень, просто талисман, я о нем часто говаривал друзьям...

И до меня наконец дошло: эту встречу подстроил Илья...

На следующий день за обедом в посольстве я время от времени поглядывал в его сторону — Лазарев на этот раз оказался поодаль от меня, он разговаривал по-испански с гостями из мексиканского правительства, примеряя огромное сомбреро, хлопая их, как и они его, по спине. Илья выглядел веселым, занятым, мы долго не встречались глазами, но вот он поймал мой взгляд и еле заметно подмигнул. И дернул щеткой усов и сверкнул зубом, но зуб у него был уже не золотой (золотой зуб смотрится ныне пошловато), а белый, фарфоровый.

Но почему же он не бежит на Запад? Здесь это просто. Он же так хотел... Что изменилось, мне этого уже не понять...

А надо мной он, собственно, и не подшутил — просто напомнил о себе, показал класс.

СЕРГЕЙ ХОМУТОВ

*

У ТЕМНОЙ ДВЕРИ

* *
*

Угрюмое время грызет кирпичи, —
Ты слышишь прерывистый скрежет в ночи,
Ты видишь зазубрины каменных стен, —
Печальней давно мы не видели сцен.
Но только ли время? Не мы ли, не мы ль
Полмира истерли в холодную пыль,
Полмира до красной крупы истолкли,
Добро, остальное еще не смогли.
И смотрим с дебильно-умильным лицом,
Как рушится храм или попросту дом...
Вбиваем, вбиваем за клинышком клин,
Вот так и живем — от руин до руин.

* *
*

Неужели не будет спасения? —
Вопрошаю, не зная кого.
Бесполезны мои угрызения,
Если слово молитвы мертво.
Мы посты позабыли и празднества
Превратили в единый содом,
Мы добились безбожного равенства,
Не предвидя, что станет потом.
Не лампадно уже и не ладанно
Среди наших задумчивых мест.
Прошлой ночью со Спаса негаданно
Пал, обрушился на землю крест.
Чаша выпита или не допита,
Кто ответит и есть ли ответ?
Все величье вселенского опыта
Сведено до мгновенных примет.
Диким тленом безверья подточенный,
Мир теряет остатки души.
Хорошо еще крест позолоченный
Не стащили в утиль алкаши.

Хомутов Сергей Адольфович родился в 1950 году. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького. Автор восьми лирических сборников. Главный редактор литературно-исторического журнала «Русь». Живет в Рыбинске.

Что за веру народ исповедует?
Убивает, крадет, предает...
Что за этим предвестьем последует —
Рухнет храм или небо падет?
Где слова дорогие, насущные, —
Их сказать бы себе поутру.
Только губы мои непослушные
Каменеют на черном ветру.

* *
*

В мире людном, гудящем, как вече,
Звездной ночью и солнечным днем
Как живется тебе, человече,
Замурованный в теле моем?
Я пойму твои мысли, быть может,
Не таясь в отрешенной тиши,
Что печалит, мучительно гложет,
Откровенно, открыто скажи.
Кто ты — сгусток безмолвья и речи,
Отзвук неба и вечных могил?
Слишком много противоречий
Ты явленьем своим породил.
Кто ты — свет удивительной силы,
Что возвысит собой бытие,
Или тьма, что меня поглотила
И присвоила имя мое?

* *
*

Мы пришли сюда случайно, —
Слуги жалкого наследья,
И стоим у темной двери,
Сделать не решаясь шаг.
В тихом здании часовни
Прошлые живут столетья
И сегодняшние мыши
По сырым углам шуршат.
Может, и не делать лучше
Этого слепого шага,
Мы никто уже на свете
Для молитв и для мышей.
В нашей сумочке холщовой
Плещется дурная влага
И еще хранится много
Всяких низменных вещей.
Знать, не будет в наших судьбах
Никакой уже находки,
Не забрезжит в наших душах
Прошлого заветный свет.
Возле старенькой часовни
Разопьем бутылку водки
И пойдем своей дорогой,
На которой Бога нет.

Переполнены крамолой
Аж до самых до печенок,
Все из пустоты и брани
Да каких-то мертвых фраз.
Из глубокой тайной норки
Выйдет маленький мышонок
И, творя нам вслед молитву,
Перекрестится за нас.

* *
*

Зрелых годов касание
Четко вполне уже.
Тихое созерцание
Стало милей душе.

Прочь суету бумажную,
Каменную тщету!..
Снова тропою влажною
К дальним полям иду.

Словно бы там,
За далями,
Там, в уходящем дне,
Пламя исповедальное
Вдруг засветилось мне.

То озаренье высшее,
Где за стремниной лет,
Тьму до конца испившая,
Жизнь переходит в свет.

АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ

*

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Вместо романа

Есть очень домашние книги: мы помним их чуть ли не с рождения, они стоят все в том же шкафу, на тех же полках — много лет. У одного из моих друзей таковы тридцать томов Горького. Почитывать он их начал еще в детстве, серьезно читать — в юности, а потом, не имея пополнения в маленькой своей библиотеке из-за отсутствия денег, перечитывал не раз и не два. Возможно, он один из лучших специалистов по Горькому в стране. Как читатель, а не филолог. И читатель умный. Горького он полагает писателем если не великим, то очень большим. Тут ведь — по-милому хорош. Он расположен к этим синим томам, они уютны ему, он дружески находит в них многое, что другой, даже и профессиональный, читатель в первом чтении (или во втором, стремительном — с целью) не заметит. И когда он цитирует что-либо наизусть из прозы Горького или — особенно часто — из его пьес, я поневоле внимательно вслушиваюсь и думаю, что в своем достаточно прохладном отношении к замечательному пролетарскому писателю не так уж и справедлив. Не взяться ли на досуге? Впрочем, «В людях», «На дне», очерк о Льве Толстом и без перечитывания считаю произведениями превосходными.

Меня вообще легко разлакомить: услышал, например, восторги другого мною уважаемого человека по поводу перечитанного им Василия Шукшина, взялся с ожиданием и сам. Не за все, конечно. «Любавиных», как и когда-то, чуть тронул — и отложил. «Я пришел дать вам волю» — тоже. Слишком помню свое первое и крепкое неприятие истерично кающегося народолюбивого кровопивца. Но вот — рассказы. И тут сплошь и рядом подстерегало разочарование. Досада: лучше б не перечитывать. Социальность проклятая оставила многие из них там, в том времени. Монотонная чудаковатость жизнелюбивых «чудиков», однозначность красномордых начальников, продавцов, бригадиров... Не знаю... Вдруг споткнулся, обрадовался: очень интересно! А рассказ имеет подзаголовок: «шутка». Значит, автор сам почувствовал: непривычное что-то. Или редакторы подстраховались. Шутки же, которые заведомо шутейны, — «До третьих петухов», «А поутру они проснулись» и проч. — не развеселили. На месте заманчивых двойных смыслов увиделся опять-таки социальный подтекст. Результат: убежденный ранее, что Шукшин, во-первых, писатель, а во-вторых, режиссер и актер, я сейчас склонен думать: нет, в кино интересней получилось. Сошлось многое: лицо, голос, слова, характер. Личность, не обуженная литературной «проблематикой». (Впрочем, делить на ипостаси, конечно, нельзя.)

Не новость: не мне одному эти вторые (третьи, четвертые) чтения приносят немало огорчений, но немало и радостей. А перечитывают многие; новых авторов никто (или почти никто) не знает. Литературные журналы практически недоступны, книги современных российских писателей выходят мизерными тиражами. В домах появляется литература чаще всего ло-

точная. Покупаются покетбуки с криминалом и эротикой, лечебники, эзотерика, несколько модных авторов-беллетристов.

Поэтому домашние старенькие библиотеки и прививают вкус и привычку ко второму чтению. И это дело, в общем-то, хорошее. Не взаглот и взахлеб, как бывало в шестидесятые (полуслепые машинописные копии, по ночам), семидесятые («Наш современник», смелость народная), восьмидесятые и девяностые («возвращенные» и новоявленные). Этот захлеб и заглот, кстати, тоже поверяется перечитыванием. Я при переезде на другую квартиру долго разбирал старые комплекты журналов (на 200 рубликов-с выписывали при зарплате 140 — 160 — в пору, когда деревья были большими, а рубль рублем), решая, что делать с теми, которые держал из-за текстов, а тексты давно уже имею в книгах. И невольно зачитывался чем-нибудь. Тот же «Современник». Пробуждение героев Распутина на Матере, в тумане, когда не поймут они, живы или уже в раю, — хорошее место. «Привычное дело», увлекшись, так и прочел от первой до последней строки. От «Усвятских шлемоносцев» трудно оторваться: ритм завораживает. «Царь-рыба» как хороша! — чумазые эти детишки у котлов с ухой, плоды хмельной любви один раз в год пирующей северянки, приговорка их: «Не уси усёного!» — замечательно...

Много и не замечательного, и на тех же страницах или соседних, но не хочу об этом.

Но чтобы кто-то сейчас сейчасного, извините за выражение, современного автора перечитывал — не слыхано и не видано этого. Даже если читатель его считает неплохим, даже если и вообще замечательным. Но... Как-то не утвердилось еще повсеместно, что он действительно замечательный. Не ошибаюсь ли я, думает читатель? Не потрачу ли время зря, доверившись обманчивому первому удовольствию?

Я и сам такой. Исключение: стихи перечитываю, которые люблю, независимо от того, в каком времени автор. Включая тех поэтов (обоего полу), которых знаю лично.

Прозу же — боюсь. Дурная закономерность: что нравилось в первом чтении (привычно азартном: это уже в крови), во втором — уже не так. Уже не проскакиваешь некоторые фрагменты (иногда довольно длинные) — потому что энергия словесной стихии (что ценю, может, более всего) тянет дальше и дальше, а останавливаешься и с горечью понимаешь: пустоват фрагмент, необязателен, на вырез просится. Как говорит один знакомый мой компьютерщик: «Делитировать бы это!» (Кнопочка «Delete» на клавиатуре, как всем известно: «уничтожить, убрать».) Я имею в виду чтение абсолютно вольное, а не редакторское; когда я работал в «Волге», перечитывать по два-три раза было обычной обязанностью. С целью. С мыслью: достойно ли журнала? И правило было общее: рукопись, не понравившаяся сразу, по горячему взгляду, в чтении производственном — чтоб решить участь — нравилась еще меньше, рукопись же понравившаяся нравилась еще больше.

Исключения радуют. И подтверждают давнюю мысль: хорошего автора один раз читать нельзя. Валерий Володин, например, с первого раза для кого-то вообще непрочитываем. Андрей Дмитриев, перечитанный, не кажется таким «густым» (это некоторых по первости пугает), а если словам иногда тесно, то мыслям известно что.

Раз, два — и обчелся? Да нет, просто раздражает обязаловка триад, горячих пятерок и десяток. Не хит-парад.

На самом деле радостей и при первом чтении не так уж много, поэтому, когда что-то понравится, звонишь об этом где только можешь. Из последних примеров: «Ланч»[1] Марины Палей. Очень понравилось. На всех

---

[1] «Волга», Саратов, 2000, № 4.

углах хвалил. Но когда предложили написать несколько строк («Писатель о писателе» называется), второго чтения убоялся. Вдруг, как это было уже, не так понравится или вообще разонравится? Дело опасное.

К тому же с этой повестью у меня связана совсем другая история, которая вроде ко всему вышеизложенному имеет весьма отдаленное отношение, но не будь этой истории, то и вышеизложенное не появилось бы.

Герой «Ланча» в букинистическом магазине находит книгу, которую он «сам бы хотел написать». Текст книги приводится.

Мне же, когда я читал Марину Палей, показалось, что она сумела написать то, что я хотел. И теперь уже не важно, обоснованным было это ощущение или нет. Само возникновение его важней обоснованности. Мне показалось даже, что в «Ланче» есть воплощение того, о чем в упомянутом уже очерке Горького Толстой с усмешкой мечтал (цитирую по памяти): «А я о женщинах всю правду перед смертью скажу. Скажу, прыгну в гроб и захлопнусь крышкой: достань меня тогда!»

Сейчас-то мне думается, что в «Ланче» правда эта бытовая (у героя, не у автора), да и не в ней одной дело.

Дело — для меня — в совпадениях. Почти одновременно прочитал я повесть Володина «Исчезнувший» (подзаголовок: «Повесть о настоящем человеке»)[2]. И опять увидел то, о чем хотел написать — и, собственно, пишу уже.

Тут бы успокоиться. Ведь ясно, что у всех — так, да не так. О том, да по-другому. Но тут еще одно совпадение. За обедом я читаю. И, как правило, никогда — новое. Плохо ли это новое, хорошо ли — волнует слишком, лишает обеденного благодушия. Я беру обычно читаное-перечитаное, знаемое почти наизусть, что попадется. И вот попался Достоевский. «Братья Карамазовы». Скажете: однако! А чего однако-то? Ужасающая норма человеческой психики: общение с одним и тем же произведением искусства начинается с катарсиса, продолжается тем, что называют «эстетическим наслаждением», а кончиться может смирным удовольствием. Довольством даже. Не только по себе сужу: слышал человека, который со смущением признался, что «Архипелаг ГУЛАГ», из-за которого он когда-то уснуть не мог, перечитывает теперь *на ночь с удовольствием и умиротворением.* С аппетитом то есть. Каково?

Но на этот раз я аппетита был лишен. Потому что и в «Братьях Карамазовых» увидел то, о чем сам пишу. И это даже смешно. Это все равно, что, имея от рожденья, к примеру, бородавку под носом, взглянуть однажды в зеркало, будучи сорокалетним, и изумиться: «А не бородавка ли у меня под носом?»

...А то, что я писал, мыслилось романом. Имя было дадено. Сначала одно, потом другое, окончательное. Оно на обложке «Нового мира» постыдно заявляло о себе. «А В ЭТО ВРЕМЯ»! Красиво! Многозначительно! И написано было уже достаточно много. Даже очень. Осталось, в сущности, страниц тридцать — сорок.

По еще одному совпадению, которое я считаю счастливым, работа была прервана в силу разных причин на два месяца. До этого же — пресловутая энергия заблуждения, без оглядки, без сомнений.

И когда я получил возможность закончить и начал работу, как всегда, с перечитывания написанного, понимал все яснее и холоднее: нет романа — и не будет. И ни при чем тут Марина Палей, Валерий Володин и Ф. М. Достоевский, хотя и им я благодарен. Не в том дело, что они написали то, что я хотел. Другое, в общем-то, я хотел. Не вышло. А не было бы этих двух месяцев, не будь у меня возможности второго ясного чтения («свежая голова» — в редакциях говорят) — дописал бы сдуру, а с еще большего дуру попытался бы опубликовать.

---

[2] «Волга», Саратов, 2000, № 2-3.

Нет романа. Само собой, это даже хорошо, потому что на нет и суда нет, а от судейства беспрестанного утомляешься очень. И нет чувства провала, тотальной неудачи, исписанности и т. п. Кстати, если кому интересно, могу признаться, что вероятность исписаться душой не приемлю, но умом — принимаю. Может быть. Года на два. А то и лет на десять. А то и навсегда. Все может быть. Переквалифицируюсь если не в управдомы, то... В общем-то почти уже и переквалифицировался, но пока не хочется об этом говорить.

Если что и беспокоит — чувство неловкости. Нормальное чувство неловкости человека, взявшегося за гуж и отошедшего с извинениями. Вот и стал думать об извинениях, рассуждая, каким образом их поделикатнее оформить и поместить на страницах журнала, который с моей подачи обманул читателей. (Усмешку вашу понимаю, но смиренника обездоленного не буду изображать, читатели у меня есть, пусть и немного, я знаю это твердо и благодарно — и это очень помогает жить.)

Пришло же в голову другое: о пользе второго чтения вообще. Всем полезно — и Думе, естественно, и каждому отдельному человеку. Что и получилось вместо плача и авторской исповеди. Как в одном из диалогов того самого романа, которого нет:

— Спасибо за невнимание!

— ???

— Потому что вечно я ляпну что-нибудь не то!

Хотя именно доброжелательному вниманию тех, кто меня читает, кого я безмерно уважаю, я обязан своим решением — трудным, веселым и окончательным.

24 июня 2000.

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

*

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ

Случайные записки

Похмелье — смена страдания, как форма отдыха психики.

Надо ли было выходить из гоголевской шинели, чтобы попасть в сталинскую шинель?

Человек, согрешивший против другого человека, в своем покаянии должен испытать страдания, превосходящие страдания человека, против которого он согрешил. Только в этом случае он имеет шанс быть услышанным.

Предают не только из соображения выгоды или злобы на человека, которого предают. Чаще всего предают, чтобы почувствовать себя значительным в момент предательства, вершителем судеб.

Метафизическую карикатурность цели Наполеона Толстой передает через физическую карикатурность жестов и слов Наполеона. И он прав. Читатель, легко воспринимая физическую карикатурность Наполеона, начинает понимать карикатурность его метафизической цели. Что и требовалось доказать.

Мысль этого человека запуталась и никак не могла выпутаться из паутины его собственного слабоумия.

Щедрый распахивается от избытка собственного тепла. И от этого получает удовольствие.
Скупой запахивается от избытка собственного холода. И от этого получает удовольствие.

Наелся на ночь — и стало грустно. Вот так всегда. Видимо, переполненный желудок давит на душу, а это ей неприятно. Чтобы хорошо себя чувствовать после еды, или не надо иметь душу, или есть так, чтобы желудок не притрагивался к душе. Из всего этого следует, что душа расположена в непосредственной близости к желудку. Недаром праведники подолгу голодают: расширяют пространство души за счет желудка.

В молодости читал книгу Фрейда о сновидениях. Многие сны он остроумно и проницательно объясняет подавленным половым стремлением. Но иные сны он совершенно произвольно и даже смехотворно, с маниакальным упорством объясняет тем же. Я тогда же подумал, что он сам не вполне здоров, зациклен на этой теме.
Недавно случайно прочел, что невеста Фрейда долго не выходила за него замуж. И он страдал от этого. Не тогда ли он зациклился?

Стал бы Фрейд знаменитым Фрейдом, если бы его другой Фрейд тогда вылечил? И не лечил ли он себя тем, что лечил других?

Писатель Георгий Семенов с беззлобным смехом когда-то рассказал об одном писателе, у которого роман начинался эпической фразой: «У оленя болела голова...»

— Наверное, олень был с похмелья, — сказал я.

— Скорее автор, — рассмеялся Георгий.

Иногда Пушкин надоедает тем, что у него полностью отсутствует сопротивление материала. Мощь гармонии уничтожает его. И тогда хочется читать Тютчева, у которого чувствуются мускульные усилия духа, преодолевающего сопротивление материала. Тютчев героичен. Но по стихам Пушкина догадываешься, что рай — это такое место, где нет сопротивления материала. В русской поэзии немало великих поэтов, но райские звуки только у Пушкина, Лермонтова и отчасти Мандельштама.

В южном городке на узкой улице время от времени мимо меня с оглушительным грохотом проскакивали молодые мотоциклисты. И каждый раз вслед мотоциклисту хотелось крикнуть почему-то только одно слово: «Мерзавец!»

Когда человеку нечем удивить мир, он удивляет его грохотом. Грохот — кузница тоталитаризма. Никто не вычислил, насколько расшатывает души грохот телевизоров в миллионах домов.

В литературе этическая пустота непременно приводит к эстетическим изыскам. И это понятно почти физиологически. Под давлением смысла слово делается тугим, трудным для обработки вне прояснения смысла. Без давления смысла слово делается дряблым, поддается любым изгибам.

Умный и глупый выпивают вместе. На первой стадии выпивки умный делается еще умней, а глупый еще глупей. На последней стадии глупый берет реванш. Умный выглядит глупее глупого. У глупого сказывается больший опыт пребывания в глупости.

Бывало, в молодости входишь в ресторан. Грохочет музыка. «Какой ужас!» — думаешь с отвращением. Но вот подвыпил — и теперь: «А музыка — ничего себе! Неплохая! Жить можно!»

То же самое думают о невыносимой музыке жизни пьющие люди. Выпив, они начинают думать о ней: «Ничего себе! Неплохая! Жить можно!»

Ударил человека по лицу — и откинулась голова человечества!

Устав от вранья, он посвежевшим голосом стал говорить правду. И тут-то все решили, что он начал фантазировать.

— Дедушка, Бог легкий? — неожиданно спросил у меня внучек.

— Очень легкий, — ответил я ему на этот нелегкий вопрос.

Вероятно, он имел в виду причину пребывания Бога на небесах.

Пылающий мозг бессонницы.

Шел по нашей улице. Многоэтажный дом наверху перестраивали. Часть тротуара была ограждена веревкой. Оставался узкий проход. Я уже был метрах в трех от веревки, когда сверху раздался истошный крик женщины. Оттуда сорвался железный лист и с тяжким громыханием упал в нескольких метрах от прохожих, но внутри пространства, огороженного веревкой.

Удивительней всего, что ни один прохожий, в том числе и я, не шарахнулся, не испугался. Если бы этот тяжелый железный лист упал на три-четыре метра ближе, он кого-нибудь убил бы.

Никто не остановился и не ускорил шаг. Некоторые на ходу с ленивой неприязнью взглянули наверх, но, убедившись, что матюгнуть эту женщину нерентабельно, слишком высоко она стоит, шли дальше. Во всем этом чувствовалась привычка к хаосу и даже философская честность: неужели с этого сорвавшегося железного листа надо начинать устанавливать порядок?

Прежде чем бороться с общественным злом, изрыгни из себя собственное зло.

Трус — человек, имеющий смелость не скрывать, что его жизнь ему дороже нашей.

После нескольких неудачных покушений на Александра Второго некоторые либеральные деятели обращались к царю с просьбой пощадить неудачливого убийцу, не понимая, что самой возможностью такой просьбы, которая, конечно, становилась известной публике, они воодушевляют убийц повторять попытки. И наконец убили. Как жаль, что царь после первого неудачного покушения и просьб помиловать неудачливых убийц громко, на всю страну не сказал: «Даю шанс палачу промахнуться!»

Иногда юмор может переломить трагическую ситуацию.

Человек в толпе смелее себя — толпа воинственна.

Человек в толпе трусливей себя — толпа неожиданно шарахается в панике.

Человек в толпе подавляет свой ум — опасно высовываться.

Человек должен быть равен самому себе, и потому ему не место в толпе.

Террорист — искра толпы, даже если он действует один.

Мой воображаемый разговор с вождем племени людоедов.

Я: Скажите, как вы стали людоедами?

ОН: Думаю, так: наш далекий прапрадед заметил, что человека догнать и убить легче, чем антилопу. Так и пошло с тех пор.

Я: И вам не жалко людей?

ОН: Жалко-то оно жалко, но голод сильней жалости. А вы, так называемые цивилизованные народы, тысячами убиваете людей, и не от голода, а только чтобы обозначить свою власть. Так кто более жестокий — вы или мы?

Мне нечего было ему ответить.

— Я хочу жить назад, — сказал шестилетний внук.

— Почему?

— Хочу посмотреть на первый день своего рождения.

В девятнадцатом веке женщины довольно часто падали в обморок. В наше время — перестали. Что, собственно, им мешает падать в обморок? Неужели только более короткие платья? А может быть, мужчины стали менее надежны и женщинам приходится держать себя в руках?

— Почему ты так мало читаешь?

— Из соображения чистой выгоды, — отвечал он, — мне плодотворней думать самому. Информация, которую вырабатывает моя голова, примерно на десять процентов богаче информации, которую я черпаю из книг.

Страшные рассказы хороши, когда читатель, чувствуя страх, одновременно ощущает уют своей духовной и физической безопасности. Страх усиливает поэтическую сладость уюта. Роман о конце человечества, если это не роман социального и философского предупреждения, аморален. И чем талантливей такой роман, тем аморальней.

Можно страшить ребенка, когда он заранее знает, что это игра. Страшить ребенка, когда он заранее не знает, что это игра, жестоко и подло.

Богу абсолютно все равно — поэт ты или дворник. Он ревниво следит только за тем, насколько человек близок к исполнению его заповедей. Условия этого приближения к его заповедям абсолютно одинаковы и у дворника, и у поэта.

Нельзя не заметить, что Достоевский с особенным вдохновением и даже личным сладострастием описывает человеческую низость. В сущности, он полемизирует со всей мировой гуманистической мыслью: мол, человек сам по себе хорош, но его портят плохие социальные условия. Без Бога, говорит Достоевский, человек плох или ужасен. Он покоряется воле Бога или живет по личному, чаще всего подлому, своеволию.

Достоевский хорошо знал себя, боялся собственного своеволия и всю жизнь посвятил борьбе с человеческим своеволием.

Удивительно, что до сих пор, насколько я знаю, ни один критик и философ не написал книги «Маркс и Достоевский».

По Марксу, человек запрограммирован своим экономическим положением в обществе. По Достоевскому, человек, если он не верит в Бога, — существо, стремящееся к своеволию, совершенно независимо от того, богат он или беден. Конечно, в обоих случаях речь идет о преимущественной, главной тенденции человека.

Уверен, что Достоевский ближе к подлинному человеку. Интересно, что Ленин, всю жизнь боровшийся с теоретиками, хотя бы чуть-чуть отходившими от Маркса, сам ему изменил совершенно своевольно, как герой Достоевского, которого он, кстати, ненавидел.

По Марксу, социалистическая революция может и должна произойти в наиболее развитой капиталистической стране. Что же, Ленин не знал, что Россия очень сильно отстает от таких стран? Хорошо знал. Но соблазн был так велик, Временное правительство было столь слабым, что Ленин решительно пошел на Октябрьский переворот. Сторож спит, можно трясти яблоню! Но, по Марксу, яблоки еще далеки от зрелости. Ничего! На печке дозреют! Никакая любовь к Марксу, никакая верность ему не удержали Ленина от грандиозного своеволия. Любя Маркса, он навсегда разрушил чистоту его эксперимента. Вот что такое своеволие! Конечно, реального человека Достоевский лучше знал, чем Маркс.

Духовные способности никак генетически не передаются. Это факт. Но механическая память, как хорошие зубы, часто передается по наследству. Из этого прямо вытекает, что механическая память никакого отношения не имеет к духу человека. Но эмоциональная память — это уже дух.

Компромисс: совместить вынос тела Ленина из Мавзолея с вносом в Мавзолей тела капитализма.

Самый неутомимый лакей — это лакей собственного эгоизма.

Гениальная свежесть и подчеркнутое здоровье стиля Льва Толстого. А не вырвалось ли все это из урагана побежденного безумия? Остаются чуть заметные швы его, что-то вроде мании логизации.

Хохот — громоотвод безумия.

Состояние похмельной тяжести очень похоже на состояние нечистой совести. Похмелье — расплата за украденное веселье. В обоих случаях тяжесть на душе — сигнал бедствия. Но не всякий к нему прислушивается или понимает его.

Умение ловко слизывать, облизывать, подхватывать языком что-либо, одним словом, ловкость языка всегда признак примитивной натуры, признак приближенности к животному. Я знал идиота, который на моих глазах, неожиданно выбросив язык, поймал комара.

У людей с перегруженной психической жизнью часто плохо скоординированы движения: смешная походка, неловкие жесты. Ритмы психической жизни не совпадают, противоречат физическим ритмам. Зато какая красивая, пластичная походка у негров, особенно бег! Видно, у них реже случается перегрузка психической жизни.

Подправив известное изречение, можно сказать об этом писателе: скромный в литературных боях и буйный в литературных застольях.

Если к книге не возвращается настоящий читатель, значит, это ненастоящая книга.

Если к настоящей книге не возвращается читатель, значит, это не настоящий читатель.

Настоящий читатель и настоящая книга узнают друг друга и возвращаются друг к другу. А иногда не расстаются, как влюбленные.

В советской литературе послесталинского периода дети и внуки репрессированных большей талантливостью полностью победили детей и внуков не репрессированных. Хотя дети и внуки последних ни в чем не виноваты, но им неоткуда было взять этическую энергию первых.

...В состоянии рассеянного хамства.

Несколько лет назад, выходя из ванной, поскользнулся и так больно ударился головой, что на минуту потерял сознание. С тех пор о чем бы ни думал, вылезаю из ванной с бессознательной осторожностью. По-видимому, опыт, приобретенный через боль, наиболее устойчивый. Говоря шире, ребенок должен бояться болезненного наказания, но он должен знать, что это наказание в строгих рамках любви. Замечательно сказал об этом древнеяпонский поэт: «Наказав ребенка, я привязал его к дереву, но с тенистой стороны».

Я ни разу не наказывал своих детей...

Ждали затмения солнца. «Будет конец света!» — почти радостно говорили все бездельники, отчасти гордясь тем, что они мистически предвидели это и потому бездельничали. Таких оказалось много. В день затмения солнца мы были на даче. Чужая кошка впервые влезла к нам в форточку, возможно, дезориентированная затмением. Других космических событий не было.

Нёбо — небо желудка.

Капитализм — это плохо. Но он дает время и право додуматься до чего-то лучшего. Другие общественные системы не дают такого права.

Вооруженный до вставных зубов.

— Убери сейчас же доброжелательное выражение с лица!
— Почему я его должен убрать?
— Мошенники слетятся! Тебе же будет хуже!

Зло может со стороны внезапно войти в человека, и он, не успев опомниться, совершает злодейство. Тогда в чем же он виноват? Он виноват в том, что ему была дана вся жизнь, чтобы не оставлять в душе свободного места для зла. Но он осторожно придерживал свободное место, не давая добру заполнить его, и это место в конце концов заняло зло. Не давал добру расширяться, и в этом был его сознательный грех. Но почему он оставлял это свободное место в душе? В ожидании, что счастье влетит в него, как ласточка.

Инспектор-ангел, пролетая над нашей Землей, воскликнул: «Боже, Боже, какая провинциальная планета!»

Из подчеркнутой скромности скромно выпирал горб гордыни.

Залюбовавшись миражом, прозевал оазис.

Еще одна забота для бывшего советского человека: учитывается ли на том свете стаж веры на этом? Отвечаем: учитывается. Для россиян — год за три.

«Кто не грешен, пусть кинет свой стакан в пьяницу!» — сказал он. И никто не кинул.

Мало того, что он сидел с переполненным мочевым пузырем, его еще все время втягивали в разговор о засухе.

Опомнившийся ум — это ум, понявший, что есть нечто умнее ума.

Наша доброжелательность — лучший возбудитель мошенничества против нас.

Писатель, прособаченный литературой.

Двадцатилетний футурист — любопытно. Пятидесятилетний — омерзительно.

Кто-то хорошо сказал: «В молодости нам нравятся люди красивые, талантливые. В зрелом возрасте — хорошо воспитанные».

Общественный деятель — несмирившийся неудачник. Несчастную страну узнаешь по количеству общественных деятелей.

Есть абхазская пословица: посади ребенка на колени, он повиснет у тебя на усах. Тут хороша правдивость поведения ребенка и забавна важность отношения к собственным усам.

Честный атеист говорит: у человека достаточно собственных сил, чтобы нравственно подняться.
Это можно сравнить с прыжком в высоту с места.
Верующий человек, чтобы нравственно подняться, должен каждый раз разгоняться в сторону Бога и прыгать вверх. Прыжок с разгона, конечно, выше прыжка с места, но верующий во время разгона может споткнуться и упасть, что, как известно, нередко случалось.

Когда к гробу умершего человека подходит его друг с криво застегнутыми пуговицами пиджака, дурак шепчет соседу: «Какой невнимательный человек! Даже в такие минуты не мог привести себя в порядок».

Умный думает: горе так его ударило, что ему не до пуговиц пиджака.

То же самое бывает в литературе. У Достоевского пуговицы всегда криво застегнуты.

Чем сильнее похмелье, тем равнодушней человек к тому, за что пьет: за здравие или за упокой. Потому спивающийся народ равнодушен к тому, что делается вокруг.

Африканизация мира происходит быстрей, чем окультуривание Африки. Сомневаюсь, что Бетховен в Африке популярен, как джаз в мире.

Высшее очарование женщины — застенчивость. Именно это хотят отнять у нее феминистки.

Люди с опущенными глазами чаще видят небо. Величие скорби.

Ум без нравственности неразумен, но нравственность разумна и без ума.

— Плутарх архиплут! — воскликнул Ленин и, рассмеявшись своим заразительным детским смехом, тут же исправил историю.

Юмор, ничего не обещая в будущем, расплачивается на месте звонкой монетой смеха. Люди любят юмор, потому что он экономически выгоден.

Глупость высмеивается не для того, чтобы истребить глупость — она неистребима, а для того, чтобы поддержать дух разумных.

Мудрость не нуждается в информации, зато информация нуждается в мудрости, чтобы в самой себе разобраться. Но хорошо информированный человек как раз не обладает именно этой информацией, и именно поэтому он хорошо информированный человек. Хочет взять количеством.

Темнело. Жена сказала: включи свет... А я вдруг начисто забыл, где выключатель, хотя тысячи раз подходил к нему. Мысли мои были слишком далеко от дома. И только выключив их, я включил свет.

Постель — наиболее удаленная от космоса местность. Человек воспроизводит жизнь в постели, дополнительно прикрывшись от космоса одеялом. Воспроизводство жизни связано с абсолютным сужением пространства, то есть уходом от космоса. Это порождает мысль о враждебности космоса человеку. Пушкин, как наиболее производительный поэт во всех смыслах, не любил космоса.

Некоторые женщины, заболев, становятся нежными, лиричными. Через несколько дней вдруг начинают покрикивать с постели. О! Значит, выздоравливают!

В последние годы перед тем, как лечь, делаю много лишних, ненужных вещей — якобы в помощь предстоящему сну, а на самом деле оттягиваю время в страхе перед бессонницей.

Я: Справедливо то, что не допускает крови.
ОН: Справедливо то, что справедливо.
Я: Мне плевать на справедливость, которая допускает кровь.

Благостное состояние. В зажигалке кончился бензин. Я сказал: «Спасибо!» — и выкинул ее.

Я точно знал, что этот человек будет в аду. Но я так же точно знал, что он и там сделает карьеру.

Хороший аппетит в молодости — праздник молодости. Хороший аппетит в старости — праздник маразма.

Я был уверен, что этот человек вор. Но позже выяснилось, что он скупщик краденого. Я ошибался, но согласитесь: была некоторая близость попадания.

Стою в сберкассе в очереди. Вдруг входит худая, бледная женщина в черном. Спрашивает:

— Можно посмертные деньги получить?

Я вздрогнул. Но оказалось, что она имела в виду умершую родственницу.

Пахарь приближает Землю к небу на двадцать — тридцать сантиметров. Надо пахать. Только пахарь спасется.

Одинокий мыслитель — звучит естественно. Одинокий дурак — неестественно. Ясно, кто победит.

Проповедовать обезьяне стать человеком можно двумя способами. Можно влезть на дерево и, устроившись на ветке рядом с обезьяной, начать проповедь, правда рискуя, что она тебя сбросит с дерева.

Можно, повысив голос, проповедовать стоя у подножия дерева, правда рискуя, что обезьяна какнет тебе на голову. Конечно, можно прикрыть голову зонтом, но практика показала, что это снижает пафос проповеди.

Вера в Бога — вершина материализма в том смысле, что это лучший способ обустроить материальную жизнь на земле. Андрей Белый уже при советской власти шутил: победа материализма привела к исчезновению материи, то есть продуктов.

Один находчивый христианин возненавидел самого себя, чтобы любить врага, как самого себя.

Говоря серьезно, любить врага, как самого себя, психологически невозможно. Если бы мы могли любить врага, как самого себя, у нас и не было бы врагов.

Ничего похожего я в жизни никогда не видел. Сам я никогда не мстил врагам, но отвращение или презрение не мог одолеть.

И только у Льва Толстого есть нечто подобное. Сцена из «Анны Карениной». Каренин приезжает к Анне, думая, что она умирает. Так говорят и врачи. Она в бреду. Он застает в комнате Анны Вронского, который отнял ее у него и опозорил на весь Петербург. Но горе Вронского так же велико, как и горе Каренина. И мы явно чувствуем, что Каренин, по крайней мере сейчас, все простил Вронскому. Их сближает неимоверность общего горя. Сцена написана с грандиозным вдохновением. Гибель той, которую они любили гораздо больше себя, соединяет их. Только Вронский может понять горе Каренина, и только Каренин может понять горе Вронского. Но разве это имел в виду Христос? Скорей всего слова Христа — метафора смягчения нравов.

Редактриса телевидения, провожая меня к выходу из телецентра, вдруг сказала: «Я всю жизнь воспитывалась на ваших рассказах... И вот меня гонят с работы...»

Я смутился и от растерянности ничего ей не ответил... Ну, предположим, наши горестные труды увенчаются успехом и некоторое количество людей станет честными. Но где мы их трудоустроим, вы подумали?

Разврат — месть тела за неспособность любить.

Легко представить, что мировая культура воспитывает какое-то количество людей и делает их достаточно нравственными и законопослушными. Но какое количество? Этого никто не знает. Зато мы догадываемся, что новые поколения (новые дикари) хоть частично окультуриваются, однако большая их часть пополняет ряды неокультуренных людей. И тут математически ясно, что человечество постепенно дичает, но огромные технические достижения маскируют одичание душ. Более того, эти одичавшие люди создают свою дикую масскультуру, которая угодна одичавшим людям и еще больше способствует их одичанию. Гуманистическая культура должна возглавить цивилизацию, а не техническое развитие, как это происходит сейчас, когда само техническое развитие подчинено военным заказам и примитивным требованиям рынка развлечений. Все правительства мира должны найти в себе силу благородства и самоограничения, чтобы привлечь к духовному управлению государством людей с наибольшим нравственным авторитетом своей страны. Вот тогда только гуманистическая культура возглавит человечество и спасет его от неминуемой катастрофы, к которой ее ведет всеобщее одичание. Иначе — великая катастрофа, и, если люди еще останутся, они отрезвеют от религиозного потрясения. Сейчас люди достаточно далеки от религии. Настоящая культура — это религия в пластической форме, более доступна людям. То, что я говорю, похоже на древнеегипетское жречество, но это не должно смущать. Развитие человечества никогда не было прямой линией. В двадцатом веке мы дважды возвращались к людоедству: Сталин, Гитлер. Почему бы не вернуться к власти нравственных авторитетов? На власти старейшин веками держался патриархальный мир.

— Человек — это звучит гордо! Человек — это звучит гордо! Человек — это звучит гордо!
— Человек, ты в самом деле звучишь гордо?
— Не знаю. Хозяин так сказал.

Прохаживаюсь по двору дачи. Внук гоняет на велосипедике. Видимо, удивлен моей долгой бесцельной прогулкой.
Останавливается в двух шагах от меня. Подражая мне, делает мрачную мордочку и, закладывая руки за спину, спрашивает:
— Дедушка, почему ты так гуляешь?
— Я обдумываю что-то.
— Ты Фазиль Абдумович?

Вбегает ко мне в кабинет и, шлепая кулачком в грудь, спрашивает:
— Дедушка, с какой стороны душа?

Входит ко мне в кабинет. Тычет рукой в машинку:
— Это что?
— Машинка. Я на ней пишу.
Тычет рукой в электробритву:
— Это что?
— Это бритва. Я ею бреюсь.
Тычет рукой в электрообогреватель:
— Это что?
— Печка, — говорю я для простоты.

— Нет, — поправляет он меня, — это электрокамин.
Печку он, конечно, никогда не видел.

Уезжаем с дачи в город. Остановились возле бензоколонки. Рядом продавщица сладостей. Внук говорит:
— Дедушка, дай десять люблей, я куплю конфеты.
Именно — люблей. Я тоже в детстве испытывал мистическую любовь к деньгам. В школьные годы азартно играл на деньги. К шестнадцати годам любовь к деньгам незаметно испарилась. Любовь к поэзии все перекрыла. Дремучее, все возрастающее равнодушие ко всему, что не содержит в себе частицу поэзии. А то, что содержит в себе поэзию, за деньги не купишь.

Еще в советские времена я летел в Европу с делегацией писателей. Со мной рядом оказался писатель, который в свое время написал подлую статью против Пастернака.
Когда самолет начал выруливать на взлетную полосу, он, воровато взглянув в сторону начальства, сказал вполголоса: «Господи, помоги!»
Он это сказал с таким расчетом, чтобы начальство его случайно не услышало, но Бог услышал благодаря своему обостренному слуху. Он явно просил у Бога, чтобы самолет не грохнулся, напоминая ему, что в самолете свой человек, то есть он. Я знал, что он подлец. Он знал, что он подлец, более того, он знал, что я знаю, что он подлец. Получалось, один Бог не знает о его подлости, но при этом почему-то зорко следит за его благополучием.

Слово «война» по-русски и на всех европейских языках, отвлекая от сущности войны, смещает наше сознание к ее конечной цели: защищать или отнимать какие-то земли. По-абхазски война обозначается с первобытной откровенностью. Война по-абхазски — «взаимоубийство».

Когда я жил в Абхазии, каждый снятый партийный работник старался сблизиться со мной, проникался ко мне лирическим чувством, смутно давая знать, что мы думаем одинаково, и поэтому его сняли.

История выбирает тупых, заставляя этим мыслящих лучше понимать истинное состояние человечества.

«Пострадать бы», — говорил и писал Лев Толстой в старости. Он хотел, чтобы правительство его арестовало или выслало. Читать это как-то неловко. Кажется, Толстой стремится героизировать свою жизнь. Но на самом деле, я думаю, Толстой хотел внешним страданием вытеснить из души гораздо более глубокие внутренние страдания. Ими полны дневники старого Толстого.

Женщина по отношению к внешним приметам жизни гораздо наблюдательней мужчины. Думаю, это идет от древнейшего инстинкта защиты своего ребенка. Надо было зорко озираться, чтобы защитить ребенка от внешних угроз. И зоркость к внешним проявлениям жизни стала привычкой.
Мужчина с самого начала больше сосредоточивался на внутренней жизни. Ему надо было обдумать модель будущей охоты, чтобы прокормить семью. И это стало привычкой. От обдумывания модели будущей охоты он дошел до обдумывания модели мира, в котором мы живем. Разумеется, в живой жизни бывают исключения в обе стороны.

Слишком пристальное внимание к сосуду, из которого пьешь, всегда есть снижение внимания к тому, что пьешь.

Вчера перечитал рассказ Толстого «Дьявол». Впечатление потрясающее. Поразило невероятное портретное сходство героини рассказа Степаниды с Аксиньей из «Тихого Дона». Автор «Тихого Дона» мощно развил этот образ, но поэтическая, портретная и человеческая сущность одна.

Внешний сюжет у Толстого — реальный случай из жизни судебного следователя. У него была связь с крестьянкой. После женитьбы он пытался порвать эту связь, но непреодолимая страсть тянула его к этой крестьянке. Звали ее Степанида. Не в силах преодолеть эту страсть и будучи чистым человеком, он в конце концов в полубезумном состоянии застрелил ее.

Софья Андреевна знала, что у Льва Толстого была до женитьбы связь с крестьянкой Аксиньей, и правильно угадала, что он очень много от нее вложил в Степаниду. История эта была хорошо известна в семье Толстого, и он, чтобы не вызывать безумной ревности Софьи Андреевны, скрывал от нее этот рассказ, но Софья Андреевна каким-то образом докопалась до него, и был большой скандал. Кстати, рассказ был опубликован только после смерти Льва Толстого.

Автор «Тихого Дона», конечно, знал эту историю и восстановил имя Аксиньи. Каждый пишущий знает, как не хочется менять имя прототипа, если это не связано с неприятностями для человека.

Толстой воспользовался реальной Степанидой, чтобы скрыть еще более реальную Аксинью. Гениальный набросок героини Толстого оказался настолько вдохновляющим и типичным, что дал возможность автору «Тихого Дона», не меняя тайного имени прототипа Толстого, сделать ее главной героиней своей эпопеи. И тут ничего нет дурно-подражательного, есть могучее творческое развитие образа. Аксинья «Тихого Дона», как и Степанида, погибает от пули. Но и имя Степаниды не осталось без применения. Муж Аксиньи назван Степаном. Жена Григория Мелихова, как и Софья Андреевна, пыталась покончить жизнь самоубийством: физическая и духовная ревность. В обоих случаях попытка не удалась. Если отбросить гениальность и образованность Толстого, мы заметим, как это ни парадоксально, сходство Григория Мелихова и Льва Толстого. В жизни оба — храбрые люди, а главное, трагические правдоискатели. Одним словом, жизнь в Ясной Поляне маячила перед глазами автора «Тихого Дона». Толстой в «Тихом Доне» чувствуется даже в полном, тотальном отходе от поэтики Толстого. Автор «Тихого Дона» психологию своих героев в отличие от Толстого раскрывает только и только через действия своих героев. Ясно, что Толстой все время был у него в голове.

В воспоминаниях о Толстом несколько раз указывается, что Лев Николаевич вслух читал гостям «Душечку» Чехова. «Душечка» в первый раз попала в Ясную Поляну вместе с журналом, где она была напечатана. Привез журнал один из петербургских гостей Толстого. И на вопрос Толстого: «Ну как рассказ?» — гость ответил: «Ничего особенного», или что-то вроде этого.

Тем не менее Толстой предложил прочесть этот рассказ вслух. Он прекрасно читал его, все больше и больше воодушевляясь. Он нашел рассказ изумительным. Пришли новые гости, и Толстой не поленился снова прочесть им вслух этот рассказ. На этот раз читал еще лучше.

Да, рассказ замечательный. И все-таки странно, почему Толстой неоднократно читал его вслух своим гостям. Бывали же в это время в его руках и более талантливые вещи.

Я думаю, вот в чем разгадка. Дело не в гостях. Гости — только повод замаскировать причину. Он хотел втемяшить в голову Софье Андреевне: вот так настоящая жена должна полностью сливаться с делом мужа!

Софья Андреевна была ему великой помощницей, но она не могла, как Душечка, восторженно и послушно следовать во всем за своим мужем. В конце концов это привело к трагедии ухода Толстого из Ясной Поляны. «Душечка» не помогла!

Трагическая необъяснимость Времени и Пространства побеждается только живым делом. Вот я пишу рассказ, и необъяснимое Время превращается в прозрачное и ясное время написания рассказа. Пространство превращается в наглядное пространство бумаги, на которой написан рассказ. И так в любом деле. Время и Пространство оплодотворяются только делом. Тогда трагическую необъяснимость Времени и Пространства можно истолковать как призыв к творчеству, к созиданию.

Когда споришь с умным человеком — напряжение ума по восходящей. И это в конечном итоге доставляет удовольствие.

Когда споришь с глупым человеком, то, чтобы быть понятным ему, невольно упрощаешь свою мысль. Напряжение ума по нисходящей, и от этого остается неприятный осадок. По-видимому, в этом случае наша природа сопротивляется распаду, энтропии. Пушкин это понимал: «...и не оспоривай глупца».

Когда мысль опирается на палку, почему-то никому не приходит в голову, что это — хромая мысль и она будет мстить за свою хромоту.

Космос омерзителен. Омерзительно все, что не поддается уюту.

Мудрость Пушкина: человек неисправим, но его можно умиротворить. Отсюда его грандиозная гармония.

Героическое пренебрежение мудростью Толстого и Достоевского: человека во что бы то ни стало надо воспитать! Отсюда грандиозная страсть.

По высочайшей аккуратности текста угадывается подлог.

Пьющий опохмеляется дважды. Сначала пьет, чтобы опохмелиться от тяжести жизни, а на следующий день опохмеляется от тяжести выпитого.

Единственное настоящее лекарство от алкоголизма — сделать жизнь такой, чтобы от нее не хотелось опохмеляться.

Жертвенность и есть истинная женственность. Всякое иное понимание женственности соскальзывает в проституцию.

С детства некоторые слова и выражения воспринимаю как живое, зловредное существо. Выражение: «Заморить червячка!» — мучитель моего детства. Сейчас мучитель новое слово — подвижка. Нет движения, но есть подвижка. С одной стороны, сокрытие того, что никакого движения вперед нет, но, с другой стороны, как бы кое-что есть: подвижка. Осторожно, трусливо — мол, все же не сидели сложа руки, есть подвижки. Подвижки, подвижки, подвижки — гроздь гусениц, пытающихся и не могущих расползтись. Ползок — и втянулась обратно: подвижка.

Взятки он давал чиновникам размашисто, как официантам на чай. Знайте, кто хозяин!

В эту минуту женщина так возненавидела меня, что неожиданно для меня — я думаю, даже для себя — заговорила со мной с кавказским акцентом. При этом она чистокровно русский человек, никогда не бывавший на Кавказе. Она как бы исторгала из себя мой дух, хотя я никогда не говорил с кавказским акцентом. Она как бы озвучила то, чего не было, но должно было быть, а я позорно скрывал то, что должно было быть, хотя и не было.

Иногда ярость бывает талантлива.

Истинное богатырство, и умственное и физическое, узнается по тому, что всегда немного стесняется своего избытка сил, боится неосторожным движением сломать что-нибудь или невольно выставить кого-нибудь глупцом. Деликатность силы — вот высшее благородство!

Утро. Солнце. Весна. Искусственные зубы в стакане с водой радостно сияют. Должно быть, пустили корни.

...сказал он и заплакал крупными слезами Сальери.

Нью-Йорк. Стою среди небоскребов. Слежу, как на огромной высоте двое рабочих натягивают с двух сторон канат, чтобы укрепить на нем какую-то рекламу. Все это на немыслимой высоте, и тем более удивительно и неприятно видеть, с какой технической первобытностью они это делают. Действуют они долго, неловко, нудно. Рекламный щит то и дело переворачивается.

Стал накрапывать дождь, и неожиданно как из-под земли на тротуаре появилась дюжина негров, продававших прохожим довольно паршивые зонты.

Эти рабочие, долго укрепляющие рекламу, эти негры, сующие прохожим паршивые зонты, эти грандиозные, безжизненные небоскребы — и я почувствовал себя в центре мировой провинции, принявшей от провинциальной глупости вертикальную форму.

Провинциально все, что мешает думать о смысле жизни. Нью-Йорк не только мешает думать о смысле жизни, он создал грандиозную, халтурную модель законченного мира. Он как бы кричит: «О чем думать? Смотри на меня, я конечный смысл цивилизации!»

Зато маленькие городки Америки производят очаровательное впечатление: чисто, уютно, удобно, никакой суеты.

Злоупотребление умом должно войти, как преступление против человечности, во все уголовные законы мира. Человек, который, более тонко зная проблему, обманул другого человека или государство, должен быть осужден по двум статьям. И по статье самого обмана, и по статье позорного злоупотребления умом, содействующего развращению человечества. И срок осуждения должен быть вдвое больше, чем осуждение за обман. Но кто введет подобную статью? Разве политики дадут отнять у себя такой хлеб!

Благородная похоть — пахать!

Иногда люди улыбаются друг другу, чтобы соразмерить клыки.

Из всех живых существ, по-моему, человечество наиболее многочисленное, если не считать микробов.

Как-то само собой разумеется, что слону труднее выжить, чем мышке.

Главное условие выживания — не бросаться в глаза.

Очень мелкий, но психологически утонченный писатель. Прямо Достоевский для лилипутов!

Привезли нас с женой в больницу. У меня несколько месяцев держится субфибрильная температура. Но шофер вместо инфекционного корпуса завез нас в терапевтический. Из приемной женщина позвонила в инфекционный корпус. Там ей сказали, что высылают машину. Ждем и ждем, сидя на диване.

Привезли какого-то старика. Санитарки долго вытаскивали его из машины. Потом долго сажали на каталку, тщательно укладывая каждую руку и ногу. Потом провезли старика мимо нас. Все это время он молчал. Боже, подумал я, осознает ли он окружающий мир? И вдруг раздался его довольно громкий, надтреснутый голос:

— По-моему, там на диване сидит Фазилиус!

Так и сказал. Смешно. Тем более санитарки могли принять его слова за бред.

Дикая жара стоит в Москве. Я в больнице. Добрая, старая нянечка принесла мне завтрак и сказала:

— В Москве такая жара, потому что много мусульман наехало с юга. Они мерзнут и просят своего Бога, чтобы стало жарко. Вот и жара. Нечем дышать!

— А вы молите своего Бога, чтобы было прохладней, — посоветовал я. — Вас же гораздо больше!

— Наш Бог уступчивый, — вздохнув, сказала она.

Святая простота!

Если бы можно было вычислить смысл жизни человечества, то это математически точно означало бы, что Бога нет. Но мы наверняка знаем, что смысл жизни человечества вычислить невозможно. Тогда почему же для нас это математически точно не означает, что Бог есть?

Мудрость — пророчество за счет опыта благодаря повторяемости человеческих ошибок.

Степень погружения в комфорт равна объему вытесненной мысли.

Интересно, при склерозе мы одинаково забываем сделанное нам добро и зло? Или неодинаково? При достаточно массовом и научно корректном опыте можно выяснить, к чему человеческая природа больше склонна — к возмездию или благодарности? Бывает ли склероз злопамятности?

Как звать его? Забыл опять.
Остался призвук, а не звук.
Старею, и за пядью пядь
Сужается заветный круг.

Когда же мертвых имена
Забуду вдруг — ошпарит стыд,
Как будто предстоит страна,
Где их окликнуть предстоит.

Бестактность в молодости еще можно списать на плохое воспитание. Бестактность зрелого человека — следствие нравственной тупости. Это навсегда.

Глядя на некоторых женщин, легко угадываешь, что у них нет этического веса. После чего легко догадываешься, что из этого следует. То же самое мужчины. Нет этического веса — значит, склонен к бесчестию. Литература. Иной писатель говорит совершенно правильные вещи, имеет высокую технику письма, но не производит никакого впечатления. Нет этического веса. Нет удара. Самый огромный этический вес у Толстого, потому его удары так сотрясают нас.

Аплодисменты граждан тирану иногда приобретают воинственную и даже капризную требовательность к нему: нет, нет, ты недооцениваешь нашу преданность. Недооцениваешь, сукин сын! Покайся, что недооцениваешь нашу преданность! Ах, ты не каешься?! Так вот тебе овация прямо в лицо!

Знаменитая речь Достоевского на открытии памятника Пушкину потрясла всех слушателей. В том числе и тех, кто достаточно враждебно относился к самому Достоевскому. Она заворожила всех. Но через некоторое время, когда все могли вспомнить или прочесть ее, многие были в недоумении: почему она нас потрясла, в ней ничего особенного не сказано о Пушкине?

В самом деле, Достоевский не раскрыл ни одной тайны поэтического дара Пушкина. Он придал Пушкину несвойственную ему идеологичность, в высшей степени свойственную самому Достоевскому. И все-таки речь великая, потому что в ней — пламенная любовь к Пушкину.

Достоевский тосковал по пророческой личности писателя и эту тоску воплотил в свою речь. Но мне кажется, при всей гениальности Пушкина, его дар не был пророческим. Пушкин — неповторимое сочетание исключительного поэтического таланта с необыкновенным человеческим обаянием самой личности поэта, которая растворена в стихах. И в этом неповторимость Пушкина. К тому же дар Пушкина бесконечно улыбчив, а пророки не бывают улыбчивыми. В мрачном Лермонтове в самом деле много пророческого. Пушкин знал, поэтому ему незачем было пророчествовать.

Пророческим даром в высшей степени обладал именно сам Достоевский. Искренно любя Пушкина и, конечно, сам того не осознавая, он, по-моему, невольно произнес речь о самом себе.

Все пророки мрачны, и все пророчества мрачны. Но не мрачность пророков следствие их мрачных пророчеств, а мрачность их следствие того, что тревожные сигналы будущего уже уловила их душа.

В тяжелые минуты полного разочарования в людях почти каждый человек может найти источник утешения: «Но ведь была моя мама! Это же правда! Правда!»

Жизнь, нет тебе вовек прощенья
За молодые обольщенья,
За девичьих очей свеченья,
За сон, за ласточкину прыть,
Когда пора из помещенья,
Но почему-то надо жить
С гримасой легкой отвращенья,
Как в парикмахерской курить.

Что хуже — грех уныния или грех, в который мы впадаем, пытаясь преодолеть уныние?

...Пытался занять должность, предполагающую ум.

Когда я себя чувствую сильным, вдохновенным, я не только верю в Бога, я благодарно осознаю, что эта сила идет от Него. Когда я в упадке, а это гораздо чаще, я — ни то ни се. Когда же мне совсем плохо, я совершенно непроизвольно думаю или шепчу: «Господи, помоги!»

Но вера ли это? Или крик ребенка: «Мама!» — в ужасе бегущего к ней? В конце концов, и ребенок, бегущий к маме, тоже форма веры.

Гениальный мудрец древности Сократ тончайшим образом разобрался во многих нравственных вопросах. Но я нигде не читал о том, чтобы Со-

крат говорил о безнравственности рабства. В тех исторических условиях рабство было естественным явлением.

Сократ принимал участие в сражениях, и если бы его взяли в плен, его самого сделали бы рабом. Считать Сократа духовно близоруким за то, что он не осуждал рабство, неисторично.

Если человечество выживет, люди безусловно научатся создавать полноценное искусственное молоко. И тогда ребенок, которому мать будет читать рассказ из наших времен, где женщина доит корову, может воскликнуть: «Люди отнимали молоко у теленка! Какие они были жестокие!»

Говорят о бесконечных возможностях искусственного разума. Но ни один ученый не может даже заикнуться об искусственной совести.

Из этого следует, что любой искусственный разум в главном ограничен. Только человеческий мозг может логизировать толчки совести.

Идеальное государство по Платону: философы управляют государством. Ленин, начав строить свое идеальное государство, первым делом выслал всех философов.

Искусство — или метафора религиозной заповеди, или мошенническое шаманство.

Знаменитая сталинская железная логика: Волга впадает в Каспийское море. Корова дает молоко. Зимой холодно, а летом, напротив, жарко. Будущее, как известно, принадлежит пролетариату. Мы уничтожаем врагов пролетариата, следовательно, спасаем будущее человечества.

Люди часто путают дар со способностями. Даже самый маленький дар требует соучастия души. Даже самые большие способности обходятся без соучастия души.

...И работала ведьмой по совместительству.

Если у женщины все в порядке с головой, она, как правило, тоньше мужчины.

При эпидемии гриппа надо бояться заразиться от другого человека. Но как это унизительно и грустно, какой обнаженный эгоизм!

Иногда, вдумываясь в свою достаточно сложную мысль, мы вдруг обнаруживаем, что она в конечном итоге аморальна. Нам становится стыдно, хотя мы, конечно, этой мыслью не собираемся ни с кем делиться. Тогда стыдно перед кем? Значит, есть некто, кто эту нашу мысль узнал, как только она возникла в нашей голове.

Великая тоска по согласию людей порождает согласие с несогласием. И тогда каждое несогласие превращается в частный случай внутри общего согласия.

Сближаться с умственно богатыми и отдалять от себя умственно бедных — это тоже своего рода карьеризм. От умственно бедных надо отдаляться, но с чувством вины.

С точки зрения психоанализа Дарвина так угнетала человеческая глупость, что он пришел к мысли: человек произошел от обезьяны. После чего успокоился и, чтобы длить покой, всю жизнь это доказывал.

...Это предположение пришло мне в голову после звонка одного знакомого. Он долго и нудно просил меня помочь в одном деле, в котором я ему никак не мог помочь, потому что никакого отношения к этому делу не имел и не мог иметь. Он продолжал просить. Я в бешенстве бросил трубку. Тут мне пришла в голову мысль о Дарвине, и она в свою очередь успокоила меня.

Слабые писатели нужны. Большие писатели рождаются на почве, унавоженной графоманами.

Цепенеешь перед хамством? Молодец, значит, еще веришь в человека!

Духовно отсталые люди любят бежать за новыми идеями, потому что это маскирует их духовную отсталость.

Хороший афоризм утоляет тоску по разумности. Жизнь фрагментарна. И человек устает от этого. Разумность афоризма по частному поводу рождает надежду, что существует универсальная разумность.

Борясь с мракобесием, не впадай в светобесие.

В советские времена один мой знакомый писатель был уверен, что его день и ночь подслушивает КГБ. Это была почти мания. Однажды я попытался высказаться на политическую тему, подзабыв о его мании. Дело происходило в его квартире.

Он сделал страшное лицо и показал рукой на потолок.

— Если бы тебя подслушивали, тебя бы давно взяли, — сказал я ему шутливо.

— Почему? — спросил он.

— За подозрительно полное отсутствие политических разговоров в твоем доме, — напомнил я ему.

Он хмуро улыбнулся и снова показал рукой на потолок.

— Я не дурак, я только простодушный, — говорил он. На самом деле он был умен, но, когда его обманывали, он от стыда за обманщика делал вид, что верит всякой чуши.

Дурак догадывается о враждебности ему всякой умной мысли с такой же проницательностью, с какой умный осознает глупую мысль. Дурак мгновенно улавливает не содержание мысли, а ее враждебность ему. Поэтому попытка умного человека сотрудничать с глупым начальником, чтобы, переиграв его, сделать хорошее дело, всегда оканчивается для него крахом.

Был самокритичен. С язвительной беспощадностью критиковал себя за недостаточную любовь к себе.

Ужасно, когда патриотизм — инстанция. Вне войны вслух говорить о патриотизме имеет право только поэт. Его искренность, если он талантлив, согревает нам душу. Точно так же поэт может написать стихи о любви к матери, но нам говорить о любви к матери со всяким встречным-поперечным позорно и даже подозрительно, ибо любовь к матери — это нечто само собой разумеющееся.

Великий борец может быть этически сильным, но не может быть этически тонким. Этическая тонкость и борьба мало совместимы.

Боль за многих делает человека рассеянным к боли за одного. Боль за одного отвлекает от боли за многих. Как же быть? Увы, это в природе человека. Совместить эти два типа людей в одном невозможно, но они сами по себе дополняют друг друга.

В жизни бывают особые люди — прекрасная душа и поврежденный мозг. В литературе они отражены в таких великих произведениях, как «Дон Кихот» Сервантеса, «Идиот» Достоевского (случайно ли рифмуются?), «Матрёнин двор» Солженицына.

В мировой литературе, конечно, немало образов людей нравственных и умных. Но они не производят такого сильного впечатления. Более всего потрясают именно такие люди — с прекрасной душой и поврежденными мозгами, неспособными логизировать личные интересы. Отсюда страшная догадка: не тормозит ли ум, логизируя наши собственные интересы, нравственное развитие души?

Рыба гниет с головы. Разумеется, если у нее есть голова.

Декабризм — небольшая доза революции, как антитифозная инъекция; ее хватило — чтобы Россия не заболела революцией — на весь девятнадцатый век.

Байронизм — подоблачная пошлость.

Страх усиливает чувственность. В молодости: а вдруг родители внезапно нагрянут? Это таинственно вложено в природу человека на случай страшных обстоятельств жизни, чтобы род человеческий не пресекся. Пресыщенный человек может вызывать у себя искусственный страх через стремление к непозволительному.

Розанов, насколько я помню, предлагал новобрачным первую ночь проводить в церкви, якобы для полного освящения брака. На самом деле глупо и цинично.

Я думаю, в действительности его волновала мысль об особой сладостности святотатственной близости.

Первоначальный толчок мысли дает душа — дальше ум логизирует этот толчок. У безумного разрушен орган логизации, но в иных случаях можно предполагать, что душа осталась нормальной. Теоретически говоря, у иных безумцев душа может давать толчки великих мыслей, но они своими поврежденными мозгами не могут их логизировать. Мы слышим только бессвязный бормот. Какая трагедия!

Из деликатности перед Богом он никогда не обращался к Нему за помощью. У входа в рай, где толпились праведники, его первым позвали, к некоторому недоумению праведников и его собственному смущению.

Этот человек омерзительные вещи говорил о знакомых. Но было еще омерзительней убедиться, что он был прав.

Правдивость соотношения вещей лучше всего выражает юмор. Мы можем сказать, думая о соотношении вещей: да, это так! Или: нет, это не так. В обоих случаях возможна ошибка. Но когда в соотношении вещей мы видим смешную сторону, мы с хохотом говорим: да, да, это так!

Тут исключена возможность ошибки.

Наш человек, не имея терпения хорошо делать свое дело, вынужден терпеть все. Вынужденному терпеть все не хватает терпения хорошо делать свое дело.

Лучше подавать подаяние тайно, чем явно. Лучше подавать подаяния явно, чем не подавать совсем.

Всю жизнь он гасил в себе порыв к счастью, боясь, что счастье погасит творческий порыв.

В наше трудное время один родственник из глухой горной деревушки в Абхазии сказал: «Никогда я так хорошо не жил, как сейчас».

Вместе с сыновьями трудится, обрабатывает землю, разводит скот. Нет ни мелких начальников, ни разбойников поблизости. Никто не мешает. Слышать его слова было мгновенным счастьем.

Мысль сорвалась: не по леске рыба.

Естественно представить бандитов с масками на лицах, грабящих дом или банк. Но чудовищно видеть работников правоохранительных органов, которые в масках идут на операцию. Что это может означать? Что криминальные силы стали сильнее защитников граждан и те боятся личной мести? Или что еще хуже: государство запугивает население. Милиция в масках! Где мы живем! Всем — оцепенеть!

— Тише! Не отпугните!
— А что случилось?
— Человек внюхивается в Добро!
— И долго он будет внюхиваться?
— Никто не знает. Но нам нельзя упускать шанс.

Великий политик — это такой политик, который с глубочайшим презрением входит в политику, добиваясь того, чтобы в политике не было политики.

Вот человек с неприятной наружностью. Мы еще ничего не знаем о нем, но он своей наружностью уже настраивает нас против себя. Подлость эстетического восприятия.

Христианский тип человека. Внутренне твердый, но именно поэтому внешне мягкий.

Нравственно неразвитые люди охотно по малейшему поводу создают скандальную ситуацию и лихо врезаются в нее. Прекрасный пример — коммунальная квартира, когда цепная реакция скандала охватывает всех.

Оздоровительное упражнение. Как это ни парадоксально, скандал взбадривает людей, не дает им закисать, делает их после скандала более бодрыми.

Тут есть какая-то физиологическая тайна. Во гневе организм выбрасывает какое-то взбадривающее вещество, которое утоляется скандалом.

И наоборот: нравственно развитый человек, даже возмущенный неправотой другого человека, часто сдерживается, избегает скандала, не хочет унижать другого человека, доказывая глупость его точки зрения. Не отсюда ли нравственно развитый человек часто впадает в депрессию? Сдержанность, может быть, приводит к самоотравлению организма тем же самым веществом, которое выбросил в кровь его организм в минуту возмущения, чтобы поддержать его агрессию. Но агрессия не состоялась, и это вещество, оставшись без прямо назначенного применения, отравляет его самого.

Правдолюбие и человеколюбие часто приходят в противоречие. Мы порой скрываем от человека правду из жалости к нему, из нежелания уни-

зить его. Нехорошо, конечно, но человеколюбие выше правдолюбия. Где выход? Вероятно, вместе с горькой правдой, высказанной ему, надо напомнить о чем-то хорошем, что в нем действительно есть.

Творческий кризис у графомана означает, что он выздоровел.

Национализм — это когда свинья, вместо того чтобы чесаться о забор, чешется о другую свинью.

Правда, рожденная нравственным порывом, всегда выше логики.

Подобно тому, как человек не может устоять на ногах, не опираясь на землю, дух человека не может устоять, не опираясь на небо.

В церкви лица молящихся всегда умней и красивей, чем на улице, в театре или где-нибудь еще. И хотя мы совершенно точно знаем, что многие из них здесь случайны, они тем не менее проникаются значительностью происходящего, и это отражают их лица: что-то есть.

Чем в нашем представлении американец отличается от европейца? Американец более предприимчивый и энергичный человек. Как же это получилось? Ведь американцы — это бывшие европейцы.

В свое время они пересекли океан, чтобы начать новую жизнь. В те далекие времена пересечь океан было почти то же самое, что переселиться на другую планету. Сознание, что ты начинаешь новую жизнь на новой земле, означало собрать все силы для новой жизни в условиях, когда можно было надеяться только на самого себя. Миллионы Робинзонов основали Америку. Энергия и предприимчивость стали национальной традицией. Характерно, что Америка не дала ни одного великого философа. Созерцательность не свойственна энергичным, предприимчивым людям.

Нечто подобное было у нас, только в более слабой форме. Русские, переселившиеся в Сибирь, создали некоторым образом особый русский тип. Сибиряк. Это означает — сильный, уверенный в себе русский человек. Но каток тоталитаризма прошел и по Сибири и почти уравнял сибиряка с обыкновенным русским. Понятие «сибиряк» даже на слуху нашего поколения сильно размыто.

В другом смысле нечто подобное наблюдается и в Америке. Есть признаки национального ожирения. Один серьезный русский ученый, живущий в Америке, сказал мне, что докторские диссертации по точным наукам в Америке сейчас защищаются в основном русскими, японцами, китайцами и корейцами. В науке по крайней мере предприимчивость коренных американцев падает. Но в Америку постоянно вливается свежая кровь, поддерживающая уровень национальной энергии и предприимчивости.

С тех пор как кухарка стала управлять государством, русская мысль переселилась на кухню.

Карманник в толпе деликатно обходит карманы нищих.

Блудный сын пришел к отцу, когда ему стало совсем плохо. Так и человечество придет к Богу.

Чем более мошеннические выборы в государстве, тем точней они передают истинное состояние общества. Мошеннические выборы тоже точные выборы.

Правдивость художественного произведения во время запрета на правду создает иллюзию его талантливости, даже если оно неталантливо. Так во время голода черствый кусок хлеба нам кажется очень вкусным.

Бассейн, пруд, река, море! С каким восторженным визгом узнавания дети кидаются в воду! Кажется, они встречаются со своей родиной, которую потеряли миллионы лет назад. Может, в самом деле мы вышли из океана, и дети это подсознательно помнят? А может, проще: они помнят, как бултыхались у матери в животе?

Фанатики не обладают чувством юмора. Но если бы они обладали чувством юмора, они не стали бы фанатиками. Но если б они не стали фанатиками, мы бы не знали, что фанатики не обладают чувством юмора. Но не зная, что фанатики не обладают чувством юмора, быть может, мы сами, теряя собственное чувство юмора, могли бы стать фанатиками и преследовали бы людей, утверждающих, что фанатики не обладают чувством юмора.

Вокзал. Толпа. Все сиденья заняты. Женщина с двумя детьми водрузила на колени чемодан, готовясь к ужину. Двое детей — по обе стороны от нее. Она стелит на чемодан газетный лист и совершенно волшебным движением ладоней расправляет его, так что он мгновенно превращается в скатерть-самобранку, а нехитрая снедь на ней — в праздничное угощение. Всюду жизнь, где есть такие женские руки.

Самозванство: отсутствие собственного лица порождает тоску по личине.

Лицевер.

У безуютного писателя только один выход — быть гениальным. Достоевский, Блок, Цветаева.

Затосковавшим в раю дают прислушаться к тому, что делается в аду. Сразу тоска проходит.

Отвлечение от правды в длительной перспективе гораздо вредней для народа, чем прямой запрет на правду. Прямой запрет порождает тайную свободу, тайную любовь к правде.

Отвлечение от правды — великая индустрия развлечений, ввиду отсутствия прямого запрета на правду — приводит к тому, что человек теряет вкус к правде.

В России крепкие напитки пьют залпом в отличие от Европы, где обычно их пьют прихлебывая. Марксизм тоже Россия выпила залпом, пока Европа его пригубляла. Через семьдесят лет мы отрезвели — и тут же залпом выпили демократию.

Почему в России пьют залпом? Величайшая загадка.

Одни говорят, что россияне спешат к итоговому состоянию после выпивки. Другие говорят, что наша жизнь столь ненадежна, что человек пьет залпом, боясь, что у него отнимут выпивку, пока он будет прихлебывать.

Вероятно, разрешив эту загадку, мы облегченно вздохнем и начнем пить прихлебывая. А Европа, заметив это, сильно встревожится и станет пить залпом.

Логика судьбы любит пролезать в прорехи нашей логики.

Глубина стыда определяет высоту человеческой личности. Вот почему пастух как личность может быть выше академика.

Охота, рыбалка — поиски удачи в параллельных мирах.

Дурак, засекреченный образованием.

Бунтарь-гомеопат.

Беспорочный политик — это как беспорочное зачатие.

В тесноте, но не вопите!

Россиянин теряется при виде единства многообразия, поэтому у нас или общая диктатура, или общая анархия.

Борьба со старостью его так увлекла, что на жизнь времени не оставалось.

Безусловно великое хамство давать знать человеку, что он уродлив. Но не менее великое хамство выпячивать, утверждать свое уродство. Так делает Розанов. Розанов — гениальная муха, которая с одинаковым аппетитом садится на сахар и на блевоту.

Говорят: искренность, искренность. Искренность хамства не подлежит ни малейшему сомнению.

Что ни говори, главный стимул к богатству — компенсация глупости. Предположим, афиняне сказали нищему Сократу: «Поймай сто мух, и мы тебе заплатим сто драхм». Разумеется, Сократ высмеял бы такое предложение, и, может быть, мы имели бы еще одну его философскую беседу на тему «Драхмы и мухи». Для того, кто понял, что истинное богатство — это мысль, стремление к богатству — это ловля мух. Вот почему многие лучшие писатели советского времени — Ахматова, Платонов, Цветаева, Мандельштам — были нищими. Они не могли себе позволить ловить вместо мыслей мух, да еще идеологизированных.

Гражданственность — обязательно дойти до урны и вбросить в нее окурок.
Государственность — следить за тем, чтобы путь до урны был не слишком утомительным.

Нельзя сказать, что в их доме не было любви, но на три комнаты ее не хватало. Он вспомнил молодость, когда они жили в однокомнатной квартире, — тогда любви хватало с избытком. Но он не знал, что на три комнаты ее не хватит. А как добивался!

Люди свидетельствуют, что так неоднократно бывало: жертва, замученная палачом, иногда начинает целовать ему руки. Что это? Бессознательный призыв к человечности? Язык не поворачивается сказать: замученный начинает любить врага, как самого себя. Точней всего сказал Маяковский: «Видели, как собака бьющую руку лижет?»

В письме Столыпину Толстой говорит, что земля принадлежит Богу и ее нельзя продавать никому, даже крестьянам. Конечно, Толстой выступает против частнособственнического инстинкта. Этого величайшего человека иногда страшно заносило. Что за абсурд! Если бы Толстой следовал здесь за своей слишком любимой логикой, он должен был сказать, что и плоды земли нельзя продавать. Например, ягоды и грибы.

Столыпин с опозданием, но очень хорошо ему ответил. Смысл его ответа: о какой свободе можно говорить в нищей стране? На своей собственной, принадлежащей ему земле крестьянин во много раз лучше работает, и он в конечном итоге досыта накормит страну, и тогда проще будет решать другие социальные вопросы.

Ужасно, что и сейчас, почти через сто лет, этот вопрос еще не решен. Вероятно, фермер, который успешно работает на собственной земле, исправно платит налоги, страшен государству. Он независим. У него развивается чувство собственного достоинства, он — государство в государстве. Куда легче чиновникам управлять людьми, которые во взвешенном состоянии. Они вечно зависят от государства и вечно подворовывают у него. Зато социально послушны.

За обезумевшей в своем хамстве нашей демократией, застенчиво опустив глаза, маячит диктатура.

Он противен не тем, что так боится за свою шкуру, а тем, что, так боясь за свою шкуру, нельзя не стать предателем.

Глядя на наших богачей, начинаешь понимать праведный гнев Маркса — гнев, а не учение.

Экологически чистое мышление.

Несмотря на правильные прогнозы пессимистов, человечество все еще живо. Несмотря на то что человечество все еще живо, прогнозы пессимистов, увы, остаются правильными.

Красноречие косноязычия.

— Я — патриот! — крикнул он родине и показал руками готовность рвануть рубаху.

— Это не аргумент, — ответила она. — И оставь рубаху в покое.

Кажется, снотворные таблетки делают мои сны слишком расплывчатыми. Хоть очки на ночь надевай.

Дешевеют часы в магазинах, но почему-то грустно — как будто дешевеет время.

Как точнее выразить сущность этого писателя? Первоклассный талант или гениальность второго сорта?

Борхес не человек, а всемирная библиотека.

Банкформирование.

Солги, чтобы человек не согнулся от правды, как получивший пулю в живот!

Жизнь бесцельна? Думай, почему она бесцельна, и у тебя появится цель.

Одни говорят: «Меланхолия». Другие: «Вонь безволия!»

Не так важно, любишь ли ты язык, на котором пишешь, гораздо важней — любит ли он тебя.

Весна. Снег в черных пятнах проталин, как березовая кора.

Он так яростно мочалкой натирал свою грудь, как будто хотел дотереться до души. А не мешало бы.

Один англичанин говорил о моей книге на полузнакомом мне английском языке. Когда хвалил — я все понимал. Помогал энтузиазм. Когда начал критиковать, энтузиазм погас, и я ничего не понял. Очень удобно.

В юности видел сон, как будто я ожесточенно ругаюсь со своим другом. Проснувшись, неприятно удивлялся ожесточению. Через несколько дней мы с ним вдруг разругались, и ругались с таким же ожесточением, как во сне. Классически нормальный сон. Подсознательно накоплявшееся недовольство вылилось в сон, предвещающий разрыв наяву.

Иногда вижу во сне, что я быстро-быстро читаю книгу лежа в постели. И вот что забавно. Во сне я осознаю, что кругом ночь, свет в комнате погашен, и я не перестаю удивляться тому, что в темноте ясно различаю шрифт. Однако то, что это сон, не догадываюсь.

Вчера видел во сне, как один приятный мне человек куда-то хотел меня увести, но мне не хотелось туда идти, и я сбросил со своего плеча его дружескую руку. Он ушел. И тогда я вспомнил, что он давно умер. И тут я догадался, что это был сон, и обрадовался тому, что с ним не пошел. Хороший знак, подумал я, значит, буду жить. Во сне я думал, что думаю уже проснувшись, хотя я и это думал во сне.

Если каждый делает добро в пределах своих возможностей, возможности добра становятся беспредельными.

Ничто так не убивает патриотические чувства, как патриотические речи.

Чем непроницаемей стены государственной власти, тем проницаемей для государства стены наших домов.

Главная черта гения — простодушие. В его голове запечатлен образ правильного, естественного мира. Таким он родился. Поэтому он легко замечает и простодушно удивляется всем уродствам этого мира и проявляет, так сказать, проницательность в изображении этих уродств, к которым обычные люди привыкли и не замечают их. Но простодушие гения становится трагическим, когда он, не понимая силы сопротивления уродства, начинает с простодушной уверенностью бороться с ним.

Заблудший человек, оказавшись во владениях Зла и чувствуя смутную тревогу, заклиная Зло, кричит:

— Я по ту сторону Добра и Зла!

Зло молча усмехается.

Наша приятельница еще в советские времена выезжала в одну из южных республик, чтобы проверить, как там готовятся к курортному сезону. Такая у нее была работа.

Встретилась с местным министром торговли и его заместителем. Заместитель министра немедленно начал хвастаться, что его машина в качестве сигнала поет «Кукарачу».

Министр с некоторой полемичностью прихлопнул его:

— Зато я курю «Чистый фильтр», — сказал он, и заместитель, подавленный, смолк.

Конечно, он знал, что министр курит «Чистый фильтр», но, видимо, не придавал этому должного значения. Когда министр несколько раз повторил про «Чистый фильтр», наша приятельница догадалась, что он имеет в виду сигареты «Честерфильд»... Милые ребята, если забыть, что они управляли страной. По характеру их поведения видно было, что это эпоха Брежнева. При советской власти все начальники бессознательно перенимали приметы вождя. В Абхазии я застал местного Сталина, местного Хрущева и местного Брежнева.

Оригинальный поэт, кроме всего, — это такой поэт, который всегда остается верен своей системе, даже тогда, когда это поэтически невыгодно. Просто он иначе не может. Таков Борис Слуцкий.

...Не читал его лет десять. Случайно взял его книжку с полки и зачитался. Удивился его огромному влиянию на Бродского. Нахлынули воспоминания, хотя мы никогда не были близки.

Я был студентом Литинститута, когда Евтушенко привел меня к нему и познакомил. Сидели, разговаривали, пили вино. Слуцкий, который тогда еще не напечатал ни одного стихотворения, прочел несколько своих вещей. Из лучших. Я был потрясен этими стихами на всю жизнь. Я его всегда нежно любил. Особенно как человека.

Однажды мы встретились в журнале «Юность» и прошли от площади Маяковского до станции «Аэропорт» пешком. Нам было по пути. По дороге мы обсуждали все возможности России, если бы не было сталинского террора. Разумеется, совершенно откровенно. Он был вообще умен, но и невероятно начитан. От фронтового ранения или контузии он страдал хронической бессонницей. Может, это причина его необычайной начитанности. Шли долго. После того, как все обсудили, я вдруг вспомнил, что недавно было очередное закрытое письмо ЦК партийцам. Тогда это входило в моду.

— Боря, о чем говорится в последнем закрытом письме? — спросил я у него.

Он искоса посмотрел на меня и спросил:

— А ты член партии?

— Нет.

— Тогда я тебе не могу рассказать о содержании письма, — сказал он твердо.

Меня это не только не обидело, но я еще больше полюбил его. То, о чем мы говорили как частные люди, тянуло на средний тюремный срок. Но как член партии он послание партии держал в тайне. Он сохранял условия игры, которой никто не придерживался. Такой он был.

Наш абсурд он хорошо видел, но он ему представлялся частной неудачей правильной идеи, в которую никто, кроме него, уже не верил, в том числе и создатели абсурда. Он был враждебен советской власти, но именно ради идеальной советской власти, а не какой-нибудь другой. Умный Дон Кихот. Может, именно поэтому я его особенно любил.

Слуцкий песню изгнал из поэзии,
Песню пафосом заменил,
Обнажая, как острое лезвие,
То, чем пишут ярче чернил.

Наш человек обо всем может судить, но ничего толком не знает. Американец ни о чем не может судить, но свое дело знает толково.

Как движется история? Она движется так, как движется вода, если выплеснуть ее на землю из ведра, учитывая при этом, что земля под ней в это время сама бугрится и опадает без всяких видимых причин. Мы не мо-

жем быть верны этому движению, потому что мы ничего о нем не знаем. Но тогда тем более мы должны быть верны своему нравственному чувству как чему-то абсолютно точному.

Бесконечно манипулируя своими малыми знаниями, он дошел до состояния такого виртуозного невежества, что за его невежеством невозможно было уследить.

Наказание без вины может через многие годы отозваться необъяснимым преступлением наказанного.

Редкие мгновенья счастья можно рассматривать как тайную рекламу рая. Ад не нуждается в рекламе. Ввиду перенаселенности ада он частично оккупировал нашу Землю.

«Паршивочная мастерская».

— Папа, — сказал мой сын, — что ты ходишь по кабинету и бормочешь: «Боже! Боже!»

Я смутился. Мне казалось, что это я говорил про себя. А думал я о нашей всеобщей — и в том числе его — неустроенности.

Ахматова: «...Я сбежала перил не касаясь...» Лирическая героиня пытается догнать оскорбленного возлюбленного. Гениально передается именно женская взволнованность, даже некоторая неуклюжесть героини чувствуется — хочет взяться за перила, но боится затормозить свое движение.

Если бы у поэта-мужчины герой в этой же ситуации сказал: «Я сбежал перил не касаясь», было бы бездарно и глупо. Подумаешь — перил не касаясь!

Кстати, героиня Цветаевой в этих обстоятельствах вообще не заметила бы перил. Бег цветаевской героини был бы почти безумен — ничего не видит. Бег ахматовской героини напряженней — видит перила, но заставляет себя не касаться их.

Странная арифметика. Количество растленных людей, посаженных в тюрьму, всегда меньше количества растленных людей, выпущенных из тюрьмы. А люди те же самые. Так что же дает тюрьма? Нерастленных растлевает, а растленных приучает к большей хитрости.

Главные враги интеллигенции все те, что пытались стать интеллигентными, но не смогли и теперь слегка нервничают на интеллигентских должностях. В основном, конечно, госаппарат. Потому все гонения у нас начинаются с интеллигенции, стыдливо прихватывая кое-кого из остальных.

Никто так не раздражает, как бездарный авантюрист. Продал душу дьяволу, а пользы никакой. Какого черта продавал!

Необходимость частного владения землей. Никакая самая жесточайшая диктатура не могла проследить за колхозником, скажем, когда он пропалывал кукурузу. Во время прополки он должен был сначала выполоть сорняк под кукурузным стеблем, а потом окучить его землей. Но колхозник, зная, что его доход почти не зависит от его труда, очень часто облегчал себе работу. Не выполов сорняк, он заваливал землей подножье кукурузного стебля, так что сорняков становилось не видно. Никакой бригадир не заметит. Из-за невыполотых, заваленных землей сорняков в конечном итоге пала советская власть. А кто ответит за развращение крестьян халтурной работой?

Грандиозный ленинский план электрификации России — может быть, неосознанное желание уравновесить мракобесие революции.

Один русский физик, живущий в Америке, сказал, что наш раскидистый тип мышления неожиданно оказался очень полезным современным требованиям точных наук. Если это так, наша дилетантская всеохватность, источник многих наших бед, стала наконец необходимой в точных науках. На Западе много говорят о высоком уровне русской школы в изучении точных наук. А может быть, дело не в школе, а дело в нашем типе мышления?

Почему преданность собаки нас потрясает больше, чем преданность человека? Не потому ли, что у них изначально другой уровень сознания — у человека была слишком большая фора? Или мы уверены, что преданность собаки — это навсегда? А преданность человека менее надежна? Либо в преданности собаки мы угадываем конечную задачу человека в чистом виде? Любовь.

Мир, которым движет диктатура, — кровавый мир.
Мир, которым движет конкуренция, — пошлый мир.
Небогатый выбор.
Что такое конкуренция? Неутомимая зависть.
Идеальный капитализм на сегодняшний день — просвещенная пошлость.
Надо одолеть брезгливость, войти в пошлый мир и внутри его бороться с пошлостью. Другого выхода нет.

Вечная присказка российских правителей:
— Нам и так трудно, а тут еще народ путается под ногами.

Я стоял на тротуаре, дожидаясь жену, которая вошла в магазин.
— Разрешите пройти, — услышал я голос за собой.
Я оглянулся. Метрах в трех от меня стоял человек с палочкой; какая-то женщина держала его под руку.
— Пожалуйста, — сказал я и сделал шаг в сторону.
Человек со своей спутницей прошел мимо. И тут я догадался, что он слепой. Но какое чутье! За три метра он почувствовал, что перед ним стоит человек.
Они могли обойти меня, но у слепого право идти прямо.

В быту я сотни раз предавал истину, чтобы не предать человека. Преданная истина почти не обижается. Она же знает — она все равно истина.
А преданный моим несогласием с ним человек очень обидчив. Мне его жалко. А еще точней, мне жалко себя за ту боль, которую я чувствую, понимая, что человеку больно. Можно ли так жалеть человека, чтобы жалость к человеку не причиняла нам боль? Это невозможно.
Выходит, я жалею человека оттого, что он болью своей обиды причиняет мне боль. Интересно: жалея человека и испытывая за него боль, кого мы больше жалеем — себя или его? Неразрешимый вопрос.
Конечно, сознательно отходя от истины ради человека, я тоже испытываю некоторую боль за истину. Но, огорчая человека, когда защищаю истину наперекор ему, я испытываю гораздо бóльшую боль. И я, естественно, стараюсь избавиться от бóльшей боли. Выходит, истина может обойтись без моей защиты, а человек не может.
Но, оставив истину и обернувшись к человеку, тем самым, перестав испытывать за него боль, я начинаю испытывать к нему раздражение: по-

чему ты так болезненно воспринимаешь истину? Из-за этого мне пришлось отвернуться от нее.

Говорят, гора мышь родила. Не имеется ли в виду Бог, создавший человека, прости, Господи! Ну что ж, теперь я могу и поворчать на человека, потому что за моими словами не стоит конкретный человек, ради которого я отвернулся от истины.

Один престарелый абхазец рассказывал мне, как у них в деревне в начале тридцатых годов на сходке выступал председатель Совнаркома Абхазии Нестор Лакоба. Несмотря на глуховатость, а может, именно благодаря ей, он был прекрасным оратором. Он говорил примерно так:

— На нас идет колхозная чума, но мы должны покориться ей. Даже великий русский народ покорился ей. А мы — маленький народ. Если мы не покоримся, нас сметут с лица земли.

Можно ли представить, чтобы русский партийный работник так выступал в русской деревне? Невозможно. Даже если все это Лакоба говорил намеками, его так поняли. В абхазском случае идеология как бы застревала в фильтре языка. Выцеживалась правда в чистом виде: страшная, безжалостная власть — надо покориться.

В 1936 году Нестор Лакоба, находясь в Тбилиси, сильно повздорил в ЦК Грузии с Лаврентием Берией. В знак примирения Берия заманил его к себе в дом и заставил Лакобу выпить бокал отравленного вина. Лакоба умер.

Взять живым его было невозможно. Он всегда имел при себе пистолет. Видимо, разлад назревал. Родственник Лакобы, живший у него в доме, а потом проведший в лагерях семнадцать лет и чудом выживший, рассказывал мне, что перед поездкой в Тбилиси, перед самым выходом из дому, Лакоба вдруг выхватил пистолет и выстрелил в потолок. Такого никогда не бывало. Похоже, он взбадривал себя перед решительным разговором.

После гибели Лакобы неимоверный террор обрушился на Абхазию. Видно, что Лакоба как-то пытался заслонить Абхазию от этого террора.

Берия был мингрельцем, но родом из Абхазии. Она видела его юность в нищете и в унижении. Этого он ей не мог простить. У Берии неимоверная потребность убивать вызывала неимоверную потребность в женщинах. Можно сказать — ложный инстинкт восстановления жизни.

Осип Мандельштам в 1937 году, находясь в воронежской ссылке, написал смутные и тревожные стихи явно об Абхазии. Он там был, и был знаком с Лакобой. Остался незаконченный очерк об Абхазии. Так вот, в этих стихах есть странные, пронзительные строчки:

Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?

Здорово ли вино? Невольно вздрагиваешь. Мог ли одинокий ссыльный поэт в Воронеже знать, что Лакоба отравлен вином? Невероятно. Даже в Абхазии мало кто тогда знал, что это так. Официальная версия — умер от грудной жабы.

Кажется, поэт улавливает импульсы ужаса, идущие из Абхазии, при этом чувствует, что ужас начинается с нездорового, то есть отравленного, вина. Думаю, если бы поэт точно знал, от чего погиб Лакоба, он об этом написал бы иначе. А может быть, и не осмелился бы написать вообще. К этому времени он уже смертельно обжегся на стихах о Сталине.

Пророк — горевестник Бога.

Пророчество — это правда, которая всегда приходит слишком рано, а вспоминают о ней всегда слишком поздно.

Без Бога нельзя объяснить появление нашего мира. И это абсолютно логично. Но с Богом трудно, неимоверно трудно объяснить его терпимость к подлостям нашего мира. Отсюда можно заключить: «Я знаю, откуда взялся Бог, но я не знаю, куда он потом делся».

Бог и дьявол играют в шахматы. Ставка — человек. Длится, длится грандиозная, многотысячелетняя партия. Пешки дьявола лезут в ферзи.

Что такое наши великие земные беды? Временное преимущество дьявола? Зевки Бога, в условиях вечности попавшего в цейтнот? Или его многоходовая комбинация с жертвами фигур? Если бы в это можно было поверить, все стало бы ясно.

Вселенная бесконечна, значит, каждая ее точка может быть центром. Если бы все человечество выбрало бы одну точку во вселенной и стало считать эту точку Богом, исчисляя всю свою жизнь именно от этой точки, исчисление оказалось бы правильным, независимо от условности этой точки.

Был в Кремле в Оружейной палате. В золоте и драгоценных камнях изысканные орудия убийств. В золоте и драгоценных камнях всевозможная посуда для обжираловки и опиваловки, судя по размерам. Это дары шахов, императоров и князей русским царям. Судя по характеру даров, главное дело человека — прирезать врага, а потом сесть, чтобы спокойно нажраться и напиться. Дары другого применения не предполагают.

Человеку дано восторгаться сверканием ума и сверканием драгоценностей.

Сверкание ума всем доступно (хорошая книга), но далеко не все его понимают.

Сверкание драгоценностей мало кому доступно, но все его понимают. Особенно цыгане.

У абхазцев раньше был такой обычай. Если, не дай Бог, в доме кто-нибудь покончил жизнь самоубийством, домочадцы сжигали дом и переезжали в другое место. Вероятно, верили, что в доме, где произошло самоубийство, остается дурная энергия уничтожения.

Удивительно, что у Ахматовой близкое по смыслу стихотворение:

В Кремле не надо жить,
Преображенец прав.
Здесь древней ярости
Еще кишат микробы:
Бориса дикий страх,
И всех Иванов злобы...

Предсмертные слова великих людей нередко выражают пафос всей их жизни. Вот примеры, о которых я читал.

Лев Толстой: «Не понимаю...»

Безусловно, весь пафос его жизни — понять, что такое жизнь, и особенно, что такое смерть. Самые гениальные описания смерти в мировой литературе. В последних словах его чувствуется, что он частью сознания уже заглянул в смерть и честно вбросил в эту жизнь, что ничего не понял. Но какая вера в разум до последнего мига!

Наш великий физиолог Павлов. Говорят, на какой-то шум в комнате умирающий Павлов так отреагировал: «Павлов занят. Павлов умирает...»

Всю жизнь посвятив научным опытам над животными, он и собственную смерть превратил в опыт над собой.

Гёте. Последние его слова: «Света...» Или: «Больше света...»

Мало того, что вся его поэзия пронизана светом, он еще и автор знаменитой «Теории света», которой он дорожил больше, чем всеми своими

стихами. Это известно. Сколько язвительных замечаний он выслушал от ньютонистов по поводу своей теории, но не отрекся от нее. Один крупный физик сказал мне, что современная наука склоняется к тому, что именно Гёте был прав.

Позвонили из редакции и спросили:
— Что вы думаете о субботнике?
Я сказал:
— Абсурд! — и положил трубку.
Субботник — надежда на то, что люди, плохо работающие в плохо оплачиваемое рабочее время, будут хорошо работать в дополнительное, неоплачиваемое время.

Помню, еще в советские времена у меня была депрессия. Я решил самому себе улучшить настроение и в очередной раз перечитать роман «Мастер и Маргарита». Я перечитал роман ни разу не улыбнувшись. Дойдя до знаменитой сцены с котом на люстре, в которого безуспешно палят чекисты, я подумал: теоретически смешно, а так почему-то нет.

Наш человек часто принимает свою талантливость за свой ум. В результате — ум наглеет, а талант хиреет.

По-видимому, нас ждет просвещенная диктатура при дефиците просвещения.

Первый раз за границей. Нам предложили богатый шведский стол, с которым я никогда не имел дела. Я пришел в тихое бешенство и решил, что самая бедная еда, поданная официантом, мне желанней самого богатого шведского стола, где я должен выбирать блюда. Во-первых, я не знал, что выбрать. И в то же время, не зная, что выбрать, боялся, что, уже выбрав, окажусь в дураках. Кошмар. Потом, конечно, привык, но не полюбил этот способ питания, где надо выбирать. А ведь сама писательская работа — это вечный выбор слов, и этим она для меня привлекательна. В тех областях жизни, которые нам безразличны, мы всегда консерваторы.

В сорок втором году бежали от бомбежек в деревню. Летом тосковал по морю. Деревенские речушки были слишком мелкими, везде ноги доставали до дна. В редких заводях пытался внушить себе, что там глубоко. Но внушить не удавалось.
Случайно попала в руки «Анна Каренина» Толстого. Помню новизну и необычайное удовольствие, которое доставлял роман. Впервые читал книгу, которая была как море — ноги не доставали до дна. И это впечатление осталось навсегда. Великое художественное произведение — это когда ноги не достают до дна.

Высокая, стройная женщина, вся в драгоценностях. То ли бокал шампанского, то ли инкрустированный кинжал. Бокал шампанского — притягивает. Кинжал — останавливает.

Писатель, зациклившийся на своей литературной роли, перестает быть художником. К впечатлениям жизни возникает ролевой, то есть тенденциозный, подход.

Вера в Бога — уравнение с одним неизвестным: откуда Бог? Ответ: не нашего ума это дело.
Атеизм — уравнение с тысячами неизвестных. Например, откуда взялась разумная работа желудка, всасывающая все полезное и выбрасываю-

щая все ненужное? Никакая наука не может ответить на этот вопрос. Наука может только исследовать технологию этого процесса, и слава ей за это.

Мне могут сказать, что разумность работы желудка — одно из следствий рациональности эволюционного процесса. А кто этому процессу внушил быть рациональным? Где та первичная рациональность, толкнувшая все живое развиваться рационально? И тут без Бога не обойтись. Атеизм, подразумевая изначальную рациональность природы, просто переселяет Бога в природу. Довольно наивно. Он действует как страус, который прячет голову в песок, чтобы доказать, что нет именно головы, а все остальное есть. А разумность работы выставленной задницы придумана самой задницей.

Старичок паучок от бессилия запутался в собственной паутине и заплакал. «То-то же!» — прожужжала пролетавшая муха. Муха, конечно, права. Но старичок паучок...

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

Юношеское стихотворение Есенина. Если б его тогда прочел умный психолог, он мог бы сказать: мальчик, родившийся с такой нежной душой, долго в нашем грубом мире не продержится.

Стихотворение Ахматовой «Данте». 1936 год.

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, —
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной...

Динамитное спокойствие. Это, конечно, стихи о Данте, о его великой непреклонности, и в то же время тайный укор российским мужчинам за то, что они так безропотно пали перед тираном. И неизвестно, что было первоначальным толчком для написания стихов — поиски опоры в Данте, когда все согнулись, или сама тема Данте породила подсознательную интонацию укора современникам.

Этому я эту песнь пою.

Звучит вызывающе. Как будто Данте живой, здесь среди покорных — один непокорный, среди кающихся — один непокаявшийся. Вспомним, что тогда наступило время всеобщих покаяний, которые, кстати, никого не спасли.

Этому я эту песнь пою.

А вам не буду петь никогда. Дважды подчеркнуто. Тут и знаменитая ахматовская царственность. Как будто кругом ждут поклонники, чтобы она им посвятила стихи, а она со сдержанной яростью отвергает их, почти оскорбительно подчеркивая, кому именно она посвящает стихи.

ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ... Почему столько раз меняли название? Может быть, каждый раз брезжило субъективное желание изба-

виться от страшного имени и впредь быть миролюбивей? Или просто палач деловито менял слишком намокший фартук?

Актер-чтец. Читает и меня. Рассказывает. Был в гостях с пятилетним сыном. Незаметно так напился, что по пути домой упал на тротуар. Сын, как собачонок, подвывая, бегал вокруг него, боясь, что отца обидят прохожие.

Иногда звонят, когда работаю. Мешают. Обычно я не подымаю трубку. Но иной звонит настойчиво и долго. И я наконец подымаю трубку, но именно в эту секунду звонивший ее кладет. Я, потеряв терпение, подымаю трубку, может быть, неосознанно угадав, что он, потеряв терпение, в этот миг ее положил.

Сигнал моего высшего раздражения, когда я беру трубку, доходит до него, и он кладет свою трубку или сигнал исчерпанности его терпения доходит до меня и я беру трубку?

Бывает, раз в месяц входишь в привычный ресторан и видишь знакомого, которого здесь встречал месяц тому назад. Первая мысль: этот, конечно, отсюда не вылезает. Вероятно, при виде тебя и у него первая мысль: то-то же я подумал — куда подевался этот завсегдатай? — и он тут как тут.

Глупость сама по себе безвредна. Но культ ума, созданный человечеством, делает глупость аморальной, потому что глупый человек из самолюбия подделывается под ум, хитрит, выворачивается, врет. А главное — глупость старается доказать, что она сильней ума, и, не гнушаясь низкими путями, достигает больших жизненных благ и большей власти, тем самым делая умного зависимым от нее. Глупость динамичней ума, подобно тому как сам ум динамичней мудрости. Парадоксальное положение: именно благодаря культу ума миром, в основном, правят глупцы.

Нравственное достижение интеллигенции состоит в том, что она в оценке человека совершенно не учитывает его физическую слабость, немощь.

В более примитивной среде физическая слабость вызывает презрение, насмешки.

Высшим нравственным достижением интеллигенции было бы полное снисхождение к слабому уму. И тогда слабый ум не страдал бы, не старался бы утвердиться низкими путями. Глупый был бы как ребенок среди взрослых. Ведь ребенок среди взрослых не испытывает свою неполноценность, потому что чувствует доброжелательность взрослых к нему и к его незрелому уму.

Но, кажется, это практически уже невозможно. Правда, всякий не поврежденный честолюбием умный человек понимает, что совесть выше ума. Люди с этим как бы согласны (боясь прослыть бессовестными?), но заменить культ ума культом совести в жизни никогда нигде не удавалось. Это удавалось только в художественной литературе.

Заменив культ ума культом совести, мы дали бы теоретический шанс неумному человеку в самом главном быть выше умного и не испытывать никакого комплекса неполноценности.

Пьянство — революционное изменение внутри человека: верх и низ меняются местами.

Радостной любовной лирики не бывает. Только два-три стихотворения Пушкина могу вспомнить.

Люди, не имеющие цели существования или потерявшие ее, особенно любят путешествовать. Внешняя динамика создает иллюзию приближения к цели.

В теплоте родимой ограниченности. Ограниченность — форма уюта, с которой человек нелегко расстается.

В холодной комнате жизни ты сам свою постель согрел собственным теплом. Тебе предлагают в той же комнате более обширную и богатую постель. Снова греть ее собственным телом? Нет уж, останусь в старой кровати, в тепле родимой ограниченности.

Был в гостях на даче у нашего замечательного филолога. В доме какая-то дивная тишина. Не перемирие, а райский мир. Он, жена и кошки. Больше никого. Дети взрослые, самостоятельные. На моих глазах одна из кошек бесшумно вспрыгнула хозяйке на плечо. Она, улыбаясь, погладила ее. Он рассказывает:

— Однажды дверь дачи была приоткрыта. Вошла чужая кошка, уверенно влезла на диван и родила там котят. После пришлось котят раздаривать прихожанкам у церкви.

Могло ли это быть случайностью, что неведомая кошка пришла рожать именно в этот дом, где так любят кошек?

Я знал одного человека, которому любимая кошка во время приступов его болезни садилась на грудь. Он говорил, что это облегчало приступы.

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

НАТАЛЬЯ САВЁЛОВА, ДМИТРИЙ ЮРЬЕВ

*

ПЕРВОЕ ЛИЦО, ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Россия и президентство

— Ваша хваленая демократия нам, русским, не личит. Это положение, когда каждый дурак может высказывать свое мнение и указывать властям, что они должны или не должны делать, нам не подходит. Нам нужен один правитель, который пользуется безусловным авторитетом и точно знает, куда идти и зачем.

— А вы думаете, такие правители бывают?

— Может быть, и не бывают, но могут быть...

Владимир Войнович, «Москва 2042».

Государственность в полном объеме возникает тогда, когда все ее элементы (собственно власть, истеблишмент, а также народ и его организованная часть — гражданское общество) соединены множеством жизненно необходимых связующих нитей-коммуникаций: средствами массовой информации, правом, национальным самосознанием, идеологией, социальным взаимодействием и т. д. Для возникновения государственности недостаточно принятия Конституции или выборов парламента. У нас же вместо единого организма: «власть — общество — народ», вместо российской государственности возникла ничем не связанная, химерическая конструкция из безответственной и невменяемой элиты, призрачного (а на самом деле фиктивного) гражданского общества и народа-маргинала. Страны не получилось.

Единственным элементом новой российской государственности, который прошел всю необходимую процедуру общественной легитимации: был задуман и предложен для обсуждения политиками, введен решением всенародного референдума, признан элитой, трижды подтвержден в ходе общероссийских выборов и продолжает служить центром политической конфигурации страны — остается пост президента. И человек, который этот пост занимает. Институт президентства оказался единственным программным требованием, выдвинутым на исходе советской эпохи и осуществленным в полном объеме, и единственным же социально-политическим установлением, эффективно внедренным в государственный механизм и в массовое сознание после распада СССР.

Савёлова Наталья Анатольевна родилась в 1970 году. Окончила химический факультет МГУ и Литературный институт им. А. М. Горького. В 1998 — 1999 годах — консультант первого заместителя руководителя администрации президента России, в настоящее время — координатор общественного совета информационно-идеологического центра «Политпросвет». Печаталась в газете «Русская мысль», журналах «Эксперт» и «Деловые люди», а также в сетевом «Русском журнале». В «Новом мире» публикуется впервые.

Юрьев Дмитрий Александрович родился в 1961 году. Окончил Московский физико-технический институт, кандидат физико-математических наук. С 1990 года работал в информационно-аналитических структурах и СМИ. В настоящее время — заместитель директора Межведомственного аналитического центра социальных инноваций (Москва), руководитель информационно-идеологического центра «Политпросвет». Печатался в «Независимой газете», газетах «Сегодня», «Утро России», «Русская мысль», журналах «Новый мир», «Эксперт», «Деловые люди» и др.

Однако судьба этого института оказалась в высшей степени драматична. На исходе своего президентства бывший всенародный любимец Борис Ельцин стал «главой государства для порки». Разрушение эмоционального контакта между президентом и обществом было основано прежде всего на чувстве «делегированной общественной обиды», когда под влиянием многолетних пропагандистских усилий общественное сознание «вытесняет» нежелательные мысли о собственной ответственности за развал важной и масштабной работы по созиданию новой государственности и одновременно возлагает всю вину на единственного человека, которого можно назвать и символом, и реальной основой этой государственности. Столь же драматично и сегодняшнее положение второго президента России — Владимира Путина, оказавшегося в фокусе острейших массовых ожиданий, причем как оптимистических, так и самых катастрофических.

Более того, есть все основания утверждать, что именно в президенте — и как в личности, и как в политическом институте — сконцентрированы сегодня «в латентной фазе» все вероятные линии развития России в XXI веке.

С царем в голове

Особая историческая роль президентской власти в судьбах постсоветской России определена многовековой историей взаимоотношений власти и общества в нашей стране, которые, невзирая ни на какие исторические потрясения и революции, оставались ограничены рамками устойчивых социально-политических «самодержавных» архетипов. Удивительно, что все крупные революции на протяжении веков российской истории были направлены именно на коренное изменение самих основ государственности, на то, что в соответствующую эпоху казалось главным средоточием «самодержавства». Однако всякий раз выяснялось, что, будучи отброшен, самодержавный архетип возрождается в российской политике снова и снова, во все более безраздельном и бесконтрольном качестве.

Крупнейшей социально-политической революцией была петровская реформа. Она нанесла удар по тому, что казалось смысловым центром русского допетровского царизма, — по многосоставной боярско-дворянской пирамиде, вершиной которой является царь. Эта пирамида была заменена табелью о рангах, допускавшей рекрутирование в состав правящей элиты представителей самых широких слоев общества. Но в результате возникшая петербургская, имперская система власти предстала еще более самовластной, еще более персонифицированной в «первом лице», еще менее связанной формальными ограничениями.

В XIX веке смысловым центром политических процессов в России был «крестьянский вопрос». Казалось, что именно в существующем «рабстве» заключен корень политической несвободы, основа немодифицируемости самодержавия. Но ни великая александровская реформа 1861 года, ни октябрьский манифест 1905-го не сделали российское общество менее «царецентричным» и не ослабили всеобщих «царебежных» настроений. Более того, после освобождения крестьян особенно наглядной стала несамостоятельность, неосновательность привилегированного сословия, не укорененного теперь уже ни в принадлежности к замкнутой касте, ни во владении и управлении маленькими человеческими сообществами.

Революционные потрясения 1917 года были направлены непосредственно против самодержавия как такового и против православия как его идейной основы. Было провозглашено атеистическое правление народных масс, «власть Советов», где от лица народа выступают обезличенные, аморфные «Совнаркомы», «ЦИКи» и прочие аббревиатуры и где первого лица не должно было быть в принципе. Но первым председателем Совнаркома стал Владимир Ульянов, именуемый вождем пролетариата. А затем безраздельным, никем не

контролируемым самодержцем стал человек, должность которого вообще называлась «секретарь»...

Но и на этом не прекратилась внутренняя борьба народа с царем в собственной «коллективной голове». Популярный советский анекдот гласил: «Ленин доказал, что государством может управлять пролетариат, Сталин — что государством может управлять личность, Хрущев — что любой дурак, а Брежнев — что государством можно вообще не управлять». Анекдот анекдотом, но развитие системы управления в советские годы продолжалось в прежнем направлении: всякий раз отвергалась, казалось бы, сердцевина самодержавия — но на следующем этапе находились какие-то неожиданные внутренние резервы, и обновленная форма правления по своей сути оставалась прежней. Разрушены сакральные основы самодержавия — православие и монархия — и на их месте возникает самодержавие на основе узурпации, диктатуры по праву захвата власти организованным партийно-преступным сообществом. «Преодолен культ личности» — во главе режима оказываются несоразмерные масштабу власти люди, будь то «любой дурак» (вовсе не дурак, но по масштабу личности, образования и кругозора совершенно неадекватный «царской власти» Хрущев), будь то вообще пустое место (умирающие, не контролирующие сами себя Брежнев и Черненко), — но пределов для их власти становится все меньше — как за счет усложнения и усиления аппарата, так и за счет снижения качества и уровня любой возможной оппозиции (и внутри системы, и вне ее).

Крушение советской власти нанесло, казалось бы, последний удар по старой, принципиально антидемократической российской политике. В начале демократических преобразований вопрос о «первом лице» новой власти не казался сколько-нибудь значимым: речь шла всего лишь о повышении эффективности этих преобразований, потом — радикальных реформ. В фокусе общественного отторжения оказался на сей раз кастовый характер старой власти, ее принципиальная независимость от народного волеизъявления. И в результате всего Россией — впервые за всю ее тысячелетнюю историю — стало управлять первое лицо, свободно избранное всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием.

Первоначально характер взаимоотношений российского президента и избравшего его народа был действительно демократическим и не имел никакого отношения к старой самодержавной парадигме. Пост президента России, порожденный демократическим движением в РСФСР — одной из союзных республик СССР, рассматривался в тот момент как пост народного трибуна, защитника народа от «союзной бюрократии», высшего, демократически избранного ходатая по делам народа перед «царем» (в роли которого на тот момент выступал недемократически и невсенародно избранный генсек ЦК КПСС — президент СССР). Но после распада СССР пост российского президента, для которого «всенародная избранность» была не просто декларацией, но и чуть ли не единственным действенным рычагом влияния на окружающую политическую среду, — этот пост к осени 1991 года скачком превратился в вершину иерархии исполнительной власти огромной и независимой России, в центр управления той самой бюрократией, от которой он вроде бы как должен был защищать «простых людей». Таким образом, в должности и личности президента России, с одной стороны, воплотились надежды на практическую осуществимость реформирования системы власти, а с другой — вновь обозначился «зародыш кристаллизации» самовластия.

Это сразу же привело к резким переменам на внутриполитическом поле. Если до августа 1991 года «многоцентрие» в руководстве РСФСР (одновременное существование там председателя Верховного Совета, премьер-министра, вице-президента и т. д. в роли младших, но равных соратников президента) не вызывало никаких тревог, то почти сразу же вслед за превращением президента России в реально первое лицо власти между всеми возможными претендентами на соразмерную с ним политическую роль началась война на уничтожение. Причем вовсе не по причине мифического «властолюбия» Ельцина и не

по причине неадекватности, политической недобросовестности и интриганства его противников. Мощный внутренний архетип российского самовластия стал вновь подминать под себя страну и народ.

Демократия и выборность не тождественны. Демократия состоит не в том (или не только в том), что люди *выбирают,* но и в том, *что* они выбирают. Между российской и европейской системами власти изначально пролегала пропасть как между разными проявлениями коллективной ответственности, с одной стороны, и коллективной безответственности — с другой.

Если проанализировать характер власти кого-нибудь из наиболее одиозных римских императоров и кого-нибудь из самых не приходящих в сознание коммунистических генсеков, то выясняется удивительная вещь. А именно: провозглашенный императором получал от приведших его к власти совершенно неограниченные полномочия. Его назначали неограниченным диктатором, с правом составления проскрипционных списков, с правом произвольного насилия по отношению к подданным — но императорская власть все равно была такой, какую ее «выстроило» общество. Императору, упрощенно говоря, «поручали» бесчинствовать, казнить и миловать — и он в той или иной форме поручение выполнял. Было общество, и была функция, для осуществления которой общество конструировало определенный механизм власти, пусть даже варварский и опасный для этого самого общества. Перманентно умирающий генсек мог быть пустым местом, но его власть не была механизмом реализации тех или иных функций, необходимых обществу. Его власть оставалась надгосударственной, и его не выбирали для исполнения обязанностей — его «призывали на царство».

Сам по себе институт персонификации власти в первом лице оказывался важнее всего — и формы «призвания» лица на первенство, и масштаба, и даже фактического существования этой личности. Первое лицо могли кликать на царство реальным или декоративным земским собором, назначать по произволу действующего монарха, ставить на царство волей гвардейского полка, приводить к власти в порядке строгой династической очередности, назначать по результатам крайне узкого междусобойчика членов Политбюро — но так или иначе, будучи призвано к власти, в дальнейшем пределы этой власти данное лицо определяло себе исключительно само. Причем именно так воспринимало ситуацию общество, именно к этому была готова элита.

Борис Ельцин стал первым в истории России человеком, который занял пост главы государства на основе совершенно нового подхода к основам власти в стране, избранным в соответствии с демократическими нормами. Он шел к власти как лидер охватившей общество идеи: тоталитарная эпоха должна кончиться, самовластие отменяется навсегда. Одним из первых указов президента РСФСР стал указ «О департизации государственных учреждений» от 14 июля 1991 года. Этот указ, который задал основное направление демократизации общества, поначалу казался чуть ли не декларацией — реальной властью на тот момент оставался «союзный центр», в руках у которого были и армия, и КГБ, и МВД, и регионы... Однако его очень быстро начали исполнять (или по крайней мере принимать к исполнению) многие первые секретари обкомов и председатели советов. «Почуяли нового царя», — пояснил тогда один из активных борцов за демократические реформы. «Царя», призванного на царство новым образом — путем всенародного голосования...

Один из нас

Выборы Бориса Ельцина в июне 1991 года «первым всенародно избранным президентом РСФСР» происходили в атмосфере небывалого массового воодушевления — площадь, собравшая десятки тысяч на митинг, с одной спички зажигалась на радостное скандирование: «Ельцин, Ельцин!» Когда Ельцин противостоял Геннадию Зюганову на президентских выборах 1996 года, почти все были согласны в том, что он — большее ли, меньшее ли,

но — зло и выбор происходит именно из двух зол. К моменту ухода Ельцина с его поста в последний день 1999 года ничего хорошего о Ельцине практически никто уже не говорил.

Внимательный анализ истории истекшего десятилетия приводит к странному выводу: утверждение о том, что Ельцин — зло, стало расхожим буквально сразу же после триумфального возвышения еще недавно опального кандидата в члены Политбюро до уровня лидера «демократической оппозиции». Очевидцы рассказывают, как весной 1989 года на очередном лужниковском митинге один из тогдашних «прорабов перестройки» и автор статьи об «авангардисте Ельцине», мешающем проводить горбачевские реформы, уже успел объявить окружающим, что он «этому номенклатурщику» слова не даст, но раздавшийся при появлении на трибуне Ельцина рев стотысячной толпы немедленно (причем раз и навсегда) переориентировал чуткого борца с административно-хозяйственной системой. Что уж тут говорить об экстремистах — например, из питерского ДемСоюза, в чьих документах от 7 декабря 1991 года вполне всерьез говорилось о возможности «вооруженного сопротивления чудовищному авторитарному режиму Ельцина». Постепенно составился целый «черный список» обвинений: развал Союза, суверенизация России («берите суверенитета, сколько захотите»), ограбление народа, сдача своих, взятие чужих (тема «окружения»), пренебрежение к человеческой жизни (так называемый «расстрел парламента», Чечня), наконец, всякого рода личные эксцессы («сон в Шэнноне», «оркестр в Берлине»)... Важна здесь не конкретика, а аксиоматический подход, своего рода «презумпция виновности», не требующая ни доказательств, ни честной общественной самооценки.

На самом деле и триумфальный приход Ельцина к власти, и сразу же вспыхнувшая в обществе тревога, и ярость оппонентов, и последующий «эмоциональный развод» с народом и элитой скручены в тугой узел все той же самой российской «самости», глубоко парадоксальным и внутренне противоречивым характером и президента, и президентства, и страны.

Успех Ельцина был в известной степени предопределен неожиданностью предъявленного общественности образа, контрастировавшего с уже сложившимися стереотипами. Казалось, что Ельцин вовсе не плохой политик, что он способен переиграть «даже» Горбачева, что на его стороне — практическая хватка, талант маневрирования и, чего никто не ожидал, развитый интеллект; что, вопреки расхожему штампу об «авантюристе, рвущемся к власти», самим стилем своих действий Ельцин сумел убедить людей в эмоциональной и этической подоплеке его политики и поведения. Наконец, с образом «Ельцина-популиста» резко контрастировал известный рационализм и прагматизм его практической политики. Означало ли это, что стереотипы сложились на пустом месте? Нет — Ельцин действительно был не очень опытным политиком, обладал изрядным честолюбием и амбициозностью, а популизм вообще был подлинным стержнем его возврата в политику после опалы 1987 года. Чем Ельцин не был — так это функцией, схемой, карикатурой или иконой.

Неожиданный и убедительный облик претендента на роль «первого президента России» сложился на контрасте между бедностью агитационных или дискредитационных схем и очень обыденной, очень узнаваемой человеческой наполненностью. От внезапно объявившейся персонифицированной альтернативы коммунистической власти ждали гениальности, одержимости, доброты, злобности — не ждали одного: приземленного, звезд с неба не хватающего житейского здравого смысла.

Только такой «лидер демократических сил», приближенный к избирателю, понятный и «сонаправленный» настроениям общества, мог в тот момент стать харизматическим лидером страны, завоевать доверие большинства населения, не вызвать паники среди управленческого звена, создать в обществе ощущение защищенности и уверенности и в результате победить на выборах. Только он мог обойти на негласных «праймериз» других претендентов на руководство русской демократией. Что, впрочем, стало причиной его отторжения в интел-

лигентской среде, с первых же неожиданных успехов Ельцина лишь смирявшейся с его ролью в демократическом процессе. Но это же породило тлеющий кризис восприятия его действий на президентском посту, нараставший на протяжении восьми с половиной из девяти лет его президентства. Кризис сложился на том же, на чем раньше — успех: на контрасте. Оказалось, что Ельцин — плохой политик, что его политическое мышление неглубоко, соображения целесообразности зачастую перевешивают принципиальные соображения, системность в выработке стратегии отсутствует; что он держится за власть и окружает себя лично преданными людьми, отказываясь от услуг самостоятельно мыслящих политических соратников. Наконец, стало ясно, что Ельцин — популист: он заигрывает с различными социальными группами в ущерб целостности политического курса.

При всем этом Ельцин не только существенно не изменился как политик и человек — не изменилось, по большому счету, и качество его политики: он всегда исходил из полуинтуитивных-полуэмоциональных соображений при выборе вариантов действий, всегда неадекватно реагировал на нервные перегрузки (либо давая эмоциональные выбросы, либо прибегая к традиционному способу снятия стресса). Он всегда старался уходить от решения возникающих проблем и доводил дело до того, что принимать такие решения приходилось в ситуациях, когда нерадикальные действия были уже попросту невозможны. Именно таким образом докатился до октябрьской трагедии 1993 года конфликт Ельцина с руководством Верховного Совета (точнее — нарождающейся исполнительной власти с атавистической советской системой). Сегодня общественное сознание практически забыло о том, как долго и нагло, в сознании своей силы и безнаказанности, противостояли Ельцину и его курсу, поддержанному большинством населения страны, объединившиеся вокруг Хасбулатова коммунисты, нацисты, сторонники радикального номенклатурного реванша; сегодня практически никто не вспоминает о том, что так называемый «расстрел парламента» последовал на исходе второго года бессмысленных компромиссов Ельцина с его противниками, компромиссов, последовательно использовавшихся «советскими» для наступления на президента, для подготовки его фактического свержения. Аналогичным образом забывается о том, что трагедия чеченской войны — во всей ее жестокости и «неизбирательности» — разразилась на исходе трехлетних попыток спрятать голову в песок, подождать, пока «само рассосется», умиротворить дудаевщину, переждать, пока грабежи на железной дороге, травля русского населения и похищения заложников на сопредельных территориях прекратятся как-нибудь сами собой.

На всем протяжении своего президентства Борис Ельцин проявлял себя тем, за кем пошли избиратели в июне 1991 года, — типичным представителем этих избирателей, со всеми наиболее характерными для каждого из них слабостями и силой. Но действовал он в условиях сплошной несоразмерности: простых человеческих реакций и гигантизма происходящих изменений; обычных человеческих возможностей и объема необходимых в условиях таких изменений действий главы государства (по имеющимся данным, до снижения рабочей активности в 1997 — 1998 годах через руки Ельцина проходило в среднем до четырехсот бумаг в день); наконец, несоразмерности перегрузок и бытовых реакций на эти перегрузки и абсолютной, несмотря ни на какие усилия «окружения», прозрачности. Все это ежедневно подтверждало, что руководство российскими реформами взял на себя человек, не соразмерный масштабом личности масштабу этих реформ. Как и практически каждый в отдельности из граждан, в интересах которых эти реформы начинались.

Ельцин не сумел создать действительно новую систему власти, не смог выйти из-под опеки своего окружения, не создал принципиально новой политической среды и не наладил цивилизованного информационного взаимодействия с избравшим его населением. Как административная фигура — при всем своем формальном могуществе — персонально он остался чуть ли не более слабым, чем был девять лет назад. Но при этом не произошло, как на Украи-

не (и как могло произойти в России зимой 1991/92 года) срыва экономики в гиперинфляцию; не произошло, как в Таджикистане (и как могло произойти в России в 1993 году) политического срыва в гражданскую войну; не произошло (если исключить чеченскую аномалию) и ни единого срыва по линии гражданских свобод. Авторитарный Ельцин, многократно «похороненный» в качестве демократа рядом своих бывших соратников, не закрыл за девять лет ни одной газеты (если на считать мнимого закрытия «Дня», тут же возродившегося под именем «Завтра»). Не был выведен из политики ни один из самых радикальных оппонентов Ельцина, в том числе и Горбачев, который в свое время собирался исключить из политики и больше туда не пускать самого Ельцина. Никакой системы управления общегосударственной пропагандой так и не возникло.

А это значит, что Борис Ельцин стал альтернативой «обобщенному Зюганову», воплощающему в себе старую модель тоталитарного самовластия — но исключительно в той степени, в какой смог стать альтернативным Зюганову «многонациональный народ Российской Федерации». Именно это — порожденное спецификой личности, воспитания и жизненного пути — чрезмерное сродство Ельцина с «усредненным гражданином России» и стало одной из главных причин нерешительности и непоследовательности его действий по демократическому реформированию.

С первых дней своего президентства Ельцин выступал в двух общественно-политических ипостасях — лидера нации и главы всей системы исполнительной власти, но с российской спецификой: первая роль трансформировалась в роль высшего народного заступника, обязанного представлять народные интересы и, вообще говоря, защищать эти интересы от поползновений могущественной армии чиновничества, вторая — в роль самого главного чиновника, возглавляющего упомянутую «армию».

При этом строить систему власти в России Ельцин мог, используя лишь два «кадровых резерва». Во-первых, понятный и знакомый ему лично номенклатурный слой. А во-вторых, организационно, идейно и социально разрозненный слой вырвавшихся на авансцену политики в результате первого опыта относительно свободных выборов людей, сильных прежде всего именно своей непринадлежностью к слою профессиональных управленцев распадающейся системы. Вряд ли диссиденту Вацлаву Гавелу, приведшему за собой в резиденцию президента ЧССР «мальчиков в джинсах» и тем самым заложившему основу для радикальной (и в конечном счете успешной) кадровой реформы, пришло бы в голову опираться на помощь бывших работников аппарата Пражского горкома компартии. Но в отличие от Ельцина Гавел никогда не был первым секретарем горкома компартии.

...Скорость перемен, неустойчивость складывающихся обстоятельств не позволяли слою политической элиты подстраиваться к требованиям дня. Парадоксально, но на каждом новом этапе каждая новая генерация политиков терпела фиаско прежде всего в том, в чем, казалось бы, состояла главная содержательная ценность этой генерации. «Служители идеи» из первой «команды реформ» горели на мелкомасштабных карьеристских амбициях, «служаки» коржаковского призыва скатывались в примитивное личное предательство, «профи» образца 1996 года проваливались на очевидном дилетантизме. Судьба Ельцина в этих условиях оказалась трагической. В последние месяцы (и даже годы) правления Ельцина негатив (прессы и населения) в отношении президента приобретал все более сниженный характер, ненависть перерастала в презрение, гнев сменялся насмешками. О президенте начали при жизни забывать: в качестве участников политического процесса говорили о ком угодно, только не о Ельцине, превратившемся чуть ли не в предмет интерьера. Общим местом стали оценки президента как «бессильного», «управляемого», «неадекватного». Они накладывались на традиционные стереотипы относительно «непредсказуемости» Ельцина и его «патологической жажды власти». Все это усугублялось общей информационной атмосферой в стране. В ситуации раз-

мывания практически любых систем координат, когда отсутствуют не только реальная власть, но и реальная оппозиция, когда ни один сюжет, ни одна политическая фигура не определяют ни общественной поддержки, ни общественного отторжения, — в общем, в ситуации кризиса контекста информационно-политический словарь радикально деполяризовался. Оценки ситуации в терминах «правильно-неправильно», «хорошо-плохо» перестали восприниматься. Политическая пресса заговорила исключительно языком театра абсурда, драма повсеместно вытеснилась скетчем, трагедия — фарсом.

Но на этом фоне вдруг стало очевидным: ничто так далеко не отстоит от истины, как миф о ельцинской «непредсказуемости». На протяжении девяти лет пребывания во главе России президент действовал практически по одной и той же простой логической схеме. Оказался красивой выдумкой и пресловутый «животный инстинкт власти» — потому что если бы такой инстинкт был, он еще девять лет назад позволил бы Ельцину не упустить эту власть из рук, укрепить и консолидировать ее и превратить в реальную диктатуру.

Какая несправедливая судьба — достичь небывалой в истории России народной любви, стать первым на русской земле главой государства, избранным по доброй воле большинством народа, своротить коммунистическую глыбу, удержать страну над пропастью гражданской войны, пройти вместе со всеми девять тяжких лет — и уйти в отставку не любимым и не поддерживаемым в стране почти никем! И какой убийственно неумолимой бывает эта старая дама История, и как быстро она умеет переписывать прошлое, когда одна-единственная сегодняшняя ошибка превращает в напрасный труд, а то и в преступление годы тяжкого и праведного труда!

Ельцин породил обостренно персонифицированную эпоху. Никогда прежде в XX веке (даже во времена Хрущева) политическая среда не собирала в себе такой бурлящей волюнтаризмом, одиозной и предельно персонифицированной человеческой массы. Повседневный подвиг и повседневный же скандал стали фоном общественно-политической жизни. Народ уже тошнило от всепроникающей харизмы...

В этом контексте «никакой» Путин оказался контрастно и эффектно востребован. Во всем противоположный Ельцину именно как политический тип, как функциональный элемент официальной системы власти, он с самого начала мог выступать в роли «дистиллированного президента», очищенного от груза ответственности как за свои, так и за чужие провалы, ошибки и преступления. Здесь как нельзя кстати оказалась и куцая деловая биография Путина, которая в другой ситуации работала бы исключительно против него. Однако именно он предстал идеальным сочетанием достаточно высокого бюрократического статуса (отсутствие такового было бы слишком одиозно для уставшего от одиозности избирателя) и малого «совместного с избирателем прошлого» — идеальным для того, чтобы, вступая в исполнение обязанностей президента, стать «голой функцией» — президентом, и никем иным.

Власть по праву передачи

Мы отчетливо осознаем сегодня, что все действия, высказывания и этапы пути Ельцина наиболее точно описываются в терминах «инстинктивных действий». Вырвавшись за пределы вырастившей его номенклатурной системы и сломав эту систему, бывший прораб — парторг — секретарь обкома — секретарь ЦК — перестроечный фрондер оказался начисто лишен навыков ориентирования на принципиально новой политической местности. Если до 1990 года его личные устремления и смутные политические порывы накладывались на безошибочную совокупность навыков поведения в партийно-государственной реальности, если эти навыки позволяли ему инстинктивно находить самые слабые места и болевые точки режима, то по просторам «свободной России» ее первый президент двинулся на ощупь, совершенно утратив ощущение ландшафта и понимание общей топографии политической местности.

Трагедия личности президента России, оказавшегося иногда практически недееспособным и при этом единственным источником реформаторской воли в России, высветила несостоятельность окружающей его политической элиты. Потому что основной проблемой многочисленных соратников Ельцина было то, что каждый из них представал «Ельциным в миниатюре»: без системных представлений об окружающей реальности, без желания эти представления как-то выстраивать, — но без ельцинского масштаба личности и исторического веса. В такой обстановке складывался поиск Ельциным «преемника» — поиск хаотический, инстинктивный, интуитивный, направленный на одно: на то, чтобы вырваться за пределы коллапсирующего круга маленьких, мелких и мельчайших псевдоельциных. Именно по принципу все меньшего личностного и стилистического сходства с Ельциным подбирались и «преемники». В итоге многолетних поисков и «сильных рокировочек» на авансцене появился Владимир Путин: самый безличный, самый деперсонифицированный, но совершенно не инстинктивный персонаж в череде соискателей ельцинской короны. И снова, как и в случае с Путиным-должностью, Путин-человек соединил в себе несоединимое: с одной стороны, он один из самых «застегнутых», самых официозных из современных политиков высшего уровня, с другой — неофициален, обытовлен иногда чуть ли не до уровня пошлости. То есть он отрицает две ключевые личностные черты предыдущего «царствования» — популистскую фамильярность исполнения служебных обязанностей и предельный, демонстративный «антипопулизм» содержания политики, полный отказ от политического диалога с обществом на «банальные», а на самом деле ключевые для общества темы.

В общем, именно Путин стал тем самым человеком, появление которого можно было предсказать еще полтора года назад, когда авторы этих строк обещали со страниц газеты «Русская мысль» (1998, № 4251, 24 декабря): «Есть такой человек, и его не знает никто». Казавшийся предельно узким круг претендентов на власть не мог не быть разорван — но столь же важно, что он и не вышел за рамки действующего политического класса.

Кардинальное отличие Путина от Ельцина в том, что он как «первое лицо» был не избран, но исключительно «призван». Исходя из демократических представлений об избирательных технологиях, в августе прошлого года все ведущие политики и политологи посчитали, что «назначение» Ельциным преемника было чудовищной ошибкой. Поддержка кого бы то ни было «демократическим», но крайне непопулярным президентом могла восприниматься исключительно в качестве «гири», которая не пойми за какие провинности прикована к ноге нового фаворита. Однако так ситуация выглядит, если предполагать, что Россия является страной с «демократическим архетипом».

Очень вероятно, что полное общественное равнодушие к «неизвестности», которая на рациональном уровне отождествляется с Путиным в большей мере, чем с кем-либо иным из влиятельных российских политиков, тем и объясняется, что на глубоком уровне Путин именно «призывался» — «приди и володей нами». Даже в условиях скоротечной кампании общество при желании могло бы потребовать и получить внятное представление о «поствыборных планах» нового президента. А значит, такое положение вещей устраивало абсолютное большинство граждан России — устраивало постольку, поскольку большая определенность в предвыборной позиции Путина смогла бы всерьез отпугнуть многих его сторонников.

Избрание Ельцина на пост президента и в 1991, и в 1996 году было демократическим не только по букве, но и по духу. До полудня 31 декабря 1999 года большинство населения России пусть смутно, но ощущало свою личную, персональную ответственность за все, что происходит в стране: несмотря на кампанию «Выбирай сердцем», выборы Ельцина, почти в открытую называвшегося «меньшим злом», носили рациональный характер — люди «выбирали головой». Но за прошедшие с последних выборов четыре года настроения в обществе переменились: люди устали от ошибок власти, ощущаемых в

той или иной мере как свои собственные. Вот им и захотелось окончательно переложить ответственность на власть. И чем слабее, болезненнее, бессильнее становился Ельцин-человек, тем менее демократичным и более «самодержавным» становился характер и его личной власти, и системы власти вообще. Последние месяцы ельцинского правления наглядно проявили «дуализм» новой российской власти — власти фактически «демократической», возникшей на основе народной воли, но и власти «зарамочной», самодержавной.

Голосовавшие за Путина, даже самые искренние его сторонники, «за Путина не отвечают»: президентские выборы стали не проявлением «власти народа» (которой по форме и сути является всенародное волеизъявление), но «делегированием власти», «отказом от власти» в обмен на «чистую совесть», на возможность «подчиняться силе». Сила при этом не обязательно означает «насилие», а направление ее приложения может быть сколь угодно верным и справедливым; реальностью сегодняшнего дня является обязательность «принуждения», которую должна реализовывать верховная власть. Не связанный обязательствами ни перед политической элитой, ни перед народом, «призвавшим» его, Путин, в отличие от Ельцина, является царем «в полном объеме», настоящим единоличным властителем страны. Но для того, чтобы стать президентом, Путину придется отказаться от безграничной власти, которая оказалась у него в руках, причем такой отказ может быть исключительно его личным и свободным решением: народ, «электорат», как его величают, отказался от «права голоса», от участия в управлении страной. Вопрос теперь в том, захочет ли Путин вернуться к системе, когда вершителем судеб является народ, а не первое лицо, и захотят ли люди снова сами отвечать за свою жизнь.

Чисто конкретная Россия

Можно с хорошей долей уверенности утверждать: ценностная шкала, система внутренних смысловых ориентиров у Путина находятся в очень шатком, неустойчивом равновесии. А общество, народ, электорат желает быть «принуждаем», желает, чтобы его попытались подчинить. Потому что сутью российского социально-политического архетипа остается одно: в едином ли порыве народ радостно подчиняется грозному вождю, в едином ли раздражении глухо ропщет или публично поносит ослабевшего лидера — в любом случае речь идет о системе взаимного произвола и насилия, различающихся только интенсивностью, но никогда не превращающихся во взаимное партнерство. Возобладает ли во внутренней системе ценностей Путина «правление права» над «правом силы» или нет — вот это действительно очень серьезная и до сих пор абсолютно закрытая от нас «тайна личности». Которую мы сможем разгадать только по довольно отдаленным по времени результатам.

В конечном счете все зависит от того, по какому принципу будет выстраивать Путин свои отношения с наиболее «продвинутой» частью общества — с той частью, которая окажется настроена на неприятие нового образа власти, неприятие, может быть, неконструктивное, капризное, несправедливое, порой даже кощунственное, иногда хорошо проплаченное, связанное с необходимостью восстановить разрушенную ценностную систему, что легче всего сделать «от противного», от искусственно слепленного образа врага. Любимый В. Путиным, а также его друзьями и недругами тезис о «диктатуре закона», который от частого использования все больше напоминает солдатское исподнее времен Первой мировой — до того истрепали, — тоже требует отдельного «разбирательства». Диктатура закона — совсем не то же самое, что «диктатура права». Если во втором случае речь идет о безоговорочном примате определенных ценностей (общечеловеческих, буржуазных или классовых, как кому милее), то в первом варианте подразумевается определенный волюнтаризм. Какой закон имеется в виду? Тот, который был вчера, или тот, что мы сочиним сегодня? Бесспорно, что прокуратура времен Вышинского работала замечательно, как часы работала, и казусов типа «Бабицкого» и «Гусинского» не допускала,

действуя в строгом соответствии со статьей 58. Между тем Владимир Владимирович ни словом, ни чем еще — и не только до выборов, но и отмахав сто дней «после приказа» — не дал понять, какой именно «закон» он подразумевает. Поэтому сами по себе слова о «диктатуре закона» значат немногое. Куда важнее действия власти. Как только логика реагирования власти выйдет за рамки защиты закона и права, как только окажется, что «с Римским Папой можно не считаться, потому что у него нет ни одной дивизии» (как говаривал тов. Сталин), — тогда сразу же станет очевидным, что «понятия», право силы и презрение к писаному закону и логике оппонентов, в общем, зоологические принципы организации человеческого сообщества торжествуют и что именно они оказываются генетически более близки бывшему советскому чекисту, чем принципы цивилизованные. И тогда Россию ждет дегенерация.

Дегенерация — это не ругательство. Это направление развития в сторону упрощения и коллапса. Дегенерировавшее общество вполне может оказаться устойчивым. А главное, дегенерация решит основную проблему сегодняшнего дня — проблему беспредела и безбудущности. Если выяснится, что время «птиц-говорунов», время демагогических Явлинских, патетических Собчаков и упертых в свое Сахаровых окончено, потому что все они в кулачки драться не умеют, если наиболее активной, наиболее дееспособной и устремленной в будущее частью общества попросту пренебрегут (хотите — служите нам, хотите — валите к такой-то матери), то это вовсе не приведет к мгновенному краху страны. Нежелание власти тратить время и ресурсы на людей, которые не являются арифметическим большинством, эдакая «антиполиткорректность», — все это очень быстро направит общество по известному маршруту, уже проложенному для него многочисленной армией первопроходцев.

«Понятия» и «воровской закон» — это набор вполне определенных правил, противостоящих «беспределу» и структурирующих общественное бытие. В конечном счете «воровской закон» — это биологическая справедливость, кодифицированный социальный дарвинизм в действии, эффективно регламентирующий права хищника и жертвы, слабого и сильного, при безусловном признании примата силы. При этом права «слабых» ничтожны, но не равны нулю, а права «сильных» огромны и общеизвестны. В стране, откровенно и последовательно живущей «по понятиям», для тех, кто не претендует на звание «народа» и преспокойно числит себя электоратом, вообще не возникает необходимости заниматься экономикой и политикой. Патерналистские инстинкты, психологические стереотипы массовой безответственности, социальная пассивность, укорененность «понятий» как общепризнанного инструмента урегулирования противоречий — все это создает объективную основу для того, чтобы «воровской закон» был практически легализован как альтернатива Конституции, для того, чтобы словосочетание «криминальный режим» превратилось из ругательства в констатацию.

Определенное общественное согласие с таким вектором развития страны было уже неоднократно продемонстрировано — это и казус Климентьева в Нижнем, и Коняхин в Ленинск-Кузнецком, и «общественно-политический союз (ОПС) «Уралмаш» (аббревиатура, в милицейских протоколах обозначающая «организованное преступное сообщество»). Законная победа на выборах криминального авторитета Климентьева была пресечена властью из самых благих побуждений — но исключительно «по понятиям»...

Социальная база дегенерации общественного организма России по варианту его криминализации включает в себя сегодня большинство населения России, не имеющего устойчивых навыков жизни в правовом обществе, фактически вытесненного в криминал открытыми и массовыми нарушениями налогового и трудового законодательства. Для этого большинства «биологическая справедливость» кажется единственно возможным прорывом в будущее, а Путин, легитимизирующий свою победу на выборах в результате откровенного сговора с «олигархами» и фактического провозглашения «чисто конкретной власти» в стране — безусловным «криминальным авторитетом». При таком ва-

рианте развития событий Россию неминуемо ждет автаркия в иранском стиле (и, кстати говоря, похожий социально-политический строй), и в этом случае население и элиту будет мало волновать мировое общественное мнение. Криминальный организм общественного самоуправления на какое-то время оживит и приведет в движение социально-экономические силы. Правда, окончательно отомрут демократические институты, погибнут все ростки гражданского общества, воцарится жесткий многоцентровый авторитарный режим (эдакая система «вложенных паханов» — когда на каждом малом участке безраздельно царствует местная элита, она же «малина», которая регулирует свои отношения с соседями и старшими паханами в режиме сходок, стрелок и разборок).

Но у «чисто конкретной России» нет долгой перспективы. Дегенерация — процесс устойчивый, но ограниченный во времени: у нее неминуемо есть конец. В данном случае «право силы», возведенное в основной закон страны, сможет удерживать общенациональный организм не дольше чем либо до конца существования «суперпахана», либо до появления равных ему по влиянию «авторитетов». И поскольку примат права силы подразумевает только два выхода — безусловное подчинение или безусловную победу, — в какой-то момент неминуемо начнется драка всех против всех, «атомизация» страны, на карте которой, помимо Московской республики (Москорепы) и Татаро-Башкирского каганата появятся Нижнесалдинский протекторат и Урюпинское содружество, живущие, чтобы было не впадлу перед соседями, грабежами, набегами и торговлей заложниками...

Скучная дорога к счастью

Но думается, что другой — более оптимистический — вариант для России при президенте Путине остается пока что весьма вероятным, поскольку есть достаточно много объективных причин для его реализации. Здесь все зависит прежде всего от того, как именно сложатся отношения между Путиным и народом, в какую сторону народ «поведет» своего «зеркально отражающего» лидера. Потому что прямая связь между Путиным и населением страны, выражающаяся в подтвержденном на выборах общественном согласии вокруг его кандидатуры, мощнейшим и единственным ресурсом, который позволяет ему пока что достаточно успешно и эффективно «отвязываться» от «олигархов», региональной номенклатуры, коррупционно-лоббистской отраслевой камарильи и всей остальной криминально-тоталитарной псевдоэлиты. Потому что так уж в России повелось, что народа у элиты принято бояться — иногда, может быть, не совсем по делу. Так испугалась безоружного и неорганизованного народа в 1989 — 1991 годах сплоченная и хорошо вооруженная коммунистическая партгосноменклатура.

Теоретически действия В. Путина очень хорошо укладываются в схему «скучной дороги». Они должны — и в реальности происходит именно так! — определяться узким коридором «востребованного»: снижением налогов, восстановлением механизма управляемости (к чему следует отнести весь комплекс законопроектов, направленных на реформу государственного устройства и восстановление властной вертикали), разграничению власти и бизнеса, «отвязыванием» от «олигархов».

При этом «демократический» и «правовой» Путин по самой сути своего характера и общественных ожиданий не сможет стать харизматическим лидером возбужденной и воодушевленной толпы: он все равно останется «внешним», манипулирующим мэтром, обозначающим рамки, — в общем, все тем самым «прогрессором». При таком «прогрессорском» руководстве демократия на какое-то время окажется существенно ослаблена в своей театральной, бытовой ипостаси (то есть нарушения свобод и демократических норм не будет — просто в течение какого-то времени все это будет скучно и безальтернативно, скорее формально: раз надо выбирать, то выберем — кого там Владим Владимирович предложил?). Достаточно быстро произойдет восстановление

иерархической системы общества — окажутся невозможными обвальные крахи судеб и мгновенные, фантастические карьерные взлеты.

Но и здесь имеются «но». Причем они заложены даже не в сути предлагаемых реформ (конечно, 49 копеек налогов с каждого заработанного рубля предпочтительнее 74, но все равно остается вопрос, будут ли их платить; подробное рассмотрение прочих проектов, особенно столь глобальных, как реформа государственного устройства, вообще требует отдельного времени и места). Корень проблем в «прогрессорстве» как таковом, причем и основные вопросы, и наиболее употребительные неправильные ответы на них отлично описаны в литературном источнике термина.

Во-первых, неизбежный при «внешнем» подходе «кризис демократии» может иметь достаточно серьезные последствия. При всем бутафорском, карнавальном характере российского парламентаризма (партии, не выражающие ничьих интересов, «продажность», часто и без кавычек, депутатского корпуса на всех уровнях, успехи технологий манипулирования общественным мнением, отсутствие влиятельных независимых СМИ и т. д.), именно прямые альтернативные выборы и свободное хождение иностранной валюты большинством граждан страны осознаются как единственное реальное достижение последних лет. Движение в сторону «управляемой демократии» означает консервацию нынешней политической системы на долгие годы, да еще и встраивание законодательной власти в иерархию исполнительной, что с точки зрения государственного строительства громадный шаг назад даже в сравнении с имеющимся образцом. Однако замораживание ситуации может оказаться не самым неприятным следствием. Значительно хуже — и вполне вероятно, именно в силу слабого, декоративного характера российского парламентаризма — если он вообще обрушится как карточный домик. Разрушение демократических институтов, сначала содержательное, а затем и формальное — ну зачем содержать орду бездельников, только для того, чтобы Совет Европы был доволен? — с неизбежностью смены времен года приводит к авторитаризму. И не стоит обольщаться историческими примерами: Франция времен де Голля, как и другие государства, сумевшие «выбраться» из авторитаризма без потерь, имели громадный, вековой как минимум опыт жизни в условиях «цивилизации». Существует и второе следствие. Разрыв с «олигархами» (под которыми стоит понимать не только два десятка владельцев крупных ФПГ, но и весь «политический класс»), попытка выйти за рамки крайне ограниченной в своих интересах и стремлениях системы и опереться непосредственно на избирателей, которые и привели Путина к власти, тоже чреват опасностями. Конечно, у Путина нет никаких механизмов для использования своего «электорального потенциала», кроме как в случаях чрезвычайных, «для подавления антинародного заговора», и власть его чистой воды «прогрессорство», не подразумевающее участия «широких народных масс» в решении и управлении хоть чем-нибудь, но даже сама попытка делать то, что «хочет народ», пойти по пути наиболее «востребованных решений», таит в себе угрозы.

Особенность подавляющего большинства путинских избирателей образца марта 2000 года в том, что они и сами не знают, чего хотят. Не то чтобы совсем не знают, но хотят, чтобы им «сделали красиво», причем некоторым абсолютно неизвестным (все известные способы в разной мере, но испробованы и выброшены за негодностью) образом. Каша в головах граждан превращается в болото под ногами политика, решившего ступить на столь зыбкую почву, как «народные ожидания». Даже одновременная попытка «угодить» реваншистам, требующим восстановления былого величия любой ценой, и космополитам, желающим при помощи молодого и сильного лидера интегрироваться в мировое сообщество и получить наконец-то нормальный рынок (и бог с ним, с величием, лучше будем «голландией»), означает «путь сороконожки», которая, как гласит известная байка, могла передвигаться только до тех пор, пока не думала, как именно она это делает.

Если же на скучной дороге, к счастью, В. Путину все же удастся миновать «волчьи ямы» и прочие капканы и пробраться между «сциллой» авторитаризма

и «харибдой» популизма, то нас ждет... скука, естественно. Страна, привыкшая десять лет подряд топтаться на продуваемом всеми ветрами перекрестке, окажется в стенах гигантской душной фабрики. Общественное настроение достаточно быстро утратит воодушевление и энтузиазм и приобретет черты некоего «трудового остервенения». В общем, лет на десять — пятнадцать в стране воцарится атмосфера осмысленного (а потому небезысходного), но достаточно унылого общего делания. И завершится «путинская эпоха» карнавалом и плясками — люди с огромным облегчением распростятся со своим самым нелюбимым и самым уважаемым лидером новейшего времени.

В несомненном достоинстве Путина-президента — что с ним, в отличие от Ельцина, народ не связывает общую историю поражений и провалов — парадоксальным образом содержится зародыш серьезнейшей угрозы. Удивительным образом «президенту для порки» Ельцину удавалось в течение почти десяти лет служить единственной скрепой разваливающегося государственно-общественного организма России. Потому что «делегированная обида» на Ельцина постоянно оставалась (в замаскированной форме) обидой на самих себя. Постоянный гнет негатива в отношении Ельцина «рикошетил» по каждому, становился формой массового снижения самооценки. Но одновременно возникали естественные непреодолимые рамки, выход за которые противоречил инстинкту самосохранения. Ельцина никто по большому счету не боялся: боялись самих себя, слишком тесно с ним связанных — общей историей, общими надеждами, общими ошибками. Окончательно отвергнуть Ельцина, перейти к нему в безусловную оппозицию — такой вариант был табуирован для наиболее сознательной, политически и экономически активной части общества.

С облегчением и функциональной надеждой воспринятый «дистиллированный президент» Путин в принципе может — при неблагоприятном стечении обстоятельств — оказаться сколь угодно чуждым, абсолютно посторонним практически для всех тех, кто сегодня готов примириться с ним прежде всего из-за всеобщей усталости от самих себя.

Путин и Распутин

И вот тут на переднем плане вновь оказывается важнейший фактор, который может быть назван фактором качества общественного мнения и качества политического класса современной России. Неизвестно, в какой мере удастся новой российской власти с этим совладать — известно, правда, что один раз в двадцатом веке именно благодаря действию этого фактора Россия была до основания разрушена.

После Февральской революции 1917 года русскую интеллигенцию долго (примерно до января 1918 года) терзали смутные сомнения касательно судеб и будущности страны, но была и точка единения, сплотившая всю «думающую и читающую Россию» — от большевиков до Пуришкевича. В роли такой точки единения выступила «правда об императорской семье» и «позоре распутинщины». «Кровавый Николай», манипулируемый распутным Гришкой, любовником немецкой шпионки и по совместительству русской царицы, агония режима, погрязшего в спиритизме, оргиях и коррупции пополам с прямой государственной изменой, — все это, вместе взятое, долго занимало общественное мнение, побуждало Блока с Маяковским к добровольному участию в работе следственной комиссии Временного правительства, созданной для разоблачения преступлений царской семьи, становилось основой для драматургии начала советских времен (популярнейшая пьеса Алексея Толстого «Заговор императрицы») и кинематографа времен начала заката советской власти (полузапрещенный фильм Элема Климова «Агония»). И можно было долго спорить о европейском и евразийском выборе, о сталинских преступлениях и ленинских нормах партийной жизни, но даже негры непреклонных годов ни минуты не сомневались, что «Ra-ra-raspoutin — lover of the Russian Queen!».

И только когда события начала почти что прошлого века окончательно подернулись патиной «давности лет», выяснилось вдруг про многое: и про болезненный русский патриотизм урожденной Алисы Гессенской, и про своеобразие «кровавости» чуть ли не юродивого в своей призрачной богобоязненности последнего российского монарха, и про смутную историю русского хлыстовства, — выяснилось, что все то, что творилось в российской политике столетней давности, было средоточием человеческой слабости, божественной несправедливости (или справедливости), трагической случайности и корыстного умысла, героизма и позора — в общем, чего угодно. Но не имело никакого отношения к тем общепризнанным «фактам», которые были твердо усвоены массовым сознанием современников и потомков, но фактами — не являлись...

Сегодняшние споры вокруг Путина — как и вековой давности споры вокруг Распутина — имеют разную природу. Есть споры, в которых нелегко победить, — о демократии или диктатуре, рыночных преобразованиях или селективной господдержке всех без исключения отраслей, опоре на закон или группы частных интересов и т. д. В этих спорах все зависит от убедительности и интенсивности доводов и контрдоводов. Но есть и другие темы. О том, как Собчак утеплил асфальт вокруг своего уворованного дома, а Путин вывез его (Собчака, а не асфальт) за пределы страны на специальном самолете. О том, как «семья» собралась на Лазурном берегу и выбрала Путина защищать ее, «семьи», интересы. О том, как та же самая «семья» подрядила братьев Басаевых взорвать дома в Москве с применением гексогена со складов ФСБ, чтобы заставить народ испугаться чеченцев и избрать «преемника» в президенты. Наконец (и это уже совсем банально, с этим даже никто не спорит всерьез), что все выборы в России за последние годы были фальсифицированы... В отличие от политических споров по существу, в которых можно никогда не прийти к согласию, поскольку одни и те же факты можно по-разному оценивать, дискуссия на тему: съел такой-то свою бабушку или не съел? сжег сиротский приют или не сжег? — такое-то событие — результат стечения обстоятельств или хорошо продуманного заговора? — такая дискуссия, по идее, может продолжаться ровно до момента установления истины, которая в данном случае может быть только конкретной. Да или нет? Голый король или не голый?

Вот тут-то и выясняется, что конспирология в России носит аксиоматический характер. Если про «голого короля» крикнуто — никого уже не интересует, во что на самом деле монарх одет: главное — погромче крикнуть.

Удивительна — в ситуациях и начала, и конца века — абсолютная беспомощность властей в сочетании с абсолютной же некритичностью массового сознания в отношении всякого рода жестоких и невероятных наветов. Характерно, кстати, и для тогдашней, и для нынешней ситуации, что в случаях, когда то или иное обвинение носит достаточно объективный характер, защищаются от него вполне спокойно, а иногда и не без наглости. Зато как только дело касается сгоревшего приюта или съеденной бабушки, все словно цепенеют. Даже тогда, когда объяснить все довольно просто.

В этой ситуации массовое сознание оказывается не просто восприимчиво к наветам — оно склонно их, с одной стороны, генерировать и множить, с другой — не принимать всерьез, а с третьей — не отвергать с порога. Одновременно в опаснейшую карусель взаимообвинений втягивается и власть — она как бы не реагирует на наветы и не находя для себя возможным полемизировать с потоками бездоказательных, но страшных обвинений, и не веря в их серьезность, и страшась их размаха. В результате общество, становясь все более зависимым от информационных потоков, все меньше зависит от их содержания, превращается из информационного в дезинформационное. А в таком обществе оказывается возможным и бесстыдное («как будто так и надо») участие в президентских выборах деятеля, беззаконно, но доказательно обвиненного перед всей страной в предосудительных деяниях, и бездоказательные, но куда более страшные обвинения в адрес безусловного победителя этих выборов. Оказывается возможным и допустимым одновременное сосуществование

таких информационных сюжетов, как «Путин — надежда на лучшее будущее», «Путин — сильный и честный лидер» и «Путин — марионетка, организатор и инструмент антинародного заговора».

Легко понять, что с такой информационно-коммуникационной реальностью взаимодействовать бесконечно трудно — трудно для любой сколь угодно искушенной и профессиональной правящей группировки. Раздробленность и дискредитированность всей системы коммуникаций, возможность сосуществования в общественном сознании множества взаимоисключающих непроверенных и неопровергнутых версий — все это, вместе взятое, лишает социально-политическую поддержку нового российского лидера сколько-нибудь существенной инерционности (как, к его благу, оказалось абсолютно безынерционным считавшееся безусловным накануне назначения Путина премьером общественное отторжение в отношении «ельцинского окружения»). Но ситуация усугубляется тем, что ни о какой «искушенной и профессиональной» правящей группировке говорить не приходится.

Дело в том, что тотальная дискредитированность коммуникационных каналов в первую очередь объясняется самодискредитацией ключевых коммуникаторов. В нынешней политической России оказалось подорвано доверие к фактической стороне жизни. Подорвано потому, что деятельность и мотивация решений «политического класса» до такой степени оторвались от реальных проблем, до такой степени замкнулись на себя, что реальность стала как бы несуществующей. А произошло это в свою очередь потому, что слишком низким оказалось качество «политического класса» (понимаемого в самом широком смысле — как объединение всех людей власти, значимого бизнеса, сферы интеллектуального обслуживания власти и бизнеса и т. д.).

Среди множества реформ, начатых в 1991 году и пущенных на самотек, одна была пущена наиболее бессмысленным образом. И это была кадровая реформа, та единственная, которая невозможна иначе как под давлением мощной государственно-политической воли. В результате могучий, хотя и генетически уродливый тоталитарный общественный организм был повержен и не заменен никаким другим. А на его месте случайным образом, как из осколков зеркала Снежной Королевы, собрался новый политический класс, в котором тоталитаризм приобрел атомизированный характер. Слабо связанные единой самодержавной волей, представители обновленной «элиты» в полной мере сохранили в себе инстинктивный, тоталитарный эгоцентризм, не признающий ничьего права на независимое существование и исходящий исключительно из себя. В такой «элите» все конфликты — политические, экономические, идейные — сразу же оказались предельно персонифицированы, содержательной основой политических партий стали инициалы лидеров партийного списка, единственной формой политической победы стало уничтожение противника, а единственной формой компромисса — сговор.

Такой характер политического класса привел к остановке общественного развития: невозможны системные преобразования в обществе, в котором засорены практически все коммуникационные каналы, в котором отдельные элементы не способны понять или хотя бы опознать друг друга, в котором нереален ни массовый позитивный энтузиазм (поскольку любая попытка такой энтузиазм инициировать завершается очередным экзальтированным сектантским радением), ни всеобщая координация для преодоления трудностей — зато вполне представима массовая паника, равно как и любая другая форма всеобщего впадения в хаос. Все это ставит Россию перед зримой угрозой нового тоталитаризма в «постпутинскую эпоху», причем вне зависимости от внутренних установок самого Владимира Путина и его команды. Ельцин — со всей его политической слабостью, номенклатурными пережитками и т. д. — оставался для новой российской элиты внешним элементом, «демиургом», подлинным самодержцем. Он создал эту систему, лично породил все ее причудливые механизмы, однако сам принадлежал к иному миру и право свое приобрел помимо нынешней элиты, до нее (равно как и русский царь —

плоть от плоти правящего класса империи, зачастую зависящий от произвола гвардии и т. д., — был формально выведен из-под юрисдикции этого класса как «помазанник»). Вот почему правление Ельцина могло быть и было авторитарным, но оставалось в некоторых вполне определенных внешних рамках, задаваемых Ельциным и зависящих только от него: и в этих рамках у участников политического процесса оставался обширный выбор вариантов — от радикальной оппозиции до свободной, по собственному выбору, лояльности.

Проблема нового российского президента состоит прежде всего в том, что он, несомненно, является типичным представителем нынешнего «политического класса», и, выстраивая отношения с Путиным, этот класс фактически выстраивает отношения внутри себя, лишившись «внешней» системы координат. И мы уже сегодня видим, как на глазах меняется характер политических взаимоотношений: борьба приобретает отчаянный и безнадежный характер, не зная иных полутонов, кроме бело-черного «кто не с нами, тот с ними». Характерно, что в предвыборный период мы практически не слышали содержательной критики в адрес Путина как субъекта политики: любой негатив в отношении «главного кандидата» (вне зависимости от того, до какой степени «громко» он звучал) был «уничтожающим», нацеленным не на «исправление недостатков», а на окончательную ликвидацию персонажа (сколь бы нереальной такая цель ни была). Но удивительнейшим образом буквально на следующий день после выборов один из самых громких идеологов бескомпромиссного «яблочничества» со столь же решительной ажитацией, с какой он вчера намекал на «фэсбэшную» подоплеку московских взрывов, призывает своего героя Явлинского «лечь под Путина» безо всяких предварительных условий...

Оставшись в 1917 году без ненавистного, бесталанного и слабого царя, яркая, талантливая и «пассионарная» политическая Россия, Россия не только Ленина и Троцкого, но и Милюкова, Родзянко, Гучкова, Керенского, Корнилова, Деникина, наконец, Блока и Маяковского, — не продержалась и года. Лишенное внутреннего стержня, не умеющее уважать достоинство личности, не способное к внутренним коммуникациям «образованное общество» сколлапсировало и увлекло за собой весь народ в кровавый ад ленинско-сталинского тоталитаризма. Угроза коллапса политического класса, влекущего за собой трагедию всей страны, вполне реальна и сегодня. И перед новым президентом во весь рост встает сложнейшая комплексная проблема: как «прочистить» в обществе коммуникационные каналы, реанимировать общественное доверие и радикально обновить политический класс.

Только тогда окажется возможна постепенная трансформация России в устойчивое общество европейского типа, в котором индивидуумы признают право друг друга на независимое и солидарное существование и умеют общаться друг с другом. Этот путь является для России, может быть, единственным выходом, и пройти по нему стране чрезвычайно трудно.

Открытая всем цивилизационным ветрам Россия за последние годы успела впитать в себя очень много нового, а главное, в ней начали вырастать люди, имеющие навыки совершенно иных взаимоотношений с действительностью и друг с другом. Люди, являющиеся зародышем кристаллизации нового общества — общества, основанного на иных архетипах коллективного поведения. Вот тут и выясняется, что по большому счету главной исторической проблемой российского президентства на рубеже веков становится задача создания приемлемых, терпимых условий для «прорастания будущего». Перечисленные нами варианты политических катаклизмов, социальных взрывов, индивидуальных побед и поражений включают в себя, вне всякого сомнения, и тот бесконечно хрупкий, неустойчивый вариант, который позволит России достичь главного в ее исторической жизни «национального примирения» — примирения общественного сознания с самим собой. Но для этого понадобится неподъемная, долгая и очень кропотливая совместная работа.

ЕЛЕНА ОЗНОБКИНА

*

ТЮРЬМА ИЛИ ГУЛАГ?

Зона смерти

«В пространстве рта тесно — это прообраз всех тюрем. Кто попал внутрь, тот пропал; некоторые попадают туда живыми. Многие животные убивают добычу лишь в пасти, некоторые даже еще не там. Готовность, с какой рот или пасть открывается, если уже не был открыт во время преследования, и окончательность, с какой он захлопывается и остается закрытым, напоминает самые страшные главные качества тюрьмы. Вряд ли можно ошибиться, предположив, что смутный образ пасти воздействовал на организацию тюрем. Для ранних людей существовали, конечно, не только киты, в пасти которых им было достаточно места. Там ничто не может вырасти, даже если есть время для обживания. Посевы там сохнут и гибнут. Когда пасти и драконы были, так сказать, истреблены, им нашлась символическая замена — тюрьмы. Раньше, когда они были только пыточными камерами, сходство с пастью можно было проследить вплоть до мельчайших деталей. Ад выглядит так же и по сию пору...» Это написал Элиас Канетти в своей знаменитой книге «Масса и власть» (М., «Ad marginem», 1997). Тюрьма здесь предстает в своей неотменимой архаической сущности. Ее метафизический образ: захват, поглощение, растворение — уничтожение. Зона смерти. И не что иное.

Тюрьма — одно из воплощений темной, подземной, варварской области жизни человеческого сообщества. Тюрьма — это и признание обществом своего бессилия, своей несостоятельности... Впрочем, Канетти вообще был пессимистом. Ему настойчиво казалось, что разумно организованная социальная жизнь, в которой только и может относительно безопасно разместиться человек, — лишь призрачно-тонкая и временная возможность: «Ведь может статься, что общество — вовсе не организм, что оно не обладает строением, что функционирует лишь временно или лишь иллюзорно...» (Канетти Элиас. Человек нашего столетия. М., «Прогресс», 1990, стр. 301).

О подземной, нечеловеческой, противочеловеческой сути тюрьмы («блатного мира») все время говорил Шаламов, сам прошедший этот гибельный опыт. Тюрьму невозможно оправдывать, бесполезно осуждать, опасно испытывать в отношении к ней романтические иллюзии. Ее закон — выживать за счет других. Отвратительный закон унижения и уничтожения. В своих «Очерках преступного мира» он повторяет это снова и снова.

И еще один взгляд. Не только обобщенно-метафизический, не только эмоционально-личностный, но и широкий социальный взгляд Александра Солженицына. Это он нарисовал нам панораму отечественной социальной катастрофы. Помните, как начинается «Архипелаг ГУЛАГ» — «опыт художественного исследования» Солженицына? Начинается с весьма показательной

Ознобкина Елена Вячеславовна — философ, публицист. Родилась в Москве. Окончила философский факультет МГУ. Ныне научный сотрудник сектора аналитической антропологии Института философии РАН. Печаталась в журналах «Новый мир», «Индекс/Досье на цензуру», в газетах «Коммерсантъ», «Независимая газета» и др.

истории, ставшей эпиграфом к книге (приведу почти полностью): «Году в тысяча девятьсот сорок девятом напали мы с друзьями на примечательную заметку в журнале „Природа" Академии Наук. Писалось там мелкими буквами, что на реке Колыме во время раскопок была как-то обнаружена подземная линза льда — замерзший древний поток, и в нём — замерзшие же представители ископаемой (несколько десятков тысячелетий назад) фауны. Рыбы ли, тритоны ли эти сохранились настолько свежими, свидетельствовал ученый корреспондент, что присутствующие, расколов лёд, тут же охотно съели их.

Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки.

Мы — сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей: как присутствующие с ожесточённой поспешностью кололи лёд; как, попирая высокие интересы ихтиологии и отталкивая друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались.

Мы поняли потому, что сами были из тех *присутствующих*, из того единственного на земле могучего племени *зэков*, которое только и могло *охотно* съесть тритона.

Колыма — <...> полюс лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, <...> почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую и населял народ зэков... <...> И когда-нибудь в будущем веке Архипелаг этот, воздух его, и кости его обитателей, вмерзшие в линзу льда, — представятся неправдоподобным тритоном...»

ГУЛАГ — тюрьма, совпавшая с границами страны. Но не только и не просто это. ГУЛАГ — как закон жизни и глубинная «основа» огромной территории. Не географически определенная местность, но территория, где уравнены тритоны и их случайные потребители. Как будто — одна цивилизация... Какие-то география и биология — не история. Не помещается событие ГУЛАГа в «узкие» рамки цивилизованного понимания. Как можно осознать то противоестественно-естественное устройство жизни сообщества, при котором человеческая жизнь низводится до бытования в качестве первобытной фауны?

На территории солженицынского архипелага человек низведен до зооформы, в ней, через нее каким-то чудовищным образом продолжается его история... Странное впечатление. Но, может быть, поэтому Солженицын всеми силами пытается воссоздать нашу память, вернуть историю как историю людей, а не безымянного племени, которое просто биологически выживает.

Однако все это — пока настрой. Настрой на размышление о тюрьме как проблеме сегодняшней и вполне конкретной. Но сначала — о западной утопии тюрьмы. О ее первопроекте и разочаровании в нем. А потом о тюрьме — той, реальной, которая существует на нашей территории, в которой находится сегодня более миллиона человек, в которой побывали пятнадцать миллионов наших сограждан, в том числе каждый четвертый взрослый мужчина... Тюрьма ли это? Или все тот же ГУЛАГ? Изменилось ли глубинное устройство нашей территории, столь жадной до бездумного, тотального потребления человеческой жизни?

Точка отсчета

Великая западная утопия тюрьмы сегодня уже изживает себя... Но прежде остановлюсь на двух взглядах на тюрьму — Бентама и Фуко. Это позволит (конечно, в самых общих чертах) проследить возникновение и упадок западной утопии тюрьмы, как бы пройти тот путь, что преодолело западное сообщество, постепенно осознавая гибельную опасность тюремного института.

А начиналась эта общественная затея как перспективный и благой социальный проект.

В прошлом году был опубликован русский перевод книги Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы». Условной точкой отсчета становления европейской тюрьмы как социального института он предлагает считать «архитектурную утопию» Бентама — Паноптикон. В этой конструкции и нашла выражение та «праформа», из которой произрастала и в рамках которой развивалась, постоянно реформируясь, западная тюрьма. Устройство тюремного института, по замыслу Бентама, должно идеально воплощать и поддерживать первоусловия жизни сообщества, цель которого — максимально возможное всеобщее благо. Вообще, бентамовский Паноптикон — это не собственно «тюрьма», это общее название устройства общественного пространства, единая конструкция общества, имя для масштабной социальной утопии. Книга Бентама не случайно имеет длинное, подробное название: «Паноптикон, или Наблюдательный дом, включающий идею нового принципа конструкции, применимого к сооружению любых учреждений, в коих должны содержать лиц любых сословий под наблюдением, и в особенности, исправительных заведений, тюремных замков, промышленных предприятий, работных домов, богаделен, мануфактур, домов умалишенных, лазаретов, госпиталей, школ, а также руководство по управлению, приспособленному к упомянутому принципу». Общественное пространство, по бентамовской модели, состоит из множества дисциплинарных пространств, которые и порождают необходимых для целей общества индивидов, действующих оптимально и ко всеобщей пользе. И тюрьма, как один из общественных институтов, вовсе не исполняет специальную негативную функцию — она элемент положительный, необходимый элемент процесса производства всеобщего счастья. Задачу наказания тюрьма преобразует в задачу перевоспитания. И в этом — оптимизм ее социальной пользы. Тюрьма не должна быть наказанием как таковым. Ведь наказание — это всегда расход, а непроизводительный расход в обществе должен быть минимизирован. Для общества, рисующегося взору Бентама, ценна всякая человеческая единица — она участвует в производстве как всеобщего, так и собственного благосостояния.

В результате работы подобной социальной машины преступление должно просто исчезнуть. Индивид, подвергнутый воздействию рациональных воспитательных технологий, становится «дисциплинарным индивидом». Ибо всякий, убежден Бентам, выберет возрастание личного и общественного благополучия, выберет удовольствие, а не страдание... Этот оптимистический социальный проект выразил самую основу западной утопии общества и тюрьмы.

Идеально прозрачный, стерильный, рационально и оптимально устроенный и управляемый социум, победивший опасные стихии жизни. И тюрьма — как эффективный инструмент его производства.

Кстати, тотальная оптимистическая модель Бентама совсем не предполагает властной управленческой иерархии. «Главным менеджером» этой общественной системы («инспектором» или «дизайнером» — в терминологии Бентама) может оказаться каждый. По бентамовской тюрьме-паноптикону можно водить экскурсии, и экскурсант из центральной башни сможет наблюдать за поведением заключенного. Тот его не видит, но всегда знает о неусыпно следящем за ним взгляде, неизбежно подстраивается под него, постепенно научается и сам в себе производить и поддерживать этот нормализующий взгляд. Кроме того, и сам заключенный однажды сможет занять позицию наблюдателя. Он может оказаться экскурсантом в своей бывшей тюрьме... Но самое главное, что, нормализовавшись, он станет равноправным агентом равноправной социальной жизни. Управляющим и управляемым в одном лице... Другими словами, в бентамовском сообществе не отведено места внешней карающей инстанции, здесь не осуществляется наказание как кара или возмездие — здесь происходит «нормализация». Здесь вообще нет «наказывающих» и «надзирателей» — здесь работает *безличная* функция наказания и надзора. И эту функцию в идеале должен сам на себе осуществлять каждый.

А лично Бентам преследовал своим проектом вполне добропорядочную цель — он хотел разбогатеть, выгодно вложив деньги в перспективный социальный проект. Он никому не хотел зла и себе хотел добра...

Итак, западная утопия тюрьмы предполагает идеал такой реальности, которая тотально, эффективно и плодотворно контролируется социумом. Идеал абсолютно сознательной социальной жизни. Идеальное общество, победившее криминальную стихию и сам страх. И действительно, тюрьма бентамовская — совсем не страшная, и вовсе не «темная сторона жизни», и не какая-то «подземная сущность». Даже красивая и полезная архитектурная конструкция. Такой производящий благо социальный институт, полезный двигатель прогресса... Фуко в этом отношении, мягко говоря, менее оптимистичен.

Оптика Фуко

То, что вдохновляло Бентама (видевшего в тюрьме полезное общественное заведение), Фуко страстно не приемлет. Он ставит под сомнение основу бентамовской утопии — претензию общества создавать удобного для себя индивида. Фуко — радикален, он не готов смириться с приоритетом какого бы то ни было «общественного блага». Ему претят «дисциплинирующие общественные практики». И он говорит о «карцерном» общественном устройстве, о «карцерной сети», в которую пойман сегодня индивид, о «карцерной ткани» современного общества. Он не приемлет само это «тюремное устройство» жизни. Тюрьма видится Фуко везде и повсюду.

В 1971 году он становится одним из организаторов «Информационной группы по тюрьмам» и пишет манифест этой группы. Манифест (его русский перевод опубликован в «Индекс/Досье на цензуру», 1999, № 7-8) начинается словами: «Ни у кого из нас нет уверенности в том, что он избежит тюрьмы... Наша повседневная жизнь втиснута в полицейские клетки... Мы живем под знаком надзора...»

Дисциплинирующая, нормализующая воля сообщества у Фуко на подозрении. Да и как, по его логике, может быть иначе, когда реальное положение в тюрьмах опровергает любые утопии ее «социальной пользы» и возможного «воспитательного воздействия»? Информация о ситуации в тюрьмах — об ужасных условиях содержания, о нарушении элементарных прав заключенных, — полученная «Группой» из неофициальных источников (по тюрьмам была впервые распространена независимая анкета), вызвала во Франции общественный скандал. Открылась одна из «черных дыр» жизни... Вот впечатления Фуко от посещения тюрьмы: «Преодолев ряд решеток ограды, думаешь, что попал туда, где заключенным помогают снова приспособиться к жизни в обществе, к законопослушанию, к тому, что есть справедливость на практике. И что же видишь вместо этого? Место, где заключенные проводят 10 — 12 часов в сутки, место, которое они считают своим, представляет собой ужасающую клетку размером полтора метра на два, с одной стороны полностью забранную решетками. Место, где заключенный находится один, где он спит или читает, где он одевается и справляет нужду, — это клетка для диких зверей. Здесь сосредоточено все лицемерие тюрьмы...» Мишель Фуко назвал французские тюрьмы институцией «чрезвычайно архаичной, практически средневековой, чуть ли не самой старой и в то же время самой жестокой в мире»...

Интеллектуальная фобия власти нашла у Фуко свой выход в воле к социальному действию. Этот его период общественной активности не был продолжительным, но он стимулировал размышления о системе уголовных наказаний, о распределении дозволенного и недозволенного, законного и незаконного в обществе. Теперь его интересует вопрос: через какую систему исключения, кого отторгая, какие различия проводя, посредством какой игры отрицания и отторжения общество начинает функционировать? В итоге в 1976 году и появилась книга «Надзирать и наказывать». Фактически она

развенчивает западную утопию тюрьмы. Фуко приходит к выводу, что тюрьма является инструментом подавления не только и не столько «элементов» общественно-девиантных (убийцы, насильники, сумасшедшие...), сколько наиболее незащищенных, маргинальных социальных групп. Под прикрытием целей порядка, общественной безопасности и нравственности она практикует социальный каннибализм. Исключение, а совсем не реабилитация — вот функция тюрьмы. И не просто исключение, а — уничтожение. Из интервью Фуко Дж. Саймону, 1974 год: «Тюрьма — это физическое уничтожение людей, и тех, кто в ней умирает, буквально и сразу, и тех, кто из нее выходит, но все же умирает, пусть и не от прямого ее воздействия, поскольку, выйдя из нее, не найдешь ни работы, ни других источников существования, семьи не заведешь. И, переходя из одной тюрьмы в другую, от одного преступления к другому, эти люди в конце концов подвергаются физическому уничтожению». Фундаментальную функцию тюрьмы скрыть нельзя — она создана, чтобы уничтожать. После Фуко бентамовские иллюзии уже невозможны.

Утопия тюрьмы разрушена

Итак, понятно: наивно видеть в тюрьме средство социальной коррекции и воспитания. Но западная идеология тюрьмы сильна еще одной перспективной утопической посылкой. Идеальная тюрьма, та, к которой стремится западное общество, постоянно реформируя институт тюрьмы, должна стать местом, где осуществляется «бестелесное» наказание. Безболезненное, бескровное, стерильное, безопасное для «органической» жизни. Образцовая тюрьма должна лишь «поражать в правах», репрессируя «социальное тело» индивида и не посягая на его жизнь, более того, она должна поражать индивида только в отношении определенных прав (в зависимости от характера совершенного преступления), оставляя за ним признаваемые сегодняшним сообществом фундаментальные социальные права.

Но может ли вообще наказание быть «бестелесным»? Не производящим в большей или меньшей степени выраженные, но в любом случае необратимые изменения... Не сродни ли это утопии бессмертия...

«Каким было бы нетелесное наказание?» Фуко тоже задается этим вопросом. И фактически не находит ответа. Не случайно. Ведь действительно, разве не является «лишение свободы» — это первое, «уравнительное», наказание — предпосылкой не только социальных, но и биологических мутаций? Что мы получим результатом той «принудительной индивидуализации», которую осуществляет тюрьма западного образца? Разве не имеет уже сама пространственная изоляция, физическая и социальная обездвиженность самые трагические последствия для индивида, для личности? Да и на всех ли одинаково сказывается изоляция? И обратимы ли последствия? А быть может, существуют некоторые пределы изоляции, за которыми личностные изменения необратимы? Трудные вопросы. Перспектива ответа, которая здесь маячит, — малооптимистична.

Пространство тюрьмы — это особое, пустотное пространство. Здесь останавливается время и растворяется смысл. Один из современных западных исследователей тюрьмы, Норвал Моррис, приводит свидетельство заключенного (по просьбе Морриса тот производил почасовую запись «событий» тюремной жизни, час за часом, в течение суток). Вот как этот анонимный свидетель выразил суть тюремного обитания: «Прежде чем я начну свой дневник, позвольте, я скажу следующее: если вы ожидаете ставших обычными тюремных историй о беспрерывном насилии, жестокости охраны, групповых изнасилованиях, ежедневных усилиях избежать всего этого, о беспорядках, об опасных приключениях — вы будете разочарованы. Тюремное существование совсем не то, что представляет пресса, телевидение или что показывают в кино. Это вовсе не

ежедневная череда угроз, борьбы, заговоров и пускания в ход тюремных заточек — и вместе с тем ты постоянно должен быть настороже, чтобы избегать таких ситуаций и такого поведения, которые могут вызвать насилие. Чувство висящей над тобой опасности всегда с тобой; ты должен быть осторожным в своих движениях, тебе следует скорее „обходить" других, чем идти против них или „сквозь" них. Однако, соблюдая осторожность и следуя здравому смыслу, ты можешь быть в достаточной безопасности. Для меня, как и для многих в тюрьме, насилие — не главная проблема; главное — монотонность. Унылое однообразие тюремной жизни, ее праздность и скука — вот что стирает, перемалывает меня. Ничто не имеет значения; несущественно все, кроме того, когда же ты будешь свободен и как заставить пройти время до освобождения. Скука, медлительная скука, иногда прерываемая всплесками страха и гнева, — правит жизнью в тюрьме» (цит. по: «The Oxford History of the Prison». Oxford University Press, 1998, p. 203).

Даже не насилие (которому надо противостоять), но — растворение, уничтожение через обездвиженность (в возможно широком смысле этого слова; жертва и должна быть обездвижена). Безотказно губительное ограничение свободного контакта с миром...

Наказание без тюрьмы

Сегодня западное общество начинает понимать, что тюрьма не должна играть роль основного института наказания, что она — весьма затратное и проблематичное средство «социальной коррекции». Что тюрьма, похоже, — масштабный социальный эксперимент с непредсказуемыми последствиями. А может быть даже, тюрьма — это все тот же древний институт возмездия? Ведь, изолируя, тюрьма осуществляет деструкцию, она уничтожает. И тем самым общество расписывается в своей неспособности быть обществом.

Во многих странах Западной Европы (США — статья особая) сегодня пошли по естественному компромиссному пути — «открытия» тюрьмы и поиска альтернатив тюрьме. Нарушена первая тюремная заповедь — изоляции. Тюрьма становится все более прозрачной для общества, и не только в смысле знания о ее устройстве и о жизни ее обитателей. Общество получает все больше возможностей вмешиваться в жизнь тюрьмы, постепенно выводя ее из сферы закрытости, бюрократических ограничений и регламентации, включая в жизнь «местного сообщества». Опыт скандинавских стран в реформе института тюрьмы покажется сегодня большинству из нас чем-то нереальным. Когда Нильс Кристи описывает «тюремные опыты» в Норвегии, то хочется спросить: где же тюрьма и куда же исчез преступник?

«Каждый год после Рождества довольно необычное собрание проводится где-нибудь в горах Норвегии... Собрание проводится в отеле с хорошей репутацией, продолжается три дня и две ночи, и в нем принимают участие две сотни человек.

Присутствуют представители пяти групп.

Первая: ответственные должностные лица исправительной системы, начальники тюрем, работники охраны, врачи, социальные работники, работники надзорной службы, преподаватели исправительных учреждений, судьи, сотрудники полиции.

Вторая: политики. Члены стортинга (законодательной ассамблеи), иногда министры, всегда кто-то из советников и местные политические деятели.

Третья: „либеральная оппозиция", непрофессионалы, интересующиеся делами уголовной полиции, студенты, адвокаты, университетские преподаватели.

Четвертая: представители средств массовой информации.

Пятая: заключенные, зачастую все еще отбывающие наказание и получившие на эти дни отпуск...

Среди участников часто есть люди, отбывающие заключение за серьезные преступления: убийства, наркотики, вооруженные грабежи, шпионаж. Поздними вечерами и даже ночами можно видеть... заключенных, начальников тюрем, охранников, полицейских и представителей либеральной оппозиции, горячо обсуждающих исправительную политику в целом и условия содержания в частности...» (Кристи Нильс. Борьба с преступностью как индустрия. М., 1999, стр. 40 — 41).

Отбывающие наказание включаются в сообщество тех, кто принимает решения о наказаниях. Может быть, эта «открытая тюрьма» — шанс современного общества. Его шанс избегать эксцессов варварства.

Российский ГУЛАГ современного образца

Многие западные теоретики тюрьмы и по сей день напоминают нам о позитивной, о «социализующей» ее функции. Наверное, бытовое благополучие тюремной системы действительно способно скрывать, смягчать ее подлинное «десоциализующее» воздействие. При менее благополучных условиях скрыть варварскую подземную сущность тюрьмы не удается. Неблагополучное общество производит свое «антисообщество» опасно ускоренными темпами. Оно вообще плохо понимает, что оно делает...

Статистика еще не заставляет думать. А когда мы привычно произносим «тюремное население» (кстати, когда всех нас называют «населением» — мы тоже пропускаем это унизительное определение мимо ушей; мы не «граждане»? уже или еще?), то мысль наша, окончательно лишаясь человеческого измерения, движется по одномерной логике «общественной целесообразности». Я вовсе не намекаю на «гуманность». Речь идет о более существенном. О возможности превращения «населения» в «гражданское сообщество». Состояние тюремного института — индикатор этого процесса.

Что же практикует отечественный тюремный институт? Трудно ошибиться: масштабное телесное наказание, массовую пытку. Неустанно тренируется в уничтожении. Развращает общество, работает на возврат его в унизительное нечеловеческое состояние.

«Минимум условий выживания» — для сидящих сегодня в СИЗО это мечта недостижимой высоты. Шансы вернуться из тюрьмы физически и социально полноценным практически равны нулю. И это не все. Надежда на разумную соразмерность преступления наказанию — просто смешна. У огромного числа «отбывающих срок» в наших тюрьмах нет и не может возникнуть чувства вины (а ведь именно на нем держится социальный эффект наказания). Просто потому, что криминальность стала условием выживания всего сообщества. Граница между преступным и непреступным размыта. Дозволенное и недозволенное означает совсем разное для различных социальных групп и индивидов. Разве это не признаки общественной деградации?

Выстраивая свою умозрительную конструкцию «общественного договора», еще Гоббс объяснял, что общество возникает там, где вводится запрет на уничтожение человека. Гражданское состояние — это принятие на себя ответственности, но в обмен на гарантию уважения к собственной жизни, на гарантию равной для всех безопасности и справедливости.

Вне гражданско-правового состояния институт тюрьмы не функционирует. Тюрьма оказывается лишь декорацией, лишь внешним фасадом, за которым скрывается совсем иное пространство — пространство ГУЛАГа. Ошибиться в этом сходстве трудно — есть одна точная примета: в нашей тюрьме, как и в ГУЛАГе, жизнь человеческая не стоит *ничего*. (Впрочем, с высот наших «вертикалей власти» отдельная человеческая жизнь и не может быть различима.) Здесь нет людей, здесь живут «преступники», род нечеловеческий. И действительно, тюремная среда успешно воспроизводит этот род.

Так в каком же времени мы живем? В «запаздывающем»? А может быть — все еще в «параллельном»? Если надеяться на то, что наше общество просто «исторически запаздывает», то сегодня нам, видимо, надо торопиться. И понять, что тюрьма — наша упущенная историческая возможность. На нашей территории она уже упразднена — состоявшейся чудовищно варварской формой ГУЛАГа. Стоит ли, при дефиците социальных устоев, прикладывать усилия к расширению сегодняшней нашей тюрьмы? Расширяя тюрьму, мы, похоже, лишь расширяем криминальное пространство. Втягиваясь в бесконечную логику уничтожения человека.

Мне возразят, что реальная преступность мало располагает к общественному благодушию, что существуют, наконец, опасные преступники, насильники и убийцы... Все так, и это особый разговор. Но далеко не самый первый.

Вернее, он может стать осмысленным, серьезным и важным, но только при одном непременном условии: должна быть установлена точка отсчета. Необходимо сначала признать самое первое и элементарное. Что требуемое обществом наказание и физическое уничтожение человека — вещи разные. Смертный приговор — это эксцесс для человеческого сообщества, вечный вопрос без ответа. Но как можно вообще рассуждать о справедливости наказания и «осмысленности» смертного приговора в условиях, когда тюремное заключение уравнивает всех, нарушивших закон, просто помещая их за черту физического выживания? Не потому ли так фальшиво звучат интеллектуальные телевизионные дебаты о «праве» общества применять смертную казнь? Ведь фон этих рассуждений — знание, что смерть для преступивших закон сегодня в нашей стране расположена вовсе не там, не в узкой зоне присужденной высшей меры, но гораздо ближе и неотвратимее — она сразу за территориальной чертой тюрьмы. Если любое наказание заведомо означает посягательство на саму жизнь, — то бессмысленны все смыслы и пределы. Просто нет точки отсчета. Просто не существует «минимума гражданско-правового состояния».

Основной «материал» сегодняшней нашей тюрьмы — люди социально неблагополучные. По собственному признанию одного из руководителей отечественной юстиции, более 50 процентов наших заключенных — это те, кто попал в тюрьму за мелкие и средней тяжести правонарушения. Именно они составляют большинство «тюремного населения». И именно они будут пополнять криминальную среду. Учитывая, что ресурсы нашего общественного неблагополучия — реально бесконечны, можно уверенно прогнозировать последствия... Стратегия нашей сегодняшней криминальной политики — просто общественно опасна и даже — убийственна для нашего еще достаточно варварского сообщества.

Именно варварского. Европейские наблюдатели признали условия содержания в наших СИЗО и тюрьмах — пыточными. Но и это определение нас не смущает. Общество просто приняло это к сведению, а чиновники стали сетовать на отсутствие средств и говорить о необходимости строительства новых тюрем...

Какое еще сообщество, как не варварское, может вообще не замечать массовое жертвоприношение, происходящее рядом и при попустительстве самого общества? Как можно назвать то сообщество, которое принимает насильственную смерть как должное? Или смерть «преступника» — это не смерть?

Еще недавно можно было (тоже, в общем-то, лукаво) объяснить наше «невидение» тюрьмы ее ведомственной закрытостью, отсутствием о ней информации. Сегодня все всё уже знают. Газеты рассказывают о смертях в камерах СИЗО от удушья, о голодном тюремном существовании, о том, как люди гниют, оставаясь без медицинской помощи, о психических больных, скученных в убогих камерах, о катастрофических масштабах туберкулеза, сифилиса и СПИДа, о насилии и унижении. Но информация почему-то не превращается в знание (мы не хотим знать и помнить), а знание почему-то не превращается в

разумное (я даже не говорю «гуманное») действие. А значит, мы все соучаствуем в унизительной и варварской форме общежития. В том числе — в массовой смертной казни. Так далеко ли мы ушли от ГУЛАГа?

Наше общество насыщено, перенасыщено опытом тюрьмы. Сколько можно? Литературные произведения, публицистика, да сегодня уже просто вал информации и свидетельств о тюрьмах, сегодняшних, — они расположены рядом с нами. Может быть, стоит наконец поторопиться в цивилизованную историю? Думать вперед. И не строить новые тюрьмы, а искать альтернативы тюрьме. А в преступнике признать индивида и гражданина... Именно в преступнике. Возможно, тогда, как ни парадоксально, и законопослушные наши граждане почувствуют себя однажды ценной частью равноправного сообщества. Может быть, сообщество вообще начинается с «минимума человеческого отношения» к униженным и исключенным, с признания за ними права на «минимум жизни». А до этого оно — просто дикое сожительство. И вечная угроза ГУЛАГов. Существующих в самых разных формах и под разными именами.

ПОЛЕМИКА

ВАЛЕНТИН НЕПОМНЯЩИЙ

*

О ГОРИЗОНТАХ ПОЗНАНИЯ И ГЛУБИНАХ СОЧУВСТВИЯ

Поэзия, филология, религия. По поводу выступления Сергея Бочарова

В свою книгу «Сюжеты русской литературы»[1] Сергей Бочаров включил, на правах особого жанра, обширные постскриптумы к ряду статей, имеющие самостоятельный, порой фундаментальный в контексте книги характер. Один из них занимает особое место: сопровождая им суровый разбор книги Татьяны Касаткиной о Достоевском, С. Бочаров предъявляет серьезные обвинения уже целому явлению, обнаруженному в современном литературоведении. Для явления характерны «демонстративно ненаучный» подход и «идеологические»[2] претензии к исследуемым текстам, «недоверие» к ним и «неслышание» их, «своеобразная духовная цензура» и другие «небезобидные» «способы чтения литературы». Название направления заимствовано С. Бочаровым у другого автора и образовало заголовок постскриптума: «О религиозной филологии».

Издавна, по крайней мере со времен Гоголя и славянофилов, предпринимались попытки исследовать и понять то, что теперь называется русской классической литературой, как *духовный феномен* — безусловно стоящий особняком в литературе мировой. В советском литературоведении эта тема осталась, но в принципиально усеченном виде, обозначаясь как «национальное своеобразие русской литературы». Усечению подвергся главный, именно миросозерцательный, срез темы. Универсально-человеческое содержание русской классики было непозволительно рассматривать в том религиозном — духовном, идейном, ментальном — контексте, в каком оно на деле складывалось: в контексте веры в «вечные истины» (XI, 201)[3] и высшие ценности, которые понимались в России как истины христианские и ценности православные и отношение к которым определяло характер этой литературы, ее идеалы, пути и драмы.

Теперь эта тема вышла наружу — вместе со своими, как и у всякого подхода, издержками — и встречает сопротивление, порой яростное, как в поверхностных (фельетонистических, сказал бы Герман Гессе) слоях культуры, так и на научном уровне, где *ценностного* подхода к искусству, считая его «идеологическим», сторонятся как огня. Вообще, «идеологическим», а

Непомнящий Валентин Семенович — пушкинист, доктор филологических наук. Родился в 1934 году. В 1957 году окончил Московский университет. Автор книг «Поэзия и судьба» (1-е изд. — 1983; 2-е, дополненное изд. — 1987; 3-е, дополненное — 1999), «Пушкин. Русская картина мира» (1999) и многочисленных выступлений в печати, по радио и телевидению. Председатель Пушкинской комиссии Института мировой литературы РАН. Постоянный автор «Нового мира».

Журнальный (значительно сокращенный) вариант работы, целиком публикуемой в сборнике «Литературоведение как проблема» (М., ИМЛИ РАН; «Наследие»).

[1] Высокую оценку ее я полностью разделяю с И. Роднянской, чью рецензию («Новый мир», 2000, № 7) прочел, уже сдав в печать эти заметки.

[2] Разрядка в цитатах авторская, курсив — мой.

[3] Том и страница в скобках указывают на Большое академическое собрание сочинений Пушкина (1937 — 1949).

также ненаучным, субъективистским (в лучшем случае — «субъективным») называют по сложившейся традиции все, что выходит за пределы той объективности и научности, представление о которых заимствовано из естественных и точных наук и применено филологией к себе; соответственно все, что прикасается к глубокой специфике русской литературы как словесности христианской нации, как деятельности, держащей в поле зрения основы человеческого бытия, духовного и нравственного, как слова, сказанного о человеке и к человеку же обращенного.

Тема, о которой идет речь, непроста. Здесь требуется, по справедливому слову Т. Касаткиной, «другая» научность. Научность специфически гуманитарная, поскольку предмет слишком выдается в ту область человеческого, которая включает и самого исследователя; отстраненно-объектное, по образцу «позитивных» наук, рассмотрение здесь столь же затруднительно, как затруднительно выпрыгнуть нам из себя; это научность, гуманитарная до дна, поскольку исследуется не только материя слова, но и дух его — в свете «вечных истин» и высших ценностей. Дух тонок, а данные человеку истины просты, и исследовательское слово часто оказывается немощно удержаться на лезвии: избегая дурной бесконечности глубокомысленного ученого кружения в лабиринтах отвлеченностей, не впасть в дурную простоту, таящуюся в соблазнительных правильностях формул и грубом наложении духовного на эстетическое.

Любой подход не свободен от издержек, порой весьма «небезобидных»; однако внимание С. Бочарова небезобидность их привлекла именно в работах, открыто представляющих тот подход, который можно назвать аксиологическим, ценностным. Название С. Бочарова радикальнее: «религиозная филология», — оно представляется ему «удачным» и, судя по всему, в научном смысле ясным. Но ведь с какой стороны смотреть; в каком контексте, с какою целью и как название употребляется.

Что действительно ясно в этом определении, так это — эмоциональный обертон: отчужденно-, или раздраженно-, или язвительно-ироническая окраска (мол, «что может быть доброго...» и т. д.), словно бы имеющая в виду сочувственника, которому неприглядная суть явления, названного «религиозной филологией», должна быть так же очевидна, как, к примеру, смысл выражений «плохая погода» или «нехорошая квартира». Другими словами, «научно» понравиться такое определение должно скорее всего тому, кто разделяет мнение об одиозности религии как таковой и ленинскую иронию в отношении «боженьки». Но не на это, очевидно, рассчитывал автор.

Другая неловкость — в том, что определение заставляет усмотреть (или предположить) у автора идею: вот, мол, была у нас безрелигиозная филология — настоящая, научная, а теперь...

Но и этого автор, может быть, не хотел, он ставит вопрос иначе. «Была у нас религиозная философия, пришло время религиозной филологии», — как бы с иронической усмешкой говорится в первых строках постскриптума. Если создатели русской религиозной философии, продолжает С. Бочаров, «были озабочены обоснованием своего пути: как возможна религиозная философия, соединяющая проблемность и критичность научной мысли с догматичностью мысли религиозной?», то «религиозная филология», предполагает он, «очевидно, не видит в собственном самоопределении особой проблемы и просто себя уверенно утверждает» — как «новое слово в литературной теории».

Все это выглядит опять-таки язвительно, но уже отчасти и научно. Однако речь идет все-таки о бузине и дядьке. Параллель, проводимая С. Бочаровым: «Религиозная филология как явление наших дней рифмуется с религиозной философией, явлением начала века», — произвольна настолько же, насколько поверхностна. Она и основана именно и только на «рифме» («религиозная фило-...»), да притом еще искусственно созданной: само название «религиозная филология» придумано только что, как раз в эту самую «рифму», — ведь для того, чтобы поставить в печку, надо назвать горшком. Впро-

чем, параллель действительно может иметь место — но только не в области рифмовки и с совсем другими выводами.

Русской религиозной философии потому и понадобилась «работа самообоснования», что до нее родовым признаком философии Нового времени было сознание мировоззренческой суверенности, эмансипации от религии; философия была сама себе «религия», она вытесняла религию, и, как видим сегодня, довольно успешно. Русская же философия тем и оригинальна была, что впервые строилась на иных основаниях: оставаясь наукой, вписала себя в контекст христианской веры. С филологией дело обстоит совсем иначе: она всегда покоилась на внеположных ей мировоззренческих основаниях и в этом смысле всегда была «религиозна»: ведь и евангельское «В начале было Слово», и просветительский Разум, и марксистские *в начале была материя* и «Религия есть опиум...» суть предметы веры; и мировоззрение научного позитивизма есть в своем роде религия; и сама наука, будь то филология или математика, родилась из представлений о бытии как устроенном целом, стало быть, имеет религиозные корни. «Религиозность» филологии — никакое не «новое» слово, скорее хорошо забытое старое, тем более поскольку речь идет о науке гуманитарной. И то явление, которому С. Бочаров посвятил свой постскриптум, — вовсе не «самоутверждение» какой-то «новой», «религиозной» филологии, а скорее попытка самоосознания филологии в «старом» качестве: деятельности, самоназвавшейся *любовью к Логосу;* попытка об этой своей природе вспомнить, ее посильно осмыслить и осуществить, уже на основе христианского опыта — который и русскую литературу создал.

Русские религиозные мыслители начала века тоже пытались «вспомнить» о природе философии, в известном смысле вернуть ее к тому, чем она была во времена Платона и Аристотеля, когда философия сознавала себя свободным диалогом между миром божественным и миром человеческим — свободным и равным если не по силе, то по достоинству. Воспроизвести это на христианской основе было непросто: «второй субъект» диалога должен сознавать, что он все-таки не равноправная сторона и его дело — прежде всего слушать обращенное к нему *иноприродное*, священное Слово. В филологии же диалог ведется со словом *одноприродным*, словом человеческим. А вот что касается христианского осознания этого диалога, то оно — в том, что диалог ведется не в пустом или «научно» нейтральном пространстве, а перед лицом истинного Субъекта бытия; что каждое слово изречено или изрекается перед лицом Слова, без Которого «ничто (в том числе и слово человека. — *В. Н.*) не начало быть» (Ин. 1: 3); что только от Него слово человеческое может получить отблеск Божественного совершенства; и перед Ним же оно отвечает — «ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12: 37), и к художнику это имеет отношение особое.

Секуляризация сознания упразднила (в лучшем случае вынесла «за скобки») Субъекта бытия, а тем самым — и Слово, Которым все «начало быть»; субъектом назвался человек — что и стало, в частности, основой позитивистской филологии, литературной науки. Анализ и критика слова (писателя, например) получили свою «точку отсчета» не в области Слова, области «вечных истин» и высших ценностей, а в сфере секулярных человеческих ценностей, истин и интересов, диктуемых не ответственностью перед Богом, а временем, обстоятельствами, убеждениями и психологией «субъекта».

Отношение исследователя литературы к слову как *субъекта* к *объекту* есть, с гуманитарной стороны, глубоко ущербный подход. Притом он вовсе не исключает восхищения совершенством, «чудесностью» (С. Бочаров) слова, поклонения ему, — напротив, эти знаки нашей памяти о Божественном отсвете *Слова* на слове приобретают даже особую остроту и напряженность, порой до экстатичности (наподобие гимна «клейким листочкам» из уст Ивана Карамазова, в «порядок вещей» не верующего), говорящей о неистребимой потребности в вере и поклонении «чему-то высшему». Но ведь идол и кумир, какие бы им ни воздавали почести, — все равно объекты. Наслаждаясь красотой слова,

называя его «божественным» и «чудесным», обоняя аромат его совершенства, мы можем не слушать того, что и о чем оно нам говорит; воспринимая отсвет Божественной красоты — не слышать отзвука Божественной правды, «вечных истин». Видя в слове лишь *объект* изучения, мы тем самым претендуем на отношение к нему с высоты Истины, — а нам до этой высоты далеко, ведь мы всего только люди. Более или менее адекватно мы можем судить о слове (как и о человеке) лишь из *глубины сопереживания* слову — из той глубины, к которой можно отнести евангельское: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25: 40). Христианский подход к слову литературы есть отношение к нему как *субъекту переживания* — это и называется слушать. Слушать *все* слово, а не только его гармонию, «чудесность» и красоту.

(Собственно, это вещь универсальная. Наш тварный мир тогда только может достигнуть полной субъектности — на ином языке, спасения и обóжения, — когда будет стремиться к субъектным отношениям внутри себя, когда никто никого не будет считать своим объектом.)

Филология между тем предпочитает в основном иной путь. Она, как правило, из двух — если вспомнить Канта — величайших тайн выбирает не *нравственный закон внутри нас,* а *звездное небо над нами*; не «вечные истины» и высшие ценности, издавна, по Достоевскому встречающиеся, как на «поле битвы», в «сердцах людей» (а стало быть, и в слове) с известным противником, а именно секреты мироустройства (в их филологическом преломлении); не экзистенциальное в слове, а причастное в нем к паутинно-непостижимой вязи мироздания, к той, как выразился один встретившийся мне когда-то безумец, «формуле Логоса», которая, по его признанию, им «открыта». Конечно, человек и должен ставить себе цели невозможные и безмерные, и без безумия, о чем Нильс Бор говорил, наука немыслима; и все это было бы замечательно, если бы не считалось, что только тут истинная и единственная цель филологии; если бы рядом с этой целью почти всякая попытка в слове поэта узнать голос человека; в эстетически преображенном духовном его мире, в подчас необходимо условном («лирический герой») преломлении этого голоса уловить экзистенциальное *переживание* онтологии мира, — если бы, говорю, почти всякая попытка подобного рода не оценивалась в конце концов как нефилологичная, некорректная, ненаучная, субъективная.

Впрочем, с последним определением я мог бы, на худой конец, и согласиться — при условии, что «субъективный» будет здесь означать *субъектный* (подход к слову литературы как к целостному субъекту), а то, что называется в современной науке «объективным» подходом к слову, будет именоваться подходом *объектным* (видящим в слове лишь его часть, предмет изучения).

Отвергаемый С. Бочаровым подход есть подход *субъектный,* опирающийся на старые, забытые, отошедшие в тень позитивизма основы христианского отношения к слову. Это-то старое и воспринимается как нечто совершенно «новое», и притом крайне предосудительное. Тут уместны слова Т. Касаткиной[4] насчет «принципиального отторжения религиозного способа мышления о мире», которое (отторжение) «необходимо присуще научному (*в смысле последних двух веков), позитивистскому* мышлению...».

Как конкретно происходит это отторжение (по крайней мере один из способов), мы можем сейчас увидеть. Я специально выделил в цитате слова, говорящие не о науке «вообще», а именно о *позитивистской* науке «в смысле последних двух веков». В самом начале постскриптума «О религиозной филологии» эта позиция искажена просто-таки до невозможности: у Касаткиной, пишет С. Бочаров, «прежде всего констатируется несовместимость *религиозной и научной картин мира...*» — и такой «пересказ» есть исходный критический

[4] В статье «О литературоведении, научности и религиозном мышлении». — В кн.: «Начало». Вып. III. М., «Наследие», 1995.

шаг автора. Но ведь понятнее, чем было сказано, не скажешь — отчего же так превратно прочтено? Или для критика позитивистская научность и в самом деле единственно истинная, а другой не бывает? Опять как-то не ясно.

Было бы и правда яснее, если бы протесты С. Бочарова заявлялись не от имени абстрактной «научности», а от лица «другой» религиозности, расплывчато, но несомненно здесь присутствующей; ответ на уместный вопрос «како веруеши» был бы тут чрезвычайно благороден, создавая твердую почву, в которой мне не пришлось бы вязнуть по ходу диалога на эту и без того непростую тему. Но что есть, то есть, и рамки разговора я вправе сузить.

Дело в том, что постскриптум «О религиозной филологии» хоть и сопровождает критику книги о Достоевском и содержит особую главку на ту же тему, в значительной своей части обращен к моим работам последнего времени.

Это уже не в первый раз; только теперь объектом внимания С. Бочарова оказываюсь не один я, более того, возникли очертания некой миссии, взятой на себя автором и исполняемой от имени всей филологии в отношении целого явления, — и теперь мне нельзя уклониться, как это было несколько лет назад, от ответа. Я был в советское время одним из первых, если не единственным, кто в открытой печати пытался, как умел, сначала интуитивно, затем осознанно, противостоять идеологии «научного атеизма» в науке о Пушкине, методологическому господству в ней позитивизма; а потом, когда настали новые времена, не раз выступал против «православных» толкований, порой тоже отчетливо большевистского покроя, где Пушкин «оформляется» в грубо клерикальном духе, применительно к готовым представлениям о том, каков должен — или не должен — быть поэт в православной культуре, где пушкинское религиозное ощущение жизни, всегда глубоко внутреннее, личное и лиричное, переводится в дерево и бетон идеологизма, только уже религиозного[5] Поскольку в том духе, против которого я выступал, теперь толкуются и «оформляются» мои собственные взгляды, я вынужден наконец объясниться — если получится.

Правду сказать, мне это действительно нелегко. Я слишком уважаю то, что делает в филологии Сергей Бочаров, слишком восхищаюсь многим в его последней книге; но и слишком чувствую разность наших мировоззренческих, в широком смысле религиозных, установок, «систем координат», — можно сказать, разность пространств.

Мои координаты были довольно подробно и на очень широком проблемном фоне изложены в последних по времени работах[6], в том числе в той («Феномен Пушкина в свете очевидностей»), откуда С. Бочаров выбрал для критики и моего вразумления отдельные места: о пушкинском «Мне не спится, нет огня...» («Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы») и блоковском «Девушка пела в церковном хоре...».

Я вовсе не против критики, она мне почти всегда любопытна и нередко полезна, как и всякому. Недавно Б. М. Цейтлин[7], автор интереснейших философских работ, подверг критическому разбору тот же фрагмент (о пушкинской «бессоннице»), который возмутил С. Бочарова. Это критика на куда большую, чем у С. Бочарова, глубину; Цейтлин по крайней мере стремится понять то, что критикует, в контексте моей общей концепции, в которую он добросо-

---

[5] «Введение в художественный мир Пушкина» и «Слово о благих намерениях» (1994), вошедшие в мою кн.: «Пушкин. Русская картина мира» (М., «Наследие», 1999); «Христианство Пушкина: легенды и действительность» — в кн.: «Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского института» (М., 1997); послесловие в кн.: «Дар. Русские священники о Пушкине» (М., «Вече»; «Русскій міръ», 1999) и др.

[6] «Удерживающий теперь. Феномен Пушкина и исторический жребий России». — «Новый мир», 1996, № 5; «Феномен Пушкина в свете очевидностей». — «Новый мир», 1998, № 6 (обе работы в новых редакциях вошли в кн.: «Пушкин. Русская картина мира»).

[7] Цейтлин Б. М. Припомянутое слово. Письмо В. С. Непомнящему. — «Московский пушкинист». Вып. VI. М., «Наследие», 1999.

вестно вслушивается. В постскриптуме С. Бочарова иначе. Позиция критикуемого берется не в ее концептуальных основаниях, а в деталях и фрагментах, от оснований оторванных, почему моим утверждениям и не трудно придать вид висящего в пустоте домысла. Вчуже это очень можно понять: так удобнее — особенно когда спор мировоззренческий.

Кстати, такие споры бесперспективны едва ли не по определению, и вот почему мне труден этот диалог из разных пространств. У моего оппонента подобной проблемы, по-видимому, не было; выступая с позиции как бы само собой разумеющейся окончательной истины и в тоне изначальной учительной правоты, он, по-видимому, исходит из наличия лишь одной системы координат, одного-единственного пространства, где дело обстоит просто: он находится в этом пространстве там, где надо, а я (и Т. Касаткина) — там, где не надо. Отсюда и та взятая на себя С. Бочаровым миссия, о которой шла речь. Впервые она обозначилась шесть лет назад, в 1994 году.

Тогда в № 6 «Нового мира» в разделе «Из редакционной почты» С. Бочаров напечатал в некотором роде письмо Белинского к Гоголю; оно называлось «О чтении Пушкина», и в нем был сделан строгий выговор моим работам предыдущих лет, опубликованным тоже в «Новом мире», в особенности же — статье «Дар. Заметки о духовной биографии Пушкина», напечатанной за пять лет до того (1989, № 6). Поводы для критики в ней были; но досталось мне не за отдельные грехи, а за все «небезобидное» направление моей работы, в частности за «благочестивое пушкиноведение» и «нарождающийся пушкинистский фундаментализм».

Сегодня письмо «О чтении Пушкина» представляется мне неумышленной репетицией нынешнего постскриптума «О религиозной филологии». А тогда оно меня сильно огорчило и поразило — и по существу, и неожиданным в то время тоном харизматической превосходительности. Вообще говоря, чего не бывает в споре, но тут я столкнулся с чем-то прямо необычайным: буквально ни одного критического удара в точку, ни одного случая, где мой критик глядел бы прямо в лицо критикуемому тексту или положению, — все как-то свысока, издали, скользя и искоса, отчего и в критике выходило как-то криво[8].

Пишу, например, в той статье о стихотворении «Три ключа» («В степи мирской, печальной и безбрежной...») так: «последняя строка — о „ключе забвенья" — ужасна...», — не спорю, сказано слишком эмоционально и может шокировать, но из всего контекста легче легкого, при желании, понять, что тут не «критическая оценка» строки, а ошеломленность холодным приятием смерти. И мой критик вроде понимает, поскольку признает: «Это „ужасно" так непосредственно, искренне вырвалось, что теряешься отвечать на это», — а дальше, вовсе не теряясь, вменяет мне ни больше ни меньше — «безнервное христианство» (В. Розанов), покушение «осудить» Пушкина «морально, духовно, религиозно», а еще — «неслышание... дивной гармонии». Последнее, насколько я постигаю, означает, что поэтическое совершенство и дивная гармония стихов велят мне даже и холодное приятие человеком смерти ощущать как нечто ни в коем случае не «ужасное», напротив — тоже дивно гармоничное. «Быть может, все в жизни лишь средство / Для ярко-певучих стихов». Брюсовские строчки вспоминались над «письмом» не раз: слишком часто возникало чувство, что для его автора (в других местах горячо защищающего «закон ж и з н и» от моего, как он писал, «морального пафоса») достоинства ярко-певучих стихов важнее, чем жизнь. В «Поэте» («Пока не требует...») Пушкин, писал я, мучительно переживает свое «двусмысленное» положение (то ли «пророк», то ли «всех ничтожней»); «Что значит „двусмысленное", —

---

[8] В более поздних работах («Удерживающий теперь», примечания; «Под небом голубым» — в моей кн. «Пушкин. Русская картина мира») я вынужден был остановиться лишь на двух примерах такого чтения моего оппонента. Подробный разбор «письма» — в полном варианте настоящей статьи.

вопрошал мой критик. — ...Двойственность человека-поэта — недвусмысленная его *тема*». Лирическая *тема!* — и никаких переживаний.

Особенно взволновал тогда моего оппонента вопрос об элегии «Под небом голубым страны своей родной...» (она и у меня занимала центральное место) — и здесь больше всего странностей чтения. Напоминаю строки:

Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем... —

сопоставляю их, с одной стороны, с сокрушенными словами из заупокойной стихиры: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, и безславну, не имущу вида...» — а с другой — с пронзительным: «На жертву прихоти моей / Гляжу, упившись наслажденьем, / С неодолимым отвращеньем...» («Сцена из Фауста»); спрашиваю по поводу «тяжелого напряженья», с каким любила «пламенная душа»: «что это: Толстой? Достоевский? Чехов?» — а мой критик, найдя, с одной стороны, что все мое «размышление... переполняет моральный пафос», с другой — обнаруживает в моем подтексте скабрезность в духе, как бы это помягче сказать, Виктора Ерофеева, а именно — «превышение эротического градуса подробностей» и даже «физиологические намеки», которые, мол, «непроизвольно, может быть» (!), возникают...

Игра столь проницательного и живого воображения тогда не на шутку меня задела. Не потому только, что нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и теперь уж, как говорят, не отмоешься; нет, я задумался о манере чтения моего оппонента, о способе, каким он извлекает смысл из прочитанного. Пренебрегши всем контекстом рассуждения — так сказать, взглянув и мимо, — критик устремился, как к главному, к детали (словам о «тяжелом напряженье»), у меня-то игравшей подчиненную роль в обширном пассаже об этой невероятной строфе, потрясающей и загадочно-жутким оборотом *«Так вот кого любил я...»,* и жестокостью взгляда на себя и свою любовь.

Тут мне и представилось, что чтение моего критика не то что невнимательно и небрежно (хотя и это тоже), а сверх того, *принципиально внеконтекстно:* система взглядов воспринимается не как *система,* а как *набор* мыслей, из которого можно что-то отобрать для своих целей. Это лишь один пример; практически все написанное мною в той статье было словно переведено в какой-то другой язык, на котором просто обречено было выглядеть плоско и туповато. Не скажу, что такого рода полемика с чучелом была мне вовсе не знакома; но с подобной критикой я сталкивался у авторов совсем иного уровня, каким и отвечать не стоит. Здесь был, разумеется, не тот случай; как говорится, сел я тотчас и стал писать.

Писать пришлось порядочно; но странное дело: чем дальше, тем больше меня охватывала растерянность и словно какая-то тоска — будто я толку в ступе воду или — как это у странницы Феклуши в «Грозе» — бегу со всех ног, куда меня манят, а там никого нет. В чем тут фокус, я долго не мог ухватить, словно и вправду оказался туповат. Пока наконец не обратил внимание на одну фразу «письма» — опять-таки по поводу моего анализа элегии «Под небом голубым...». Эта фраза и объяснила мне кое-что по существу.

В статье я говорил об этом стихотворении как об острейшей внутренней драме, важном моменте истории отношений поэта с любовью, со смертью, с самим собой. Разговор этот — «разветвленное размышление», как назвал его С. Бочаров, — велся и вправду в весьма большом контексте творческой и духовной биографии Пушкина, на широком культурно-историческом, идейном, мировоззренческом фоне, — но все это мало затронуло моего критика. Впрочем, это «разветвленное размышление» ему «вообще... интересно было читать, мешало лишь чувство, что стихотворение — о другом... У Пушкина проще: мы узнаем о *печальном законе жизни,* о преходящести чувства, равнодушии и забвении...»; и сам поэт тоже «познал печальный закон», вот и все, о том и элегия.

Я опускаю в журнальном варианте конкретные соображения, высказанные в ответ на эту ошеломляющую глухоту к человеческой драме; да и дело сейчас не в нашем разногласии, пусть и коренном, а в мелочи. Речь идет о том, как мое неверное понимание элегии подано С. Бочаровым рядом с его верным. Сделано это так: все мое «разветвленное размышление», составляющее центр довольно объемистой работы, мимоходом отчуждено моим оппонентом в несколько слов, красноречивых, как пожатие плечами:

«Воздвигается сложное построение с метафизическими заглядами, но все кажется, у Пушкина проще: мы узнаем о печальном законе...» — и т. д., см. выше.

Надо отдать справедливость — сказано сильно: одно колоритное словечко «загляды», а как много благодаря ему умещается в лапидарную формулу: тут и громоздкая тщета «воздвигнутого», и сдержанная ирония, и легкая досада человека, которому долго докучали вздором.

Скажу от чистого сердца: я принял это (написав уже что-то около полутора печатных листов) без малейшей обиды, напротив, с облегчением. Мне стала понятна природа этой критики — отчужденной, монологической, или, пользуясь современным термином, *бесконтактной;* я уразумел наконец, что я здесь лишний, что напрасно воображал себя участником диалога, — и вскоре оставил свой полемический подвиг.

Разгадка недоумений оказалась проста. Именно: то, что бесконечно волнует в Пушкине, в поэтическом слове меня, совершенно не интересно моему оппоненту.

Это не в упрек ему. Многие вещи, сказал Козьма Прутков, нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий; но почему, думал я, не волнующее моего оппонента тем самым и «небезобидно», подлежит разгрому и запрету?

Отвечать по Фонвизину: то вздор, что не интересно моему оппоненту, — было бы и неуместно, и вульгарно; но, каюсь, что-то похожее мне чудилось. Вдруг осмыслилось, что мой критик читает Пушкина так же, как и меня недостойного: принципиально внеконтекстно, не *заглядывая* внутрь — той же, скажем, элегии: о чем она, что там в ней происходит, — а скользя над образующими «дивную гармонию» сучками и задоринками, словно эта «печальная» поверхность так же гладка, как «дорога зимняя» в «Онегине». Выражаясь упрощенно, меня волнует, что Пушкин переживает и говорит, а С. Бочарова — как Пушкин поет.

Впрочем, каждому свое. Но нельзя пройти мимо того, что я не могу назвать иначе как догматикой. «Сомнительное дело, — пишет С. Бочаров, — не от жизни поэта восходить к его поэзии, но из текстов вычитывать его душу». Это полновесный догмат. Мой оппонент велит мне исповедовать старый добрый детерминистский принцип, до блеска отполированный марксистским литературоведением, и послушно применять его к творчеству поэта, внятно сказавшего о присутствии в «заветной лире», то бишь в «текстах», именно его «души». Кому-то это может быть неинтересно, но что же «сомнительного» в желании услышать «душу» — ведь с ее-то присутствием в «текстах» поэт и связывает свою славу в «подлунном мире»?

Другой догмат касается «природы лирики»: лирика запечатлевает «моментально и объемно мир и правду поэта». Не мир и правду *собственно*, а только «мир и правду *поэта*»; и обязательно *«моментально»;* иначе, мол, не бывает. Ну а если бывает — например, у Пушкина? — как иначе понимать, скажем, неслыханные его лирические черновики, варианты — процесс, растянутый порой на годы? а если для Пушкина «правды поэта» мало и он хочет большего? Вдруг он не укладывается в эту — в других случаях приемлемую — типологию, он, *слишком объективный, чтобы быть лириком* (И. Киреевский)?

Есть и другие незыблемые положения. Не останавливаясь на них здесь, замечу: поистине догматизм подстерегает нас на каждом шагу. И неизвестно,

что хуже: религия, ставшая идеологией, или идеология, превратившаяся в религию. Когда все, что связано с желанием услышать в «дивной гармонии» человеческий голос ее творца, почти рефлекторно отталкивается как «идеологическое» (еще одна составляющая указанной выше догматики), остается лишь сказать: по вере вашей да будет вам.

В постскриптуме «О религиозной филологии» многое мне оказалось знакомым, порой до деталей, по письму «О чтении Пушкина».

Автор письма не видел в элегии «Под небом голубым...» драмы, а только констатацию «печального закона»; автор постскриптума в стихотворении Блока «Девушка пела...», в его «противохристианском заострении» (так С. Бочаров характеризует финальные строки: «Причастный Тайнам, — плакал ребенок / О том, что никто не придет назад»), слышит не драму эпохи, а всего лишь «печальную концовку». В «письме» — о моем прочтении элегии: «...интересно было читать, мешало лишь чувство, что стихотворение — о д р у г о м...»; в постскриптуме — о моем анализе «Мне не спится...»: «Все это интересно сказано, но, читая, не оставляет чувство, что это п р и д у м а н о...». В «письме» были перепутаны сопоставлявшиеся мною строки элегии и «Безверия», что искажало мое чтение; в постскриптуме искаженно пересказывается стихотворение Блока (ребенок не причастившийся — «причастный Тайнам», — а его только «подносят к Причастию»), что меняет ситуацию стихов и обессмысливает разговор. Небрежность цитаций, отсылок, пересказов, чтения — все как в «письме». Я пишу о «напоре» идеологии Блока на его же гений и интуицию — оппонент переделывает это в «напор» «поэта на самого себя» и заявляет (справедливо), что это «неправдоподобно». Так же переводится на другой язык мой анализ пушкинской «бессонницы», да и всего, в сущности, что попадается под руку в моем тексте. То же и со ссылками на авторитеты — излюбленным приемом С. Бочарова: выдержки из Вл. Вейдле и Ф. Степуна, которыми он пытается меня наставлять, прочтены им настолько невнимательно, что в конечном счете цитаты работают против него (из Вейдле — прямо, из Степуна — косвенно; подробности я здесь опускаю). И уж совсем неудобно получилось со ссылками на других поэтов, подтверждающими, как кажется С. Бочарову, необоснованность моей критики блоковского стихотворения. Приводя строки из тютчевского «И чувства нет в твоих очах...» и из «Вербной недели» И. Анненского, мой критик не без торжества комментирует: «О том же ведь — что „никто не придет назад"...» Но торжествовать тут нечего: совсем не «о том же ведь» пишут оба поэта, их стихи очевидным образом не имеют *ровно ничего общего* с «никто не придет назад» Блока; просто надо прочесть эти стихи не только как «дивную гармонию», но и как смысл, как контекст, как переживание наконец, — одним словом, попытаться «вычитать душу» поэта из его творения. Но это, как мы знаем, «сомнительное дело».

Эти (и иные, не упомянутые) особенности чтения и критики сводятся, по моему убеждению, все к тому же, о чем я уже говорил (и чему посвящена критикуемая С. Бочаровым статья «Феномен Пушкина в свете очевидностей»), — к проблеме контекста, точнее — внеконтекстного чтения, свойственного моему оппоненту. Тут не эмпирика, тут коллизия теоретическая и методологическая, в конечном счете — мировоззренческая, если угодно — религиозная; та самая проблема разности наших пространств.

На вооружении С. Бочарова — знаменитое раннее (1825) «Цель поэзии — поэзия» (XIII, 167) — утверждение самодостаточности искусства в ответ на рационалистические, идеологические, моральные и прочие поползновения. Я чту эти слова не меньше, чем мой оппонент, но они звучат в его тексте словно какая-нибудь мантра и, похоже, играют близкую роль: «поэзия» выглядит неприкасаемой высшей инстанцией; когда «цель филолога трансцендируется, простирается з а литературу — дальше и выше», это вызывает у С. Бочарова

гневный протест, словно совершается святотатство и как будто поэт — не человек, а «за» литературой ничего нет.

С этой позиции и отвергается моя критика стихотворения Блока — состоявшая в том, что искусная игра слов «Причастный Тайнам» есть не столько художественный, сколько вербально-идеологический «силовой прием», которого, я писал, «могло и не быть» (может же, скажем, исчезнуть в беловом тексте черновой вариант, заменившись другим). Возражение С. Бочарова выглядит так: «Есть плач ребенка вместе с его *откровением-смыслом* — как поэтический факт».

Насколько я могу понять, это значит: в незыблемую подлинность «поэтического факта» включается, вместе с безусловно подлинным личным переживанием поэта (все «Тайны» в том, что никаких тайн нет, кроме одной: «никто не придет назад»), также и вымышленный поэтом плач ребенка, в котором личному переживанию поэта придается смысл сверхличной истины. Воплощаясь в слове поэта, то есть входя в состав «поэтического факта», вымысел становится *так же реален,* как то Слово, что «плоть бысть», а потому мое ощущение, что это — не лучшее место в стихотворении, наносящее ущерб его художественной правде, едва ли не кощунственно: «Во всяком случае, представить себе его (стихотворение. — *В. Н.)*... как бы то ни было вообще исправленным — невозможно», — возмущенно пишет мой оппонент. То есть какая бы и чья бы то ни было критика недопустима даже в воображении.

Но вот же Жуковский — не то что усомнился в пушкинской строке «Смысла я в тебе ищу...» как неприкасаемом «поэтическом факте», а просто взял и переписал ее: «Темный твой язык учу...» — и тот же С. Бочаров не находит слов для выражения восторга: Жуковский «ответил Пушкину» (в его же стихотворении); «по-своему договорил» (то, что Пушкин сказал совсем иначе); критика и даже правка вполне возможны — и не Блока, а Пушкина, и не в воображении, а на бумаге и в печати.

Итак «откровение-смысл», заключенное у Блока в «поэтическом факте», для С. Бочарова почти сакрально, его нельзя «трогать»: за ним нет никакой *большей* реальности (в самом деле, Блок, в отличие от Пушкина, вопросов не задает — он утверждает). Ведь *цель поэзии — поэзия*, а «трансцендировать за» поэзию, к цели высшей — это «утилизация» поэзии («О чтении Пушкина»). Жуковский, однако, так не считал. Он исходил из того, что оба они, и Пушкин, и он сам, стремятся к одной Высшей правде (а не к «правде поэта»), нюансы же могут быть разными; и даже пушкинское слово было для Жуковского слово человеческое, а не сакральное, стало быть, можно и «договорить» его, и «ответить» на него. С. Бочаров считает строку Жуковского равной по достоинству пушкинской — ибо ощущает единство *системы ценностей* двух поэтов, — а разницы нюансов (она огромна) готов вовсе не замечать. Почему?

Да потому, думаю, что на эстетику «золотого века», на его систему ценностей С. Бочаров смотрит несколько со стороны. В отстаивании же «координат» Блока и его эпохи он непримирим, они ему ближе. Отсюда у него и верховенство формулы «Цель поэзии — поэзия» (которая настолько «подошла» «серебряному веку», что этот век соотношение жизни и поэзии, действительное для «золотого», подверг инверсии в своих «жизнестроительных» целях).

Тут чистейшая идеология, оттого и мою критику Блока оппонент громит как «идеологическую» — в упор не замечая, что в моей статье вопрос о стихах Блока возникает в русле проблемы глубоко филологической — проблемы *сплошного контекста* как условия художественного совершенства.

С молодых лет я читаю стихи вслух (мне это необходимо, чтобы понять их и *изучать*). Еще не зная, что такое Причастие, а главное — читая Блока по советским изданиям, где слово «Тайнам» печаталось с маленькой буквы (что упраздняло игру слов), я тем не менее в финале всегда спотыкался на некой непреодолимой немузыкальности этого места.

И только недавно я впервые увидел текст с прописною буквой и понял, на чем споткнулась внутренняя музыка стихотворения.

С. Бочаров видит у меня «идейное» недовольство Блоком. Но если я чем и «недоволен», то не религиозной драмой Блока и его времени, что было бы пошло, а тем, что изумительное стихотворение могло быть таким до конца, но не стало: декларация из двух слов разрушила музыкальную сплошность поэтического контекста. По существу, Блок (в котором идейное начало было очень сильно) нарушил тот высший закон, что содержится в истине «Цель поэзии — поэзия»; это с ним бывало: «Блок... уступал стихии осознанно, „концептуально"», — так пишет в книге С. Бочаров. Уступил и здесь, уступил и «стихии», и «концепции».

Что до меня, то, принимая с благоговением все, что сказано Пушкиным о цели поэзии, я ориентируюсь все-таки прежде всего на менее популярное, чем слова 1825 года, позднее (1836) высказывание: «...цель художества есть и д е а л...» (XII, 70).

«И д е а л» тут невозможно ни отождествить с собственно «поэтическим» либо, скажем, нравственным, ни противоположить тому или другому; он ни то, ни другое в их отдельности, а — единство (да, да, истины, добра и красоты), та божественная целостность, которая оттого и «цель художества», что она *не есть его готовая данность.* Данностью «художества» являются данные Творцом *средства, свойства и условия* «художества» — среди которых и «высшее, свободное свойство поэзии не иметь никакой цели кроме самой себя» (XI, 201). И вот поэзия, не имеющая цели кроме самой себя — подобно стихии, подобно ветру, и орлу, и сердцу девы, которым нет закона, но данная существу, сотворенному по образу и подобию Бога свободным и у которого «дело закона написано в сердце» (Рим. 2: 15), — поэзия может, через данные ей средства, свойства и условия, если не достигнуть, то приобщиться Божественной целостности, тяготея к ней как к своему источнику, — может, когда того же жаждет человеческое сердце: Пушкина, скажем в нашем случае, или Достоевского. А если не жаждет, не страстно жаждет — или страстно жаждет, но чего-либо другого, — тогда поэзия свободна остаться в пределах *данности* своих свойств ветра и орла и может быть изумительной, как стихотворение Блока, и совершенной в меру данных ей условий, свойств и средств, — но все же не той, к какой иного эпитета, кроме «божественная», не подберешь. Потому что «праздничные формы жизни» — а высшее, божественное художество, о чем бы оно ни было, несомненно праздник — при всей своей свободе, «должны получить санкцию не из мира с р е д с т в и необходимых условий, а из мира в ы с ш и х ц е л е й человеческого существования, то есть из мира идеалов».

С. Бочаров должен бы тут протестовать против этой окаянной манеры «религиозной филологии» «трансцендировать... дальше и выше», — но «трансцендирует» здесь М. М. Бахтин, а цитирует его С. Бочаров в своей книге.

Но это попутно; главное в том, что «санкция», о которой говорит Бахтин, не может явиться сама собой, она должна быть востребована; она, как шестикрылый серафим, является в ответ на «духовную жажду». Жажда есть нужда, порой страдание; «праздник жизни» рождается на «пути жизни» (слова заглавия одной из статей книги «Сюжеты русской литературы»). А путь жизни требует труда души от творца, особенно — «на перепутье»; и не перепутье ли вся жизнь человека на земле, особенно если человеку много дано?

Собственно, это и есть главная тема моих занятий в последние годы: пушкинская поэзия как духовная биография поэта (что в письме «О чтении Пушкина» представлено как «концепция... прямой восходящей линии, с вершинами на пути и регулярными в промежутках между ними падениями»); процесс живых отношений смертного человека со своим бессмертным гением, сердца трепетного — с божественным, неизмерным, пылающим как угль даром: отношений, полных драм, нередко катастрофичных, потому что развиваются они между нераздельно-неслиянными сущностями, составляющими единую личность гения, который сам-то — всего лишь человек как мы все.

Оттого Пушкин и «поэт с историей», как гениально догадалась Цветаева (что́ бы она сама ни вкладывала в эти слова), что его жизнь есть история души, которая предчувствовала, а когда «развилась вполне» (XIII, 198, оригинал по-французски), то и убедилась, что на нее возложен такой дар, который невозможно оседлать. Это — путь того, что *дано,* к тому, что не дается, а *достигается:* часто ценой страдания и борьбы с собой (что, думаю, лично знакомо всем, в том числе и моему оппоненту); и это может услышать всякий, имеющий уши слышать не только «дивную гармонию», не только «волшебные звуки», но и «чувства» поэта, и его «думы».

Только все тем же внеконтекстным чтением и того несовершенного, что написано мной, и того совершенства, какое представляет пушкинская лирика, можно объяснить ту поразительную нечувствительность к совершающимся в этой лирике драмам, с какою С. Бочаров приписывает мне «идеологические» оценки, «подозрительность» в анализе, «моральные» претензии к поэту («О чтении Пушкина»). «Невыдержанное написал он стихотворение после „Пророка"...» — было едко брошено в письме по поводу моего анализа стихотворения «Дар напрасный...»; «„Дар напрасный..." пушкинский не раз огорчал В. Непомнящего...» — повторено в постскриптуме. Уж лучше бы мой критик возмутился тем, как я крайне нефилологично пытаюсь влезть в шкуру поэта, расслышать его собственные «претензии» к себе, волшебно воплощаемые «в союзе... звуков, чувств и дум». Но чтобы увидеть это, надо как минимум принять, что Пушкин не только *поет,* что он еще имеет обыкновение *думать,* о чем поет. «J'écris et je pense», я пишу и размышляю (XIII, 198), говорил он о работе над «Годуновым», описывая дальше, как порой пропускает сцены, требующие вдохновения; и в лирике ему требовалось размышление — может, оттого и откладывал он иногда лирические замыслы «на потом», как это было со смертью Геракла (перерыв в десять лет) или «Бесами» (перерыв в год). Конечно, это мало похоже на «природу лирики» в догматическом представлении. Стихотворение Пушкина — не «моментальный» слепок готовой «правды поэта» (ценность «серебряного века»), не новое «мгновение» прогулки по садам «своего мира», но тоже «история», переживание *мира общего,* живое и становящееся: с Пушкиным на протяжении стихов *что-то происходит* — это преображение, в предельной своей и символической сущности, служит, кстати, сюжетом «Пророка».

Мой анализ стихотворения о бессоннице С. Бочаров называет «придуманным» и «искусственным», заявляя, что его «нельзя подтвердить на тексте стихотворения». Конечно, нельзя — если читать этот анализ скользящим взглядом, не видя у меня *процесса поисков,* который идет рядом с разбором «Домика в Коломне»; если оставить от процесса примитивно сформулированный результат, неузнаваемо извращающий и плоть, и дух моего текста; конечно, нельзя, если и сами пушкинские стихи принять не как процесс, в самом решительном месте оборванный, а как «моментальную» голограмму, в готовом виде упавшую на бумагу, ни из чего в опыте автора не вытекающую и ни к чему не ведущую; если, наконец, не принимать во внимание глубокую «инфраструктуру» — черновые варианты, на которые я опираюсь и которые есть поистине «история» в цветаевском смысле. Из них видно, как поэт отважно пошел навстречу искушению «духа времени» (по замечанию Б. М. Цейтлина) — того самого духа секуляризации и материализма, для которого нет в бытии ничего, кроме «горизонтали», «материи», «природы», и само бытие возникает без наития вертикали духа, тех сфер, где «Вечности бессмертный трепет», «Топ небесного коня», — сфер, вначале возникших в черновике, а в беловом тексте устраненных, как если бы они не существовали вовсе.

Что же «придуманного», «искусственного» в таком, как я условно выразился, эксперименте, — пусть задолго до Достоевского и даже до Блока (с его сознанием бессмысленности молитвы)? Ведь Пушкин уже и «Анчар» написал, мир которого построен на одной только материи, то бишь «природе» («жаждущих степей»); и о «равнодушной природе» сказал — словно в прямой спор с

будущим тютчевским «Не то, что мните вы, природа». И не в родстве разве этот «опыт» с «ахинеей» Ивана Карамазова, и не того же ли порядка вопрос, как и тот, на который положительный ответ передает со слов Петруши Федька Каторжный: «Говорят, что все одна природа устроила...» — каковой ответ в XX веке научно обоснует академик Опарин?

Все это не так уж трудно, при внимательном чтении, увидеть, но мой оппонент не видит. Для меня лирика Пушкина есть *путь,* для С. Бочарова любая лирика, в том числе и пушкинская, — преимущественно *«объем»*. «Путь» для моего оппонента понятие «идеологическое», а «объем» — поэтическое. Видя в лирике Пушкина «путь», я «придумал» свое понимание стихов о бессоннице: для того, чтобы это стихотворение, как пишет С. Бочаров, «о п р а в д а т ь... Чтобы не было на пути поэта нового „Дара напрасного..." ...Навести порядок в картине пушкинской лирики...». А на самом-то, мол, деле «новый „Дар напрасный..."» все-таки был, состоялся: в стихах о бессоннице, говорит мой критик, заключено обращение «к той же жизни», что и в «Даре...».

Тут кстати приходится правка Жуковского, которая так по душе моему оппоненту. Жуковский заменил вопросительное, требовательное и тревожное «Смысла я в тебе ищу...» утвердительным, примирительным, *побежденным* «Темный твой язык учу...». В итоге выходит: с одной стороны, в «болдинских ночных стихах» жизнь — как и в «Даре...» («Цели нет передо мною») — напрасна, случайна, бессмысленна, бесцельна, а с другой — язык ее темный необходимо «учить»: жить-то надо! Таким образом, все сходится: мировоззрение поэта остается тем же, «что и двумя годами прежде, в мрачном тоже стихотворении», взгляд поэта на жизнь («правда поэта») — тоже, идея «пути» дезавуирована, а витальный «объем» возрастает.

По-земному это очень понятно, по-житейски здраво, нет ни особых духовных драм, ни «метафизических заглядов»: «объем» — понятие, в общем, довольно благополучное, обязательств не налагающее, удобное и даже, я бы сказал, уютное — не то что «путь».

С. Бочаров считает мою «картину» стихотворения «упрощенной» и «решенной», мой подход к Пушкину — игнорирующим, если не упраздняющим, свободу «творчества на свой страх и риск» («риск» — одно из излюбленных понятий моего оппонента); но, выходит, если у кого «картина» и «решенная», и «риска» лишенная, то как раз у моего критика. Настоящая «нерешенность» и рискованность у Пушкина — в моем понимании. Здесь, в этих бессонных стихах, поэт отчаянно и безоглядно ступил по пути сомнения *дальше,* чем в «Даре...», глядя прямо в лицо «духу времени», эпохе будущих Петь и прочих «научных» атеистов, — как дон Гуан в лицо Командору, как Вальсингам в лицо Чуме. Пошел, но, в отличие от своих героев, вопросом и ограничился: руки не дал, гимна не спел, стихи вопросом оборвал. И не из трусости или оттого, что задумался и «решил» («Результат оказывается в отсутствии результата», — сказано у меня), а — гений ему подсказал: *тут нет никого и ничего,* тут фантастическое пространство (а в него и кинулось потом просвещенное человечество), тут *дно* — но не «дно бытия», как всуе сказано С. Бочаровым, а дно в смысле *падения* духа («Мой падший дух...» — говорит Вальсингам) и помрачения человеческого разума. Остается оттолкнуться от этого дна, если хочешь жить — то есть мыслить и страдать. Оттолкнуться — значит поверить, признать, что все то, к чему обращены вопросы поэта: и шепот, и ропот, и лепетанье, и трепетанье, и мышья беготня, — все это не только одухотворено, но и существует-то лишь тем и оттого, что есть «Вечности бессмертный трепет»; или, словами одного из персонажей болдинской осени, «правда на земле» есть только потому, что есть она и «выше».

Только вот как бы объяснить моему оппоненту с его пониманием «природы лирики» Пушкина как «моментального» акта, что все описанное есть не «решение», якобы придуманное мною Пушкину, а *чувство,* скорее даже *предчувствие,* поэта; не *результат,* грубо выведенный С. Бочаровым, а сплошной *процесс?* Отсюда и внимание мое к черновым вариантам — *внутреннему кон-*

тексту этого процесса, и к «Домику в Коломне» — его ближайшему *внешнему контексту*. Стихотворение с его сомненно-вопросительным финалом — только фрагмент процесса, обрыв, пауза сомнения и надежды, разрешающаяся в «Домике в Коломне». С. Бочаров не затронул ни того, ни другого контекста, он читает мою «картину» в своих статичных координатах, отчего она — говоря его же словами о полемике К. Леонтьева с Достоевским — «лишается динамических свойств и обращается в статическую фигуру».

Напрашивается обобщение. Для меня христианский подход к слову (к искусству; к миру; к жизни) есть подход *контекстуальный* (об этом я и писал в той статье, из которой С. Бочаров выбрал фрагменты для критики). Если это так, то подход, противополагаемый христианскому, есть подход *внеконтекстный*. Нисколько не посягая на общемировоззренческое определение позиции моего критика, я вынужден констатировать: теоретически ниспровергая то, что названо «религиозной филологией», С. Бочаров в критической практике демонстрирует соответствующий, то есть противоположный «религиозному», внеконтекстный метод чтения. Все показанные здесь (и оставшиеся за пределами данной редакции работы) неувязки, некорректности в прочтении, толковании, цитировании и проч. имеют один источник: мой оппонент игнорирует то, что игнорированию не подлежит, а главное, не поддается; дыша в воде, как на воздухе, начинаешь захлебываться. Там, где С. Бочаров видит у Пушкина «мгновение», на самом деле гигантский контекст, из которого я и исхожу: черновые варианты — стихотворение — «Домик в Коломне» — болдинская осень — весь путь Пушкина — наконец, сама жизнь, история, с ее непостижными уму «проклятыми» вопросами, которые никаким «объемом» не ухватишь, «объектом» изучения не сделаешь, которые «изучаются» только в *переживании* их, в *сопереживании* с поэтом, и не в парении интеллекта, а ползком по собственному пути. Это такой контекст, такой «объем», в который мы сами вписаны, и там нет «объектов», сплошная субъектность, все связано с нами, связано сплошь: как в чеховском «Студенте» сидящие ночью у костра связаны с тем, что было у другого костра две тысячи лет назад.

Необыкновенно важная формулировка проблемы контекста в ее абсолютном филологическом плане содержится в книге «Сюжеты русской литературы». Это слова М. М. Бахтина про собственную его книгу о Достоевском: «Это все в имманентном кругу литературоведения, а должен быть выход к мирам иным».

А мы из того и бьемся (XI, 164).

«Да, так мы не думали. Мы читали и перечитывали эти страницы „Бедных людей" и думали, что же это такое? Потому что предчувствовали. Потому что не верили скромности этого эпизода — его общеизвестности, его зачитанности не верили. И набрели на других страницах романа на стыд, „примером сказать, девический". И — открылось: горизонт открылся. Оказалось: эпизод с горизонтом, вот с таким горизонтом. Верно ли открылось, так ли? — пусть читатель судит. Мы же лишь растерянно повторяем вместе с героем битовского рассказа: а это, оказывается, вот что».

Это удивительное, почти до детскости простодушное, радостно-изумленное (вроде «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!») и в то же время щемящее признание — финал самой, может быть, вдохновенной из составивших книгу «Сюжеты русской литературы» статей: «Холод, стыд и свобода»; она же — одна из выдающихся работ современного литературоведения также и по своей, не побоюсь сухого слова, дельности.

Посвящена статья тому эпизоду романа Достоевского, «где автор заставил своего бедного героя читать подряд „Станционного смотрителя" и „Шинель" и высказываться об этих произведениях»; «прочтение этого эпизода можно уподобить расщеплению ядра с высвобождением неподозревавшейся смысловой энергии», — пишет С. Бочаров, и оно приводит его в сферы, где мерцает «нечто вроде глубинного мифа русской литературы», в котором в свою очередь

скрыты «очертания иного — общечеловеческого вечного мифа». Тем самым работа эта открывает большие возможности для изучения как раз того духовного и ментального «своеобразия русской литературы», о котором говорилось выше, на первых моих страницах.

Здесь не место, по жанру, рассыпаться в восхищениях, разбирая или просто пересказывая ход аналитической мысли в этом шедевре моего супостата; придется, в нарушение известного правила критики, сказать не только (может быть, и не столько) о том, что есть в статье, но и о том, чего в ней нет; это имеет отношение к нашей теме.

«Холод, стыд и свобода» — завидное название. Красота — форма истины, когда красота неподдельна: название содержит в себе некоторые истинные «параметры», атрибуты, условия той «русской духовности», что воплотилась в русской культуре, в нашем случае — литературной классике.

Я не пеняю автору статьи на отсутствие разработки всего экзистенциально-национально-религиозного массива темы, обозначившейся у него этими понятиями: цель у автора своя. Его тема локальнее и филологичнее: он рассматривает — отталкиваясь от названного эпизода «Бедных людей» — «миф русской литературы, творимый литературой нового века», о Пушкине как «потерянном рае» русской литературы, об искусительной, «отрицательной», «дьявольской» роли Гоголя в ней и «восстановительной» — с помощью Гоголя же, читаемого Макаром Девушкиным, — роли Достоевского. «Гоголевское „отрицание", — пишет С. Бочаров, — с последующим „восстановлением" Достоевского в телеологии русской литературы образовало ее магистральный путь». Рассмотрение это складывается в сложный, тонкий и захватывающий сюжет, разворачивающийся на фоне и в координатах «родоначального в Священной истории человечества события грехопадения».

Это событие, пишет С. Бочаров, в «философской ситуации» начала века, когда возникла задача «понять смысл русской литературы во вселенском религиозно-мифологическом горизонте», обрело *«неожиданную актуализацию*... особенно *облюбовал* его Розанов, отличавшийся чуткостью к ветхозаветным темам».

Я нарочно здесь кое-что выделил курсивом, чтобы подчеркнуть некоторую странность в выражениях автора и некоторую свою растерянность. «Неожиданная актуализация», «облюбовал» — так вчуже можно было бы сказать о какой-нибудь экзотической диковине («ретро», выражаясь по-нынешнему), давно утратившей смысл и назначение, а вот вдруг явившейся из забвения и даже кому-то особо полюбившейся. Между тем речь идет не о чем-нибудь — о *событии грехопадения*. Надо сказать, автор статьи немало делает для того, чтобы у читателя создалось впечатление, что это событие, его роль в истории и культуре, — для самого автора вещь едва ли не новооткрытая — и, как оказалось, очень любопытная. Оказалось: «...в событии грехопадения, *говорит современный истолкователь*, были заложены вообще истоки ситуации, в которую поставлен человек на земле». Оказалось: «Живая душа человека раздвоена по вертикали и, действуя в реальной жизни по назначениям нефеш, человек способен обозревать себя „глазами" нешама, судить себя с высшей точки зрения в себе, испытывать муки совести и стыда за себя, переживать идеал и каяться сам перед собою», — это тоже объясняет «современный истолкователь», на которого С. Бочаров ссылается словно на новейший источник, «на все проливающий свет».

Я не хочу сказать ничего дурного о книге Б. Бермана «Библейские смыслы», это, вероятно, книга очень полезная в условиях нашей темноты: она не открывает, она напоминает то, что известно на Руси тысячу лет не как мифологема, а как правда жизни, что тысячу лет говорят с амвонов «простому народу» батюшки и на чем примерно столько же времени, по крайней мере с Иларионова «Слова...», стоит русская литература, наиболее наглядно представительствующая перед миром от лица «русской духовности»; это *азы* русской духовности, давшей русскую классику, те азы, с которых начинают преподавать детям Закон Божий. На этих азах стоит мое понимание Пушкина (что

можно видеть по работам последнего времени); отсюда важнейшая для меня коллизия *поэт и его гений*, отражающая универсальную коллизию «раздвоенности по вертикали»: *человек и образ Божий в нем*, — и послужившая основой анализа и элегии «Под небом голубым...», и стихотворения Блока, и в конечном счете стихов о бессоннице. Быть может, мой критик лучше понял бы меня, если бы я излагал свое понимание просто на другом (более авторитетном?) языке, где, предположим, на месте *образа Божия* был *нешам*, а тема *поэт и его гений* рассматривалась бы в терминах *нефеш и нешам*, с соответствующей ссылкой? Но материал на тему грехопадения — как начала и одновременно алгоритма человеческой истории (непрестанно это событие возобновляющей), — а также на тему взаимоотношений «небесного» и «земного» в человеке, идеального и натурального в нем, я почерпнул, помимо первоисточника, *непосредственно из русской классики,* прежде всего из Пушкина: интересующемуся это доступно; и немалая нужна дистанция между этим материалом и исследователем, чтобы последнему для осмысления элементарных библейско-евангельских основ русской литературы понадобилось обращаться к «современному истолкователю» «библейских смыслов».

Наличие этой дистанции, думаю, и объясняет тот факт, что опыт статьи «Холод, стыд и свобода» (имеющей подзаголовок «История литературы sub specie Священной истории») никак не сказался на постскриптуме «О религиозной филологии». Сыграла, может быть, роль и та дистанция, на которую в этой этапной работе отнесен Пушкин, не вошедший в «горизонт», что «открылся» автору, а оставшийся на периферии в качестве «потерянного рая» русской литературы (Розанов) Это сужение контекста можно понять в пределах задачи автора, но отсюда происходят обидные потери: от отсутствия глубокого «загляда» в «Станционного смотрителя» (великолепные отдельные наблюдения касательно его заставляют особенно об этом жалеть) до всего лишь, казалось бы, детали, но — значения неоценимого.

Из тех финальных строк статьи, что приведены нами выше, ясно, что роль последнего кристалла, брошенного в раствор, сыграла тема стыда «примером сказать, девического» (откуда С. Бочаровым выводится и значащая фамилия Макара Алексеевича Девушкина). Но ведь это — прямо из Пушкина. Из предисловия к «Повестям Белкина», где об Иване Петровиче говорится: «стыдливость была в нем истинно девическая» (VIII, 61). Это что-нибудь да значит в экзистенциально-русском контексте проблемы, необходимо и объективно вмещающем Пушкина; но этот *исток* оказывается вне поля зрения автора, будучи между тем бесконечно важным для характеристики всей великой русской классики. «Целомудрие как эстетический принцип» — название статьи О. Поволоцкой о «Повестях Белкина»[9] (эпиграфом к которой и взяты слова о «девической» стыдливости) могло бы определять одно из коренных начал нашей классики в целом, положенное Пушкиным.

Возможность «крупного взгляда» (выражение С. Бочарова) на эти коренные начала, можно сказать, так и рвется в его статью, возникая порою с большой пронзительностью. С. Бочаров был в одном шаге от того, чтобы на основе своей масштабно и виртуозно разработанной темы сформулировать «имплицитный» религиозный пафос русской литературы, ее «национальное своеобразие» среди других литератур Нового времени.

Впрочем, он этот пафос и определил — только отнес его лишь к Гоголю (у которого он и в самом деле выступил в страшной остроте). Сказано это так: Гоголь ставит «земное существование падшего человека» на «очную ставку с абсолютными его пределами, с которыми оно потеряло связь, с первым и последним актами всемирной драмы» — грехопадением и Страшным Судом.

Это, повторяю, сказано о Гоголе, но здесь — *стержень и русской духовности, и русской литературы* (и вот откуда гигантская роль Гоголя, *оголившего* —

---

[9] «Московский пушкинист» Вып VIII М., 2000 (в печати)

см. С. Бочарова — этот стержень). Пусть это, говоря словами автора, «грубый контур, кажется, не вмещающий» всей «живой конкретности текстов» (и жизненных проявлений), — но все же русская картина мира в целом своем покоится — невзирая на все наши идеологические и духовные катаклизмы, уклонения и падения — на глубоком до полузабвения знании о том, что история рода человеческого началась с греха и полна греха, что это *история падшего мира*, но что человек предназначен для иного и что «душа человека раздвоена» со времени грехопадения на «земное», падшее, и «небесное», идеальное; что истинная жизнь — не здесь, не в «мире *мнимых значений*» (ср. у С. Бочарова: «Акакий Акакиевич... прошел свое грехопадение и вступил на путь приобщения к миру мнимых значений»); и что за все деяния, в том числе и в слове, надо будет дать ответ перед той, истинной, Жизнью.

От этого знания, в котором исповедание отцов то ли совпало с русской ментальностью, то ли оформило ее, — все духовное величие и вся земная неустроенность, неумение наше «воплотиться», как пишет С. Бочаров о герое Гоголя, «в формы мира» (сегодня говорим — «цивилизованного мира»), все крайности наши в обе, во все стороны, все метания от «духов небесных» к «отуманенности грешною мыслию»[10] и обратно, все непрестанные, часто до уродливости (а то и до святости), отношения с «зеркалом» совести. И на этом знании, что мир наш — падший, стоит «своеобразие» русской духовности с ее отсчетом ценностей от идеала, от неба — тогда как в остальном христианском мире действителен в основном отсчет от интереса, от земли, событие грехопадения осталось в церковной догматике, а практика нацелена к возобновлению, реконструкции Рая на земле — *как будто ничего не случилось.*

«Крупный взгляд» на русскую литературу в таком контексте требует той зоркости и тонкости, того мягкого и смелого ведения филологической мысли, какие свойственны С. Бочарову в статье «Холод, стыд и свобода»; тогда как моя манера порой и в самом деле бывает «грубовата». Но и тонкость — вещь не универсальная (Пушкин, как мы помним, к «тонкости» относился порой сдержанно: XI, 55 — 56), без прямоты иной раз не обойдешься, бывает нужно и «голое» слово (о котором немало сказано С. Бочаровым в статье). И вот та дистанция, которую положил С. Бочаров между собою и непосредственно религиозной материей своей проблемы — темой падшего мира (переведенной им в тему «мифа», в исключительно литературный план), — явила ощутимый пробел в созданной им впечатляющей картине. Речь идет о гоголевском смехе.

Он, конечно, в статье упоминается, но как-то проскоком, его не к чему особенно «подключить» в концепции, кроме как к темам «стыда» и «одежды», «кривой рожи и наготы человека»: верно, но по касательной. Между тем, читая цитируемые С. Бочаровым слова Достоевского о «двух демонах» русской литературы, один из которых «все смеялся», напомню автору пушкинский набросок (1821) «Вдали тех пропастей глубоких...», где на отрывочно намеченном фоне ада «Ужасный Сатана хохочет» и который, по всей вероятности, связан с традиционным христианским представлением о «всесмехливом аде» (в то время как Христос никогда не смеется). «Сатана хохочет» потому, что *падший мир смешон — ибо он есть профанация Божьего замысла о мире;* Сатана хохочет над «кривой рожей» совращенного, соблазненного им человеческого мира.

Эта основа гоголевского юмора — конечно, только исходный момент, от которого тема простирается неимоверно далеко; в ней огромная глубина и сложнейшая диалектика; но без этого исходного момента, может быть, ключевого для понимания проблемы Гоголя и его роли в русской литературе, в статье о «телеологии русской литературы» образуется дыра, зона умолчания — не знаю отчего: от робости — не очень, впрочем, свойственной автору — или от

---

[10] Слова Достоевского в цитации С. Бочарова.

обезболивающей осторожности. Ведь перед смехом мы все беззащитны; а смешны все, и каждый знает про себя — чем.

Умолчание увеличивает дистанцию между автором и его материалом, то бишь между «субъектом» и «объектом», отдаляя и слегка затуманивая тот «горизонт», что «открылся» и о котором сказано в лирическом заключении статьи. «...А это, оказывается, вот что», — говорится там.

«Это концовка рассказа молодого Андрея Битова, — поясняет автор, — и какое имеет она отношение к нашему сюжету? Но почему-то вспоминается».

Инфантьев похоронил жену. И происходит что-то странное: она иногда появляется. «Но Инфантьев как-то странно чувствует, что все нормально, естественно и что в то же время не может быть, все это невозможно, чтобы было еще какое-то „там"».

На кладбище он встречает женщину, приходящую на могилу мужа; она с мужем тоже «общается»: «Он мне помолчит — и мне легче».

«— Вы, наверно, и в Бога верите? — шепотом спросил Инфантьев и осторожно взглянул на голубой купол...

— Да нет, — сказала она. — Я там и не была никогда. — И тоже взглянула на купол.

— Я был. — Инфантьев вздохнул. — Случайно...

— Они живые, конечно, — сказала женщина. — Иначе как бы мы с ними разговаривали?

— Я как-то так не догадался рассудить, — пораженный, протянул Инфантьев.

— Он даже приходит ко мне...

— И к вам?! — воскликнул Инфантьев.

.....

«Да, так я не думал, — повторял Инфантьев. — Я думал, что это такое? А это, оказывается, вот что».

Этой последней фразой заключение статьи и открывается, и завершается; за нею — весь рассказ: и разговор на кладбище, и герой, советский «итээр» (подумавший, очутившись «случайно» в церкви, что никогда *«не был внутри»*) с фамилией то ли царственной, то ли священнической, но все равно детской; герой, впервые заглянувший, в сердце своем и уме, в *самый большой контекст.*

Что бы он делал, если бы был филологом?

Почувствовал ли бы, что за колоссальная творческая сила таится там, где «выход к мирам иным» (М. Бахтин)? что именно она, даже и на приличной филологической дистанции, дает то счастье открытия, которое продиктовало благоговейный восторг финала статьи С. Бочарова? Ветер, доносящийся оттуда, дует в паруса исследовательской мысли, вращает крылья ее мельницы; но приближаться к этому «выходу» исследователь избегает (такие «загляды», такой «риск» не в его правилах), а главное — другим не велит.

«Розанов, — пишет С. Бочаров, — создал миф о Пушкине как потерянном рае нашей литературы... „Если „с Пушкиным" — то д в и ж е н и ю и п е р е м е н е неоткуда взяться", — цитирует он, — зачем движение, если рай?»

Даже на Розанова с его отважным, живым и неготовым знанием век наложил здесь свою печать. Как будто «мудрости века сего» вполне известно все: и что такое рай (то, чего, по апостолу, — «не видел... глаз, не слышало ухо, и не приходило... на сердце человеку...» — I Кор. 2: 9), и что в раю происходит — или не происходит, — и чем этот рай напоминает Пушкина. И о Пушкине тоже все известно: что в нем заведомо нет ни «движения», ни «перемены», нет «истории», увиденной в нем младшей современницей Розанова Цветаевой, одним словом — нет жизни; одна «дивная гармония», сиречь — «рай».

Да сама-то «гармония» — что она такое? И почему именно у Пушкина она так неслыханна, так вездесуща, так тотальна?

«Цель художества есть идеал». Он не сказал: цель художества есть *истина;* или что она есть *добро;* или, наконец, что — *красота.* Сказал: *идеал.* То есть целостность *всего* того, что выразимо на нашем языке как конечная цель устремлений человеческого духа. Прекрасна истина, и прекрасно добро, и красота прекрасна; но *целого* не заменит ни одно из этих трех, мыслимое в отдельности от их единства. Однако в случае искусства, художества именно это происходит — в нашем сознании — относительно красоты. Будучи наиболее явленным предметом искусства (как в науке — истина, в практике жизни — добро), красота часто заслоняет для нас все — и все искусство слова, в первую очередь поэзия, подводится под «рубрику» красоты, и получается и недобро, и неистинно; так примитивный социологизм советского литературоведения украшался декларациями примитивного же эстетизма.

В прозе положение «легче»: в ней «красота» не так выступает на первый план, как в поэзии. И в прозе С. Бочаров — как рыба в воде: ему «красота» тут не мешает. А в поэзии — мешает, оглушает дивной гармонией, не дает услышать — *что там в ней,* какие струны ее издают, чему мы этою гармонией обязаны.

И выходит большая *филологическая дистанция:* главное — не человеческое переживание и человеческий голос поэта, а лирическая *тема.*

И при этом в конце постскриптума заявляется: «Только не открывается глазам друзей Иова поэзия»...

Друзья Иова называются «благочестивыми» (эпитет нелестный в устах С. Бочарова). Словно за благочестие Господь прикрикнул на них — а не за то, что *не вникли они в смысл* речей Иова, что *не сопережили с ним* то, о чем он вопиял.

Я не против дистанции, во многих случаях и при определенных целях без нее обойтись нельзя — как и без широких *«горизонтов».* Но без глубин сочувствия слову поэта — зачем лирика?

В книге «Стихотворная поэтика Пушкина» наш общий друг Юрий Чумаков, сетуя — по поводу моих работ об Онегине (оцениваемых им в остальном высоко) — на «внутреннюю взвинченность нашей культуры», предпочитает то, что «звучит гораздо спокойнее», — «дистанционное прочтение западных пушкинистов». То есть — их подход к Пушкину как научному «объекту». Не отвергая опыта западных пушкинистов, у которых немало специфически ценного (в том числе по причине взгляда совсем уж со стороны, что бывает и полезно), а осмысляя собственный подход, не западный и не спокойный, я не могу не быть благодарен С. Бочарову за напоминание слов из «Авторской исповеди» Гоголя:

«Нужно, чтобы русской читатель действительно почувствовал, что выведенное лицо (в случае лирики это, стало быть, сам поэт. — *В. Н.*) взято из того самого тела, с которого создан и он сам, что это живое и его собственное тело».

Не зря говорится именно о русском читателе и, значит, о русском писателе (поэте). Россия, говорит Гоголь, «сильнее слышит Божью руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближение иного Царствия». А сбывается в ней, в общем, то же, что со всем человечеством, с тою лишь разницей, что человечество в большинстве своем живет так, *будто ничего не случилось,* а Россия еще не совсем забыла, что — *случилось.* Все мы платим за жизнь дорогую цену, только Россия «сильнее слышит» это, и ее поэзия тоже. Поэтому высокой ценой оплачиваются те «самые формулы мыслей и чувств», которые, по Островскому, дает нам Пушкин: формулы наших мыслей и наших чувств, только возведенные, как говорили когда-то, в перл создания. «Нам музы дорого таланты продают!» — сказал Батюшков о поэтах. И в эту цену, сверх общей, входит у Пушкина, как я писал когда-то, нечто вроде муки царя Мидаса, от прикосновения которого и хлеб и вода обращались в золото; а Пушкин был человек как и мы. Мы же думаем, что имеем дело с готовым золотом, наслаждаемся готовым божественным благоуханием. Кому-то из специалистов по поэзии и ее целям под силу обонять его, не задаваясь вопросом, «какие вещества перего-

рели в груди поэта затем, чтобы издать это благоухание» (Гоголь); мне — нет. Вот друзья Иова говорили «дистанционно», «гораздо спокойнее», без особой «взвинченности».

Может быть, Пушкин — и «рай», хотя бы по нашим земным понятиям; наверное, так. Но должны же мы отдавать себе отчет — как и какими трудами, какою «силою берется» (Мф. 11: 12) рай; это же всех нас касается. Ведь не ради Александра Македонского с его пернатым шлемом совершается, в конце концов, история.

Розанов признавался, что он Пушкина *ел*. И прекрасно, и на здоровье. Но Розанов, думаю, понимал, что — да простит мне Бог продолжение розановского сравнения Пушкина с раем — только малый ребенок охотно глотает Причастие лишь потому, что вкусно.

Одно из самых больших достижений С. Бочарова не только в статье «Холод, стыд и свобода», но, может быть, во всей его книге — то, как он показал в Макаре Девушкине пример *экзистенциального переживания онтологии* мира и человека; это ведь и есть квинтэссенция и метода и пафоса великой русской классики. О таком переживании и говорит Гоголь в приведенных выше словах о «русском читателе». Эти слова цитируются С. Бочаровым как раз в связи с героем «Бедных людей», которому Достоевский «доверил» свой «взгляд на путь литературы» — доверил как «примитивному читателю, но которого можно также назвать экзистенциальным читателем, такому читателю, который видит себя героем читаемых произведений, узнает себя в них и откликается... всем своим человеческим существом».

Я готов применить к себе как исследователю Пушкина такое определение. Добавив, впрочем, что подобный читатель, как пишет дальше автор, делает («сообща» с «гениальным читателем» Достоевским) «свое великое дело прочтения метатекста литературы и построения ее драматического сюжета».

То есть — «примитивный читатель», он же «экзистенциальный читатель», делает *дело филологии* — как такой науки, которая самоназвалась любовью к Логосу. А такое дело есть, на русской почве, дело христианское — и в наше время отчаянно необходимое. Это стало мне видно с помощью С. Бочарова.

Тут и вспомнилось «коромысло» из рассуждения С. Бочарова о «Карамазовых» (см. статью «Праздник жизни и путь жизни» в книге «Сюжеты русской литературы») с его, коромысла, двумя плечами; хромает аналогия, но все же... Несмотря ни на что, хотелось бы думать, что в конечном счете мы с Сергеем Бочаровым делаем одно дело — с «двух концов»; однако коромысло — длинное... Следить за равновесием, конечно, нужно — чтобы не занесло. Только под руку бы не толкать.

ОПЫТЫ

СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ

*

В РУССКОМ ЖАНРЕ-18

Веселые все же люди были передвижники: «Привал арестантов», «Проводы покойника», «Утопленница», «Неутешное горе», «Больной музыкант», «Последняя весна», «Осужденный», «Узник», «Без кормильца», «Возвращение с похорон», «Заключенный», «Арест пропагандиста», «Утро стрелецкой казни», «Панихида», «У больного товарища», «Раненый рабочий», «В коридоре окружного суда», «Смерть переселенца», «Больной художник», «Умирающая», «Порка», «Жертва фанатизма», «У больного учителя».

Первую книгу мемуаров Шаляпина «Страницы из моей жизни» писал Горький (они потом уже в эмиграции с гонорарами разобраться не могли), вторую же — «Маска и душа» — он сам, и насколько же она богаче, ярче, самобытнее первой. Не потому, что Шаляпин был как литератор талантливее, а потому, что Горький, исполняя роль не то записывателя, не то сочинителя, смешивал себя и автора, к тому же навязывая Ф. И. собственный тогдашний «прогрессизм».

С каким упоением исполнял Федор Иванович то и дело «Дубинушку», и как крепко ударила эта самая дубинушка по нему. Горький же, будучи немалым и циничным юмористом, описывая уже в 1928 году события года 1905-го, он, вовлекший друга Федю в революционные сферы и настроения, потешался:

«На цар-ря, на господ
Он поднимет с р-размаха дубину!

— Э-эх, — рявкнули господа: — Дубинушка — ухнем!» *(«Жизнь Клима Самгина»).*

Каких только Лениных не наплодили советские мастера кисти и резца, жаль, что почти все это сгинуло и сгнило. Помню, в клубе автоколонны г. Яранска Кировской области снятый по причине ремонта помещения со стены Ильич лежал на диване: фанерный, с негнущимися плоскими руками в карманах негнущихся плоских брюк, в плоских, одномерных ботиночках. А во дворе Саратовской табачной фабрики в унылом производственном пейзаже Ленин возникал вдруг в совершенно свадебном обличье: густо-черном костюме с белоснежным платочком в кармашке, похожим на хризантему; рожица задорная, кулачок воздет над головою, так и кажется, что прокричит: «Горько!»

Боровиков Сергей Григорьевич — критик, эссеист, главный редактор саратовского журнала «Волга». Его многочастный цикл «В русском жанре» печатался в журналах «Новый мир», «Волга», «Знамя», вышел отдельной книгой (Саратов, Издательский дом «Пароход», 1999; см. рецензию Дмитрия Шеварова — «Новый мир», 1999, № 11). Вниманию читателей предлагается новая, восемнадцатая по общему счету и четвертая по новомирскому, порция своеобразной эссеистики Сергея Боровикова.

«...шершавым языком плаката», оказывается, не изобретено Маяковским, а было если не ходячим, то общеупотребительным. «Шершавым газетным языком повествуют о произволе...» — писал еще в 1905 году Борис Садовской в журнале «Весы».

Самые откровенные письма (не по фактам, а по степени открытости, доходящей до откровения) читать более неловко, чем даже узнавать из тех же писем что-то не предназначенное для стороннего читателя. Попытка письменного соединения душ противоречит неким правилам, которые, наряду с литературными жанрами, имеет и эпистолярный, коли письма публикуются.

Переписка Пастернака с Цветаевой, где она словно бы электризует своей взвинченностью чувств адресата, не помогает мне понять поэта, но уводит от него в сторону.

«Жизнь есть упускаемая и упущенная возможность», — записал Андрей Платонов, а вот английский текст, который на первый взгляд может быть лишь советского происхождения: today is the tomorrow you were promised yesterday (сегодня — это завтра, которое вам обещали вчера). Это название полотна английского художника, изображающего убийственно унылое предместье Лондона.

Я очень люблю поэзию Евгения Рейна. Его близость Некрасову, как никакого из современных поэтов, точнее, единственного из современных поэтов, для меня столь очевидная, скажи я об этом, вызывает даже не удивление, а ироническое, заведомое неприятие. Твардовский — Некрасов, дескать, само собою, но Рейн!

Из книги Рейна «Мне скучно без Довлатова» выписал два замечательных примера его невероятно буквальной непосредственности в поэзии, два его самопризнания.

«Я повел его на Неглинку в армянский ресторан „Арарат". То, что произошло там, я уже описал в стихах. (Читайте в этой же книге поэму „Арарат")».

«И я пошел смотреть „Мальтийского сокола". (Мою поэму „Мальтийский сокол" можно прочесть в этой книге.)»

А? Ну кто еще из наших поэтов этак может отсылать?

У слова «зависть» нет синонима. Я, во всяком случае, не нашел его ни в голове своей, ни в словарях.

«Сия брошюра предназначена не для всех, а для духовно болящих и имеющих большую нужду в лечении и душевном врачестве <...> При невозможности совершения такой исповеди разом (из-за большого количества грехов) можно исповедоваться постепенно одному священнику по 20 — 40 грехов в один раз (прием), распределив все свои грехи».

Приводятся примеры исповедуемых грехов.

«Использовала в пищу приправу».

«Согрешала гортанобесием, т. е. держанием с услаждением во рту вкусной пищи».

«Ходила в воскресные дни в лес за грибами и ягодами».

«Мочилась при посторонних мужчинах и шутила по этому поводу».

«Имела союз с нечестивыми».

«Работала парикмахером».

Брошюра «Лекарство от греха» издана Саратовским Свято-Алексеевским женским монастырем. Издание осуществлено при содействии православного фонда «Благовест». Саратов, 1996, 4 п. л. Тираж 15 000.

«По горной кремнистой дороге / Скакал он в драгунском седле, / И пасмурный демон тревоги / Предгрозьем давил на отроги, / Печаль предвещая земле. // Давило на сердце поэта / Не бурей мятежных идей, / А злобою высшего света / И завистью мнимых друзей. // И были беспомощны рядом / Его секундант и денщик, / А душу щемила досада / На мелочность глупых интриг. // Решительно встал он у кручи. / — Стреляться? Ну что ж, так и быть. / И выстрелил в серые тучи, / Чтоб попусту жизнь не губить. / Но близко враждебное дуло... / И, грохнув, как горный обвал, / Преступная сила сверкнула, / К нему подошли — наповал. // Застыли машукские ели / Безмолвной, печальной стеной, / И тучи, и горы темнели, / И скорбное место дуэли / Оплакивал дождь проливной».

Опубликовано 15 июля 1995 года в газете «Саратовские вести». Автор — член Союза писателей России Николай Федоров.

Самое печальное, что сонм сочинителей «на смерть поэта», наряду со всеобщей грамотностью, породил и он сам, Михаил Юрьевич, когда дал навсегда пример поэтически-гражданской позы над гробом поэта. Я не кощунствую и не сравниваю, просто в стихотворении его столько же поэтического гения, сколько в заразительной человеческой несправедливости: смерть как повод обличения недругов.

Все-таки и тот, кому посвящают ужасающие строки, хоть каплю, но ответственен за них. Ведь не «Парусу» уж сколько лет пытаются следовать горестихотворцы, но желают облить желчью кого-то, кто, по их скудному убеждению, виновен. Некогда внедрившаяся в массовое сочинительское сознание мысль о гражданской жертвенности их поприща подвигала искать не только в высоких образцах, но и в близлежащем быту некий трагизм.

Расскажу об одном с-ком литераторе.

Писатель Ч. по профессии был писатель из народа: я уж как-то раз описал разновидности провинциальных союзписателей, которым требовалось для успеха некое амплуа внутри писательского. Скажем, писатель(-ница — чаще)-романтик из пионервожатых, или мастер приключенческого жанра из чекистов, или просто честный советский еврей из честных советских евреев и т. д. Так вот, Ч. был писатель из народа. Он сочинял бессмысленно-безмятежные, не без проблесков некоего коровьего юмора, повести про деревенских чудаков, само собою, подражая и безумно завидуя Шукшину, успех которого породил в семидесятые годы толпу подражателей, полагавших, что и они могут, потому как из народной жизни произошли.

Любил Ч., напившись и предварительно выяснив, что редактора нет на работе (ни разу не застал), явиться в редакцию журнала и, притворяясь более пьяным, чем есть, кричать на бледнеющих редактрис из отдела прозы: «Где он, бля, порежу суку, жидам продался, а русских печатать не хочет, бля!» Покуражась не более десяти минут, он смывался. Когда при встрече с ним, трезвым, на собраниях в СП редактор пытался ему пенять, он, коротенький, с дурно пахнущим сырым лицом, потирая руки, бормотал, что ничего не помнит, и скверно улыбался.

Ч. разнообразил тусклое течение дней писательской организации.

То соседка его, очень почтенная неюная девушка, даже не она по застенчивости, а мать ее, сообщит в организацию, что Ч. предложил ее дочери: «Заходи — впендюрю, чего целкой ходить!» То уже целая группа соседей напишет в СП жалобу, где описывается, как Ч. мочился во двор с балкона, крича при этом: «Я писатель, на вас хотел ссать и ссу!» То директорша книжного магазина звонит секретарю СП и умоляет увести из ее магазина Ч., требующего продать ему его книгу, о которой директорша даже не слышала. Выясняется, что книга лишь запланирована в местном издательстве, но Ч., уводимый секретарем из магазина, все равно кричал директорше, размахивая красной членской книжкой: «Продай, бля, пожалеешь!»

Мало что ему все сходило с рук, насчет чего имелись известные подозрения среди коллег, он еще любил писать на них жалобы и ходить на прием в высокие кабинеты. Он мог неделями просиживать в приемной с утра до вечера, трясясь с похмелья, но как бы от уважения и страха, и, попав-таки в кабинет, первым делом заявлял, что пишет о народной жизни. Наконец Ч. зарезали собутыльники.

Прошло с того несколько лет, и свободная пресса России стала раскапывать и рассказывать истории о давнем и недавнем прошлом, злодеяниях и преступлениях проклятого режима. Местные писатели начали выпускать газетку, к которой стишками и рассказами не удавалось привлечь читателя. И тогда писательский секретарь, столько претерпевший от Ч. и без видимых страданий воспринявший его кончину, начитавшись прессы, вдруг печатает статью под названием «Кто убил Виктора Ч.?», где с нажимом на то, что Ч. был именно русским, а никаким иным литератором, предполагалось, что некие темные силы расправились с певцом народной жизни.

Старый, матерый литератор-антисемит серьезно и даже сердито заявлял в разговоре, что Высоцкий не мог быть евреем даже на капельку, поскольку написал «Протопи ты мне баньку, хозяюшка». Он был не просто антисемит, но питерский антисемит, песня нравилась ему до слез, и допустить, что ее сочинил человек, имеющий отношение к тем, с кем он всю жизнь боролся, было для него нестерпимо.

Сцена из октября 1990 года.

Володя Т., еще не уехавший в Израиль, уютно устроившись в кресле, с удовольствием выпуская дым и отставив ножку, пугает:

— А резать будут всех евреев, и чистых, и половинок, и четвертинок, и восьмерок, и шестнадцатых. И женатых на еврейках тоже будут резать. Придут «памятники» и разбираться не станут.

Выражение лица такое, словно бы повествует он о чем-то исключительно приятном и к нему не относящемся.

— Но ты, писатель, не обольщайся: евреев им надолго не хватит. Тогда они за интеллигенцию примутся, за писателей.

Выходя от него, зашел в магазин. На прилавках консервы из морской капусты, грузинский мандариновый сок, растительное сало, пакетики с сухим мятным напитком. Огромная очередь за плавлеными сырками, которые продают по паспортам с местной пропиской. А мимо магазина на иномарках едут молодцы в кепках с большими козырьками, в кожаных куртках.

Спустя четыре года Володя воротился из Израиля, молодцы сменили униформу, в магазинах все появилось, но плавленый сырок стоит примерно одну пятую моего дневного заработка.

Вот письмо, некогда случайно и безадресно попавшее мне в руки:

«17 сент 75 г. Здравствуйте Весь дом Романовых... Был на Дону 2 дня херово дождь и дождь и сбежал ничего не привез из сеточек не достал никого не было уехали на рыбалку был у брата 2 корзины Раков съели и все рыбаков не видел.

У нас 2 дня Гостит Вася

С Дона привез рыбы с обкомовского Завода Вяленого Леща и Копченая сеньга на подобие леща чудо делаю для всех области предам и Секретарям

Дай бог тебе ловить Лещей, но ни одного трипера.

Целуем. Ваник Цыпа

Вася достал 12 ван радоновых 2 принял уже и электрогрязь а радикулит дома лечу

Крапивой Веселый он парень

электро Монтер все справляет выключатели. Кушаем вместе он у нас третий раз уже».

Советская действительность имела многие, нынче совершенно непонятные уже радости: «достать» радоновые ванны.

Или — вспомнил что-то: идя в кинотеатр, не только ждали фильма, но испытывали некоторое волнение по поводу того, какой киножурнал будет перед фильмом. Спокойно принимались «Новости дня», тягостный вздох проползал по рядам при титрах вроде «Новое в строительстве». Особой радостью встречались позывные «Фитиля», а еще раньше, когда не было «Фитиля» и телевизора, жгучий интерес вызывала «Иностранная хроника».

Сперва под грозные суровые аккорды диктор угрюмо информировал о том, как живется трудящимся в странах капитала, а на экране проходили кадры с разгоном демонстрации, почему-то непременно в дождливую погоду. Затем под жизнерадостную, как ручеек, мелодию шла рубрика «В странах социализма», где показывалось открытие птицефабрики в Венгрии или детсада в Болгарии.

Особое волненье в зале возникало, когда под врывающуюся в советские уши «их» музыку на экране малькало что-то из их же нравов вроде женского бокса или собачьей парикмахерской.

Вспомнил клип с Утесовым, а всего их было несколько, «Песня американского безработного» (кажется, так), обращающегося к обществу и хозяевам. Утесов пел как бы сгорбясь, что мало позволяло его телосложение, на фоне сияющего небоскребами черного задника и закидывая шарф через плечо, чтобы показать, как холодно безработному в капстране.

Перед войной народ знал не только своих героев, но и своих миллионеров, что, впрочем, тогда официально совпадало. Один старичок рассказывал, какие споры вскипали в цеховой курилке при обсуждении вопроса, кто у нас миллионер. Он вспоминал, что назывались Любовь Орлова, Козловский, Барсова, Лемешев, Папанин, Чкалов, Русланова, Дунаевский, Качалов, Алексей Толстой, Шолохов и Утесов. Гордость, а не зависть вызывало то, как оценило их правительство и товарищ Сталин за выдающиеся таланты и подвиги.

Феномен популярности Утесова еще не разгадан, его успех не стоит рассматривать в духе замечательной передачи «В нашу гавань заходили корабли», точнее, не только в этом духе. Леонид Осипович был не самодеятельный исполнитель, а в русском народе все-таки всегда ценился звонкий, чистый голос, даже и в бытовом пении. К тому же Утесов нарабатывал популярность, когда пели Козин, Юрьева, Церетели, когда еще не вовсе была удушена столь милая русскому сердцу «цыганщина». Только ли одесско-приблатненная интонация, которую он, впрочем, в те годы избегал, могла пленить загадочную русскую душу?

А может быть, объяснение самое простое: он не был похож ни на кого, за ним не стояло знакомой слушателям традиции, и белорусскую застольную или суровую моряцкую песню он исполнял, по собственному выражению, «сердцем», то есть единственно натурою. И особую прелесть пению доставляла как бы чуть-чуть сторонность исполнителя, одесского еврея, русского артиста.

Конечно, Утесова, а не Кобзона, которого где-то критика окрестила русским Синатрою, можно сравнивать с американцем. Слушая Синатру, можно, кажется, понять причину успеха эстрадного, в строго вокальном смысле почти безголосого певца: он должен петь, как имеющий непреложное право быть услышанным, словно бы делая одолжение, отвечая на просьбы. Кобзон же, имея, в отличие от Синатры и Утесова, сильный голос, поет словно заведенный механизм, ровно, одинаково, нивелируя все, что исполняет.

Сталин ревностно, если не сказать страстно, относился к кино, управлял им. Для воспитания масс? по завету Ильича?

В первую очередь для самого себя, удовольствия, просвещения и, главное, убеждения.

Сколько бы он ни полагал, что Иван был прав, а Петруха не дорубил, многократно убедительнее, нагляднее и бесспорнее это делалось живыми средствами кино, постановками великих режиссеров, обликами великих актеров. Он ли более подействовал на Ал. Толстого, Черкасова, Эйзенштейна, дав им такую трактовку дел ива́новых или петровых, или они в свою очередь убедили и укрепили кремлевского кинозрителя?

Да и современная жизнь, которую он много лет вблизи не наблюдал, в фильмах Гр. Александрова очаровывала и радовала правильностью избранного курса.

Притягательность акцента. Не только тем русским, которые постоянно жили, воспитывались, росли на Кавказе или Прибалтике, присущ легкий акцент, но и побывшие даже недолгое время в среде прибалтов или кавказцев с неким неосознанным удовольствием чуть копировали акцент.

Странные случаются аналогии. Читая в части шестой «Анны Карениной» про губернские выборы, в которых участвуют Облонский и Левин, впервые обратил внимание на сцену с двумя напившимися дворянами, запретом буфетчику подавать им водку.

Не могли потерпеть! Значит, не могли, не хотели, и не только по склонности к вину, но и по особому ухарскому удовольствию выпить в неподходящее время в неподходящей обстановке. И вспомнил я, как лет двадцать назад был на городской отчетно-выборной партконференции. Драмтеатр. Оркестр. Начальство. Ордена и медали в большом количестве. Приподнятое возбуждение партработников, прежде мною не наблюдавшееся. Знакомый художник поманил меня в перерыв в служебные помещения, прежде познакомив с приятелем, замдиректора театра. Где-то на задах буфета обнаружились несколько человек, уже стоящих вокруг рабочего столика с бутылками и закусками. Они что-то неприличное не слишком тихо рассказывали хозяйке местечка в белой кружевной наколке. И перед нами очутилась поллитра с закускою. Была какая-то смесь школьнического наслаждения запретным и потребность перевести то возбуждение, что читалось на лицах и висело в воздухе зала, под привычную, не стыдную крышу хмеля. Сидя в зале, мы с художником ощущали себя отличными от других, впрочем, вполне вероятно, что и соседи испытывали то же самое: в театре так много помещений!

Собрать бы все, что написано в русской литературе о железной дороге, вокзале, вагоне, а также и пароходе... какие славные бы вышли книжечки, если денег на издание кто даст...

Большинство современных вокзалов, особенно если станция не тупиковая, а мимоездная, утратили тот «дебаркадерный» облик, что очаровывал путешествующего. Вокзал должен быть крытым, как Киевский в Москве или Витебский в Питере, со стеклянной крышею, под которой так гулки звуки. Уезжать надо вечером, чтоб на выезде стояли синие огни, в темноте был виден пар и дым, улетающие к высокой, как небо, стеклянной переплетчатой крыше. Пусть нету паровоза, запах паровозного дыма заменяет доносящийся из вагонных печурок дымок, тоже от каменного угля.

А еще жаль речных пристаней; и высоких многоярусных дебаркадеров, этих стоячих кораблей с палубами, трапами, чугунными кнехтами, антеннами, вымпелами, рестораном на втором этаже, где так славно было посидеть за белоснежно... прочь, прочь воспоминания о невозвратном... и маленькие одноэтажные пристанешки, что были понатыканы по Волге там и сям с флажком с голубыми буковками ОП ВОРП, что означало: Остановочный Пункт Волжское Объединенное Речное Пароходство, и тут уж не ресторанный, а домашний дух доносился из боковых комнатешек, болталось на веревках белье, и бесстраш-

но раскатывал среди кнехт и трапов человек на трехколесном велосипеде, без всякой опаски свалиться в близкую глубокую воду. Осенью буксир собирал дебаркадеры по берегам и отводил их в Затон, время от времени оглашая пустую Волгу протяжным гудком, медленно гаснущим в пространстве.

Читал Чехова за обедом, оперши для удобства затрепанный синий том на графин с водкой.

Я попенял приятелю, запившему водку сладким ситро, и помимо собственного мнения, что водку следует не запивать, а закусывать, привел из Солоухина, где он возмущался дамами, у банкетного стола с закусками предпочитающими фужер с запивкой.

— Не на-адо, не надо мне про Солоухина, — неожиданно отозвался мой собутыльник и рассказал, как однажды со знакомым журналистом попал в буфет, кажется, ТАССа, куда вошел Солоухин, которому, даже не спросясь, буфетчица накатала полный, грамм двести, стакан коньяку, а в другой воды. — Засадил — и на выход!

А я сейчас вспомнил про генерала в гостиничном буфете. Однако куда повернуть? лучше сперва про генерала.

Я жил в гостинице «Аэрофлота» на Ленинградском проспекте. Завтракать ходил в одно и то же довольно раннее время. И в этот самый час в буфет ежедневно заходил пожилой генерал-майор авиации с приятным мягким лицом, с негенеральским, словно бы несколько виноватым видом. Он здоровался с буфетчицей, и она наливала ему двести грамм коньяку и прилагала шоколадную конфету. Генерал выпивал, медлил мгновенье у стойки и уходил. Я предположил, что он служит в Академии Жуковского, находящейся почти напротив гостиницы.

Меня более поразило не молчаливое понимание буфетчицы и даже не то, что стакан коньяка поутру — это и дорого, и, мягко говоря, нездорово. Меня, провинциала, более поразило, что генерал в форме заходит в буфет, стоит в очереди, пьет встояка. Столь же удивительны в Москве были генералы-пешеходы, пассажиры метро и трамвая. Немногие генералы в моем городе ездили в черных «Волгах», ходили непременно с адъютантами.

А там в буфете, провожая взглядом серо-голубую шинель, я воображал, как сейчас он войдет в аудиторию, как вскочат слушатели-офицеры, как он, на первом газу, с подъемом начнет лекцию и будет выдыхаться и к концу думать о том, как бы поскорее закончить и вновь завернуть сюда, к полной русоголовой Лене в крахмальной наколке.

Но — о Солоухине.

Не будучи его поклонником, я читал что попадалось и с удовольствием встретил признание автора в любви к песенкам Вертинского. Солоухин уделил ему много места, дал красивое определение методу печального Пьеро: «Работал филигранно. Он работал по серебру и слоновой кости»; правда, удивительным образом завершил заметки тем, что обнаружил на одном из фото Вертинского ровесником себе нынешнему: «Господи, да неужели и я выгляжу так же, но только не замечаю этого?!» Эх, видать, любил свой лик Владимир Алексеевич, если уподобил его патрицианскому облику Александра Николаевича.

И еще вылезла в «Камешках» такая дремучая глухота, что я диву дался. Солоухин признается, что его коробит строка из песни-плача по убитым юнкерам: «И никто не додумался просто встать на колени / И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране / Даже светлые подвиги — это только ступени / В бесконечные пропасти, к недоступной Весне!» Вот эта бездарная страна «была, вероятно, дань моде — все русское, российское чернить и оплевывать». И жаль мне стало Владимира Алексеевича, который, наверное, искренне не услышал горечи русского человека за свою страну, так любящую жертвовать сыновьями, а это ли не бездарно? Нет, словно агитатор на патриотическом

митинге, Солоухин продолжает: «Но можно ли назвать бездарной страну, давшую миру Чайковского, Менделеева...» Такова, видимо, цена всякой глубокой ангажированности.

В середине 70-х я написал тем, кто, по моим сведениям или предположению, знал Вертинского или был расположен к его творчеству, с предложением написать о нем, дабы я, имярек, составил книгу, куда кроме их воспоминаний вошли бы и мемуары самого АНВ (как я сперва в записях, а потом и в мыслях привык обозначать своего кумира), а также тексты его песен. Более я обращался к писателям по простой причине, что имел справочник членов СП.

Наивный имярек! Кому-то АНВ, конечно, был безразличен, кто-то не без основания счел предлагаемый труд напрасным — имя артиста было не самое цензурное, а кто-то, думаю, резонно решил, что, если и писать, можно и без провинциального молодца обойтись. Не ответили — и это было самое огорчительное — и вдова Вертинского, и дочери его, которым я писал на отцовскую квартиру. Бывая в Москве, я подолгу стоял на углу ул. Горького и Козицкого переулка, задрав голову на четвертый этаж с длинно-нелепыми угловыми балконами, но зайти так и не решился.

Откликнулись двое: Алексей Каплер и Юрий Нагибин.

Почему Каплеру я написал, ведь я ничего не знал и мог лишь предполагать о его пристрастиях? Каплер телевизионный, почесывающий щеку, любовник Светланы Сталиной, Ленин в Октябре и проч. — почему Каплер? Но именно он и ответил.

«Уважаемый Сергей Григорьевич!

С большим опозданием прочел Ваше письмо. Спасибо за журнал и статью. Тема Вертинского, на мой взгляд, очень интересна, драматична. Рад, что есть человек, который этим занимается. К сожалению, я не смогу Вам помочь — у меня нет никаких материалов о нем. Желаю Вам успеха в этой непростой, но благородной задаче. Ал. Каплер». Даты нет, штемпель смазан, но год точно — 1975-й.

Журналы я посылал в подтверждение того, что я не шеромыжник какой, а автор почти единственного в те поры очерка о Вертинском, напечатанного в «Волге» в 1973 году.

Мое письмо к Каплеру, как я узнал позднее, имело некоторое следствие. Спустя несколько лет, уже после смерти Каплера, я сумел выбраться в ЦГАЛИ. Фонд Вертинского востребовался два-три раза. Последний раз — Каплером в 1975 году. Еще позднее я прочитал его сценарий «Чужие города», по-моему, слабый.

Итак, вторым был Юрий Нагибин.

Должен сознаться в том, что в молодые годы я любил его прозу, охотничьи рассказы о егерях, браконьерах, затем первые из биографических, особенно о Лескове: «День крутого человека». У Нагибина была особая репутация, а я жил в литературном кругу: рассказы о его непомерном богатстве, многочисленных браках, разгуле, что-то общее с репутацией Евтушенко, но тот накрепко был повенчан с политикой, Нагибин же как бы находился вне общественных сфер, являясь лишь книгами и фильмами. В нем чувствовалась особица, внепоколенческое сознание. Тогда были утки все парами, и к имени Евтушенко непременно присоединялся Вознесенский, а к Бондареву — Бакланов, а критика без устали составляла обоймы лейтенантов, деревенщиков, сорокалетних, Нагибин же как-то ускользал. И вот он ответил. Открытка Каплера не так меня поразила, как это письмо от руки: старик Каплер не был в таком прожекторном дыме славы и богатства, как Нагибин, а вот же — нашел время.

В письме особо он остановился на обиде, которую ему нанесли два поклонника Вертинского, из Одессы и Ленинграда: «Обрушились на меня с такой злобой, будто я унизил и втоптал в грязь их кумира». Я разделял его недоумение: ничего поносного для АНВ в очерке «В банановo-лимонном Синга-

пуре», незадолго перед тем напечатанном в «Нашем современнике», не содержалось. Все же обида от несправедливых упреков показалась мне чрезмерной, и лишь спустя много лет, прочитав его посмертно изданный «Дневник», я услышал ту же интонацию постоянной обиды. Более никто мне не ответил, а издательства на заявки отвечали отказом, в нашем же местном издательстве я даже нарвался на нотацию.

Директор издательства К-н был антисемитом, что само по себе и не ново. Но К-н был антисемитом истовым, поэтом антисемитизма, жидоедом по призванию. Притом крайне темным, дремучим товарищем, поднявшимся из комсомольских недр. Он не имел понятия даже о малом антисемитском наборе вроде «Протоколов сионских мудрецов» и более искал наглядных проявлений, как тогда выражались, сионизма. К примеру, завхоз издательства приобретает новые хрустальные стаканы, приносит начальству, берет К-н стакан в руки, вертит его и заметно бледнеет. «Ты где эту гадость взял?» — вопрошает он у побледневшего тож завхоза. Выяснив, что стакан произведен на местном заводе технического стекла, К-н бежит то ли в обком, то ли в КГБ, и начинается целая история с целью снять с производства стаканчики граненые с шестиконечным дном.

Так вот, К-н, взяв для просмотра рукопись моего сборника, куда вошел и очерк о Вертинском, приглашает меня к себе, предварительно снабдив рукопись запиской, помню такие замечательные в ней слова: «Нет, не ту песню, Сережа, поешь ты вместе с Вертинским. Твое место там, где Пушкин, Некрасов, Горький, Маяковский, даже Бунин, но не там, где Вертинский». А наедине посоветовал мне не поганить смолоду биографию и про сионистов не писать. На мое изумление по складам произнес: «Вер-тин-ский! ский, понятно тебе?» Еще более изумясь, я назвал несколько бесспорных фамилий, как-то: Достоевский, Мусоргский, Чайковский, но К-н, разумеется, ничего не слышал.

Есть по крайней мере два опубликованных мемуара с одним сюжетом. Сюжет таков. Имярек сидит в ресторане один или с компанией, сидит широко и красиво, но официант с ними неучтив. За столик подсаживают Вертинского. Официант превращается в раба перед артистом, заказавшим стакан чаю и забравшим до копейки сдачу. Вслед уходящему он говорит умильно: настоящий барин!

Правда, первый из мемуаристов, Нагибин («Дневник»), ссылается на чужой рассказ — Галича, тогда как сам Галич в очерке «Прощальный ужин» обходится без этого сюжета, второй же, Евгений Рейн («Мне скучно без Довлатова»), сообщает его от первого лица и уснащает колоритными подробностями. Один из десятков апокрифов, где в центре вернувшийся Вертинский.

Притягательность славы его была такова, что иные его современники даже кормились немножко своим якобы знакомством. Десятки известных только мне людей посвящали свою жизнь поклонению Вертинскому. В архиве сохранилось множество восторженных писем, и есть горделивое признание одного поклонника, что он принадлежит к ордену «вертинистов».

Иным из них посчастливилось приблизиться к кумиру, как поэту из Новосибирска Казимиру Лисовскому.

Я познакомился с ним в Одессе летом 1962 года, мне было пятнадцать, ему — открываю КЛЭ — сорок один. Но Боже, о чем писал Казимир! «Ленин в Красноярске», «Шушенская весна», «В доме-музее Я. М. Свердлова». Какие реакции происходили в сознании тех советских литераторов, что, сочиняя про квартиру Свердлова, для души читали Ахматову или слушали Вертинского?

Поклонение Вертинскому в те годы требовало немалых расходов: пластинки можно было купить лишь с рук и очень дорого, так как их не прибывало, а убывало, выпущенные в 60-е годы знаменитым «Kismet'ом», видимо, провозились с трудом, во всяком случае, на рынке, до выпуска советских «гигантов», преобладали «колумбийские» и проч. 40 — 50-х, а то и 30-х, даже 20-х годов.

С Лисовским (я упросил) побывали на знаменитой одесской толкучке. Он искал «Желтого ангела». Нашли. Помню золотые буквы на зеленой «колумбийской» этикетке и обязательное: «Alexandre Wertynsky (tenor)». Продавец отнесся к Казимиру Леонидовичу с почтительностью, увидев знатока, да и 75 рублей были тогда очень серьезной суммой.

Лисовский, приобретя «Желтого ангела», тут же выпил — и повеселел. Он был небольшого роста, с астматической грудью, запрокинутой, как у горбунов, головою, сипло-задыхающимся голосом. Под секретом объяснил, как это могло случиться, что у него, аса-вертиниста, и нет самой центровой вещи АНВ, если угодно, программной. История коллекций его вкратце такова. К концу 40-х годов Лисовский собрал по возможности полное собрание пластинок АНВ, и когда певец оказался в Новосибирске, представился ему и, разумеется, покорил своей страстью, они подружились. Выяснилось, что и сам артист не обладает чем-то или многим из того, что собрал Казимир, который и подарил автору его записи.

Подарил и начал заново собирать. Супруга же его, женщина весьма привлекательная и столь же нравная, не весьма поощряла страсть мужа, уносившую из дома значительную часть и без того необширного заработка (кроме того, подозреваю, что она не без основания сопрягала пристрастие к Вертинскому с иными несемейными наклонностями). Короче говоря, во время выяснения отношений взяла да и побросала в окно коробки с пластинками, которые, как известно, были тогда бьющимися, да еще как бьющимися.

Письма Вертинского Лисовскому опубликованы нынче в книге «Дорогой длинною» (М., «Правда», 1990).

Ах, сокрушался я в то лето, сопровождая Казимира, слушая его рассказы, ведь всего пять лет прошло со дня смерти Александра Николаевича, ведь и я бы мог видеть его и слышать...

В начале лета 1957 года был я с родителями проездом в Москве. Отец повел нас с матерью на экскурсию не в Третьяковку, а на Новодевичье, за что я очень ему благодарен. Новодевичье, тогда еще доступное, я хорошо запомнил, как и свежую, окруженную влажным хрустящим песком, засыпанную цветами могилу (хотя, конечно, интереснее был обширный барельеф на стене с урнами жертв гибели самолета «Максим Горький»). Эту могилу я запомнил, потому что обратил внимание на слова родителей: «Смотри-ка, Вертинский, а рядом — Фогель». Спустя годы, придя к Вертинскому, я убедился, что так оно и есть, но тогда фамилия Фогель, нынче, кажется, забытая, говорила мне куда больше, ибо только что повторным показом прошел по киноэкранам трехсерийный, что само по себе было дивом, боевик немого кино «Мисс-Менд» с уморительным Игорем Ильинским, героическим красавцем Барнетом и чудаковатым очкастым Фогелем в ролях трех друзей, противостоящих тайной преступной организации. А злодей главарь Чиче, погибающий в шахте лифта, а открывающийся гроб с живым покойником на корабле во время шторма... кто только подбирает нам главные детские впечатленья!

У Лисовского, разумеется, есть стихотворение о Вертинском «Далекий голос», которое я не стану цитировать. Есть того же порядка стихи у Ильи Фонякова, есть ничуть их не превосходящие, хоть и Галича, есть известные строки Смелякова «Гражданин Вертинский вертится...», есть «чертова рогулька, волчья сыть» (то есть никудышный, обречен на съеденье) Павла Васильева, есть оскорбительные строки Георгия Шенгели, где певец уподоблен лакею, есть меткое северянинское: «наркозя трезвое перо / слагает песенки Пьеро», а есть строки безвестной поклонницы Галины Липатовой, из архива АНВ:

Много лет мне душу теребили, —
Клочья лишь какие-то остались.
Ваши песни душу приласкали
И тихонько клочья эти сшили.
Ваша музыка мне принесла забвенье!
На земле ждать большего — напрасно.

Она же написала: «В восемнадцатом столетии Вас бы непременно объявили колдуном».

А на память о Казимире Лисовском у меня сохранилась телеграмма, пришедшая на редакцию после публикации моего очерка: «ЛЕЖУ БОЛЬНИЦЕ ПАРАЛИЧОМ НОГ ТЧК СЛУЧАЙНО УЗНАЛ ТВОЕМ ОЧЕРКЕ НЕЗАБВЕННОМ ВЕРТАНСКОМ ТЧК ОЧЕНЬ ПРОШУ ВЫСЛАТЬ ЖУРНАЛ НОВОСИБИРСК 67 МОЧИЩЕНСКИЙ КОСТНОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЛИСОВСКИЙ». (ВертАнский — это, конечно, телеграф).

Реэмигрантов 1947 года было в Саратове, вероятно, не так мало, во всяком случае, мне довелось знать не одного.

В 1997 году «Волга» напечатала обширные воспоминания театрального художника Глинского, большую часть изгнания проведшего в Болгарии.

А на рубеже 50 — 60-х годов среди школьников царило повальное увлечение собираньем марок. Собирались филателисты по воскресеньям в большом операционном зале главпочтамта, где слева от входа тянулся ряд окошечек в дореволюционных латунных окантовках, справа — высокие окна, а упирался зал в стену, занятую сплошь огромным панно. В детстве, ожидая, пока родитель что-то отправляет, я бесконечно рассматривал картину: голубая, как небо, Волга, и голубое, как Волга, высокое небо, а в нем белые самолеты, а под ними в белоснежных усах пены на голубой воде многопалубные белоснежные теплоходы, на палубах маленькие, но нарядные фигурки пассажиров, и темный буксир, тянущий вереницу барж, и паруса яхт, а на берегу уступы белоснежных высоких зданий, и солдатские ряды зеленых деревьев, и многоцветные автомобили застыли туда и сюда, и летит над рекой мост небывалой высоты и стройности: это наш город коммунистического будущего, и самое смешное, что все это сейчас есть — и мост, и высокие дома, и море автомобилей... Так вот, в пестрой толпе марочников, вокруг которой толкутся мальчишки, был и хромой элегантный человек с белогвардейской фамилией Ростовцев, и прыщавый, щуплый, как подросток, дядя Женя, он, оглядевшись, вытаскивал из-под толстого кляссера лист фотобумаги, на котором располагались мутные отпечатки голых девиц, и — вот к чему я начал — очень красивый надменный молодой человек с прилизанными темными волосами и непонятной кличкой Болгарин. Много спустя я узнал, что то был сын художника Глинского.

А на нашей маленькой улочке им. Яблочкова, еще недавно именовавшейся по-старому Малая Казачья, в соседнем дворе жила довольно диковинная пара: художник Руденький с женою-француженкой. Он ходил в берете, светлых очках, всегда улыбался и слишком правильно говорил по-русски, а вот она вовсе не могла. Одетая бедно, но за версту не по-нашему, в каких-то странно подвязанных узлами кверху пестрых косынках, сухопарая, похожая на птицу мадам испытывала, думаю, невероятные муки, с утра стоя в очереди у молочной фляги, или в булочной, или тем более в Крытом рынке, откуда и свои-то редкий день возвращались без порезанной сумки или утраченного кошелька.

Кроме Глинского и Руденького был еще и художник в самом деле известный — Николай Гущин, ученик Коровина, Малютина, Архипова, Пастернака. В революцию он в родной Перми был среди тех, кто утверждал новое искусство, потом, вроде спасаясь от Колчака, оказался в Харбине. Зато потом, уже с 1922 года, — Париж, а в 30-е — Монте-Карло, где имел ателье, а выставки были в Париже, Лондоне, Ницце. И вот вернуться затем, чтобы не иметь вовсе мастерской, лишиться недолгой преподавательской работы в художественном училище, чтобы беспрестанно слышать обвинения в формализме... На него оборачивались на улице — высокий, длинноволосый, в большом берете. Вокруг него был кружок преданных женщин, было несколько верных учеников, воспринявших его, скажем, импрессионистские принципы, у него была моторная лодка, хижина на Зеленом острове, с вывескою «Villa Marfutka»... и

все-таки, каково было участнику «Салона независимых», которого хвалили еще в самом «Аполлоне», каково было ему в каморке на то пыльной, то грязной приовражной улочке, а главное, постоянно ощущая ненависть «живописных» рвачей и выжиг? Самое почетное место в травле его занимали условные коллеги. Он, разумеется, был чужд верхам, и все же, и не только в случае с Гущиным, травля того или иного неугодного не всегда инспирировалась властями, а случалось, ими и сдерживалась от напора честных советских художников, писателей, критиков. Забыть ли едва ли не более страха двигавшее этими людьми особое советское воодушевление при травле всеми одного, чуждого?

В 70-е годы жил в Саратове маловысокоталантливый литератор с громкой фамилией Туган-Барановский. Прозвище имел, естественно, Князь. Говорил он великосветски грассируя и сюсюкая, обожал эпатировать собеседников, скажем, ни к селу ни к городу спросив: «А вам свучавось боеть твиппером? Нет? но каждый мужчина довжен узнать твиппер, я раз восемь вечился».

Он любил сообщать, что фамилия его отца в указателе к Полному собранию сочинений Ленина стоит по числу упоминаний чуть ли не на третьем месте после Маркса и Энгельса. Ранее, живя еще в Сталинграде-Волгограде, он выпустил роман, если не путаю, под названием «Предрассветные сумерки», где по мере своих возможностей он показывал разложение дворянско-буржуазной среды накануне Октября. Главный малосимпатичный герой-профессор носил фамилию чуть ли не Баран-Тугановский или что-то в этом роде.

Князь вернулся в СССР году в 1926-м или 1927-м, репортерствовал в Москве, дальнейшие перемещения его до Сталинграда мне неизвестны. Ему удавалось пристраиваться на небольшие оплачиваемые должностишки, как, например, литконсультантом при отделении СП.

В князе Тугай-Беге из рассказа Булгакова «Ханский огонь» подчеркивается его раскосость. Наш Князь тоже был раскос, и это, пожалуй, было самое примечательное в его большом, жирном, скуластом лице. При случае он непременно напоминал, что именно из истории его семьи почерпнул Куприн сюжет для «Гранатового браслета». Князь был очень высок, семенил и любил на ходу держать руки за спиной, что обычно бывает у людей отсидевших, но он утверждал, что чаша сия его миновала.

С М. М. Туган-Барановским связан редкий в журнальной практике тех лет случай, когда отпечатанный тираж журнала был уничтожен, «пошел под нож», а взамен его был выпущен другой, в котором место воспоминаний Князя «На другой стороне» заняли воспоминания партизанского командира «Шестьсот дней и ночей в тылу врага». Не знаю, сколько экземпляров этого номера 9 за 1966 год уцелело, один сохранил тогдашний редакционный художник и принес на тридцатилетие «Волги». Почему была выбрана столь яростная мера, понять сейчас невозможно. Никакой крамолой или даже просто свежей информацией и не пахнет в мемуаре. Единственное объяснение: мог смутить присущий Князю, при всей верноподданности, иронический тон, вольное обращение со словами «большевик», «масон», «ренегат» и проч. Ничто не спасло номер: ни обзывание Князем собственной среды «перепуганными буржуйчиками», ни поношение дяди царского сенатора, ни якобы заветы отца-экономиста идти к большевикам, ничто не помогло, и номер со словами Конст. Федина на обложке красного цвета: «Велики культурные ценности, велики силы, которыми обладают необъятные пространства волжского бассейна» — канул где-то в таинственном месте, где производилась операция.

Завершение темы таково: Князь сочинил нечто, роман не роман (начало 80-х), и таскался с ним по кабинетам «Волги», пока наконец зав. прозой не отказал ему решительно. Князь забрал папку, направился вон и, поднимаясь по лестнице от редакции к троллейбусной остановке, грохнулся и испустил дух.

Саратов.

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

СОВРЕМЕННОСТЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

А. Я. Гуревич. Избранные труды. Т. 1. Древние германцы. Викинги. 350 стр. Т. 2. Средневековый мир. 560 стр. М. — СПб., «Университетская книга», 1999 («Российские пропилеи»)[1].

Имя замечательного отечественного историка-медиевиста Арона Яковлевича Гуревича широко известно нашему читателю. Его труды переведены на пятнадцать языков, его книги включены в списки для обязательного чтения в университетах многих стран мира — от России до США, от Франции до Южной Кореи. Более того, поскольку заслуженную славу почти всегда сопровождает и шлейф моды, профессор Гуревич попал в «малый джентльменский набор», ссылаться на него стало еще с 70-х годов признаком хорошего тона...

Здесь я не собираюсь пересказывать труды А. Я. Гуревича, не собираюсь и оценивать их. Меня будет интересовать другое. Я хотел бы порассуждать о причинах популярности этих трудов, о том, почему столь далекие, казалось бы, от нашей жизни проблемы истории западноевропейского Средневековья, истории ментальности, истории народной культуры оказались востребованы если не всем обществом, то, во всяком случае, немалой частью его. Посему я предлагаю вниманию читателя некие рассуждения на тему «Судьба идей ученого в обществе», и выход в свет «Избранных трудов» Гуревича есть лишь достойный повод для этих рассуждений.

«Избранные труды» (во всяком случае, первые два тома) составлены автором по хронологическому принципу, но это не порядок публикаций включенных в собрание работ, а культурно-историческая хронология. Первый том поименован «Древние германцы. Викинги», и в него включены три работы: «Древние германцы»[2], «Викинги» (1966) и «Начало феодализма в Европе» (1970). Второй том озаглавлен «Средневековый мир», и в него вошли два сочинения: «Категории средневековой культуры» (1972, 2-е изд. — именно оно воспроизведено здесь — 1984) и «Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства» (1990). Первый том посвящен дофеодальной и раннефеодальной эпохам, второй — также и Высокому и Позднему Средневековью; в первом томе говорится о социально-экономических материях, во втором — о культурологических.

Труды Гуревича, как говорил он сам в одном газетном интервью, «обращены к читателю, который на 99 процентов не является историком-профессионалом». Но общественный резонанс, казалось бы, далеких от повседневного нашего бытия писаний отечественного медиевиста свидетельствует о том, что эти писания затрагивают какие-то духовные, нравственные интересы именно такого читателя: если не каждого гражданина нашей страны, то уж интеллигента (и не только гуманитария) — бесспорно.

Почему? «Историческое познание представляет собой взаимодействие культур — культуры, к которой принадлежит историк, и культуры, им изучаемой. Он вопрошает памятники этой последней, превращая их тем самым в исторические источники. Поскольку история есть одна из форм самосознания общества, вопросы, которые историки задают источникам, всегда и неизменно суть вопросы, занимающие это общество. Вопрошать общество о том, что нас не волнует, невозможно. В этом смысле изучение истории воплощает в себе диалог культур» (из авторского предисловия ко 2-му тому).

---

[1] Как-то не вполне ясно, сколько же всего томов будет в этом издании: в типографской сборке первого тома значится: «Избранные труды в 4-х тт.», второго тома — просто «Избранные труды», без указания числа томов. Ссылки на данное издание будут даваться в тексте, первая цифра означает том, вторая — страницу.

[2] Впервые опубликована в 1985 году как глава в первом томе коллективного труда «История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма» под названием «Аграрный строй варваров»; кстати сказать, в примечании к публикации этой работы в «Избранных трудах» опечатка — «Социальный строй варваров».

Однако «самосознанием» и «диалогом» дело не исчерпывается. Связь устанавливается не с прошлым вообще, но конкретно с западноевропейским Средневековьем. Так почему же именно эта эпоха находит отзвук в читательских сердцах?

Вот наш историк описывает расхожие представления о Средних веках: «Средневековье — пасынок истории, историческая память обошлась с ним несправедливо. „Средний век" (medium aevum) — безвременье, разделяющее две славные эпохи истории Европы, средостенье между античностью и ее возрождением, перерыв в развитии культуры, провал, „темные столетия" — таков был приговор гуманистов, закрепленный просветителями, так судили в XIX веке, противопоставляя динамичное Новое время „застойному", „косному" средневековью[3]. Но ведь и ныне, когда хотят назвать какое-либо общественное или духовное движение реакционным, отсталым, не задумываясь прибегают к штампу — „средневековое"» (2, 24). «Средние века — понятие не столько хронологическое, сколько содержательное. Стало обычным и как бы саморазумеющимся вкладывать в этот термин некий ценностный смысл: „отсталое", „реакционное", „нецивилизованное", „проникнутое духом клерикализма"» (2, 263).

Пасынок, притом обиженный, — значит, надо восстановить справедливость: таков ход мысли нормального интеллигента. Но достаточно широкий интерес к Средневековью объясняется не только стремлением к справедливости, к нетенденциозному пониманию. Гуревич, вообще-то не склонный к дидактическим и моралистическим рассуждениям, более приверженный к тщательному изучению источников («Я — историк-зануда», — любит повторять он), в тексте, пока не вошедшем в уже изданные тома «Избранных трудов», отмечает: «Средневековье резко отличается от нового времени. Ментальность людей той эпохи, их социальное поведение, их культура, пронизанная религиозными и магическими представлениями, экзотичны на взгляд современного человека, поражают его своей кажущейся странностью... Для проникновения в тайны истории средних веков нужна иная категориальная и понятийная система, нежели та, из которой так долго и вплоть до недавнего времени исходила медиевистика»[4]. Короче говоря, Средневековье привлекает нас тем, что, как говорится, тут есть над чем подумать, все неочевидно, все интересно. «Экзотичность средневековья, в особенности проявляющаяся в формах сознания и поведения людей той эпохи, вызывает жадный интерес современного человека».

И вместе с тем: «При всем глубоком своеобразии средневековой социально-культурной системы и всех ее разительных отличиях от нашего времени, средневековье не может нами восприниматься как нечто чуждое. Оно иное, но не чужое». Более того, Средневековье есть в нас самих, и это никак не следует понимать в смысле нашей «отсталости» — то есть ее-то как раз хватает, но к Средним векам это отношения не имеет. Имеет другое: «Средневековье оставило нам... наследие, может быть, самое драгоценное и одновременно самое хрупкое — человеческую личность. То, что отличает европейскую культуру от всех мировых культур, в конечном счете сводится, по-видимому, к выработке индивидуального личностного сознания... В XX веке, когда поставлено под вопрос само существование цивилизации и продолжение жизни на Земле, когда беспрецедентные в истории тоталитарные режимы попрали личность человека, а новая технологическая революция угрожает заменить его самовольными механизмами, это наследие средневековья представляется особенно ценным. Не здесь ли коренится тайна того всевозрастающего интереса к средневековью, свидетелями которого мы являемся?»[5]

Но тут таится опасность. Традиция «романтизировать средневековье, искать в нем утраченные впоследствии доблести и красочную экзотику» (2, 263) тоже не вчера возникла. Сегодня же это особенно существенно.

---

[3] Вот еще один пример такого отношения к Средним векам. Слово «Возрождение» мы всегда пишем с большой буквы, а «Средневековье» — не всегда. Я всюду употребляю прописную, но в цитатах — так, как приведено в тексте.

[4] Гуревич А. Я. Европейское средневековье и современность. — «Европейский альманах». М., 1990, стр. 142 — 143.

[5] Там же, стр. 143, 144, 147 соотв.

«Человек той эпохи был способен ощутить свою включенность в природное окружение, еще не разрушенное им, свою органическую принадлежность к социальной группе, свою связь с Богом.

Человек XX века лишен всего этого. Он стоит одиноко перед деформированной им природой, перед поверженным им Богом и перед социумом, превратившимся в массу, толпу, с которым его не связывают глубокие моральные связи. Ему приходится искать новую опору для самостояния, и в этих исканиях он не без ностальгии смотрит на средневековье, нередко и, прибавлю, едва ли обоснованно идеализируя его». И здесь видна нравственная обязанность историка: не поддерживать иллюзий, «не восхищаться, а вдумываться». «Человек той эпохи столь же мало был гармоничен, как и человек в другие эпохи. Он не мог не ощущать, и самым трагическим образом, разрыв между временем и вечностью, между телесной жизнью и жизнью души, между гибелью и спасением. Гармоничность средневекового человека — не более чем миф. Умиротворенные и преисполненные благости лики икон и фигуры готических скульптур — не „зарисовки с натуры", а идеализации, созданные в мире, полном противоречий, конфликтов, по соседству со смертью»[6]. Любя Средние века, чувствуя их как никто другой, Гуревич заявляет: «Я далек от намерения как идеализировать средневековье, так и рисовать его в черных тонах. Я хочу понять его в его неповторимом своеобразии...» (2, 264). То есть — и это опять же не могло не найти отклика в сердцах российских интеллигентов — Гуревич критически относится к любой легенде — «черной» или «золотой».

Однако недостаточно обратиться к популярной теме, чтобы обрести подлинную — не сенсационную — популярность. Высокий научный уровень — само собой, но блестящие труды многих наших отечественных медиевистов обращаются лишь в кругах их собратьев по цеху.

Книга, принесшая Гуревичу известность и даже славу вне круга историков, — «Категории средневековой культуры». Что же в ней — кроме, опять же, высокого профессионализма, прекрасного языка, то есть условий необходимых, но недостаточных, — привлекло умы и сердца?

То, что мы читали о Средних веках, и то, что мы узнавали об этой эпохе в школах и вузах, давало нам две абсолютно не схожих между собой картины. Со страниц Вальтера Скотта, Дюма-отца и Мориса Дрюона нам являлись рыцари в плюмажах, прекрасные дамы, турниры, битвы, кровавые интриги и многое подобное, столь же завлекательное. Учебники рассказывали нам об аллодах и феодах, о том, что «вассал моего вассала — не мой вассал» (со школьной скамьи помню неприличный перевертыш этой средневековой максимы), об эксплуатации народных масс и реакционной роли католической Церкви. И вот «Категории...» позволили нам увидеть «другое Средневековье», но и не романное, разумеется.

«Разве не удивительно с современной точки зрения, например, — пишет Гуревич, — то, что слово, идея в системе средневекового сознания обладали той же мерой реальности, как и предметный мир, как и вещи, которым соответствуют общие понятия, что конкретное и абстрактное не разграничивались или, во всяком случае, грани между ними были нечеткими? что доблестью в средние века считалось повторение мыслей древних авторитетов, а высказывание новых идей осуждалось? что плагиат не подвергался преследованию, тогда как оригинальность могла быть принята за ересь? что в обществе, в котором ложь расценивали как великий грех, изготовление фальшивого документа для обоснования юридических и иных прав могло считаться средством установления истины и богоугодным делом? что в средние века не существовало представления о детстве как особом состоянии человека и что детей воспринимали как маленьких взрослых? что исход судебной тяжбы зависел не от установления обстоятельств дела или не столько от них, сколько от соблюдения процедур и произнесения формул, и что истину в суде старались обнаружить посредством поединка сторон либо испытания раскаленным железом или кипятком? что в качестве обвиняемого в преступлении мог быть привлечен не

---

[6] Гуревич А. Я. Европейское средневековье и современность, стр. 147.

только человек, но и животное и даже неодушевленный предмет? что земельные меры одного и того же наименования имели неодинаковую площадь, т. е. были практически несоизмеримы? что подобно этому и единица времени — час обладал неодинаковой протяженностью в разные времена года? что в среде феодалов расточительность уважалась несравненно больше, чем бережливость — важнейшее достоинство буржуа? что свобода в этом обществе была не простой противоположностью зависимости, но сочеталась с ней? что в бедности видели состояние более угодное Богу, нежели богатство, и что, в то время как одни старались обогатиться, другие добровольно отказывались от всего своего имущества?» (2, 28 — 29).

Это Средневековье оказалось для нас «другим» не только потому, что мы увидели в нем *других* людей, но и потому, что перед нами предстали другие *люди*. Со студенческой, нет, даже со школьной скамьи нам внушили марксистский, нет, «марксистско-ленинский» взгляд на историю, такой взгляд, на который в истории человека как-то и не видно. Есть социально-экономические формации, есть классовая борьба, есть базис и надстройка.

От «Категорий...» же на нас повеяло свежим ветром. Мы увидели, узрели, почувствовали мысли и эмоции людей Средневековья — то, о чем мы прежде читали кое-что разве только в романах и беллетризированных биографиях, а Гуревич предложил нам научное исследование в рамках подхода, который он сам называет историко-антропологическим. Под исторической антропологией, указывает Гуревич, «я разумею не какую-либо особую научную дисциплину, но направление исторического исследования, которое, сколь ни странно и даже парадоксально это звучит, впервые выдвигает человека — изменяющегося во времени члена общества — в качестве центрального предмета анализа. Не политические образования (государства и т. п.) и институты, не экономическая эволюция и социальные структуры сами по себе, не религиозные, философские и иные идеи как таковые и не великие индивиды, возглавлявшие государства или формулировавшие учения и теории, но именно люди — авторы и актеры драмы истории независимо от их статуса, — действующие и чувствующие субъекты являются фокусом, в котором сходятся все линии историко-антропологического анализа. Их мировосприятие и определяемая им система поведения, их ценности, воображение, символы — таков предмет историко-антропологического исследования, которое охватывает, наряду с историей в собственном смысле, историю литературы и искусства, этнологию и другие направления гуманистики» (2, 6 — 7).

В поисках человеческой личности (так, кстати, называется заключительная глава «Категорий...») автор подвергает изучению то, что он назвал категориями той или иной — в данном случае средневековой — культуры. Что же для него есть «культура»? Никак не то, что в привычных нам учебниках является неким придатком к экономической или политической истории. «Выдвигается гипотеза, что мир культуры образует в данном обществе в данную историческую эпоху некую глобальность, — это как бы тот воздух, которым дышат все члены общества, та невидимая всеобъемлющая среда, в которую они погружены. Поэтому любой поступок, ими совершаемый, любое побуждение и мысль, возникавшие в их головах, неизбежно получали свою окраску в этой всепроникающей среде. Следовательно, чтобы правильно понять поведение этих людей, экономическое, религиозное, политическое, их творчество, их семейную жизнь, быт, нужно знать основные свойства этого „эфира" культуры» (2, 21).

Категории — суть некие базовые понятия. Гуревич хочет выяснить, как люди Средневековья воспринимали пространство и время, закон и право, богатство и бедность; при этом его интересуют не сформулированные теории, а представления, может быть, не вполне ясные самим носителям этих представлений. «Читатель „Категорий средневековой культуры" не может не заметить, что в книге нет ни истории идей, ни истории художественных творений, будь то литература или искусство. Внимание направлено на изучение не сформулированных явно, не высказанных эксплицитно, не вполне осознанных в культуре умственных установок, общих ориентаций и привычек сознания, „психического инструментария", „духовной оснастки" людей средних веков — того уровня интеллектуальной жизни обще-

ства, который современные историки обозначают расплывчатым термином „ментальность"» (2, 20).

Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление. Один мой случайный знакомый как-то сказал: «А-а-а, Гуревич! Это тот, который придумал ментальность?» Так вот, указанное понятие возникло еще до рождения нашего ученого, а историками французской исторической Школы «Анналов», приверженцем которой является Гуревич, начало применяться, когда этот большой ученый был еще маленьким ребенком. Более того, в первом издании «Категорий...» *слово «ментальность» не упомянуто ни разу.* Это не означает, что он вообще не пользуется этим термином, но я не могу забыть, как на одном заседании Арон Яковлевич, обращаясь к коллегам, почти не шутя провозгласил: «Отрекаюсь от ментальности!» Полагаю, Гуревича раздражает то, что это слово из сугубо научных писаний выплеснулось на страницы газет, употребляется политиками и журналистами, превратилось в расхожее публицистическое клише, а значит, обращаться с ним следует не без опаски.

На деле Гуревич солидаризируется с таким пониманием ментальности, которое предложил известный французский историк Жак Ле Гофф: «Ментальность — это то, что было общего в сознании Цезаря и любого воина в его легионах, в сознании Людовика Святого и любого крестьянина в его владениях, в сознании Колумба и любого матроса на его каравеллах». Это некий общий багаж сознания людей той или иной эпохи.

При этом историк в разных своих работах подходит к ментальности (нередко он предпочитает употреблять термины «картина мира», «модель мира») по-разному. Во втором томе «Избранных трудов», как уже говорилось, под одной обложкой объединены две работы: упомянутые «Категории...» и «Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства». Вторая есть как бы развитие первой. В «Категориях...» набросана картина средневекового сознания в целом, в «Средневековом мире» описана культура, в основном, бесписьменных слоев общества (этой теме — «демократизация истории» — посвящены работы из предполагаемого третьего тома).

Одна из глав «Средневекового мира» вызвала сенсацию в научных и не только научных кругах — «Ведьма в деревне и пред судом». Именно там Гуревич высказал положение о том, что «охота на ведьм» есть феномен никак не «мрачного» Средневековья, а «прогрессивных» Возрождения и Просвещения. Нет, за этим не кроется желание вымазать черной краской «светлые» эпохи. Просто показано, что все в истории достигается ценой потери. Распад цельного мифо-магического «народного» сознания под напором культурных и интеллектуальных перемен, но до возникновения современного новонаучного мышления, кризис социальных и политических структур в те времена, усиление социальных страхов — все это приводит к тому, что ведьма из относительно безобидной (хотя и вредоносной) фигуры под напором воззрений людей образованных оказывается в глазах большинства общества слугой Дьявола — и начинают пылать костры, к которым ведьм приговаривают не темные массы, а образованные юристы. Народная культура корчится в пламени.

В предисловии ко 2-му изданию «Категорий...» автор писал: «Один из проницательных читателей этой книги спросил автора, осознавались ли изучаемые в ней сюжеты: восприятие времени и пространства, отношение к личности, к праву, собственности и труду как проблемы людьми средневековья или же это вопросы, продиктованные историку современностью? Вне сомнения, в своеобразной форме эти темы занимали людей той эпохи, но настойчивость, с которой современный медиевист задает средневековым источникам именно эти вопросы, объясняется прежде всего их теперешней актуальностью» (2, 19). А вот что он отмечает в предисловии ко второму тому «Избранных трудов»: «Один из моих критиков, отметив универсальность рассматриваемых мною аспектов средневековой цивилизации, выразил сомнение в том, насколько они продиктованы ее спецификой; не порождены ли они некой априорной схемой, созданной историком и как бы „извне" подсказываемой изучаемой эпохе?.. Много лет спустя после написания „Категорий" я обратился к чтению текстов проповедей немецкого францисканца Бертольда Регенсбургского. ...Особенно меня поразила проповедь „О пяти талантах" — дарах Господа, коими наделен каждый христианин (эта проповедь стала предметом анализа

в одной из глав „Средневекового мира". — *Д. Х.*)... Меня поразило следующее обстоятельство: перечень даров, которые он выделил в качестве наиболее существенных, почти целиком совпадает с теми категориями средневековой культуры, которые были намечены мною для ее анализа. И в рассуждении монаха XIII в., и в исследовании историка XX в. в центре внимания находятся время, богатство и собственность, социальный статус и личность. Излишне говорить о том, что интерпретация этих „талантов" в одном случае и категорий культуры в другом совершенно различна, но то, что я наметил для изучения те самые темы, которые семью столетиями ранее вычленил для проповеди немецкий францисканец, на мой взгляд, служит доказательством правильности сделанного мной выбора, хотя выбор этот, как уже подчеркнуто выше, в немалой мере был подсказан состоянием современного общества. Интуиция не подвела» (2, 13 — 14).

Итак, исследование средневековой культуры... Но широкой публике вряд ли известно, что Гуревич не сразу приступил к изучению культуры, среди собратьев по цеху он приобрел авторитет как исследователь аграрных отношений в период раннего Средневековья на севере Европы (англосаксонская Англия, Скандинавия). Вроде бы в социально-экономическом ключе написана одна из известнейших (правда, более в кругах специалистов) его книг — «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе», опубликованная здесь в первом томе под названием «Начало феодализма в Европе». Личный друг и постоянный научный оппонент Гуревича, известный специалист по истории итальянского Возрождения Л. М. Баткин как-то заявил: «„Проблемы генезиса..." явились последней (не хронологически, а методологически) книгой аграрника А. Я. Гуревича и первой книгой социального антрополога А. Я. Гуревича. Его рубиконом».

У «Проблем генезиса...» была более чем нелегкая судьба, во многом определившая судьбу самого Арона Яковлевича, а может быть, даже и судьбы отечественной исторической науки.

«Проблемы генезиса феодализма» вызвали грандиозный скандал в идеологических верхах, книга и ее автор подверглись разносу в партийной печати (один из организаторов травли — тогдашний министр просвещения РСФСР профессор А. И. Данилов), проработке на специально созванных совещаниях «проверенных» историков (самого Гуревича туда не приглашали), редакцию издательства «Высшая школа», где готовилась книга профессора Гуревича, просто разогнали, сам автор был изгнан из Института философии. Обо всем этом Гуревич рассказывает в первом томе «Избранных трудов» в сочинении (не могу назвать его ни предисловием, ни введением, ни статьей) «„Генезис феодализма" и генезис медиевиста. Злые мемуары в роли предисловия». Скажу сразу, что все кончилось «относительно» хорошо («Я — везунчик, — любит говорить ученый. — Все, что я написал, вышло в свет, и били меня за уже опубликованное и известное читателю»). По сигналу «сверху» травлю приглушили (видимо, какая-то подковерная борьба в «сферах»), автора скандальной книги даже трудоустроили. Л. М. Баткин вспоминает:

«Правда, наказание А. Я. выглядело умеренным. Где-то „наверху", к счастью, „было мнение", что печатать книги Гуревича... можно. И все они, одна за другой, выходили в свет в Москве. И переводились. Бедный А. Я. чувствовал себя подчас неловко! — такая важная привилегия была дарована отнюдь не всем вольным стрелкам гуманистики.

Гуревичу в течение последующих почти двух десятилетий было запрещено „только": а) выезжать на Запад, куда его то и дело приглашали докладчиком на конференции или лектором в университеты; б) иметь собственный сектор или кафедру; в) иметь официальных учеников, аспирантов; г) преподавать в столичных вузах, разве что — попозже — факультативные спецкурсы; д) стоять во главе журнала (вообще как-то институционализировать свою научную школу); е) входить в „ученые советы" (вообще пользоваться каким-либо влиянием и формальными возможностями, которые были бы сколько-нибудь адекватны его действительному положению в науке)».

Что вызвало столь сильный гнев у идеологических властей? Почему их возбудили столь далекие от сегодняшнего дня материи? А потому, что Гуревич поставил под сомнение — страшно сказать — некоторые положения теорий Маркса и Эн-

гельса. Скажу сразу, Гуревич никогда не являлся ни пламенным марксистом, ни ревностным антимарксистом. Относясь со сдержанным уважением к учению Маркса (но не к «марксизму-ленинизму»), он всегда полагал, что марксистская теория исторического процесса, разработанная на материале социально-экономического развития капитализма в Западной Европе, безосновательно прилагалась Марксом, а еще более его последователями, ко всем цивилизациям и историческим периодам. Согласно Марксу и Энгельсу, феодализм возникал так же, как и капитализм. В последнем случае лишенные собственных средств производства люди становились пролетариями, наемными работниками у капиталистов; в первом — обезземеленные, в результате экспроприации их собственности земельными магнатами, свободные крестьяне закабалялись этими магнатами, прикреплялись к земле и становились зависимыми, «крепостными», как было принято — с большой долей неточности — писать в отечественной научной литературе. Опираясь на экономическое могущество, магнаты присваивали функции власти, становились почти независимыми от верховных правителей феодалами.

Гуревич же показал, что все было совсем не так. В условиях слабости верховной власти свободные земледельцы в поисках защиты *вместе со своей землей* отдавались под патронат магнатов, меняли свободу на безопасность. Иные завещали свои владения (но с правом пользования) Церкви, дабы обеспечить себе и потомству вечное спасение на небесах и постоянное покровительство на земле. Право поборов, право суда в той или иной части страны магнатам передавала верховная власть, то есть феодализм складывался во многом «сверху». И т. д. и т. п. — интересующиеся должны обратиться к тексту самого Гуревича.

Крамола была и в работах Гуревича, посвященных древним германцам, в частности в «Аграрном строе варваров». Там он, опять же, замахнулся на святое — на теорию «Происхождения семьи, частной собственности и государства». Энгельс, описывая варварскую эпоху, в которой он усматривал «первобытный коммунизм», опирался на не всегда адекватные сообщения Цезаря и Тацита об укладе древних германцев и находил у них «военную демократию», коллективную собственность на землю и т. п. Проанализировав археологический материал, Гуревич увидел, что древние германцы были не полукочевниками, носившимися как угорелые с копьями и мечами по диким лесам в поисках славы и добычи, а крестьянами, веками жившими на одном месте, что не было никакой коллективной собственности на землю, никаких переделов земли, а велось семейное хуторское хозяйство и т. д. О таком громко говорить было нельзя, и если указанные идеи сложились у историка еще в конце 60-х — начале 70-х годов, то обнародованы были лишь в 1985 году, когда обстоятельства смягчились.

И еще одна важная предпосылка. «В феодализме я склонен усматривать преимущественно, если не исключительно, западноевропейский феномен. На мой взгляд, он сложился в результате уникальной констелляции тенденций развития. Феодальный строй, как бы его ни истолковывать, представляет собой не какую-то фазу всемирно-исторического процесса, — он возник в силу сочетания специфических условий, порожденных столкновением варварского мира с миром позднеантичного средиземноморья. Этот конфликт, давший импульс синтезу германского и романского начал, в конечном итоге породил условия для выхода западноевропейской цивилизации на исходе средневековья за пределы традиционного общественного уклада, за те пределы, в которых оставались все другие цивилизации» (1, 20 — 21).

А как же быть с теорией общественно-экономических формаций, со знаменитой пятичленкой: первобытный коммунизм — рабовладение — феодализм — капитализм — социализм/коммунизм? Ведь эта пятичленка считалась присущей всем временам и народам. И если феодализм не обязателен, то, может быть, — жутко вымолвить — и победа социализма во всем мире не столь уж неизбежна?

Вот куда может завести неконтролируемая мысль ученого. Ученого, который — как он сам неоднократно заявлял — никогда не был диссидентом. Просто исследовательская логика, логика мысли, не оглядывающейся на идеологию, а опирающейся на исторические факты, привела его к выводам, обозначенным выше.

Обратимся же к этой логике, попытаемся проследить «генезис медиевиста». «Я формировался, — рассказывает Гуревич, — ...как историк крестьянства... Меня занимала проблема генезиса феодализма в Западной Европе. Но на определенном этапе своей научной работы я пережил глубокий кризис, обусловленный многими причинами... Я пришел к убеждению, что невозможно понять социально-экономическую историю без включения ее в более широкий социально-культурный контекст... Даже если историк стремится реконструировать социальный строй и хозяйство, он неизбежно и постоянно сталкивается в этих [средневековых] источниках с мыслями и чувствами людей, с их повседневной жизнью и в семье и в обществе...»[7]

То есть для того, чтобы понять социальные, даже социально-экономические материи, надо обратиться к человеку. В «Проблемах генезиса...», как объясняет автор книги, «поставлена проблема экономической антропологии, представляющей собой часть антропологии исторической. Такие темы, как отношение человека к земле, земельная собственность и ее специфика в древнегерманскую и раннесредневековую эпохи, особенности отношения к богатству, обмену и потреблению, рассматриваются в этой книге не в традиционной манере экономической истории, а именно в качестве проблем антропологических. Это означает, что предметом исследования историка являются не абстракции типа „производство", „собственность", „рента" и т. п., но направленная на них человеческая активность, равно как и умонастроения, психологические и ценностные установки людей и обусловленные ими формы общественного поведения. Иными словами, труд, присвоение, потребление, торговля, обмен дарами оцениваются антропологически ориентированным историком в качестве содержания мыслей и чувств людей изучаемой эпохи, их религиозности, мифов и вообще всего комплекса символических систем».

И далее:

«Германец времен Тацита, франк периода записи „Салической правды", скандинав эпохи саг — отнюдь не безликие существа, всецело поглощенные родовыми или общинными коллективами и неукоснительно исполняющие отведенные им социальные роли, это — индивиды, которые, будучи включены в системы родства, вместе с тем обладают собственными характерами и полагаются прежде всего на свои силы. Главная этическая ценность, определяющая их поведение, — личное достоинство, честь, добрая слава» (1, 13, 14).

Исследовательская мысль Гуревича проделывает как бы «двойной ход», так сказать, «развивается по спирали». В источниках, являющихся, на традиционный взгляд, памятниками исключительно социально-экономической истории, он ищет человека, а затем возвращается к социально-экономическим сюжетам. И получается, что оное социально-экономическое развитие невозможно ни адекватно описать, ни, тем более, удовлетворительно понять, если не брать в расчет тех людей, которые были не только и не столько объектами приложения слепых, безличных и действующих наподобие закона всемирного тяготения законов «развития производительных сил и производственных отношений», но мыслящими и чувствующими субъектами истории.

Все проходит... Нет идеологического диктата, сменилась и исследовательская традиция, идеи, высказанные Гуревичем, не подвергаются отторжению научным сообществом, а, наоборот, считаются чуть не чем-то само собою разумеющимся.

В 1993 году в Министерстве просвещения Российской Федерации состоялось совещание историков, посвященное проблемам создания новых школьных учебников. В написании одного из таких учебников — разумеется, по истории Средних веков — принимал участие, даже был основным автором и Арон Яковлевич. После совещания он обратился к автору этих строк: «А вот рядом с конференц-залом, где мы заседали, находится кабинет министра, из которого меня выгоняли, когда этим министром был А. И. Данилов». Когда я пересказал эту историю одному своему другу, тот заметил: «Прекрасно, когда такое происходит при жизни».

---

[7] Гуревич А. Я. Европейское средневековье и современность, стр. 140.

При жизни... Деятельность Гуревича никак не завершена. В четвертом томе «Избранных трудов» предполагается обнародование новой, по-русски вообще не публиковавшейся (она была написана для международного издания) книги «Индивид в средневековой Европе», над которой ученый работает прямо сейчас. Жизнь продолжается.

Дмитрий ХАРИТОНОВИЧ.

*

ВЕНЯ ЕРОФЕЕВ: «РАЗВЕ МОЖНО ГРУСТИТЬ, ИМЕЯ ТАКИЕ ПОЗНАНИЯ!»

Комментарий к комментарию

Э. Власов. Бессмертная поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Спутник писателя (Slavic Research Center / Occasional Papers on Changes in the Slavic-Eurasian World. No. 57. Hokkaido University, 1998).
Венедикт Ерофеев. Москва — Петушки с комментариями Эдуарда Власова. М., «Вагриус», 2000, 574 стр.

«Я сам в этом ничего не понимаю...»

Эдуард Власов.

Мы живем в эпоху системных постмодернистских комментариев, обретающих все большую степень независимости от комментируемого текста. Определенные подходы к такого рода комментарию были сделаны в работе Н. Л. Бродского и Н. П. Сидорова «Комментарий к роману Н. Г. Чернышевского „Что делать?"» (М., 1933), в книге В. В. Набокова «Комментарий к роману А. С. Пушкина „Евгений Онегин"» (СПб., 1998); в этом же жанре выполнен и комментарий Ю. М. Лотмана «Роман А. С. Пушкина „Евгений Онегин"» (Л., 1983) и многие другие работы. Однако основателем этой традиции можно считать Густава Шпета, поскольку именно он радикально модернизировал жанр комментария («Комментарий к „Посмертным запискам Пиквикского клуба"», М. — Л., 1934). Здесь он, в частности, писал: «Такой тип комментария, сколько мне известно, осуществляется впервые. Отсутствие прецедентов и готовых форм, которыми можно было бы руководствоваться, очень затрудняло работу автора, и это несомненно отразилось на ней. Но какие бы недочеты, промахи и ошибки, — часть их уже видна самому автору, — ни открыли читатели и критика, сама идея такого комментария представляется правильною. Есть ряд произведений мировой литературы, которые нуждаются в комментарии такого типа, — не в силу их исключительного художественного достоинства, а скорее в силу специфического материала, сообщающего сведения о характерных бытовых особенностях эпох и социальной среды, нам чуждых и далеких не только хронологически, но в особенности по содержанию жизни и общественной психологии». К такого рода текстам, «нуждающимся» в тексте-интерпретаторе, несомненно относится и поэма В. В. Ерофеева «Москва — Петушки». Это может показаться странным, поскольку эпоха Ерофеева — часть нашей жизни, она отстоит от нас всего лишь на пару-тройку десятков лет. Однако «бытовые особенности», «общественная психология» и «социальная среда» той эпохи совершенно уникальны и ни с чем не сопоставимы.

Комментарий Эдуарда Власова к поэме Ерофеева был издан в 1998 году в Японии. Эта работа не заслуживала бы никакого внимания, если бы не была только что переиздана огромным тиражом издательством «Вагриус» в приложении к новому изданию поэмы Ерофеева. Научный аппарат в нем отсутствует, и «комментарий» Власова как бы его замещает.

Редакция предупреждает читателей о том, что в некоторых приведенных автором цитатах употребляется ненормативная лексика.

Мы будем комментировать труд Власова по полному японскому изданию, сверяя его с новым изданием 2000 года. Ссылки на японское издание сопровождаются пометой «СП»; ссылки на новое издание сопровождаются пометой «Вагриус»; ссылки на текст поэмы даются по изданию: Ерофеев В. В. Оставьте мою душу в покое. М., 1995, с пометой «Ерофеев» и указанием цитируемой страницы.

Несмотря на то что в издании «Вагриус» некоторые ошибки были исправлены, общая деструктивная направленность работы Власова все же сохранилась: в ней ничего не сказано о структуре комментария, о принципах работы автора с текстом поэмы и т. п. Небольшое предисловие, поясняющее принципы работы автора, есть только в японском издании, по которому оно и цитируется.

Начнем с того, что текст поэмы откомментирован по недостоверной и неполной копии: «Сами же комментируемые места из „Москвы — Петушков" я цитирую по имеющейся у меня с незапамятных времен самиздатовской копии, где не хватает нескольких страниц, поэтому комментарий получился далеко не полный. Тотальной сверки цитат из Ерофеева по посмертным, официальным изданиям поэмы я не проводил...» (СП, стр. III). То есть комментируется некий недоступный нам мифический список, что есть сознательный уход от Текста. Если учесть, что на момент выхода комментария Власова достоверный текст поэмы уже десяток раз большими тиражами был опубликован, то позиция комментатора ничем не может быть оправдана. Приведем примеры. У Власова (СП, стр. 131): «Николай Гоголь... всегда, когда бывал *у Панаевых*...» Во всех изданиях читаем: «Он всегда, когда бывал *у Аксаковых*...» Именно этот ляпсус недостоверного списка позволил Власову посвятить большой фрагмент комментария семейству Панаевых и несуществующей «ошибке персонажа» (СП, стр. 131). В новом издании эта ошибка исправлена («Вагриус», стр. 337), но разночтений, сохранившихся и в новом издании, множество. У Власова читаем: «Ты придешь *ко мне прощенья просить,* а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду *поцарапаю, собственным своим кукишем!*» (СП, стр. 160). В новом издании комментируется уже другой вариант текста: «Ты придешь прощенья ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду *исцарапаю, собственным своим кукишем!*» («Вагриус», стр. 386). Но и этот текст расходится с общепринятыми публикациями: «Ты придешь прощения ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду *исцарапаю безымянным пальцем!*» (Ерофеев, стр. 94). Непонятно, по какому списку печатало текст издательство «Вагриус», поскольку в нем об этом не сказано ни слова.

Приводимых Власовым цитат в указанных источниках зачастую нет: сравнивая ссылки на Библию с ее оригинальным текстом, мы не обнаружили там чуть ли не каждой второй цитаты. Если автор пользовался «Симфонией», то все же следовало заглянуть и в оригинальный текст. Например, выражения «Бог благ» нет ни в 5-й, ни в 7-й главах Второй Книги Царств, ни в 117-м псалме Псалтири. Фрагмента «Господи Боже наш: ибо мы на Тебя уповаем...» нет во Второй Книге Царств, хотя Власов дает ссылки именно на это место. Следующей цитаты: «Во имя Твое попрем ногами восстающих на нас» — тоже нет ни в 43-м, ни в 62-м псалме Псалтири. Все примеры взяты с одной страницы комментария (СП, стр. 115), причем в новом издании комментария все эти недоразумения остались без изменений («Вагриус», стр. 311 — 312). Очевидно, что цитаты в комментарии Власова очень часто не сверялись с первоисточниками.

Почти весь комментарий состоит из пространных цитат, как правило не имеющих ни малейшего отношения к тексту поэмы. Это просто любимые Власовым тексты, в том числе написанные после 1971 года, то есть лишенные каких-либо признаков интертекстуального влияния на поэму: «Для придания книжке солидности и ощущения преемственности поколений я привожу параллели использования отдельных лексем и образов не только в до-, но и в постерофеевской литературе, а также отсылаю к примерам схожего дискурса или творческого мышления из других областей — скажем, к кино или к живописи» (СП, стр. II — III). Власов не называет соотношения этих текстов «аллюзиями», «цитатами» или «реминисценциями», а использует уклончивые формулировки. Читателю непонятно, какой тип интер-

текстуальных связей определяется формулами: «мне приглянулся... текст...», «не меньше неги и у других поэтов», «ассоциации вызывает... текст Бориса Гребенщикова», «приведу также характерные примеры поэтизированного... мироощущения», «здесь слышится перекличка с...», «похоже строится фраза у...», «сходная формулировка риторического вопроса есть у...», «прерывистое, с остановками, движение по столице наблюдается у...», «а у Мандельштама есть такое...», «антиэнтузиазм был характерен для многих российских литераторов. Розанов... писал о Льве Толстом...». Или просто: «У Мандельштама есть стихи»! Комментатор принципиально уходит от ерофеевского текста в область личных ассоциаций, ощущений и воспоминаний.

Очень часто в своем комментарии Власов приводит целиком стихотворения, главы из прозаических произведений разных авторов. К примеру, на страницах 15 — 19 японского издания дано 205 строк ненужных цитат, причем полностью отсутствует содержательный комментарий к самой поэме; без изменений все эти ненужные тексты перенесены и в новое издание комментария («Вагриус», стр. 145 — 151). Создается впечатление, что это не комментарий, а какой-то цитатник, состоящий из любимых Власовым фрагментов мировой литературы. Причем, как явствует из текста комментария, уход Власова от текста поэмы вполне сознательный и порой даже декларативный. В итоге комментарий превращается в какую-то пародию, когда его автор вынужден напоминать, что речь все-таки идет о поэме Ерофеева: «Они вынуждены мочиться, приседая на корточки. Это написал Венедикт Ерофеев. А вот у Виктора Ерофеева...» (СП, стр. 95; «Вагриус», стр. 277).

Одновременно Власов смело компонует цитаты, свободно лепит из фрагментов чужого текста нечто, напоминающее какое-нибудь место поэмы, создавая иллюзию «цитатности». При этом читатель может решить, что текст поэмы действительно сплошь состоит из цитат. К примеру, Власов, комментируя фрагмент поэмы: «А я, раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь... Она сама — сама сделала за меня свой выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своею лодыжкою. В этом было что-то от поощрения и от игры», — утверждает, что «поэтика данного пассажа во многом позаимствована у Гамсуна» (СП, стр. 93). В новом издании это место чуть «смягчено»: «поэтика данного пассажа во многом схожа с Гамсуном» («Вагриус», стр. 273). Выражение «поэтика схожа с Гамсуном» оставляет много вопросов. Но это не главное: при сверке приведенной Власовым цитаты с текстом романа Гамсуна «Голод» выясняется, что первая ее часть взята со страницы 128 («Раздавленный, я признал, что это действительно гадко...»), вторая — со страницы 149 («она обвивает рукой мою шею... другой рукой она начинает сама расстегивать пуговицы, еще и еще...»), и наконец реплика: «Но, моя дорогая! — сказал я в замешательстве. — Я никак не пойму... право, никак не пойму, что это за игра...» — находится на стр. 151 (Гамсун Кнут. Собр. соч. Т. 1. М., 1991). Так разрозненные цитаты вырываются комментатором из контекста, а затем свободно и смело компонуются. При этом искажается смысл исходного текста: ведь у Гамсуна соблазнение так и не состоялось. В мировой литературе можно найти тысячи сцен соблазнения мужчины женщиной, и для этого не нужно нарочито «резать» и компилировать «неподходящий» текст. Этот подход сохранился в новом издании комментария без малейших изменений. Нам кажется не вполне корректным подобный способ насильственной «интертекстуализации» текстов.

Вместо того чтобы разрешать загадки ерофеевского текста, комментарий сам оказывается загадкой без отгадки. И не стоит задумываться, пытаясь понять, что же хотел сказать комментатор: «Вот, к примеру... портрет рядового рабочего США в начале XX века» и т. д. (СП, стр. 37; «Вагриус», стр. 182). Да ничего не хотел сказать: связь между всеми этими цитатами про каких-то «рабочих» и текстом поэмы отсутствует. Причем отсутствие этой связи порой становится объектом иронии самого комментатора. Поясняя строки поэмы: «Никого не стыдятся — наливают и пьют...», Власов, видимо, просто шутит, утверждая, что герои Ерофеева «выполняют совет Мандельштама: „Пейте вдоволь, пейте двое, / Одному не надо пить!"» (СП, стр. 40; «Вагриус», стр. 187). В то же время Власов иногда комментирует текст Ерофеева буквально, не замечая иронии повествователя: «*Поживу немного у*

Луиджи Лонго, койку у него сниму... — Веничка... полагал, что снять у него койку достаточно легко» (СП, стр. 171 — 172; «Вагриус», стр. 404). Перед нами новый способ текстопорождения: комментатор берет первую попавшуюся строчку из Ерофеева, например: «Я расширял им кругозор по мере сил...», и полушутя сопровождает ее первой вспомнившейся цитатой: «Восьмилетнее образование было обязательно для всех моложе пятидесяти, десятилетнее — для желающих, занятия проходили после работы, по ускоренной программе и без изучения иностранных языков — считалось, что, изучив язык, озлобленный на родную власть зэк сразу же бежит за границу... Бубнеж лектора никто не слушал... Раза два при мне приезжали лекторы из Москвы — срочно нужно было разъяснить преимущества разрядки [политической напряженности в мире], тогда лекции устраивались в столовой, и многие хотели послушать... Был даже в зоне зэк по прозвищу Философ, который три раза в неделю подходил ко мне, предлагая ответить, что такое анархизм... Он мне также жаловался на необстоятельность Максима Горького — читает уже четвертый том „Жизни Клима Самгина", а все еще не ясно, много ли Самгин зарабатывает...» (СП, стр. 56; «Вагриус», стр. 213). Максим Горький, зеки, восьмилетнее образование и анархизм тут совсем ни при чем, но это не важно. Важно то, что подобные пассажи, не имеющие к поэме ни малейшего отношения, составляют 90 процентов данного комментария. Фактически текст Власова разрушает восприятие комментируемого текста. Но если это вообще не комментарий, то что это за текст, каков его статус? И почему он публикуется издательством «Вагриус» под названием «Комментарий»? Единственная возможность интерпретации комментария — считать его неуместной шуткой автора и издательства. Неуместной потому, что мистифицировать научно-исследовательский центр славистики уважаемого университета, где был впервые издан этот комментарий, — не вполне корректно и совсем не смешно, так же как вводить в заблуждение образованного читателя, желающего приобрести новое научное комментированное издание знаменитой поэмы.

Все цитаты Власов приводит без традиционных филологических ссылок. Он сам оговаривает это в предисловии: «Цитирую источники только с указанием номеров частей, глав, сцен, действий, актов — я сам в этом ничего не понимаю и часто путаю» (СП, стр. III). Признание в полном непонимании принципов работы комментатора глубоко закономерно: в самом деле, комментатор не знаком даже с элементарными основами лексикологии, не знает принципов определения значений слов. Так, слово «пидорас» в комментарии определяется так: «Здесь — исключительно как ругательство» (СП, стр. 67; «Вагриус», стр. 231). Любое ругательство имеет значение: у Ерофеева значение этого слова можно приблизительно определить как «неприятный человек, лишенный чувства доброты, сострадания, любви» и т. п. Выражение «жидовская морда» автор определяет как «оскорбление личности» («Вагриус», стр. 251), видимо не понимая, что этот сомнительный прагматический комментарий тоже не заменяет определения значения. В других случаях он заменяет пояснение значения слова совершенно ненужной отсылкой: «Глагол вякать по отношению к больному ребенку употребляется, например, Зощенко...» При чем тут Зощенко? Итак, перед читателем текст, в котором комментатор не может определить значение даже одного слова. Не лучше определяется значение фразеологизмов: «сучий потрох — крепкое ругательство» («Вагриус», 323). Что уже тут говорить о дефиниции семантики более крупных фрагментов ерофеевского текста. Власов использует некорректно даже простейшие филологические термины: «Мандавош(еч)ка — нецензурная характеристика вызывающего презрение объекта; *этимологически* (курсив наш. — *А. П.-С.)* восходит к лобковой воши» (СП, стр. 149). В новом издании слово «воши» заменено на слово «вши», а весь «шедевр» остался неприкосновенным («Вагриус», стр. 368). Если забыть о стиле власовских определений («характеристика... восходит к лобковой воши» или «вши»), то хочется отметить, что приведенное автором указание на основное непереносное значение «лобковая вошь» слова «мандавошка» — это никак не «этимология». Этимология корня *mand- достаточно сложна: в свое время Макс Фасмер предположил связь этого корня с чешским «pani manda» («задница», «грешница»); однако он посчитал в целом эту этимологию «не ясной» (Vasmer M. Russisches etymologisches Wörterbuch. Lieferung 1-27, Bogen 1-44, Heildelberg, 1950 — 1958.

V. 2. S. 95). Той же точки зрения придерживались Б. А. Ларин и О. Н. Трубачев, ничего не добавившие к сказанному в тщательно редактируемых русских переизданиях этого труда (Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. М., 1986, стр. 567). Да что там говорить об этимологиях, если Власов не отличает маринад от посола (СП, стр. 112). Та же ошибка повторяется и в новом издании («Вагриус», стр. 306). Тут уже можно говорить об общей культуре автора, который, поясняя фрагмент: «такой пламенный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купалу», почему-то называет этот знаменитый обряд «девичьим обычаем прыгать» и уверяет, что праздник Ивана Купалы — «народный православный праздник в честь библейского Иоанна Крестителя» (СП, стр. 107); эта же ошибка сохранена и в новом издании («Вагриус», стр. 297). Конечно, ночь на Ивана Купалу — языческий праздник. Православный праздник, отмечаемый 24 июня (7 июля), называется Рождество Иоанна Предтечи. Более того, праздник Ивана Купалы всегда подвергался осуждению православной церковью.

Какая-либо система отбора материала у Власова отсутствует: по его же словам, он «просто запихнул под одну обложку» все, что захотел: «Короче говоря, я выкурил еще тринадцать трубок и решил запихнуть под одну обложку то, что должен знать и носить в своем сознании и своей памяти потенциальный **автор** очередных „Москвы — Петушков". Естественно, в разумном, то есть, увы, ограниченном, объеме. Прямой адресат книги этой, стало быть, не иностранный почитатель „Москвы — Петушков", лезущий на стенку от непонимания аллюзий и цитат, а будущий Венедикт Ерофеев, так сказать, Ерофеев-2. Для него это обязательное чтение. Для всех остальных — факультативное» (СП, стр. II). Выходит, комментарий предназначен некоему несуществующему субъекту, потенциальному создателю будущего текста! Но тогда комментарий Власова — не объект для чтения, даже вообще не информационный объект. Это какой-то субъект ожидания, претендующий на роль мифогенерирующей идеологемы. В этом смысле это вообще нелитературный объект.

В реальной части комментарий Власова — набор не проверенных по источникам данных, бесконечных ошибок. Так, часть комментария, поясняющая факты жизни, относящиеся к теме пития, не содержит *ни одной* содержательной справки. Такой подход ничем не может быть оправдан, тем более, что к настоящему времени издано множество превосходных справочников, где можно было бы легко проверить все эти факты (см., напр.: Охременко Н. С. Виноделие и вина Украины. М., 1966; Козуб Г. И. Марочные игристые вина Молдавии. Кишинев, 1983; «Все о напитках». М., 1993; «Рецепты ликеров, наливок, настоек и инструкции по приготовлению полуфабрикатов к ним». М., 1951; «Краткий словарь алкогольных терминов». М., 1994; Похлебкин В. В. История водки. М., 1997 и мн. др.). Названия напитков в комментарии даны неправильно или не полностью, крепость их не указана или указана неверно, этимологии ошибочны, страны-производители указаны часто неправильно, о стереотипах поведения и традициях питья не сказано ни слова и т. д. Даже объем граненого стакана в первом издании был указан неправильно: «Что же касается стакана, то речь идет, без сомнения, о классическом советском граненом стакане из толстого дешевого стекла, объем которого равнялся 250 мл» (СП, стр. 5). Нет человека в России, который бы не знал, что традиционный советский граненый стакан — двухсотграммовый. Естественно, эта оплошность была исправлена редакторами в новом издании («Вагриус», стр. 129).

Единственное, что иногда сообщает автор об алкогольных напитках, так это процент содержания в них спирта. Но поскольку источниками автор не пользовался, а приводил данные «по памяти», то, естественно, почти всегда неверно. Так, «Зубровка» содержит не 30 % спирта, как уверяет Власов, а 40 %; «Тминная» — не 35, а 40 %; «Кориандровая» — тоже не 35, а 40 %, и приготавливается не «на плодах кориандра» (СП, стр. 5), а с использованием множества компонентов, в том числе кориандрового семени, тминного семени, анисового семени, сахара. Данные оплошности настолько нелепы, что конечно же были исправлены в новом издании.

Про вино «Альб де Десерт» Власов в первом издании комментария пишет: «Учитывая иноязычное звучание названия, можно предположить, что речь идет об импортном вине — скорее всего об алжирском — дешевом, низкого качества, по-

ставлявшемся в СССР из Алжира как компенсация за военную и экономическую помощь. В 1960-е годы оно регулярно продавалось в Москве» (СП, стр. 6). Вся эта информация — ложная. «Можно предположить» и «скорее всего» — вот метод, способ и принцип построения комментария Власовым. На самом деле это вино несложно найти в отечественной справочной литературе советского времени, например в книге «Вина и коньяки Молдавии» (М., 1976). Заглянув в справочники, легко убедиться, что это не алжирское, а молдавское белое ординарное десертное специальное вино (спирт — 15 — 17 %, сахар — 14 — 16 %, кислотность — 6 г/л.). Забавно, что эта ошибка была исправлена в новом издании, но заметил ее не автор, а удивленный читатель, приславший автору письмо с исправлениями ляпсусов Власова. Иногда автор комментария, не зная точного содержания спирта, указывает на всякий случай приблизительное: так, «округленно» указано содержание спирта в той же «Зубровке» — «*крепкая (35° — 40°)*» (СП, стр. 5; читатель остается в неведении, сколько же в ней градусов: 35, 36, 37 или больше?) Конечно, Веничка пил сорокаградусную «Зубровку»: эту ошибку исправили редакторы комментария («Вагриус», стр. 129).

Неудивительно и закономерно и общее определение спиртных напитков, данное Власовым: оказывается, это «жидкая алкогольная продукция из винограда, пшеницы и картофеля» (СП, стр. 36). В новом издании после тщательного редактирования было решено определение оставить, но слово «жидкая» — изъять («Вагриус», стр. 181).

Но и в новом издании комментария есть много удивительного. Так, выясняется, что «Охотничья» — это сорокаградусная «настойка типа зубровки» (СП, стр. 6). В действительности же «Охотничья» ничего общего с «Зубровкой» не имеет — последняя производится с добавлением настоя одноименной лекарственной травы зубровки, тогда как «Охотничья» изготавливается из спиртового настоя имбирного корня, калгана, корня дягиля аптечного, ангеликового корня, гвоздики, перца черного, ягоды можжевельника обыкновенного, перца стручкового красного, кофе, грецкого ореха, бадьяна, аниса звездчатого, сушеных лимонных и апельсиновых корок, с добавлением белого портвейна и сахара, имеет темно-коричневый цвет и мягкий пряный вкус (см., напр.: «Рецепты ликеров, наливок, настоек и инструкции по приготовлению полуфабрикатов к ним». М., 1951, стр. 128; «Ликеро-водочные изделия». [М.,] 1950, стр. 22). В новом издании «Охотничья» уже не сравнивается с «Зубровкой», но крепость ее указана по-прежнему ошибочно, правильное название ее и какие-либо точные данные не приводятся («Вагриус», стр. 131). Комментатор должен был бы указать, что ее правильное название — «Горькая настойка Охотничья», что она содержит 45 % спирта и т. д. К другим напиткам Власов вообще не дает никакой информации, не указывает содержание спирта, не приводит правильного названия. По Власову, «Кубанская... — популярный сорт советской водки» (СП, стр. 31). Между тем это не водка, а горькая настойка и точное ее название — «Настойка горькая Кубанская любительская». Весь этот неинформативный пассаж перекочевал и в новое издание («Вагриус», стр. 173). Точно так же «Лимонная» — это не «сорт водки» (СП, стр. 83), а «Горькая настойка». Эти ошибки фигурируют и в новом издании («Вагриус», стр. 258).

Говоря о хересе, который выпускался нескольких видов («сухой» — 14 — 16 % спирта, «сухой крепкий» — 17 — 18 % спирта, просто «крепкий» — 19 — 20 % спирта и «десертный» — 19 — 20 %), Власов утверждает, что это «вино 19°» (СП, стр. 17). Эта ошибка перекочевала и в новое издание, причем никакой достоверной информации о хересе здесь тоже нет («Вагриус», стр. 149). Из комментария ясно одно, что херес и водка — это не одно и то же. О «розовом крепком» Власов пишет, что это «сорт дешевого розового десертного (18°) вина». Данный фрагмент комментария приводится в новом издании без малейших изменений («Вагриус», стр. 172). Между тем розовое крепкое — не сорт, а название, то есть имя собственное; точное его наименование: «Крепкое Розовое». Это вино не «десертное», а «специальное крепкое», поскольку содержит сахара всего 3 %, а десертные вина — это вина сладкие. Содержание спирта также указано неверно (не 18, а 19 %). Наконец, не сказано, что это вино — молдавское. Можно также добавить, что это одно из самых крепких вин, выпускавшихся в СССР в то время: оно содержало

больше спирта, чем многие портвейны. Так, например, «Портвейн Розовый» содержал лишь 17 % спирта, 7 % сахара и имел кислотность 5 — 6 % (см., напр.: «Вина и коньяки Молдавии». М., 1976). В контексте поэмы это важно, поскольку герой принципиально пьет напитки очень крепкие и несладкие. По сути, сведения, приведенные в реальной части комментария, — дезинформация: комментатор не вводит в заблуждение читателя только тогда, когда попросту не дает никакой необходимой информации. Например, о «Российской» водке он сообщает, что «Российская — популярный сорт советской водки» — и больше ни слова (СП, стр. 31; «Вагриус», стр. 172). Из контекста поэмы и так понятно, что речь идет о водке. О «Портвейне № 33» сообщается лишь то, что и так понятно читателю: оказывается, что это «сорт советского портвейна» («Вагриус», стр. 325).

Автор демонстрирует недостаточное знание русского просторечия, что также сказалось на реальной части комментария. Так, например, «красненькое» в просторечии означает вообще любое вино. Слово «красное» употребляется в противопоставлении «белой», то есть водке. Это значение слова «красненькое» является общеупотребительным, оно есть в словарях («Красное... 1. Любое крепленое вино. 2. Любой спиртной напиток...» — Юганов И., Юганова Ф. Словарь русского сленга. Сленговые слова и выражения 60 — 90-х годов. М., 1997, стр. 115). Не зная этого, Власов ошибочно определил «красненькое» как «красное (вино), обычно дешевое, из красного винограда, крепостью 11° — 12°, произведенное в Молдавии или Грузии» (СП, стр. 17). В новом издании редакторы сделали исправления, но текст комментария от этого стал не намного лучше: «Красненькое — уменьшит.-ласкат. от красное, что в просторечии является **эквивалентом к слову** „вино" как противопоставленного водке» («Вагриус», стр. 148). По-русски говорят не «эквивалент *к чему*», а эквивалент *чего*. Кроме того, из нового издания комментария невозможно понять, о каком именно «красненьком» идет речь. Между тем Веничка, без всякого сомнения, говорит о «специальном крепленом» вине любого типа. Об этом можно было бы легко догадаться, даже не заглядывая в специальную литературу, а просто внимательно читая текст поэмы, где красным вином именуется любое вино: «...и еще какое-то красное. Сейчас вспомню. Да — розовое крепкое...» (Ерофеев, стр. 43). В поэме белая водка противопоставляется красному вину: «...пьете... белую водку...; а на другой день — ...красные вина. ...пили... белую водку. ...пили только красное» (Ерофеев, стр. 69). Даже крепость коньяка неизвестна Власову, утверждающему, что это «вариант традиционного крепкого (40° — 45°) французского напитка, приготавливаемого по технологии бренди» (СП, стр. 53); этот же ляпсус есть и в новом издании («Вагриус», стр. 207). Между тем крепость коньяков, производимых и в СССР, и во всем мире, колебалась от 42 до 57 %. Бренди же делается по иной технологии. Кроме того, бренди тоже бывает разных типов: крепкий бренди имеет содержание спирта 80 — 90 %, «бренди граппа имеет содержание спирта 70 — 80 %», «собственно бренди имеет содержание спирта 57 — 72 %» («Алкогольные напитки»: Популярная энциклопедия. Минск, 1994, стр. 80). Есть и сорокапятиградусный бренди. Как видим, Власов не только не пользовался специальными источниками при составлении комментария, но даже не обращал внимания на надписи на этикетках общеупотребительных напитков.

Иногда Власов дает уж совершенно абсурдную информацию: «Крепленые красные вина — крепкие (18° — 19°) десертные вина из красного винограда... наиболее распространенными сортами в эпоху Венички были „Рубин" и „Кагор"» (СП, стр. 107). В новом издании указана другая крепость: 16° — 18°, а «Кагор» заменен на «различные кагоры» («Вагриус», стр. 297). В действительности ни «Рубин», ни «Кагор» никогда не имели указанной автором крепости: все стандартные кагоры на самом деле имеют крепость 16 %; во-вторых, десертные вина имеют крепость от 15 до 17 % спирта, а не 18 — 19 %; в-третьих, «Кагор» — это не сорт, а тип вина, то есть понятие родовое. К названию отдельного сорта кагора обычно добавляется второе слово: «Кагор Южнобережный», «Кагор Чумай», «Кагор Шемаха», «Кагор Густой» и т. п.

Замечательно откомментирована и «можжевеловая»: «Можжевеловая водка — джин» (СП, стр. 202). В новом издании — то же самое, однако к старым ошибкам

добавились новые: оказывается, джин «в СССР импортировался в основном из Венгрии» («Вагриус», стр. 454). Однако «можжевеловая» — это и не *водка*, и не *джин,* а «горькая настойка». При изготовлении джина кроме можжевеловых ягод «используют кориандр, дягиль, апельсиновую цедру, ирисовый корень, кардамон и др.» («Заздравная чаша»: Атлас вин, крепких и слабоалкогольных напитков мира. Справочно-энциклопедическое издание. М., 1996, стр. 158). Русский «Джин Балтийский» «приготавливается на ароматных спиртах можжевельника обыкновенного, имбиря, черносмородинного сока и на апельсиновом и лимонном маслах» (там же, стр. 159). При изготовлении других сортов отечественного джина использовались также семена укропа, солодковый корень, анис, тмин и др., в то время как при изготовлении «Настойки горькой Можжевеловой» используются кроме можжевеловых ягод еще и малина, дубовая стружка и некоторые другие компоненты, не используемые при изготовлении джина.

Комментируя закуски к водке, Власов утверждает, что «овощные голубцы» делаются из *мясного* фарша (СП, стр. 101). Это противоречит здравому смыслу, источникам и делает текст Ерофеева абсурдным, поскольку мясные продукты как раз и подаются к водке, а в поэме герой почему-то с грустью и тоской принимает их в дар. Между тем «овощные голубцы», в соответствии с советскими пищевыми стандартами того времени, относились к диетическому лечебному питанию и официально рекомендовались при болезнях печени, желчного пузыря, почек и гипертонии («Кулинария». М., 1955, стр. 867 — 868, 879). Овощные голубцы представляют собой вареный рис и морковь, завернутые в вареный капустный лист. Во-первых, использование диетического блюда в качестве закуски к водке уже создает юмористический эффект; во-вторых, все перечисленные выше внутренние органы как раз в первую очередь и страдают при приеме больших доз алкоголя, что делает подобную еду в данной ситуации еще более смешной; в-третьих, ни вареную капусту, ни вареную морковь, ни вареный рис не принято подавать к водке — это не самая подходящая закуска. Противоречие выпивки и закуски глубоко закономерно в контексте противоречивых событий поэмы, раздираемого противоречиями героя и т. д. В новом издании эта ошибка исправлена, «мясной фарш» удален, но, кроме упоминания капусты, риса и моркови, этот фрагмент также не содержит никакой вразумительной информации («Вагриус», стр. 287).

Комментатору кажется, что бефстроганов, пирожное и вымя, предложенные главному герою, и есть реальное, обычное, «стандартное меню недорогого вокзального ресторана» (СП, стр. 22); в новом издании этот пассаж остался без изменений («Вагриус», стр. 158). Видимо, в какой-то момент Власов начал смотреть на реалии прошлого через призму текста поэмы: ерофеевская художественная модель начинает заслонять реальность его воспоминаний. Впрочем, некорректная попытка комментатора поставить знак равенства между Текстом и Бытом не нуждается в критике.

Комментируя лексику, связанную с темой питья, Власов утверждает, что Ерофеев не совсем корректно употребляет слова: «правильнее не декохт, а декокт» (СП, стр. 5). В новом издании в тексте поэмы вместо «декохта» поставлено слово «декокт», поэтому из старого комментария просто изъяты все упоминания «декохта». В лучшем случае этот комментарий недостаточен. Можно отметить, что в русский язык слово «декохт» пришло непосредственно из латинского decoctum — «отвар, декокт» («Латинско-русский словарь». М., 1986, стр. 224). Ср. также польское dekokt, немецкое Dekokt и итальянское dekotto. Слово декохт (декокт) встречается (причем неоднократно) не только у Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, Б. Л. Пастернака (СП, стр. 5), но и у многих других русских писателей. На протяжении уже трех столетий это слово встречается в самых разных формах: декохт, декохто, декохтум, декокт. Используемая Ерофеевым форма этого слова вполне традиционна для литературы прошлых столетий: слово «декохт» было распространено уже в XVIII веке. Известны были декохты простудный, потовой, возбудительный, грудной, кровоочистительный (ср.: «Вылечился, употребляя взварец или декохт, составленный из сухой малины, меду... и инбирю» — «Словарь русского языка XVIII века. Вып. 6. Л., 1991, стр. 80 — 81). Во многих словарях XX века оно уже отмечено как устаревшее (см., напр.: «Толковый словарь русского языка». Т. 1. М.,

1935, стр. 677; «Словарь современного русского литературного языка». Т. 4. М., 1993, стр. 129). Правильнее считать это слово не устаревшим, а редким и сугубо литературным, поскольку в разговорной речи оно не встречается.

Поскольку «декокт» — это «отвар из лекарственных растений» («Словарь иностранных слов». М., 1984, стр. 150), то, кроме всего прочего, Веничка совершенно уместно использует это слово, хотя здесь и присутствует перенос значения. Ведь «Горькая настойка Зубровка», употребляемая героем «в качестве утреннего декохта», действительно содержит травяной экстракт, и герой употребляет ее как лекарственное средство против похмелья. Но комичность ситуации заключается в том, что Веничка использует в качестве лекарственного «декохта» не отвар, а настойки, причем в совершенно не «лекарственных» дозах — всего не менее 800 грамм зубровки, кориандровой и охотничьей. Конечно, употребляемые героем дозы соответствуют реалиям советской жизни, но реалиям «пьянства», а не «лечения»: в нашей стране использование лекарственных препаратов для лечения похмельного синдрома не слишком распространено. Похмелье у нас воспринимается не как болезнь, а как одно из состояний сознания и, если угодно, символ — вроде расстегнутых пуговиц, немытой посуды, рваных джинсов или чересчур открытого взгляда. А рваные джинсы не штопают — это объект художественный.

Что же касается интерпретаций финала поэмы («И с тех пор я не приходил в сознание...»), то он часто воспринимается однозначно — как смерть главного героя. Этой точки зрения придерживается и Власов, именуя мрачную четверку преследователей «убийцами» (СП, стр. 264; «Вагриус», стр. 556). Но какие бы предположения ни высказывали специалисты, читатель должен смириться с принципиальной многозначностью подобных текстов: «...я не буду вам объяснять, кто эти четверо» (Ерофеев, стр. 132). Ведь именно «безымянность» жуткой «четверки» делает ее столь таинственной. Эта «четверка» имеет «дьявольские черты» и уже соотносилась с обликом «классиков» русской власти (Паперно И. А., Гаспаров Б. М. Встань и иди. — «Slavica Hierosolymitana». Vol. V — VI. Jerusalem, 1981), которые сами в народном представлении не лишены сатанинских черт, и как-то перекликается с четырьмя «соседями по общежитию» (Левин Ю. И. Комментарий к поэме «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева. Graz, 1996, стр. 90; данный комментарий проанализирован в работе: Плуцер-Сарно А. Ю. «Бессмысленное, но ученое». Комментарий к комментарию Ю. И. Левина к поэме В. В. Ерофеева «Москва — Петушки». — «На посту», 1998, № 1, стр. 49 — 51). Эта «четверка» может быть соотнесена и с «четырьмя мудаками» из бригады Венички. Власов посчитал, что здесь «возможны ассоциации и с римскими легионерами, участвовавшими в казни Иисуса Христа», и с четырьмя апокалиптическими животными, по голосу последнего из которых появился всадник по имени смерть «и ад следовал за ним» (СП, стр. 257). Кроме всего прочего, эти «четверо» уже были сопоставлены с сатанинской булгаковской четверкой (Воланд, Фагот, Азазелло, Бегемот). Можно спорить о том, имеются или нет параллели между комментируемой поэмой и романом «Мастер и Маргарита», где в начале мучимый жаждой персонаж пытается приобрести кружку пива, но получает отказ, а в финале сатанинская четверка забирает главного героя с собой. Но в любом случае нельзя отрицать инфернальный характер происходящего в поэме: герой встречает хвостатых собеседников — Сфинкса, Сатану. Не случайно поездка героя — 13-я, в поэме упоминается 13-я комната, 13 глотков и т. д. В пользу подобного предположения говорит и «поведение» ангелов и Господа в последней главке, где они явно противопоставляются этой «четверке»: «...ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал... А этих четверых я уже увидел...» (Ерофеев, стр. 136). Конечно, последняя сцена проецируется и на сцену распятия Христа на четырехконечном кресте (герой произносит предсмертные слова Христа, героя «пригвоздили»).

Во всяком случае, цифра «четыре» в поэме значима и не предвещает ничего хорошего. Заметим для полноты картины, что в фольклоре вообще появление четного количества героев навстречу — дурной знак. Пунктуальности ради нужно добавить, что в поэме есть еще «четвертый тупик» (Ерофеев, стр. 42), четвертинка водки (упоминается множество раз), четвертый день, замыкающий вермутом цикл питья (там же, стр. 51), четверть часа, за которые «совершилось распятие» героя

при снятии с должности бригадира (там же, стр. 54), четвертый, последний стакан лимонной (там же, стр. 60), четверг, в который герой каждую неделю выпивал три с половиной литра ерша и думал о возможной смерти от оного количества (там же, стр. 68), четвертый позвонок (там же, стр. 103), четвертое письмо Гомулке (там же, стр. 108), «каждая четвертая изнасилованная» (там же, стр. 119), четвертая, но не последняя загадка (там же, стр. 120) и обещание удавиться в один из четвергов (там же, стр. 130). Что касается других цифр, то в поэме упоминаются, к примеру, пять рублей, пятьдесят копеек, пять минут, пять недель, пять пальцев, пять бокалов, пять грамм, пятьдесят грамм, пять раз на день, пять глотков, пять утра, пять мгновений, за которые «убийцы» вошли в подъезд, и пять удушающих героя рук. Не хочется умножать примеры, хочется сказать очень простую вещь: в поэме вообще просто очень много цифр. Только в финальной сцене четверо приближались «по двое с двух сторон», пять мгновений заходили в подъезд, душили пятью или шестью руками. Можно было бы написать пару страниц глубокомысленного текста о шестикрылых серафимах, пятируких великанах. Но такие вырванные из общей цифровой символики поэмы примеры не показательны. Поэтому мы затрудняемся сказать, насколько те или иные предположения исследователей обоснованны.

Однако интерпретации последней сцены как смерти героя, а таинственной «четверки» — как убийц основаны прежде всего на финальных словах: «вонзили шило... в самое горло». Но «горло» героя (как и «горло» бутылки) является постоянным мотивом поэмы, прямо связанным с темой питья. В то же время последняя сцена происходит в подъезде, который в поэме является местом, где герой традиционно теряет сознание в состоянии крайней степени опьянения. При этом «убийство» героя в поэме совершается многократно и может восприниматься как пьяное сновидение, алкогольная галлюцинация. Ведь до этого «крестьянка» уже ударила главного героя «серпом по яйцам», «рабочий» — молотом по голове, «царь Митридат» уже несколько раз вонзил в героя нож и т. п. Все эти действия не нанесли герою физического вреда. Таким образом, последнюю сцену можно интерпретировать не только как смерть героя, но и как описание бредовых видений героя в состоянии крайней степени интоксикации. В тексте поэмы речь идет именно о потере сознания в состоянии алкогольного отравления: «Веня, ты больше не помнишь ничего... сразу погрузился в тот сон, с которого начались все... бедствия... Краешком сознания... я еще запомнил, что сумел... совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства...» (Ерофеев, стр. 105); «ни сон... ни бденье», «как труп, в ледяной испарине» (там же, стр. 126), «вздрогнул и забился» (там же, стр. 127); «все заклубилось», «туман», «то лед, то пламень», «стынет кровь», «это лихорадка», «жаркий туман», «я в ознобе» (там же, стр. 128); «снова проснулся... в конвульсиях», «весь в судорогах», «и озноб, и жар, и лихоманка», «снова проснулся», «все в мне содрогалось» (там же, стр. 129); «боль, холод», «судорог» (там же, стр. 130) и т. д. Все эти «определения» точно соответствуют реальным описаниям состояния алкогольного делирия. Если мы оставим попытки интертекстуального комментария, то рисуемая повествователем модель бредового восприятия и поведения героя позволит нам в рамках реального комментария говорить о точном соответствии этой модели реалиям жизни. Тем более, что последняя фраза поэмы: «И с тех пор я никогда не приходил в сознание...» — тоже достаточно многозначна.

В любом случае ни одна из этих интерпретаций не может быть признана единственной, правильной и истинной. Все попытки однозначной интерпретации финальной сцены лишь упростят текст, но не приблизят читателя к его пониманию.

Даже комментируя простейшие фрагменты текста, Власов упрощает текст до крайности, предлагая лишь прямолинейные интерпретации. Так, например, надпись на стекле вагона, графически поданную повествователем в поэме в виде многоточия («...»), Власов поясняет совершенно однозначно: «Это матерное слово „хуй"» («Вагриус», стр. 514). Между тем очевидно, что если бы автор поэмы хотел настаивать на подобной интерпретации этого «граффити», то он «мог бы» сам грубо поставить его в текст. Тем более, что матерные слова в некупированном виде встречаются в поэме. Но многоточие — многозначно: оно имеет ряд коннотативных оттенков значения. Например, еще раз указывает на скромность повествовате-

ля, одновременно как бы «настаивая» на крайней непристойности «купированного» слова. А поскольку матерные слова в поэме не редкость, то у читателя возникает ощущение того, что перед ним нечто еще более непристойное и ужасное, чем простая обсценная лексема. Не будем умножать примеры, скажем только, что без малейшего сомнения автор предлагает читателю некое поле неопределенности. А комментатор, вместо того чтобы указать на этот прием, попросту уничтожает все эти тонкие оттенки значений. Ведь тот факт, что мат чаще не произносится, а именно упоминается в поэме, тоже представляет собой важный стилистический прием. Не случайно в главе «Покров — 113-й километр» (Ерофеев, стр. 121 — 123) пять раз подряд используется полностью купированная форма «...». В таком контексте также не случайно появление в поэме всевозможных эвфемизмов, многоточий и метаупоминаний: «...полторы страницы чистейшего мата» (Ерофеев, стр. 35). Как известно, матерной страницы в поэме никогда не было. Можно говорить о том, что непристойность, традиционно приписываемая поэме исследователями и читателями, носит чисто «мифический» характер. Хотя конечно же именно автор заложил в текст восприятие поэмы как непристойной, насыщенной неприличными шутками и некодифицированной лексикой. С первой страницы поэмы, с упоминания о том, что «во всей этой главе нет ни единого цензурного слова» (Ерофеев, стр. 35), читателю навязывается восприятие поэмы как обсценной. При том, что обсценной лексики в поэме не больше, чем в текстах других русских писателей, имеющих репутации «приличных». У Ерофеева слова с корнем *еб- встречаются 5 раз (Ерофеев, стр. 65, 97, 103, 108, 118), с корнем *муд- — 6 раз (Ерофеев, стр. 44, 52, 55, 65, 100, 112), с корнем *бляд- — 8 раз (Ерофеев, стр. 51, 52, 64, 94, 98, 99, 102, 109). Корни *сс- и *ср- два раза встречаются в тексте поэмы (Ерофеев, стр. 48, 89). Корень *манд- встречается один раз (Ерофеев, стр. 90). Вот, собственно, и все. А например, в совершенно благопристойной «Московской саге» Василия Аксенова встречается 72 обсценных лексемы, в «Ожоге» — 117. При этом в романах Аксенова сексуальных сцен, граничащих с «жестким порно», множество. Но Ерофеев в отличие от других авторов всячески декларирует непристойность собственного текста. И наивный читатель верит. К сожалению, на эту же удочку попался и комментатор.

В тех же случаях, когда автор хочет продемонстрировать свое знание обсценной лексики, он почему-то приводит значения лексем, которых вообще нет в данном тексте: «м е н я б у д у т п и з д и т ь. Данный матерный глагол используется здесь (удар. на первом слоге) в значении „бить, избивать" (в других контекстах может иметь значения „красть" (ср. пиздить {удар. на первом слоге} — врать)» («Вагриус», стр. 235. Хочется отметить, что слово «пизди́ть» с ударением на втором слоге — это совершенно другое слово. Оно даже не является омонимом. И его значение тут ни при чем. А слово «пи́здить» у Ерофеева употреблено в совершенно ином значении. Речь идет о наказании, выражающемся в выговорах, понижении заработной платы, каких-либо вычетах, лишении премиальных и т. п. Конечно, главного героя ни начальство, ни подчиненные не собирались избить в день получения зарплаты. Так что комментатор и здесь дает совершенно неправильное значение глагола.

Все приводимые нами выше примеры — это не отдельные ошибки автора комментария, выбранные нами для усиления критической направленности данной маргиналии. В комментарии вообще полностью отсутствует достоверная информация, связанная с комментированием реалий жизни. Не случайно даже Евгений Попов, автор предисловия к данному «комментированному» изданию поэмы, в высшей степени иронически отозвался о комментарии, помещенном под той же обложкой: «Сочинение его живо, любопытно, хотя и грешит кой-какими неточностями, которые читатель пусть обнаружит...» («Вагриус», стр. 7).

Поэма «Москва — Петушки» — один из самых популярных текстов русской литературы. Читателю кажется, что поэма «легко читается», «написана простым языком». Иллюзия эта порождена включением в текст поэмы просторечной лексики (в том числе матерной), простонародных реалий и мн. др. В действительности текст этот невероятно сложен, необычайно плотно насыщен всевозможными аллюзиями, цитатами и подтекстами. Как следствие поэма остается совершенно не-

понятной даже самому изощренному читателю, даже комментатору. По сути, каждая строчка текста «отсылает» читателя к тем или иным фактам быта, стереотипам поведения и т. д. И именно реалии жизни, элементарные вещи, простейшие факты быта искажаются комментаторами. Ученый коверкает «реальность» не только идя на поводу «отражения» этой «реальности» в зеркале поэмы, но и поддаваясь собственному непониманию абсурда русского быта. Тотальное непонимание стало способом комментирования гениального текста, отказ от всяких интерпретаций стал инструментом в руках беспомощного перед жизнью интерпретатора. Отсутствие временно́й дистанции между текстом и комментаторами генерировало ситуацию полного непонимания поэмы. То, что мы являемся современниками этой эпохи, создает лишь иллюзию простоты ее понимания.

Впрочем, неудача всех комментариев к поэме, может быть, связана еще и с тем, что место в русской культуре ряда реалий (в том числе связанных с темой пития) вообще не определено. С точки зрения европейца русское «питие» смахивает на самоубийство или сумасшествие. С внутренней точки зрения понимание этого явления затруднено и общепринятым медицинским представлением о питии как болезни (не случайно к этой теме обращаются врачи; см.: Боровский А. В. Особенности национального похмелья. Медицинские и бытовые аспекты. М., 1998), и религиозным представлением о нем как о дурном поступке («грехе»), и бытовыми представлениями о «питии» как о способе проведения досуга, и, наконец, квазибиологическими — как о способе защиты от «русского мороза» (ср.: «По народному поверью, популярность в России крепких напитков объясняется тяжелыми климатическими условиями». — НТВ, «Криминал», 1998, 21 августа; ср. также фольклорное: «Что-то стали руки зябнуть, не пора ли нам дерябнуть»). Кстати, этот афоризм цитируется в пьесе Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» (Ерофеев, стр. 233). Таким образом, рассмотрение пития как явления русской культуры подменяется рассмотрением этого феномена как едва ли не «внекультурного» факта, что, естественно, непродуктивно. Может быть, именно это провоцирует опытных специалистов на совершенно ненаучный и «внекультурный» подход к работе над комментарием этого текста.

А. Ю. ПЛУЦЕР-САРНО.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО

+6

Георгий Адамович. Собрание сочинений. «Комментарии». Составление, послесловие и примечания О. А. Коростелева. СПб., «Алетейя», 2000, 757 стр.

То самое — *нечто обо всем.* В настоящее издание помимо канонического текста «Комментариев» (Вашингтон, 1967) вошли полностью все 224 фрагмента в том виде, в каком Адамович публиковал их в «Числах», «Современных записках» и другой эмигрантской периодике с 1923 по 1971 год. Сергей Федякин («Ex libris НГ», 2000, № 21, 8 июня) уже посетовал на то, что привнесенная издателем римская и арабская нумерация отрывков придает им бóльшую законченность и отдельность, от которых Адамович старался уйти. «Это субъективная, противоречивая, очень капризная книга, — пишет Ксения Рагозина **(http://www.russ.ru)**, — она словно даже писана не на плоскости бумаги, а на чем-то вроде сфер — потому как на каждую идею можно отыскать в ней вовсе не одну контридею, а штук пять, шесть, десять, которые, в свою очередь, вступают друг с другом и своими противоположностями в довольно сложные отношения... Его „круги" — это возможность отказаться от выражения словами невыразимого, но и возможность почувствовать его, невыразимое, с разных сторон».

Комментарии к «Комментариям» О. Коростелев сразу начинает с того, что это — вершина эссеистической прозы Адамовича и одна из лучших книг этого жанра, написанных в XX веке. Первое, наверно, справедливо. Судить об этом не могу, я *всего* Адамовича не читал. Вот выпустит Коростелев все намеченные тома Собрания сочинений Адамовича, с удовольствием прочту. Второе утверждение — неочевидно. У Давида Самойлова есть такой образ — *сухое пламя.* В чем обаяние «Комментариев»? — Сухое *пламя.* А, так скажем, недостаточность? — *Сухое* пламя. Галковский, наверно, сказал бы — *сухое масонское* (см. «Краткую хронику жизни и творчества Г. В. Адамовича», составленную О. Коростелевым), но я не буду.

Виктор Шкловский. Гамбургский счет. СПб., «Лимбус-Пресс», 2000, 464 стр.

«Журнал не имеет, — я говорю о толстом журнале, — сейчас оснований для своего существования в прежнем виде. Самая литература отрывается от журнала. Если при Диккенсе длина главы его романа объяснялась журнальными условиями, то теперь „Россия" разрывает просто роман Ильи Эренбурга на две части и на два номера. Горький печатается всюду кусками любой величины.

Журнал может существовать теперь только как своеобразная литературная форма. Он должен держаться не только интересом отдельных частей, а интересом их связи. Легче всего это достигается в иллюстрированном журнале, который рождается на редакционном верстаке. <...>

Хуже дело с толстыми журналами, они никуда не стремятся, так как они уже толстые — уже большая литература. „Звезда" так и начинала: „Восстанавливая вековую традицию толстых журналов" и т. д.

Совершенно непонятно, какое место этой традиции хочет восстановить „Звезда".

Менее безоговорочно работает „Красная новь", но все же это — старый, толстый журнал со статьями (которые сейчас же печатаются отдельно), с куском прозы и т. д. Это журнал имитационный.

Любопытно проверить в библиотеках номера этого журнала — разрезываются ли они целиком. Говорят, что разрезывается только беллетристика.

„Леф" тоже тонкий-толстый журнал. Хорошо в нем то, что в нем не все печатается. В русских журналах сейчас необычайная веротерпимость. Говорю, конечно,

только о литературе. Все везде печатается. Непонятно даже, чем отличáется журнал от журнала. <...>

На Западе сейчас толстых журналов нет».

Это напечатано семьдесят два года назад («Гамбургский счет», 1928). Сколько поводов для, казалось бы, утраченного оптимизма! По крайней мере еще на семьдесят два года. (В сборник также вошли «Zoo», «Третья фабрика», «Розанов» и «Жили-были».)

Полина Барскова. Эвридей и Орфика. Стихотворения. СПб., «Пушкинский фонд», 2000, 72 стр.

«С одной стороны — Новый Мир, Древний Рим, Чечня. / С другой стороны — дыр-бул-щир, улялюм, фигня. / А я говорю: „Ребята — ничья, ничья! / Мне кажется, вы обходитесь без меня..."» Полина Барскова, автор книг «Рождество» (СПб., 1991), «Раса брезгливых» (М., 1993), «Memory» (Копенгаген, 1996), родившаяся в 1976 году в Ленинграде в семье филологов-востоковедов, пишет стихи с восьми лет. В настоящее время работает над диссертацией в Калифорнийском университете в Беркли. По одной глубоко нелитературной причине, а именно потому, что я с семьей регулярно посещаю тренажерный зал, где пытаюсь поднимать тяжести, приведу полностью стихотворение «Калокагатия» из новой книги Барсковой. Греческое слово *kalokagatia* (от *kalos* — прекрасный и *agathos* — добрый) означает, согласно энциклопедическому словарю, гармоническое сочетание внешних (физических) и внутренних (духовных) достоинств как идеал воспитания человека в древнегреческой философии.

Как дирижабль в ночные облака,
Так погружаюсь я в спортивный зал:
Как в сон — будильник, в поцелуй — рука,
Как в лавку ювелира — бронтозавр.
Моя нигилистическая плоть,
Утратившая в странствиях задор,
Пытается бежать, крутить, молоть,
Нагар и сало изгонять из пор,
Не видеть, как поджарые щенки,
Язычники без пола и стыда,
Глазеют так, что гнутся позвонки
Железных шей. Шипят: «Смотри сюда!
Смотри, какое чудище средь нас,
То — водяная лошадь, рыба-кит,
Разлезшийся в компоте ананас,
Оплавленный пещерой сталагмит...»
А мне и дела нет до этих дел,
Я повидала всякие дела,
Во мне и тела нет для этих тел,
Я покидала всякие тела.
(Непобедимым телом я была.)
Ты помнишь край? Лимоны и т. д.?
Пустынный остров, нимфа, па-де-де
Свиней, пришелец с черной бородой.
Ты помнишь край? Красивый-молодой,
Ты, мнущий гири, как златую грудь
Веселой девки. Если да — забудь.
Но думаю, что нет. Тот край во мне,
В поту на скособоченной спине,
В зеленоватых складках живота,
В морщинке у напрягшегося рта.
Тот край во мне. И он со мной умрет,
Как несъедобный вересковый мед.

Наум Вайман. Ханаанские хроники. Роман в шести тетрадях. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 414 стр.

«9.7.93. Сижу в фанерной будке, обложенной мешками с песком, пулемет глядит на ворота, военная задача: встретить прорывающегося через пропилеи противника пулеметным огнем. Середина дня. Печет безбожно, мухи, несмотря на страшные по-

тери, атакуют, как японские летчики-камикадзе американский авианосец, хочется не то что гимнастерку — кожу с себя содрать... Читать тоже нельзя, но издалека не видно, и книгу можно быстро спрятать, если не зазеваться... Дочитываю „Эпилог" Якова Шабтая и слезы размазываю. Слезлив стал, на манер Алексей Максимыча, а тут еще о смерти, о смерти матери, об угасании отца, о конце всего: собственном, близких, страны... Степной волк бродит в кустах у забора, какую-то лазейку знает. Худющий». Не роман, конечно, в шести тетрадях, а шесть тетрадей откровенных записей середины 90-х годов. Неполиткорректная — или политнекорректная, уж не знаю, как правильно — исповедь русского израильтянина Наума Ваймана была несколько лет назад выставлена в Сети под более адекватным названием «Щель обетованья» — в качестве электронной публикация внутри сетевого журнала «Новый мир» (**http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi/portf/vaiman**) и в таком качестве номинировалась на Малого Букера. Андрей Урицкий предположил («Записки отщепенца» — «Знамя», 2000, № 5), что знаменитые бледно-голубые обложки «Нового мира» при соприкосновении с этим сионистским коктейлем воспламенились бы, как бронетранспортер от «коктейля Молотова». Как человек, имеющий некоторое отношение к публикации книги в сетевом и непубликации ее в бумажном «Новом мире», скажу, что причины вполне банальны: объем книги и невычленяемая из текста эротическая составляющая, которая произвела бы на наших почтенных подписчиков иное впечатление, чем на продвинутых именно в этом отношении пользователей Сети. А сионизм... *«5. 5. 94. По TV была передача о Гитлере. Он сказал немцам: либо вы станете героями, либо погибнете. То есть если вы не станете героями, то мне наплевать, что вы погибнете. А ведь и я так думаю. Не попал ли я в дурную компанию?». «31. 8. 94. Катастрофа явилась результатом тотального отсутствия героизма среди евреев, и так ее надо преподавать в школе». «По ТВ показывали фильм: фотографии времен Войны за Независимость под стихи Альтмана. Плакал. По духу, который исчез, по мифу, который умер. По светлым лицам на поблекших фотоснимках, парней и девушек в драных свитерах и коротких штанишках, идущих в бой, смеющихся на привале, павших в нежные пески, у Ашкелона, в нежные пески... Спартанцы. Сегодня уже никого не воспитывают в мужестве. Никому и в голову не взбредет».* Слезы лысого израильского ястреба о погибшей мечте — лучшее, что есть в «Ханаанских хрониках».

На фоне вполне сюрреалистического «мирного процесса» на Ближнем Востоке отдельное издание книги уже воспринимается иначе, чем два года назад. Читаю статью Александра Дугина «Обреченный Израиль» («Завтра», 2000, № 23, 6 июня) о том, почему израильские добровольцы участвовали в боевых действиях на стороне сербов (я, кстати, не знал). Потому, объясняет евразиец Дугин, что Израиль обречен на гибель в проектах мондиалистов так же, как и Россия. «Поднявшийся в Израиле антиамериканизм сводится к утверждению неснимаемого противоречия между космополитическим атеистическим либеральным идеалом „единого мира" („*One World*") без наций и религий, без государств и национальных обособленных культур, и сионистским идеалом национального религиозного израильского государства, сохраняющего самобытность и уникальность перед лицом остальных народов мира». Комментировать не буду. Другие интересные материалы на эту тему обнаружились в Сети по адресу («Полярный Израиль»): **http://www.crosswinds.net/~polarisrael**

А. П. Паршев. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остается в России. М., «Крымский мост — 9Д», «Форум», 2000, 416 стр.

Потому что мы построили свое государство *там, где больше никто не живет,* — о климате речь, о климате.

По мнению Вадима Кожинова («Книжное обозрение», 2000, № 24, 12 июня), эта *удивительная* книга *способна перевернуть сознание внимательного читателя.* А издатель рекомендует ее ни больше ни меньше в качестве начального курса экономики для министров финансов, министров экономики, директоров институтов проблем экономики переходного периода. Я не принадлежу к сему почтенному сословию, но несомненно принадлежу к тем, кто остается в России, поэтому и при-

обрел отдельное (второе) издание (фрагмент под названием «Горькая теорема» печатался в журнале «Москва», 2000, № 3). Основную мысль книги можно выразить так: любое наше производство, включая добычу полезных ископаемых, подразумевает неизбежные и неприемлемые по мировым меркам расходы на *обогрев,* а в мире есть страны, где таких производственных расходов нет вообще, поэтому интеграция нашего хозяйства в мировое хозяйство *объективно невозможна,* ибо в свободном соприкосновении с мировым хозяйством наше просто *исчезает* как неконкурентоспособное и интегрировать становится нечего. А инвестиции? В условиях свободного перемещения капиталов, отвечает автор, ни один инвестор, ни наш, ни зарубежный, не будет вкладывать средства в развитие какого бы то ни было производства на территории России. Оппозиционеры, протестующие против превращения страны в пресловутый сырьевой придаток, оказываются, таким образом, неисправимыми оптимистами; **мы не нужны никому, кроме самих себя.** Неприятной особенностью книги является тон превосходства и раздражение против многочисленных недоумков, никак не желающих понять то, что так очевидно для автора. Приятная неожиданность: автор, видимо, не социалист, поскольку считает, что нас губит не рынок, а мировой рынок. Конкретные изоляционистские рекомендации и катастрофические прогнозы Андрея Паршева, может быть, и не стоили бы такого внимания, но идея о *климатически-детерминированной* неконкурентоспособности любого производства, осуществляемого любым (и это подчеркивается — любым) народом на территории России, эта идея заслуживала бы публичного обсуждения, если бы только наше образованное сообщество было способно вообще что-нибудь плодотворно обсуждать.

С. Кара-Мурза. Манипуляция сознанием. М., «Алгоритм», 2000, 688 стр.

Предыдущую фразу — о необходимости/невозможности плодотворного обсуждения — можно повторить уже применительно к книге политолога Сергея Кара-Мурзы, который хочет (это он так говорит) дать нам материал для размышлений о возможности/необходимости выбора *в джунглях, где за нашим сознанием идет охота.* Материала и вправду много. *Технология манипуляции как закрытое знание. Школа — производство человека массы. Урбанизация и голод на образы. Возрождение сословности в позднем советском обществе. Контролируемое бедствие как условие успешной манипуляции. Художественное воображение и уязвимость советского человека. Аутизм интеллигенции. Создание некогерентности (несоизмеримости частей реальности). Волшебная флейта перестройки: фильм «Город Зеро». Канализирование стереотипов: фильм С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». Страх голода в манипуляции сознанием. Миф о советской милиции. Миф о технологическом риске. Экологический миф. История «ареста» Горбачева.* Под манипуляцией имеется в виду способ господства путем духовного воздействия на людей через программирование их поведения; так, изменение общественного строя в СССР произошло, по мнению автора, с согласия граждан, но само это согласие было дано не на основании рационального расчета или практического опыта, оно было получено посредством манипуляции их сознанием в ходе сложного процесса (Кара-Мурза считает, что технология перестройки была основана на оригинальной теории революции Антонио Грамши).

К сожалению, автор смешивает два жанра — аналитическое исследование и наступательную публицистику (типа: «так может говорить только подлая продажная тварь»). Когда автор забывает о своей ненависти к Чубайсу и не злоупотребляет словом «некогерентность», он пишет довольно интересно (я вообще поклонник «*X-files*»). Но «некогерентность» — его конек: «Ежели в одной фразе проклинают советский строй за то, что пересохло озеро Арал, а в следующей его же проклинают за то, что пытался перебросить часть воды из сибирских рек в озеро Арал, то, простите, ваши рассуждения некогерентны». Рассмотрим — не могу удержаться — этот бином Ньютона на другом, более простом уровне. Приходит пьяный муж домой и смахивает локтем со стола любимую женину вазу. «А-а-а!..» — «Спокойно, я все исправлю...» На следующий день приходит жена с работы, смотрит — стоит ваза, ну не такая хорошая, как была, но ваза. «Что это?» — «Ваза». — «Зачем?» —

«Тебе». — «Откуда?» — «Купил». — «Да на какие деньги?» — «А я твое пальто продал...» — «А-а-а!..» Тут муж и говорит разумным голосом Кара-Мурзы: «Спокойно, женщина, ты вчера упрекала меня за то, что я причинил ущерб, а сегодня — за то, что я попытался его исправить, твои суждения просто *некогерентны*...» — «А-а-а!..» — бац-бац-бац!.. Согласимся, что суждения этой гипотетической жены вполне когерентны, а ярость оправданна.

А если серьезно, то у Кара-Мурзы мне — *несмотря ни на что* — нравится нетривиальный взгляд на объективно важные проблемы. Достаточно сказать, что главной заслугой Ленина автор считает то, что он сумел — внимание! — остановить революцию и реставрировать Российское государство. Последовательный защитник *советского проекта* Сергей Кара-Мурза указывает на его уязвимые стороны («голод на образы») и критикует ложные метафоры, используемые оппозицией. Уверяет, что нет никакой *колонизации России* и это *плохо* («Мы бы пережили, окрепли, подучились и, как США или, на худой конец, Индия, завоевали бы независимость. Но нас колонией не делают, а вскрывают вены»). Не видит у нас никакой *компрадорской буржуазии* и вообще буржуазии. Согласитесь, это слишком уж оригинально для нашей оппозиции. В статье «Страница истории перевернута» («Наш современник», 2000, № 6) Сергей Кара-Мурза, вычищенный, по его выражению, из «Правды» и «Советской России», сетует на состояние нашего общего сознания, утратившего необходимую диалогичность: в печати исчез жанр *совместных рассуждений,* никто не развивает и не опровергает высказанной другим человеком мысли — за исключением случаев, когда требуется разоблачить супротивника. Более того, С. Кара-Мурза выдвигает гипотезу, что на самом деле диалогичность утрачена уже в процессе личного, внутреннего хода мысли, рассуждения вытеснены высказываниями. Во всем этом, признаемся, много правды, но сам жанр моих субъективных книгоописаний препятствует совместным рассуждениям. Отмечу только неоправданное многословие автора, не столь заметное в его журнальных статьях, — некоторые фразы, факты и цитаты буквально повторяются через несколько страниц; вообще книгу можно было бы сократить раза в полтора, что сделало бы ее легче и дешевле.

А тут как раз принесли газету «НГ-Религии» (2000, № 12, 28 июня). Оказывается, депутаты Национального собрания Франции единогласно приняли сенсационный законопроект, направленный против религиозных сект, в котором впервые в мировой практике вводится понятие такого уголовного преступления, как «манипуляция сознанием» («тяжкое и повторяющееся давление или использование специальных методов, чтобы изменить суждение с целью добиться от человека, с его согласия или без оного, совершить действие или воздержаться от действия, в результате чего ему будет нанесен серьезный ущерб»).

-4

Борис Диденко. Цивилизация каннибалов. Человечество как оно есть. Издание второе, дополненное. М., ТОО «Поматур», 1999, 176 стр.

О журнальной публикации Бориса Диденко «Цивилизация каннибалов» («Дружба народов», 1996, № 1) я писал в одной из «Периодик»: «Можно читать как Пелевина. Собственно, только так и можно читать». О, как я поспешил... Просто в братском журнале «Дружба народов» работают квалифицированные редакторы, а одноименная книга производит иное впечатление (сразу поражают многочисленные ссылки на отсутствующий список литературы).

Но к делу: человеческая история началась с *людоедства,* и создал человека не труд, не естественный отбор, а предельный, смертельный *страх* перед себе подобными, да и само расселение человека по планете тоже объясняется этим страхом. Автор опирается (утверждает, что опирается) на труды профессора Б. Ф. Поршнева (1905 — 1972), на его монографию «О начале человеческой истории», но теория Поршнева относится к чрезвычайно древним периодам человеческой истории, а Диденко произвольно экстраполирует ее выводы вплоть до сегодняшнего дня. Ны-

нешнее человечество, по Диденко, состоит из четырех *видов*. Хищные виды — агрессивные потомки древних людоедов, нелюди-суперанималы, сверхживотные (2 процента) и коварные, лицемерные псевдолюди-суггесторы (8 процентов). Нехищные люди — конформный диффузный тип, легко поддающийся внушению (70 процентов), и обладающие обостренной нравственностью, менее внушаемые неоантропы (10 процентов). Открытие это называется *видизм*. Разное соотношение видов внутри того или иного этноса позволяет применять к ним этический критерий: *есть народы — убийцы, есть этносы — воры, есть добрые нации* и т. д. Хуже всех — американцы и евреи. Русские — хорошие (у меня камень с души свалился). Число нелюдей в человечестве постепенно уменьшается, но медленно, недостаточно, ускорить бы процесс (Ленин и Сталин были, оказывается, системными борцами с хищниками — а вы что думали?), но суперанималы сегодня — *сильные мира сего* и сами кого хочешь сократят.

Надо признать, что автором выработан свой научно-публицистический стиль: «Если воспользоваться каламбурным подтекстом „вся жизнь — игра", то станет ясно, что наша новая позиция (видизм. — *А. В.*) соответствует в карточных играх моменту вскрытия прикупа». А вот он сокрушается из-за *второсортности эстетического восприятия у женщин*: «Роскошно-пышнотелая, златовласая, изумрудно-зеленоглазая красавица боготворит (или же только создает видимость — это еще более противно!) своего мужа: высочайшего начальника — брюхатого, плюгавого, лысого, уродливого мужичонку; да ладно б это, но к тому же он еще — растлитель и садист, что наверняка хорошо известно и ей самой». Тут явно что-то личное, так и хочется крикнуть: *фамилии, фамилии давай!..* К сожалению, автор скрывает, к какому виду из четырех относится он сам...

Борис Диденко. Хищное творчество. Этические отношения искусства к действительности. М., ООО «ФЭРИ-В», 2000, 192 стр.

...но человек он разносторонний. «То, что официальные религии устарели, намертво вросли в прошлое — это прискорбный, но и отрадный факт. Давно пришло время „непосредственной связи" с Высшими Силами Мира, без посредников... И такая возможность „связаться" с Ними есть, что легко доказать каждому, ибо это можно проверить самостоятельно. Достаточно обратиться к неким Высшим Силам с абсолютно честной просьбой ответить на этот насущный и важный вопрос: „Есть ли Что-то в этом Мире Высшее?", и Они ответят. Постучись в дверь, и тебе откроют... Независимо от принадлежности к любой конфессии или даже при полном неверии. Главное — сделать это честно, предельно честно. Через некоторое время — неделя, месяц, может, больше, последует такой „сеанс связи", что все сомнения рассеются как дым». Ох, знаем мы эти Высшие Силы! Как-то сразу теряешь интерес к тому, что хочет сказать нам автор об этических отношениях искусства к действительности, теории относительности (он и в этом понимает), «хищной любви» (и такая у него есть книга — М., 1998), кинематографе и проч. Тут бы и закончить, но есть еще одно — да и не одно — выразительное место, где автор дал волю *натуре, размечтался,* а именно: *генетические мерзавцы* Горбачев и Ельцин «заживо (если успеть) мумифицированы и скорбно лежат рядом или сидят... нет, стоят... вернее — весело висят кверху ногами на одной сложенной вчетверо (подробности, подробности! — *А. В.*) пеньковой веревке в Паноптикуме соответствующей Славы». Сорокин, понимаешь.

Михаил Иванов. Банан. М., Библиотека журнала «Соло», 2000, 202 стр.

«Вся эта книга, по существу, написана в Кащенко» (из предисловия Александра Михайлова)....свесив с кровати голову, блевал на пол.....об этом память, основательно тогда затуманенная алкоголем, умалчивает.....с которыми Банан тоже подружился и спился.....с самого раннего утра.....демонстративно съел кусок лягушки.....отдохнуть от жены.....а еще перед началом запоя.....покупалось ящиками очень расчетливо по убойной силе....сидели в пивбаре.....выпито было много вермута, но опьянение не поднимало.....блевал у Миши в ванной....умер и он сам,

сильно растолстевший и спившийся....неинтересный.....приятно выпимши, шел по бельведеру.....а дальше было крепленое, то есть то, что и скрепляет людей за минуты быстрее, чем годы пустого общения в трезвости.....был поражен Мишиной изобретательностью по доставанию денег на выпивку...тогда так основательно и надолго напился, что его перестали пускать в рестораны, куда друзья пытались его провести, закрывая Якушкинское лицо газетой.....заплатив за блев уборщице три рубля.....нанеся кому-то удар гипсом по голове.....выгнали из вузов за водружение красного флага на пивную точку.....на земле возле какой-то тошниловки.....не отказались и от портвейна.....так сильно придавили, что он блеванул одному из милиционеров на сапог, чем сразу настроил весь наряд против себя и своих друзей.....с первого взгляда вполне невинный вопрос: «А чего это вы пьете?».....удалили из зала по просьбе актера Михаила Козакова.....вдруг, имея деньги, решили смыться, не заплатив.....ползал на карачках по газону, блевал, плакал и размазывал слезы по лицу, пиджаку и рубашке.....лишиться девственности.....похмелья еще не было.....заставила его залезть под душ, раздеться, дала большой стакан спирта с водой, заставив съесть горячего борща.....выпивал при ней, но не напивался.....в достаточно аккуратном вытрезвителе.....по-животному, сексуально.....состоялась встреча с экстрасенсом.....мыл киви.....проснулся, как всегда, от эрекции.....крепко зацепило тизерцином.....Пелевина читать не хотелось.....а первую часть отдал в печать.....*«Когда я сегодня встречаю Банана, то задаю ему один и тот же вопрос: зачем же мы тогда столько пили-то, Мишк? И поумневший Банан отвечает — чтобы страдать»* (Александр Михайлов).

Инопланетяне о землянах. М., 2000, 16 стр.

Пришел по почте конверт. Открываю — брошюрка. Ма-а-аленькая, то-о-оненькая. Синяя обложка. Странное название. В выходных данных стоит копирайт — некто Б. П. Гинзбург — и тут же напечатан московский адрес до востребования. Ну, думаю: уфологи, сектанты и проч. Однако нет. «Первую половину жизни земляне как дети бегают за сладким. Вторую — убегают от горького». Да это же — *афористика!* В брошюрке — два раздела. Сначала идут мысли собственно инопланетян, мысли очень мрачные. «Гигантский резервуар отрицательных эмоций, заражающий Метагалактику». Резервуар — это мы. «Земля — самая хмурая из обитаемых планет. Счастливы здесь лишь младенцы и идиоты». И тут же: «Почему земляне не превозносят обладателей самых длинных носов?» Это какой-то фрейдизм? Я не понял. Второй раздел называется «Высказывания землян, часто цитируемые инопланетянами». Цитируемые — где?! Простите, само вырвалось... Во втором разделе замелькали имена Ларошфуко, Паскаля, Монтеня, Торо, Ницше — словом, *мысли мудрых людей,* они издаются сегодня целыми фолиантами. Но тут обнаружилось и нечто своеобразное:

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете
И ваши тополя кипят.

Да, это могло бы понравиться одинокому *инопланетянину,* я хорошо себе представляю, как он маленьким карандашиком любовно выписывает Пастернака в свою записную книжечку в светло-коричневом кожаном — почему-то мне так кажется — переплете.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГИ

*

Юз Алешковский. Синенький скромный платочек. Маленькая повесть об одном безумце и сломанной собаке. Признания несчастного сексота. Смерть Ленина. М., «Вагриус», 2000, 367 стр., 8000 экз.

Юз Алешковский. Смерть в Москве. Сочинение на вольную тему. М., «Вагриус», 2000, 383 стр., 8000 экз.

Григорий Бакланов. Июль 41 года. М., «Согласие», 2000, 276 стр., 3000 экз.

И. Бергман. Исповедальные беседы. Перевод со шведского А. А. Афиногеновой. М., РИК «Культура», 2000, 432 стр., 7000 экз.

Сергей Болмат. Сами по себе. Роман. М., «Ad marginem», 2000, 256 стр.

Роман, известность которого началась с его публикации в Интернете; см. рецензию в обзоре «Сетевой литературы» («Новый мир», 2000, № 9).

Ив Бонфуа. Избранное. 1975 — 1998. Перевод с французского, послесловие и комментарии М. Гринберга. М., «Carte Blanche», 2000, 320 стр., 2000 экз.

Книгу одного из ведущих французских писателей (поэта, эссеиста) второй половины века составили поздние рассказы и стихотворения.

М. Брод. Реубени, князь Иудейский. Роман. Перевод с немецкого Б. Жуховецкого. М., «Гудьял-Пресс», 2000, 384 стр., 7000 экз.

И. А. Бунин. Публицистика 1918 — 1953 годов. Под общей редакцией О. Н. Михайлова. М., ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000, 640 стр., 1500 экз.

А. М. Горький. Детство. Рассказы и очерки. На дне. Литературные портреты. Заметки из дневника. Составление, предисловие, комментарии П. В. Басинского. М., «СЛОВО/SLOVO», 2000, 648 стр., 4000 экз.

Своеобразная визитная карточка Горького-художника, составленная известным литературным критиком и специалистом по творчеству Горького Павлом Басинским.

Владимир Дудинцев. Между двумя романами. Повесть. Публикация Н. Ф. Гордеевой и М. В. Дудинцевой. СПб., Журнал «Нева», 2000, 240 стр., 1000 экз.

Борис Зайцев. Собрание сочинений. В 5-ти томах. Том 7 (дополнительный). Святая Русь. Избранная духовная проза. М., «Русская книга», 2000, 528 стр., 5000 экз.

Житийное повествование «Преподобный Сергий Радонежский», а также другие рассказы и очерки, посвященные паломническим странствиям автора (реальным и мысленным), вошли в дополнительный том к собранию сочинений Зайцева. Издание содержит «Словарь церковных терминов».

Борис Крячко. Избранная проза. М., Таллинн, Эстонский культурный центр «Русская энциклопедия», 2000, 335 стр.

Второе книжное издание прозы — посмертное — одного из самых интересных русских писателей «Северо-Запада» Бориса Юлиановича Крячко (первой его книгой была «Битые собаки» /1989/). Рецензия — в ближайшем номере журнала.

Д. С. Мережковский. Мессия. Романы. Составитель и автор статьи А. В. Лавров. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2000, 586 стр., 5000 экз.

Историко-художественная («крито-египетская») дилогия Мережковского: романы «Рождение богов. Тутанкомон на Крите» (1924) и «Мессия» (1926); первое издание в России романа «Мессия».

Юнна Мориц. Стихотворения. Поэма. М., «Русская книга», 2000, 544 стр., 7000 экз.

Поэма «Звезда сербости» и избранные стихотворения.

Ольга Новикова. Мужской роман. Женский роман. М., «Вагриус», 2000, 398 стр., 7000 экз.

Своеобразная дилогия современного прозаика; журнальный вариант «Мужского романа» публиковался в «Звезде» (1999, № 9), «Женский роман» (первое издание: М., «Книжный сад», 1993) вошел в книгу в переработанном виде.

Обрядовая поэзия. Книга 3. Причитания. Составление, подготовка текстов, комментарий Ю. Г. Круглова. М., «Русская книга», 2000, 512 стр., 3000 экз.

Владислав Отрошеико. Персона вне достоверности. СПб., «Лимбус Пресс», 2000, 256 стр., 2000 экз.

Собрание повестей и рассказов современного прозаика, названного во вступительной статье Дмитрия Пэна «русским Борхесом».

Киндзабуро Оэ. Записки пинчраннера. Роман. Перевод с японского В. Гривнина. СПб., «Амфора», 2000, 331 стр., 5000 экз.

Виктор Посошков. Блицпортрет. Сборник рассказов. М., Московская городская организация Союза писателей России, 1999, 125 стр., 500 экз.

Новая книга московского прозаика.

А. М. Ремизов. Собрание сочинений. Том 1. «Пруд». Роман. М., «Русская книга», 2000, 576 стр., 5000 экз.

Первый том предполагаемого собрания сочинений Алексея Ремизова представляет читателю два варианта (1908 и 1911 годов) романа «Пруд».

Лев Рубинштейн. Домашнее музицирование. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 440 стр.

Полное собрание сочинений известного концептуалиста Льва Рубинштейна.

Григорий Санников. Лирика. К 100-летию со дня рождения поэта.

Составители Д. Г. Санников, А. В. Смирнов. М., «Прогресс-Плеяда», 2000, 136 стр., 1000 экз.

Сборник набиравшего известность в 20-е годы поэта, одного из организаторов творческого объединения «Кузница», редакционного сотрудника журналов «Октябрь», «Красная новь», «Новый мир» Григория Александровича Санникова (1899 — 1969). Кроме стихов в сборник вошли адресованные Санникову письма Андрея Белого, Ивана Бунина, а также материалы из архива Санникова, связанные с Мариной Цветаевой и Сергеем Есениным.

Сафо. Лира, лира священная. М., «Летопись-М», 156 стр., 5000 экз.

Все дошедшие до нас стихотворения древнегреческой поэтессы.

Т. Стоппард. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. И другие пьесы. Перевод с английского А. Качерова, С. Сухарек. СПб., «Азбука», 2000, 314 стр., 10 000 экз.

Александр Твардовский. Я забыть того не вправе... Поэзия. Записки. Публицистика. М., «Русская книга», 2000, 512 стр., 3000 экз.

Избранное Твардовского — поэмы «Дом у дороги», «Василий Теркин», «Теркин на том свете» и записи военных лет.

Юрий Трифонов. Дом на набережной. Время и место. Составитель О. Р. Трифонова. М., АСТ, «Олимп», «Астрель», 2000, 768 стр., 5000 экз.

Николай Туроверов. Двадцатый год — прощай, Россия! Составление Виктора Леонидова. М., «Планета детей», 2000, 304 стр., 3000 экз.

Собрание сочинений поэта (а также историка и публициста, одного из лидеров зарубежного казачества), эмигрировавшего в 1920 году из России, Николая Николаевича Туроверова (1899 — 1972).

●

Ален Безаисон. Бедствие века. Коммунизм, нацизм и уникальность Катастрофы. Перевод с французского Ярослава Горбаневского. М., Издательство «МИК», 2000, 104 стр., 1000 экз.

Вадим Бытеиский. Путешествие из Петербурга. М., «Глобус», 2000, 456 стр., 1000 экз.

Книга путевых записок и мемуаров русского эмигранта, живущего с середины 70-х годов в Канаде и совершившего множество путешествий по Юго-Восточной Азии, Японии, Китаю, перестроечной России.

Амбруаз Воллар. Ренуар. Сезанн. Перевод с французского Н. Тырсы, Е. Малкиной. М., «Республика», 2000, 415 стр., 10 000 экз.

Книга воспоминаний одного из самых известных в истории французской (и мировой) живописи рубежа веков человека — коллекционера и владельца галереи, которая, по сути, и открыла живопись XX века, Амбруаза Воллара (1868 — 1939).

Жак Деррида. О грамматологии. Перевод с французского и вступительная статья Наталии Автономовой. М., «Ad marginem», 512 стр., 5000 экз.

Вступительную статью Н. Автономовой и по объему и по уровню проработанности темы следует считать самостоятельным исследованием; вот ее начало: «Перед читателем — книга, очень нелегкая для чтения. Тема ее обозначена заглавием — „О грамматологии". Граммато-логия — наука о письме, о предмете, которого нет: есть конкретные знания о разных видах письменности, но нет знаний о письме в абстрактном и философском смысле слова. Предлог „о"... выражает суть подхода: предмет (тем более отсутствующий) не берется прямо, мы блуждаем „вокруг да около", обходим с разных сторон то место, где он должен (был бы) или мог бы, по нашему мнению, находиться. В книге высказывается парадоксальный тезис: письмо возникло раньше речи, раньше языка. На этих страницах мы постараемся прояснить смысл этого парадокса».

Дворянская семья. Из истории дворянских фамилий России. Коллектив авторов. СПб., «Искусство-СПб.», «Набоковский фонд», 2000, 240 стр., 5000 экз.

Издание, имеющее характер справочника по истории известных в России родов: Романовы, Толстые, Гагарины, Голицыны, Оболенские, Шаховские, Васильчиковы и другие.

В. А. Захаров. Загадка последней дуэли. Документальное исследование. М., «SPSL-2000», «Русская панорама», 2000, 352 стр.

Известный лермонтовед разоблачает миф об организованном убийстве Лермонтова: «История последней дуэли поэта, восстановленная с использованием неизвестных документов и изложенная в живой, полудетективной форме, дана как цепь досадных недоразумений, в которых проявились особенности неуравновешенной психики Лермонтова» (из аннотации А. Люсого).

Иоахим Иеремиас. Богословие Нового Завета. Часть первая. Провозвестие Иисуса. Перевод с немецкого, вступительная статья, словарь терминов и географических названий А. Л. Чернявского. М., Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999, 367 стр., 1500 экз.

Монография, дающая представление о сегодняшнем состоянии исторической науки (и отчасти богословия) как итоге исследований текста Нового Завета на протяжении XX века, принадлежит перу одного из самых известных ученых в этой области, историку-богослову и авторитетнейшему знатоку арамейского языка Иоахиму Иеремиасу (1900 — 1979). Та область истории религии и богословия, которой занимался Иеремиас, берет свое начало из так называемой «немецкой либеральной теологии», первоначальным импульсом которой был поиск доказательств трактовки христианства как религии любви. «Однако научные изыскания, следуя своей внутренней логике, вырвались за рамки породившего и стимулировавшего их мировоззрения, и в конце прошлого — начале нынешнего столетия» эти ученые (Иоханнес Вайс, Альберт Швейцер) доказывали «что исторический Иисус был далек от идеи постепенного этического прогресса (которая нам теперь представляется столь естественной) и ожидал наступления Царства Божьего в результате страшной эсхатологической катастрофы» (из предисловия переводчика). Выводы самого Иеремиаса, проделавшего кропотливейшую работу по анализу языка четырех Евангелий, с выявлением смысловых оттенков в греческом тексте Евангелий и в очевидных для ученого следах стилистики арамейских речений в логиях Нового Завета, а также использовавшего исторический, географический и литературоведческий анализ, вынуждают его скорее подтвердить, чем оспорить выводы своих предшественников об апокалиптическом пафосе христианства. Книга написана для специалистов-богословов и историков, но ясность изложения, красота логики самого анализа способны сделать ее чтение увлекательным и для не слишком подготовленного к подобному чтению читателя.

В. В. Ильин. Не пряча глаз. Александр Твардовский. Литературное окружение. Творческие связи. Смоленск, Смоленское областное книжное издательство «СМЯДЫНЬ», 2000, 400 стр., 1000 экз.

В монографии доктора филологических наук из Смоленска В. В. Ильина основное внимание уделяется предвоенному периоду творчества поэта и литературным связям его со смоленскими писателями. Бегло очерчены деятельность Твардовского-редактора и новомирское литературное окружение Твардовского.

Константин Леонтьев. Поздняя осень России. Составитель Д. Володихин. М., «Аграф», 2000, 336 стр., 2000 экз.

Историософский трактат «Византизм и славянство» (1875) и ряд других работ русского мыслителя.

А. А. Любищев. Линии Демокрита и Платона в истории культуры. Ответственный редактор и составитель Р. Г. Баранцев. СПб., «Алетейя», 2000, 256 стр., 1200 экз.

А. П. Люсый. Пушкин. Таврида. Киммерия. М., «Языки русской культуры», 2000, 248 стр.

Книга, написанная в жанре «краеведческого литературоведения»; автор, являющийся знатоком истории и культуры Крыма, анализирует след, оставленный в творчестве Пушкина его крымскими впечатлениями.

Мир Велимира Хлебникова. Статьи. Исследования 1911 — 1998. Составители В. В. Иванов, З. С. Паперный, А. Е. Парнис. М., «Языки русской культуры», 2000, 880 стр., 2500 экз.

Левон Мкртчан. Так назначено судьбой. Заметки и воспоминания о Марии Петровых. Письма Марии Петровых. М., Ереван, РАУ, 2000, 192 стр., 500 экз.

Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Исторический альманах. Выпуск 2. Составитель, научный редактор В. Иванов. М., «Эдиториал УРСС», 2000, 496 стр., 1000 экз.

А. А. Пронин. Историография российской эмиграции. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2000, 188 стр., 300 экз.

Карл Проффер. Ключи к «Лолите». Перевод с английского, предисловие Н. Махлаюка, С. Слободянюка. Послесловие Д. Б. Джонсона. М., «Симпозиум», 2000, 303 стр., 3000 экз.

А. С. Пушкин: pro et contra. Личность и творчество Александра Пушкина в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. Том 1. Составление В. М. Маркович, Г. Е. Потаповой. Комментарий Г. Е. Потаповой. СПб., Издательство РХГИ, 2000, 712 стр., 2000 экз.

Следственное дело Патриарха Тихона. Сборник документов по материалам Центрального архива ФСБ РФ. Православный Свято-Тихоновский Богословский институт. Главный редактор протоиерей Владимир Воробьев. Ответственный составитель Н. А. Кривова. М., «Памятники исторической мысли», 2000, 1016 стр., 2000 экз.

Вл. Соловьев: pro et contra. Личность и творчество Владимира Соловьева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. Составление, вступительная статья, примечания В. Ф. Бойкова. СПб., Издательство РХГИ, 2000, 896 стр., 2000 экз.

Творчество М. В. Исаковского, А. Т. Твардовского, Н. И. Рыленкова в контексте русской и мировой культуры. Материалы докладов научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М. Исаковского и 90-летию А. Твардовского и Н. Рыленкова. 23 — 25 мая 1999 года. Сборник составили В. В. Ильин, Я. Р. Кошелев, Г. С. Меркин. Смоленск. СГПУ, 2000, 288 стр., 2500 экз.

Б. А. Успенский. Борис и Глеб: восприятие истории в Древней Руси. М., «Языки русской культуры», 2000, 128 стр.

Б. А. Успенский. Царь и император. Помазание на царство и семантика монарших титулов. М., «Языки русской культуры», 2000, 144 стр.

О традиции инаугурационного помазания монархов в Европе с VII века.

Юрий Хечинов. Крутые дороги Александры Толстой. Биографический роман в 2-х частях. М., «Аграф», 2000, 512 стр., 3000 экз.

Документальное повествование о жизни известного организатора русской культуры в эмиграции, младшей дочери Льва Толстого Александры Львовны Толстой.

М. Цявловский, Т. Цявловская. Вокруг Пушкина. Издание подготовили К. П. Богаевская, С. И. Панов. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 335 стр.

Чаадаев и Мамардашвили. Перекличка голосов, проблем и перспектив. Традиция и эволюция исторического взгляда в русской историософии. Пермь, 1999, 106 стр., 500 экз.

Сборник составлен на основе докладов и сообщений в ходе состоявшейся в Перми в 1995 году научной конференции. Среди авторов: В. А. Кайдалов, Э. Ю. Соловьев, Ю. А. Левада, С. В. Комаров, С. В. Вороно, Н. О. Балаев. Сборник содержит также публикацию работы Мераба Мамардашвили «О гражданском обществе» (1982).

Бернард Шоу. О музыке. Составитель А. Парин. М., «Аграф», 2000, 304 стр., 2000 экз.

Сборник, представляющий Бернарда Шоу-меломана: статьи о музыке Генделя, Моцарта, Бетховена, Чайковского и других композиторов.

Составитель **Сергей Костырко.**

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

Борис Крячко. Избранная проза.
Амбруаз Воллар. Ренуар. Сезанн.

ПЕРИОДИКА

*

«Арион», «Вопросы литературы», «Время MN», «Время новостей», «Вторжение», «Даугава», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Известия», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Коммерсантъ», «Континент», «Кулиса НГ», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», «НГ-Наука», «НГ-Религии», «НГ-Сценарии», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая Польша», «Новая русская книга», «Новая Юность», «Октябрь», «Огонек», «Особая папка», «Персона», «Подъем», «Российский литератор», «Русская литература», «Русская мысль», «Субботник НГ», «Урал», «Уральская новь», «Художественный журнал»

Александр Александров. Собрание насекомых. Главы из книги. — «Литературная газета», 2000, № 22, 31 мая — 6 июня. Электронная версия: **http://www.lgz.ru**

Главы из *скандально*-мемуарной книги известного сценариста: «Артефакт» — об Иване Охлобыстине, «Однофамилец писателя» — о Викторе Ерофееве.

Юрий Архипов. Человек-словарь. «Раскол» — метаисторический роман Владимира Личутина. — «Книжное обозрение», 2000, № 22, 29 мая.

У Владимира Личутина самый богатый словарь среди ныне живущих и действующих русских прозаиков. Юрий Архипов с негодованием отвергает хохму: мол, «не читать Личутина — преступление, а читать — наказание», и приписывает ее авторство душевно ленивым людям, не желающим лишний раз заглянуть в словари Даля, Срезневского или Солженицына («Русский словарь языкового расширения»). См. также статью Юрия Архипова «„Раскол" Владимира Личутина и осколки истории» («Москва», 2000, № 3).

Дмитрий Бальбуров. Записки чеченского пленника. — «Новая Юность», 2000, № 2 (41). Электронная версия: **http://www.infoart.ru/magazine/nov_yun**

«Эти заметки в основном были написаны в плену и хранились у меня в универсальной базе данных — собственной голове...» В октябре 1999 года корреспондент «Московских новостей» Дмитрий Бальбуров был похищен во время командировки в Ингушетию и провел в чеченском плену более трех месяцев.

Вадим Баранов. Как из Горького-«дипломата» сделали жесткого сталиниста. Публикация или фальсификация? — «Субботник НГ». Еженедельное приложение к «Независимой газете». 2000, № 23, 17 июня. Электронная версия: **http://saturday.ng.ru**

Резкая критика вступительной статьи Т. Дубинской-Джалиловой к публикации переписки Горького и Сталина («Новое литературное обозрение», № 40). Начало переписки см. в «Новом мире» (1997, № 9; 1998, № 9); критический отклик В. Баранова на новомирские публикации — «Новый мир» (1998, № 12).

Бронислав Бачко. Оруэлл и Солженицын. — «Новая Польша». Общественно-политический и литературный ежемесячник. 2000, № 5 (9).

«1984» и «Архипелаг ГУЛАГ»: сходства и различия.

Павел Белицкий. О деле поэзии и о поэзии деланной. — «Арион». Журнал поэзии. 2000, № 2. Электронная версия: **http://www.infoart.ru/magazine/arion**

«На этой сцене никто не истекает даже клюквенным соком...»

Василий Белов. Данные. Рассказ. — «Москва», 2000, № 5. Электронная версия: **http://www.moskva.cdru.com**

Фронт и тыл.

Владимир Бибихин. Несколько объяснений. — «Ex libris НГ», 2000, № 23, 22 июня. Электронная версия: **http://exlibris.ng.ru**

Удивительная речь на презентации сборника эссе разных авторов «Наше положение. Образ настоящего» (М., Изд-во гуманитарной литературы, 2000): «Вещи, вошедшие в „Наше положение", уже сейчас предлагают для XXI века и для третьего тысячелетия позитивный тон, который работает сразу, начиная тем самым решение проблем, и будет работать после их решения». Что касается тона, то вот еще цитата из речи Бибихина, поразительная именно по тону, которым выступающий учит Церковь смирению: «Наша Церковь должна для начала принять ту очевидность, что православие не может означать раз навсегда обеспеченной правоты. Символом того смирения могло бы быть принятие григорианского календаря».

Значительным событием считает Марина Петржицкая («Память, свобода и личность» — «НГ-Религии», 2000, № 10, 31 мая) выход этого сборника, в котором, по ее впечатлению, сделана попытка представить религиозно, эстетически и исторически осмысленную концепцию православного либерализма. Но: «Авторы освобождаются от околоцерковной мифологии, но на ее место некоторые из них ставят собственную мифологию, светскую... Проявляется эта домашняя мифология в первую очередь в статьях Ольги Седаковой и Владимира Бибихина...» По свидетельству М. Петржицкой, на презентации сборника философ Сергей Хоружий демонстративно вычеркнул свое имя из числа авторов сборника (по какой причине, свидетель умалчивает).

Андрей Битов. «Я — непрофессиональный писатель». Беседу вела Диляра Тасбулатова. — «Известия», 2000, № 103, 7 июня. Электронная версия: **http://www.izvestia.ru**

«Кстати, единственное, что говорит в пользу того, что Шолохов мог все это написать, так это его возраст... Потому что сделать это — поднять аутентичную картину мира, которую никто, кроме тебя, не видит, — мог только очень молодой человек. Для этого нужна страшная энергетика».

Владимир Бондаренко. Поединок со смертью. — «Литературная Россия», 2000, № 23, 24, 25, 26. Электронная версия: **http://www.litrossia.ru**

Из цикла «Дети 1937 года». На этот раз — о Высоцком. В частности, приводится стихотворение юного Высоцкого «Моя клятва», датированное 8 марта 1953 года, — отклик на смерть Сталина. См. также из этого цикла статью Владимира Бондаренко «Одинокое блуждание по земле» («День литературы», 2000, № 11-12, июнь) о поэзии Игоря Шкляревского.

Иосиф Бродский. Польша. Перевел с английского С. Свяцкий. — «Новая Польша». Общественно-политический и литературный ежемесячник. 2000, № 4 (8).

Выступление 1993 года в связи с тем, что Бродский стал доктором *honoris causa* Силезского университета в Катовице: «Эта честь возбудила во мне признательность, но в то же время и ошеломила — ведь особых заслуг перед польской культурой и литературой у меня нет». О том, как это произошло, см. статью Валерия Мастерова «Почему нет рая на земле» в этом же номере «Новой Польши».

В юбилейную подборку к 60-летию со дня рождения Бродского в питерском журнале «Звезда» (2000, № 5) вошли эссе Иосифа Бродского «Писатель — одинокий путешественник...» (Письмо в «Нью-Йорк таймс») и «Профиль Клио» (перевод с английского Елены Касаткиной под редакцией Виктора Голышева); стихотворение Иосифа Бродского «*A Song.* Песня» (перевод с английского Александра Сумеркина, вступительная заметка Гали Коровиной); статья С. С. Шульца-мл. «Иосиф Бродский в 1961 — 1964 годах»; фрагменты из книги Кейса Верхейла «Пляска вокруг вселенной» (перевод с голландского Ирины Михайловой) и другие материалы.

См. также доклад Бродского на юбилейном Нобелевском симпозиуме в Шведской академии (1991) «По ком звонит осыпающаяся колокольня» («Иностранная литература», 2000, № 5): «Вижу шесть замечательных писателей, по которым, я думаю, его (XX век. — *А. В.*) запомнят. Это Марсель Пруст, Франц Кафка, Роберт Музиль, Уильям Фолкнер, Андрей Платонов и Сэмюэл Беккет. Их легко различить с такого расстояния: они вершины в литературном пейзаже нашего столетия; среди Альп, Анд и Кавказских гор литературы нынешнего века они настоящие Гималаи». И тут же — об *экономии формы:* «В „Войне и мире" следующего века будет не больше двухсот страниц. А то и меньше — учитывая, сколько внимания читатель сможет уделить книге при разнообразии его досугов. Она будет длиной с беккетовский „Мэлоун умирает" или длиной в стихотворение. В сущности, я думаю, что будущее литературы принадлежит ее истокам, то есть поэзии».

Валентин Булгаков. В царстве свастики. По тюрьмам и лагерям. Публикацию подготовила Н. Н. Артемова. — «Москва», 2000, № 5.

Секретарь Льва Толстого В. Ф. Булгаков (1886 — 1966), с 1923 по 1948 год находившийся в эмиграции в Праге, вспоминает о немецкой оккупации.

Владимир Бушин. Билет на лайнер. — «Завтра», 2000, № 25, 20 июня. Электронная версия: **http://www.zavtra.ru**

Яростная статья против Солженицына и Распутина (за то, что один посмел вручить другому премию). *Красную* свирепость Бушина подкорректировал рассудительный Владимир Бондаренко в тут же напечатанной статье «Прыжок с корабля современности», среди прочего он утешает Валентина Распутина такими словами: «Не истает русская льдина (образ из речи Распутина при получении премии. — *А. В.*) хотя бы потому, что впереди нас ждет не гнилая оттепель, а русский мороз».

Дмитрий Быков. Степка Король. — «Огонек», 2000, № 22, июнь. Электронная версия: **http://www.ropnet.ru/ogonyok**

Стивен Кинг считает себя учеником Драйзера. Дмитрий Быков считает Кинга едва ли не крупнейшим прозаиком современной Америки. «Но пойди что-нибудь докажи яйцеголовому болвану, который искренне верит, что настоящая литература — это неудобочитаемый Томас Пинчон, невыносимый Джон Барт или скуловоротный Умберто Эко! Кинг для такой публики — слишком простой (хотя совсем не простой), слишком ясный (хотя довольно темный), а главное — слишком живой (хотя лидирующий по количеству трупов). И здоровый, оптимистический культ нормы, которым проникнуты его книги, для снобов, ценящих только патологию, страшен, как ладан для черта».

Владимир Варава. Рынок в России: спасение или гибель? — «Подъем», Воронеж, 2000, № 7.

О том, что предпринимательство без соборности (рынок) так же противно русской натуре, как и коллективизм без предпринимательства (коммунизм).

Алексей Варламов. Партизан Марыч и Великая степь. Паломники. Рассказы. — «Подъем», Воронеж, 2000, № 7.

Первый рассказ был напечатан в «Независимой газете» (1995, № 145, 21 декабря). См. в настоящем номере «Нового мира» роман А. Варламова «Купавна».

Алексей Вдовин. К портрету слепого библиотекаря. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 5. Электронная версия: **http://www.art.uralinfo.ru/literat/ural** или **http://www.infoart.ru/magazine/ural**

Умберто Эко и Борхес.

Игорь Виноградов. Литература не должна быть ликбезом. Беседовал Владимир Сотников. — «Книжное обозрение», 2000, № 25, 19 июня.

«Круг читателей Пелевина — это те, кого называют обычно младшими научными сотрудниками, та техническая, главным образом, публика, которую Солженицын более строго именовал образованщиной», — считает главный редактор «Континента» Игорь Виноградов.

И. Винокурова. Последние футуристы: «небывалисты» и их лидер Николай Глазков. — «Вопросы литературы», 2000, № 3, май — июнь. Электронная версия: **http://www.infoart.ru/magazine/voplit**

«Небывализм» возник в 1939 году, когда в холлах Московского педагогического института Юлиан Долгин встретился и мгновенно подружился с Николаем Глазковым.

«Вот и все. Смежили очи гении...». Публикация Г. И. Медведевой. — «Время MN», 2000, № 77, 1 июня. Электронная версия: **http://www.vremyamn.ru**

К 80-летию со дня рождения Давида Самойлова. Записи 1962 года. **«14 ноября.** ...Был у Коли Глазкова. Он в худом состоянии. Окружен подонками. Говорит, что старые друзья его предали. Начинаешь бояться, что его обычная поза перестала быть лукавством, а стала натурой. Дурацкий колпак прирос к голове. Стихи (я прочел его книжки с 56-го до 62 года) очень плохи, мелки. Редко встречается сильная строчка. Он беден и, кажется, глубоко несчастен. Укатали сивку... Жестокая мысль: если бы Коля погиб в 30 лет, казалось бы, что он осуществился мало. Теперь ему за сорок. Поэт в нем иссякает».

См. также записи 1957 года, публикуемые А. Давыдовым («Конец великой эпохи» — «Огонек», 2000, № 20): **«4 октября.** Борис [Слуцкий] прочитал мои последние стихи. Говорит: „Это внутренняя эмиграция. Я еще не достиг этого"...»

О сложных взаимоотношениях Самойлова и Слуцкого см. интересную статью Бенедикта Сарнова «По существу ли эти споры?» («Вопросы литературы», 2000, № 3; она же — в газете «Литература», 2000, № 23, июнь).

См. также стихи Самойлова 60 — 80-х годов в журналах «Дружба народов» (2000, № 6), «Знамя» (2000, № 6) и юбилейную статью Андрея Немзера «И нет тебя, и всюду ты» («Время новостей», 2000, № 51, 1 июня), справедливо сетующего на отсутствие полного, выверенного и комментированного свода стихов Самойлова.

Владимир Гандельсман. Разрыв пространства. Комментарии к стихам автора. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 5. Электронная версия: **http://www.infoart.ru/magazine/zvezda**

Автобиографический комментарий интереснее стихов.

Махмут Гареев. Правда и ложь о начале войны. Готовил ли Сталин упреждающий удар по Германии в 1941 году? — «Независимая газета», 2000, № 113, 22 июня. Электронная версия: **http://www.ng.ru**

Полемика с известной концепцией Суворова. «В чем тогда смысл разработанных под руководством Жукова „Соображений" от 15 мая 1941 г.? Надо сказать, они отражают жуковский стратегический почерк: не отдавать инициативы противнику, упредить его и навязать ему свою волю. Прежде всего в любом Генштабе стратегическое планирование должно предусматривать различные варианты действий. Применительно к обстановке 1941 г. такие действия советских Вооруженных сил могли потребоваться после начала германской операции по форсированию Ла-Манша. Несмотря на существовавшие разногласия, Советскому Союзу нельзя было допустить поражения Англии... Возможно, Сталин мог бы воспользоваться стратегической идеей Жукова при некоторых других обстоятельствах развития событий через год или два, когда создались бы для этого более благоприятные международные и военно-стратегические условия. Например, в порядке выполнения союзнического долга, как это было при вступлении СССР в войну с Японией в 1945 г. Но это уже из области гипотетических предположений... Кое-кто из историков полагает, что нападение на Германию в 1941 г. было единственным шансом сорвать фашистское вторжение. Историков предостерегают от сослагательного наклонения. Но если подходить теоретически, исключительно с точки зрения извлечения уроков и брать только военную сторону дела, можно со всей определенностью сказать: перейди советские войска первыми в наступление, нанеся перед этим массированные авиационные и артиллерийские удары по аэродромам и сухопутным группировкам германской армии, то даже в случае неуспеха война шла бы для нас совсем по-другому. Наши войска были бы развернуты в боевые порядки и более организованно вступили бы в сражение, чем это случилось 22 июня 1941 г.».

См. также статью Николая Добрюхи «Как начиналась война. История невыполненных приказов». («Субботник НГ», 2000, № 23, 17 июня) о моральном разложении армии (алкоголизм, наркомания, самоубийства и проч.) во второй половине 30-х годов и о том, что генерал Павлов был расстрелян в июле 1941 года *по заслугам.* А также о том, что Руст был не первым: 15 мая 1941 года немецкий внерейсовый самолет «Ю-52» беспрепятственно пролетел через Белосток, Минск, Смоленск в Москву. А также о том, что 29 июня 1941 года Берия предупредил Сталина о возможности заговора в армейском руководстве (свидетельство Молотова в передаче писателя Ивана Стаднюка).

Иную точку зрения на расстрел генерала Павлова можно найти в романе Александра Ржешевского «Тайна расстрелянного генерала» («Москва», 2000, № 5, 6).

См. также статью историка В. Попова «1941: тайна поражения» («Новый мир», 1998, № 8).

Юрий Глазов. Два телефонных разговора с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Публикация Марины Глазовой (Канада). — «Русская мысль», Париж, 2000, № 4319, 25 — 31 мая. Электронная версия: **http://www.rusmysl.ru**

Расшифровка магнитофонной записи телефонных разговоров Ю. Я. Глазова с академиком Сахаровым (Бостон — Москва, 30 января 1974 года). Юрий Яковлевич Глазов (ум. в 1998), лингвист, литературовед, публицист, участник правозащитного движения, эмигрировал из СССР в апреле 1972 года. (См. его воспоминания «Адаптация» — «Новый мир», 1998, № 3). Вот фрагмент разговора:

«*Ю. Г.* В последнее время... в „Нью-Йорк таймс" была напечатана три дня назад статья Юрия Бондарева против Солженицына. Вы не знаете об этом?

А. С. Против?!

Ю. Г. Бондарева. Против Солженицына, понимаете? Это такая уже новая... Я считаю (как я понимаю), что советское правительство сейчас сменило тактику.

А. С. А кто такой Юрий Бондарев?

Ю. Г. Бондарев — автор „Тишины".

А. С. А-а... Да-да, понял.

Ю. Г. Они перепечатали, это специально шло через „Новости" и было на очень важной странице в „Нью-Йорк таймс". Понимаете? Поэтому создается впечатление, что они берут там только одну сторону, а именно — поддержку якобы Солженицыным Власова. Вот.

А. С. В книге совсем другое.

Ю. Г. Ну да! В этом-то все и дело!

А. С. Но читали ли они там, что Солженицын говорил? Что власовцы освободили Прагу? Бондарев об этом пишет?

Ю. Г. Нет. Он об этом не пишет. Он пишет, что Солженицын... Конечно, это все абсолютное вранье, понимаете?

А. С. Надо читать книгу. Там совсем другой тон!

Ю. Г. Андрей Дмитриевич, в этом все и заключается, что Юрий Бондарев, на мой взгляд, был одним из приличных писателей.

А. С. Да.

Ю. Г. Он антисталинист. Его работа „Тишина", его книга, более или менее известна.

А .С. Да-да, я знаю.

Ю. Г. И вот теперь — понимаете? — они используют людей, которые, так сказать, имеют приличное лицо, да?

А. С. Да...»

Юрий Гладильщиков. Одиночное плавание. — «Итоги», 2000, № 23, июнь.

Балабановский «Брат-2» как первое в новой России проявление снобизма по отношению к Штатам (почти как стихи Маяковского).

Даниил Гранин. Вечера с Петром Великим. Сообщения и свидетельства господина М. — «Дружба народов», 2000, № 5, 6, 7. Электронная версия: **http://www.infoart.ru/magazine/druzhba**

Царь-инженер, царь-естествоиспытатель.

Александр Дугин. Континент в мировой Паутине. — «Вторжение», 2000, № 38, февраль.

Концептуальное противоречие Сети: она несет в себе заряд *мондиализма* (ее вездесущесть) и атлантизма (руководящие нити у стратегов западной цивилизации), но в силу своей интерактивности может быть эффективно использована против своих создателей, что, по мнению консервативного евразийского революционера А. Дугина, и следует делать.

Никита Елисеев. <Рецензия>. — «Новая русская книга», Санкт-Петербург, 2000, № 3. Электронная версия: **http://guelman.ru/slava/nrk/nrk.html**

«На глянцевой обложке (Виктор Ерофеев, „Энциклопедия русской души". М., 1999. — *А. В.*) изображен сам автор... — хорошо воспитанный вурдалак после хорошего запоя. Назовем автора — Викер (Вик. Ер.офеев). Ему идет быть Викером. Звучит дивно, „по-зарубежному". *Weeker. So?* Уикер... Викеру — страшно. Эмоциональная основа „Энциклопедии русской души" — такая же, как и в фильме Алексея Германа „Хрусталев, машину!". Страх, вырвавшийся не из взрослой души художника, а из его детства. Воплощение кошмара советского барчука: какая тоненькая пленочка относительного

благополучия натянута над бездной коммуналок, парадняков, бараков, тюрем, пересылок. Интереснейший, надо признать, социолого-эстетический феномен, требующий особого изучения: точно так же, как из разложения советской элиты рождался и рождается „новый класс", так из разложения „социалистического реализма" рождается проза Викера. Викер — гений советского „нового класса". И он же — его ужаснувшийся враг. Горе классу, который порождает таких гениев».

Евгений Ермолин. Горизонты свободы. 90-е годы в русской литературе — краткий обзор и отбор. — «Континент», № 103 (2000, № 1, январь — март).

Среди прочего критик называет самые несомненные, по его мнению, книги 90-х, «вещи редкого качества»: это произведения Анатолия Азольского («Окурки», «Берлин — Москва — Берлин», «Война на море», *«Клетка»*, «Труба», *«Облдрамтеатр»*, «Кровь»), Виктора Астафьева *(«Прокляты и убиты», «Веселый солдат»)*, Дмитрия Галковского *(«Бесконечный тупик»)*, Юрия Малецкого («Любью»), Евгения Федорова (*«Бунт»*). Курсивом я выделил произведения, полностью или фрагментами печатавшиеся в «Новом мире».

Николай Ефимов. О патриотах, негодяях и родине. — «Независимая газета», 2000, № 115, 24 июня.

«Высказывание (о патриотизме как последнем прибежище негодяя. — *А. В.*) принадлежит английскому критику, лексикографу, эссеисту и поэту Сэмюэлю Джонсону, жившему в XVIII веке. В подлиннике оно звучит так: *„Patriotism is the last refuge of a scoundrel"*... Вот в чем смысл фразы: не все пропало даже у самого пропащего человека, отвергнутого друзьями и обществом, если в его душе сохраняется чувство Родины, в ней его последняя надежда и спасение. Добавлю к этому, что английское слово *„refuge"* (прибежище, пристанище) имеет ряд значений, пропадающих при переводе на русский язык, а именно: спасение, утешение. То есть не просто прибежище, а спасительное прибежище. Кстати, отсюда идет и другое английское слово *„refugee"* — беженец, эмигрант».

Олег Золотов. К Гондельману. — «Даугава», Рига, 2000, № 1.

Стихотворное послание 1989 года от одного рижского поэта к другому. «Радостно мнé, Гондельман, что нас печатают редко, а Руднева часто...» (Руднев — культуролог Вадим Руднев).

Михаил Золотоносов. Аттические ночи. — «Московские новости», 2000, № 22, 6 — 12 июня. Электронная версия: **http://www.mn.ru**

«Не хочу сказать про „иссякание творческих сил" М. Гаспарова. Хотя ясно, что согласие на издание рабочих записей и выписок из чужих книг/статей отдельным роскошным томом („Записки и выписки". М., „Новое литературное обозрение", 2000. — *А. В.*) означает, что хотелось что-то издать, а ничего существенного не оказалось. Попутно не могу не заметить, что и „Новый мир", например, опубликовал в этом году тривиальные и малозначительные вещи С. Аверинцева (речь на каких-то чтениях в Вене в 1995 г., доклад на конгрессе „Семья" в 1999 г.) и М. Чудаковой (фрагменты из записных книжек 1950 — 1990-х гг.), которые, на мой взгляд, просто роняют их репутацию, репутацию авторов прежних работ, ставших классическими».

Михаил Золотоносов. Милосердие XXI века. — «Московские новости», 2000, № 23, 13 — 19 июня.

«Оба автора (Николай Кононов, „Похороны Кузнечика". СПб., „ИНАПРЕСС", 2000; Анатолий Королев, „Человек-язык". — „Знамя", 2000, № 1. — *А. В.*) задумались над вопросом о предельных количествах любви, жалости и сопереживания, которые в состоянии вынести человек и которые вообще целесообразны в жизни... Оба автора табу нарушили, сформулировав то, что обычно формулировать и даже просто называть избегают... Тенденция, какой она видится мне, такова: стали появляться романы нового типа, не ангажированные ни идеологией, ни даже традиционной этикой и потому разрушающие то, что раньше именовали гуманистической традицией... Моя гипотеза: по мере углубления в XXI век таких произведений будет больше, истина о человеке будет раскрываться все с большей прямотой, поначалу это будет казаться цинизмом, а потом люди привыкнут».

Наталия Ильина. Из последней папки. Записи разных лет (1957 — 1993). Публикация Вероники Жобер. Предисловие, подготовка текста, примечания Маргариты Тимофеевой. — «Октябрь», 2000, № 6. Электронная версия: **http://www.infoart.ru/magazine/October**

«Лакшины уверяют, что я не выношу критики (?!)...»

Исход и возвращение Ивана Шмелева. Из наследия писателя. Публикация и предисловие Всеволода Сахарова. — «Русская мысль», Париж, 2000, № 4319, 25 — 31 мая.

Из письма к большевику-издателю Н. С. Ангарскому-Клестову от 22 июня 1923 года: «Об этом, что я его (сына. — *А. В.*) не найду, что он убит после мучительного заключения в подвалах феодосийских казематов, я узнал, наконец, в Париже от лица, которое когда-то сидело в одном заключении вместе с моим сыном. Пришел ко мне человек, отозвавшийся на мою публикацию, и с исчерпывающими данными открыл мне истину. Да, моего сына убили, убили жестоко. Это я теперь знаю... Ехать мне в Россию уже не для чего». Это же письмо напечатано публикатором в журнале «Огонек» (2000, № 18, май).

См. также публикации разных авторов об Иване Шмелеве в журнале «Москва» (2000, № 6).

Юрий Караш. Национальное обязательство по освоению вселенной. — «НГ-Наука», 2000, № 6, 21 июня. Электронная версия: **http://science.ng.ru**

Юрий Юрьевич Караш (кандидат исторических наук, мастер внешней политики американского университета им. Джонса Гопкинса, доктор философии США по специальности «Космическая политика и международные отношения») считает, что России необходимо сделать подготовку марсианской экспедиции своего рода *национальной задачей* России, для решения которой было бы оправданным привлечь дополнительные ресурсы (ни «Мир», ни Международная космическая станция подобным оправданием служить не смогут). Тут мне вспоминается статья американского автора Роберта Зубрина «Границы Марса — возрождение духа Америки» («Знание — сила», 1997, № 5) о том, что западная цивилизация родилась благодаря экспансии (с сопутствующими ей понятиями «границы», «переднего края») и потому возможность такой экспансии на Марс — это вопрос выживания Запада, способ возродить дух Америки («цель должна быть за пределами современных способов и методов существования»).

Кстати, Станиславу Лему принадлежит остроумное высказывание, что на Марсе можно построить только ГУЛАГ («Общая газета», 2000, № 3), но острота, как известно, не аргумент.

Кассандра из Парижа. Беседу вела Ольга Тимофеева. — «Время MN», 2000, № 88, 17 июня.

Мария Васильевна Розанова рассказывает о том, что огромный архив Синявского в Париже — это не только архив Андрея Донатовича Синявского, но и Доната Евгеньевича Синявского, и Евгения Михайловича Синявского, основателя первой газеты в городе Сызрань в 80-х годах XIX века. «Недаром Андрей Донатович давно пришел к выводу, что писательство — тяжелая наследственная болезнь».

Каталог. 1990 — 1999. Лирика. Составители Б. Равдин, Ж. Эзит. — «Даугава», Рига, 1999, № 5-6, сентябрь — декабрь.

Стихотворения 74-х авторов. В алфавитном порядке. Попытка представить русскую поэзию Литвы за последние десять лет. В этом же номере напечатана библиография — «Русская поэзия Литвы. Предварительная роспись поэтическим сборникам 1990 — 1999», охватывающая 222 названия.

Капитолина Кокшенева. Больно жить. — «Москва», 2000, № 5.

О том, что Олегу Павлову не досталось «большой судьбы», но именно его творчество подняло в нашей литературе «большую волну» — **именно его творчество выявило все страхи нашего культурного общества,** состоящего сплошь из эстетических и этических законодателей. «*Страх* перед способностью русского человека и по сю пору спасаться русской литературой, спасаться „беспрекословной... покорностью родине, государству". *Страх* перед прямым зрением на нашу жизнь, в которой можно видеть „мерзости", а можно — лихо, нужду и беду, коими действительно жил и живет реальный народ, а не писательский народец... *Страх* перед трагическими и серьезными размышлениями о жизни и о смерти родил катастрофическое количество *игровых* произведений, авторы которых, обуреваемые зудом мнения, с удовольствием рассуждают при этом о „ничтожестве русской литературы", о ее поражении, конце. Я же скажу иначе: если у нас есть произведения Олега Павлова, мы можем утвердительно говорить о неиссякаемости той силы, что питает и создает собственно русскую прозу».

См. также статью Олега Павлова «После Платонова» («Октябрь», 2000, № 6).

Ирина Кривова. Письмо к читателям. — «Русская мысль», Париж, 2000, № 4322, 15 — 21 июня.

Письмо к читателям нового — после кончины И. А. Иловайской-Альберти — главного редактора «Русской мысли» (заместителем главного редактора стал священник Ге-

оргий Чистяков): «„Русская мысль" — это европейская газета, и, поскольку Россия является неотъемлемой частью Европы, наша газета должна сыграть важную роль в этом направлении». *Любопытное*: «К сожалению, нам пришлось расстаться с о. Иоанном Свиридовым, чьи взгляды на будущее газеты и особенно его позиция по вопросу о христианском диалоге между Католической и Православной Церковью оказались несовместимы с позицией основного редакционного коллектива».

Вячеслав Курицын. Звездный миг. — «Время MN», 2000, № 92, 23 июня.

«Строчки „Звать меня Кузнецов. Я один. Остальные — обман и подделка" если и казались дерзостью, то оправданной. Недавно я впервые увидел поэта (Юрия Кузнецова. — *А. В.*) воочию. Случилось это на процедуре защиты дипломов в Литературном институте. Руководитель семинара Кузнецов, представляя своего ученика, строго говорил, что по стихам ученика видно, что он может предать Родину. При этом выглядел Кузнецов хорошо — в добром здравии, в крепком рассудке».

Андрей Левкин. СПб. & т. п. Повесть. — «Уральская новь», Челябинск, 2000, № 2. Электронная версия: **http://www.infoart.ru/magazine/urnov**

«Вот у Парщикова А. М., скажем, три дня жил на постое пингвин, которого Леша мыл в ванной и раз в день выносил на снег. А в остальное время пингвин на жизнь не реагировал и стоял в углу в кататоническом состоянии. Кому-нибудь и он бы сгодился, раз уж есть. Рыбу ел только, когда его мыли. У меня вот на Пушкинской была личная крыса, а потом их стало там так много, что из комнаты пришлось уйти в другую. Это о том, что любые иные формы жизни всегда стремятся уничтожить нас, богомолов, *de jure*, желая ликвидировать находящуюся в нас пустоту».

Михаил Леонтьев. «Однако, фас!». Беседу вела Юлия Рахаева. — «Известия», 2000, № 119, 30 июня.

Борис Березовский — демократ, а Михаил Леонтьев — нет. «Вы либерал-империалист?» — спрашивают у Леонтьева. — «Нет, я просто правый консерватор». *Bon mot:* «Примаков был для Запада лучшим председателем ликвидационной комиссии Российской Федерации».

Лидия Либединская. «Такая вот история». Беседу вела Татьяна Бек. — «Вопросы литературы», 2000, № 3, май — июнь.

«Ирма Кудрова недавно выпустила хорошую книжку о Цветаевой, где пишет, что в Елабуге Цветаеву вербовали в КГБ. Я с ней не согласна. Думаю, что в 41-м году даже гэбэшникам было не до нее. На кого в Елабуге было „стучать"? Не то место, даже не Чистополь. Думаю, что за этим самоубийством стояла душевная катастрофа. И еще (об этом не пишут нигде): мне кажется, что Цветаева не верила в нашу победу. Ведь это для нас тогда Париж и Прага были как Луна и Марс. Для нее же это были страны, города, связанные со всей ее жизнью. А Гитлер их захватил с легкостью. И она не верила в победу. А о фашизме она говорила с ужасом. В Кускове единственный омрачающий момент был — когда кто-то произнес это слово. Не то я, не то Мур сказал: „Ну что вы, Марина (он называл мать „Марина" и на „вы"), пережили татарское иго — переживем и фашизм". Она сердито выкрикнула: „Фашизм гораздо страшнее татарского ига!"»

Тут же напечатан мемуарный очерк 1956 года Юрия Либединского «О Фадееве» (публикация Л. Либединской).

С. Ломинадзе. Пушкин — поэт обыкновенного человека. — «Вопросы литературы», 2000, № 3, май — июнь.

См. в журнале «Знамя» (2000, № 6) принципиальный полемический ответ Карена Степаняна на предыдущую статью С. Ломинадзе «Слезинка ребенка в канун XXI века» («Вопросы литературы», 2000, № 1), в которой резко критиковалась работа К. Степаняна «„Борис Годунов" и „Братья Карамазовы"» («Знамя», 1999, № 2).

Лев Лосев. Солженицын и Бродский как соседи. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 5.

Мысли Солженицына о Бродском («Новый мир», 1999, № 12) в сопоставлении с мыслями Бродского о Солженицыне. См. в этом же номере «Звезды» *петербургскую поэмку* Льва Лосева «Ружье» — изложенную стихами известную историю о бедном петербургском чиновнике, потерявшем на охоте только что купленное дорогое ружье (из этой истории родилась гоголевская «Шинель»).

Лев Лурье. Хулиганы старого Петербурга. — «Неприкосновенный запас», 2000, № 3 (11). Электронная версия: **http://www.infoart.ru/magazine/nz**

Бич Петербурга начала века — хулиганы.

Борис Любимов. «Публика Малого театра и есть электорат...». Беседовала Алена Солнцева. — «Время новостей», 2000, № 61, 16 июня.

«Конечно, в Малом театре шел спектакль „Целина" [по мемуарам Брежнева]. Но только ли Малый этим отличался? Для меня спектакль по шатровской пьесе „Так победим" страшнее „Целины". „Целина" — акт придворного этикета, а в „Так победим" нас убеждали: красный террор — это замечательно... Современному театру Шатров нужен не больше, чем Софронов. Хотя невинный водевиль „Миллион за улыбку" могут еще когда-нибудь поставить, а „Шестое июля" — очень надеюсь — ушло навсегда».

А. М. Любомудров. Суд над Творцом: «Пирамида» Л. Леонова в свете христианства. — «Русская литература», 1999, № 4.

О том, что «Пирамида» — не *ересь,* а *новая религия.* Тут же — статья А. И. Павловского «Поэма начала и роман конца» о леоновской «Пирамиде» и ахматовской «Поэме без героя».

Рой Медведев. Поэт и царь. — «Московские новости», 2000, № 23, 13 — 19 июня.

Ельцин и Солженицын.

Владимир Набоков. Забытый поэт. Рассказ. Перевод с английского Дмитрия Чекалова. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 5.

Рассказ был опубликован в журнале *«Atlantic Monthly»* в октябре 1944 года. В этом же номере «Звезды» напечатана статья Геннадия Барабтарло «Троичное начало у Набокова. Убедительное доказательство».

Игорь Николаев. Единственный. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 5.

Георгий Жуков.

Майя Никулина. «Про старинное житье и про тайную силу». — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 6.

Бажов как культовый писатель.

Вера Павлова. Письма по памяти. — «Кулиса НГ», 2000, № 10, 9 июня. Электронная версия: **http://curtain.ng.ru**

Стихи из книги «Четвертый сон». Четвертый сон — *Веры Павлов*ны?

Глеб Павловский. «Я пишу тебе в альбом...». — «Независимая газета», 2000, № 100, 2 июня.

«Парадокс России — искусственное, хорошо организованное — **постановочное молчание масс,** абсолютно доверяющих Путину, при беспрерывной и нарастающей болтливости противников... Кажущийся вакуум публичной поддержки — это артефакт, а не дефицит реальной поддержки. — Работа средств массовой информации, изъятых у общества и превращенных в одноканальный институт избирательного вещания (также оплачиваемый в значительной мере за счет бюджета)... Сегодня президент Путин — лидер массового движения за восстановление государства (а значит, способности российского общества к суверенному свободному существованию. Подорвана сама эта способность, отчего **государственно неосуществима** свобода)... Только оттого, что миллионы сторонников Путина искусственно устранены из публичной политики, они в момент кризиса будут лишены возможности реально ему помочь и поддержать в споре о государстве».

Лиля Панн, Соломон Волков. Мы подкидыша станем качать. («Гудзонская нота» в русской поэзии). — «Арион». Журнал поэзии. 2000, № 2.

Соломон Волков: «Я впервые, пожалуй, осознал, что можно говорить об определенном содружестве русскоязычных поэтов, сложившемся вот здесь, на берегах Гудзона... Мы говорим с вами о тех, кто тяготеет к Нью-Йорку, мы не будем сейчас касаться других поэтов-эмигрантов в Америке. Ни таких известных поэтов, как Лев Лосев, живущий в Нью-Хэмпшире, или Дмитрий Бобышев в Иллинойсе, или поэты из Бостона и Филадельфии (там есть несколько серьезных имен), не говоря о Калифорнии — только о гудзонцах. Владимир Гандельсман, Александр Алейник, Ирина Машинская, Марина Георгадзе, Андрей Грицман, Александр А. Пушкин, Вадим Месяц, Ян Пробштейн, Ина Близнецова, Леонид Буланов — я перечисляю не в алфавитном порядке, а как я их вспоминаю после того вечера, когда впервые увидел всех вместе в некоем единстве...»

Александр Панченко. «Наше счастье, что у нас мало начальства». Беседу вела Ильмира Степанова. — «Время MN», 2000, № 84, 10 июня.

«Да он (Лев Гумилев. — *А. В.*) никогда ничего не боялся. Знал, что в его отсутствие в доме бывают незваные гости. И на письменном столе у него постоянно лежала записка: „Начальник! Шмоная, книг не кради и рукописи клади на место! Л. Гумилев".

Как-то его шмонали, когда была уже свобода, при Горбачеве, и сперли список „Реквиема", где рукой Анны Андреевны было написано: „окончательный вариант". Близкие уговорили Льва Николаевича написать заявление о пропаже в милицию. Прошло какое-то время, и рукопись появилась на прежнем месте. Но только это был другой список „Реквиема", на другой бумаге. Он снова написал в милицию, что, мол, список появился, да не тот. Через несколько недель окончательный вариант вернулся, а тот, „ошибочный", таинственным образом исчез. Я вот все время думаю: за что человека мучили?..»

Марк Перах. Взлет и падение библейских кодов. — «Континент», № 103 (2000, № 1, январь — март).

Очень интересное критическое исследование так называемых *библейских кодов* — будто бы зашифрованных в тексте Книги Бытия (на иврите) предсказаний, вплоть до убийства Ицхака Рабина и СПИДа. Автор статьи считает эту мировую (с 1994 года) сенсацию мнимой, так как такие «коды» — *последовательности равноотстоящих букв* — можно при желании найти в любом длинном высокоорганизованном тексте хоть на иврите, хоть на английском или русском языках.

Михаил Поздняев. Авалиани, повелитель оборотней. — «Огонек», 2000, № 20, июнь.

Беседа с Дмитрием Авалиани, который пишет *палиндромы*. «Тут, кроме русской тоски, соблазн чисто средневековый: нарисовать знак Макрокосма, после чего вдруг выскочит из камина черный пудель... Никакой пудель не появляется. Но это не значит, что игра лишена смысла. Смысл игры в самой игре, как цель поэзии — поэзия, по формуле Пушкина... Меня всегда интересовало, возможна ли еще эврика в поэзии. По большому счету моя эврика не в палиндромах, а в том, чем я занят последние лет семь. „Палиндром" по-русски перевертень, а тут — листовертень. Берется лист, на нем пишется слово или фраза, которые, когда перевернешь лист вверх ногами, тоже читаются, только это уже совсем другой текст... Пишешь: „ЧЕГО БОГУ НАДО", переворачиваешь — и видишь: „ОДНА ЛЮБОВЬ" (тут есть некоторая натяжка. — *А. В.*). Когда такое получается — это же чистый восторг! А если не получается — на нет и суда нет... Что в принципе соответствует объяснению моего имени у Флоренского, в его книге „Имена": поиск во мраке...» См. подборку палиндромов Авалиани в «Новом мире» (1994, № 10).

Ежи Помяновский. «Понять умом Россию». Беседа с Катажиной Яновской и Петром Мухарским. — «Новая Польша». Общественно-политический и литературный ежемесячник. 2000, № 5 (9).

«Я часто ездил к нему (Пастернаку. — *А. В.*) в Переделкино. Как-то раз на дачу к Пастернаку внезапно ввалился пьяный секретарь Союза советских писателей Фадеев. „Видишь, Боря, не могу я в таком виде домой явиться, ты же ее знаешь..." — пробормотал он. Пастернак постелил ему на старой кушетке, прикрыл шалью жены своей, Зинаиды Николаевны. Фадеев вроде бы уснул, но спустя минуту вдруг поднял голову и абсолютно трезвым голосом сказал: „Ну и что после нас останется, Боря? Только твои стихи и "Двенадцать стульев""».

Дмитрий Поспеловский. Сталин и Церковь: «конкордат» 1943 г. и жизнь Церкви. — «Континент», № 103 (2000, № 1, январь — март).

Интересные архивные документы.

Дмитрий А. Пригов. Конец 90-х — конец четырех проектов. — «Художественный журнал», 2000, № 28-29. Электронная версия: **http://www.guelman.ru/hz**

«Интересно проследить, как человечество проигрывало эту утопию нечеловеческого, особенно на примере фильма *„Alien"* („Чужой"). Четыре его серии снимались на протяжении двенадцати лет. Причем, если в старых фильмах основной мифологемой нечеловеческого было некое порождение человека, которое оказывалось в конечном счете человеку же враждебным и лишенным способности к существованию (старая парадигма, идущая от „Франкенштейна"), то в последней серии появилась совсем другая тенденция. Так, в этом фильме на Землю, после жестокого противостояния чудищам, в качестве представителей победившего антропологического летит кто — <Рипли>, которая сама полумонстр, кроме нее — биоробот, который как бы не человек, еще какой-то безногий обрубок, который даже сам не в состоянии передвигаться. И единственный из четверых представитель чисто антропологического начала — это страшного вида огромный негр. Мир в этом фильме делится уже не на *Alien*'ов (Чужих) и людей, а на хороших эллиенов и хороших людей, с одной стороны, и на плохих эллиенов и плохих людей — с другой. Все это очень симптоматично... Это подготовка человечества к неким глобальным изменениям».

Пушкиниана. Все книги 1999 года. Подготовил Олег Трунов. — «Книжное обозрение», 2000, № 23, 24, 25, 26, 27.

В список входят 450 названий.

Нина Ратиани. Екатерина Великая знала толк в рекламе. — «Время MN», 2000, № 93, 24 июня.

В архиве Государственного исторического музея в Москве обнаружены автографы маркиза де Сада — три рисунка, одно письмо, фрагменты романа.

Рустам Рахматуллин. Христианские реликвии в Кремле. — «Особая папка». Специальное приложение к «Независимой газете». 2000, № 4, 15 июня. Электронная версия: **http://www.ng.ru**

На выставке в Успенской звоннице на Соборной площади можно было увидеть величайшие святыни Москвы: это Риза Христова и Гвоздь Господень, ковчег со Страстями Христовыми (известный как ковчег Дионисия Суздальского), Риза Богоматери, это мощевики апостола Андрея Первозванного, мученика Климента, равноапостольного царя Константина, это Корсунские кресты, вывезенные, по преданию, князем Владимиром из Херсонеса вместе с верой, это чудотворные иконы Богоматери, спасавшие Москву и Русь от Тамерлана, крымцев, латинян... В «Особой папке» напечатаны беседа с инициатором и руководителем научно-культурной программы «Христианские реликвии», директором Центра восточнохристианской культуры Алексеем Лидовым, а также статьи Бориса Фонкича «Сокровищу быть среди царствия... Движение святынь „из грек" в Россию при Алексее Михайловиче», Татьяны Толстой и Елены Ухановой «Имя древности. Христианское наследие Херсонеса и крещение Руси», Елены Моршаковой и Татьяны Самойловой «Золото, очищенное в печи. Так называли праведников», Людмилы Щенниковой «Благочестивым царям на поклонение и молебствование... Святые образы в своем доме — Кремле».

Дональд Рейфилд. Король Лир из Санкт-Петербурга. — «Персона». Общественно-публицистический иллюстрированный журнал. 1999, № 11. Электронная версия: **http://www.ram.ru/persona**

Король Лир — это издатель А. С. Суворин. Цитата: «Чехов соблазнил Лили Маркову, которая служила у Сувориных гувернанткой, и поэтому знал все семейные тайны Сувориных». Автор — завкафедрой русской литературы Лондонского университета.

Вадим Руднев. Тело без органов, или Русские в 1999 году. Французская философия *nachträglich*. — «Художественный журнал», 2000, № 28-29.

«Говорят, что электронная почта устраняет недостаток обыкновенной почты — запаздывание информации на большое время. Но совершенно не очевидно, что это запаздывание является недостатком обычного эпистолярного поведения, хотя она безусловно является его особенностью. Разве является недостатком писем Пушкина то, что они написаны 180 лет назад? Скорее наоборот, это является их достоинством. Поскольку в культуре время движется по-другому, чем в природе, тексты с течением времени наращивают информацию, а не теряют ее. Так же и с письмами. За те две недели, что письмо идет из Нью-Йорка в Москву, в культурном сознании адресата и адресанта накапливается дополнительная информация о мире и о себе. Поэтому чем старее письмо, тем оно информативнее. Таким образом, если компьютерное письмо уничтожает историю, то электронная почта уничтожает культурное время. От того, сумеет ли она противопоставить ему нечто другое, столь же важное и фундаментальное, зависит, считать ли ее благом или злом для культуры. Пока что для фундаментальной культуры она является безусловным злом, поскольку резко уменьшилось количество обыкновенных писем. И то, что *e-mail* делает со временем, Интернет делает с пространством — он уничтожает культурное пространство. Считается, что это плохо, что какую-то книгу невозможно прочитать, если ее нет в Москве. В недалеком будущем, говорят пропагандисты Интернета, любую книгу можно будет достать не выходя из комнаты и не выключая компьютера. Но давайте вспомним столь ненавистную нам историю и зададимся вопросом, является ли скорость распространения информации таким безусловным позитивным феноменом. Очевидно, что это не так. Когда паломники шли к святым местам, они никогда не садились на лошадь, они шли пешком, чтобы по дороге не спеша внимательнее вглядеться в свою душу, чтобы предстать перед святым местом с очищенной душой. В этом смысле — чем дальше и медленнее — тем лучше. Когда монах переписывал книгу годами, он получал от этого очень важную дополнительную информацию. Мне этот опыт хорошо знаком, поскольку я сам однажды переписал от руки „Логико-философский трактат" Витгенштейна».

Олег Савельев. История одной печали. Комедия в двух действиях. — «Уральская новь», Челябинск, 2000, № 2.

Современные русские пьесы предпочтительнее современной русской прозы по крайней мере в одном отношении — они легче и быстрее читаются.

Свобода, неравенство, братство. Беседовала Лиля Панн. — «Ex libris НГ», 2000, № 23, 22 июня.

Беседа с прозаиком и философом Игорем Ефимовым. В течение последнего года в журнале «Звезда» — в авторской рубрике «История неравенства» — периодически печатались главы из философско-политического исследования Ефимова «Стыдная тайна неравенства», недавно это исследование вышло отдельной книгой в издательстве «Эрмитаж» (США). «Одна из важнейших задач политического устройства — это охрана высоковольтного (термин из книги Игоря Ефимова. — *А. В.*) меньшинства с целью дать ему реализовать свои таланты. В России уцелело, слава Богу, достаточно высоковольтных, но в своем большинстве они охвачены уравнительной иллюзией. Иллюзией, что их активное участие в жизни общества будет возможно при установлении рыночно-демократической структуры. Я думаю, это совершенно не соответствует реальности».

Александр Севастьянов. Не бойтесь неизбежного. — «НГ-Сценарии». 2000, № 6, 14 июня. Электронная версия: **http://scenario.ng.ru**

Убежденного русского националиста, подробно отвечающего своим критикам, особенно радует, что среди его фактических оппонентов на страницах «НГ» не нашлось ни одного русского (с автором, по его подсчетам, спорили армянин, грек, дагестанец, два еврея и грузин). А вынесенное в название статьи *неизбежное, которого не надо бояться,* — это Россия как русское государство. В этом же номере «НГ-Сценариев» напечатан доклад «„Русский фактор" в российской политике», подготовленный департаментом политических проблем Фонда «Реформа» под руководством Андраника Миграняна при участии Алексея Елыманова, Андрея Рябова, Валерия Серова.

С. Семенова. Экзистенциальное сознание в прозе русского зарубежья (Гайто Газданов и Борис Поплавский). — «Вопросы литературы», 2000, № 3, май — июнь.

См. также статью Светланы Семеновой «Два полюса русского экзистенциального сознания. (Проза Георгия Иванова и Владимира Набокова-Сирина) в «Новом мире» (1999, № 9). Обе статьи — фрагменты обширного труда о русском литературном зарубежье «первой волны».

Анна Сергеева-Клятис. «Одежда праздности и лени...» — «Даугава», Рига, 2000, № 1

Халат и колпак в литературном быту александровской эпохи.

Ольга Славникова. Критик моей мечты. — «Октябрь», 2000, № 6.

Воображаемый *суперкритик* — «в синем трико и алом коротком плаще, сидя днем в какой-нибудь редакции под видом подслеповатого клерка... ночью летает, руля кулаками, в литературных темных небесах и поспевает к писателю на помощь, когда писатель, всхлипывая от безнадежности бытия, уже подносит горящую спичку к прозрачному от предсмертного румянца рукописному листу...»

Виктор Тополянский. Красный террор: восемь месяцев 1918 года. — «Континент», № 103 (2000, № 1, январь — март).

Убийцы у власти.

Галина Ульянова. Пародия на правду. Как обфандоривают историю России. — «Ex libris НГ», 2000, № 22, 15 июня.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра «История России в XIX веке» Института российской истории РАН — против *эрастомании.* «Российская империя, в общем, развивалась в рамках правового пространства — это и было главным достижением XIX века. В ней как раз не было того бандитского хаоса, о котором пишет Акунин, в существовании которого он хочет убедить своего читателя... На что же опирался г-н Акунин, сочиняя свои фантастические версии, в том числе об „убийстве Скобелева"? Так вот, если вместо 1890-х годов подставить 1990-е, то тогда романы Акунина становятся похожими на правду. Но если оставаться верными историческим фактам, то приключения Фандорина так же далеки от реалий того времени, как генерал А. В. Коржаков далек от генерала И. И. Воронцова-Дашкова».

А может быть, все не так страшно? Не случайно у Акунина — Соболев, а не Скобелев.

Виктория Шохина. Твардовский без «Нового мира». — «Кулиса НГ», 2000, № 11, 30 июня.

К 90-летию А. Т. Твардовского. Лирика его была не любовная, а *семейная.*

Неожиданное сопоставление стихотворений «В тот день, когда окончилась война...» Твардовского и «Прощания с друзьями» Заболоцкого находим в юбилейной статье Сергея Федякина «Последний эпик» («Ex libris НГ», 2000, № 23, 22 июня).

«Приезжаю с ведром (соленых. — *А. В.*) грибов, — вспоминает к юбилею Владимир Фирсов („Считаю Твардовского своим крестным отцом" — „День литературы", 2000,

№ 11-12, июнь). — Твардовский, как и обещал, стоит у подъезда. „Немедленно пошли!" — командует он. Закрыв кабинет на ключ, он сразу же налил стакан водки, выпил, схватил горсть грибов, бросил в рот. И горько заплакал. Да, это были слезы великого поэта. „Сынок, я тебе не налью, — чуть позже сказал он. — Ты еще успеешь научиться пить. Жизнь научит..."»

Священник Георгий Чистяков. «Новый русский атеизм». Диалог о вере и неверии в Интернете. — «Русская мысль», Париж, 2000, № 4319, 25 — 31 мая.

Атеисты (или те, кто называют себя атеистами) в Сети. Например, сайт «Научный атеизм» (**http://www.atheism.ru**) на поддерживаемом Новосибирской областной образовательной сетью «Атеистическом сайте» (**http://www.nsu.ru/atheism**) или особая страница последнего под названием «Новый русский атеизм». «Авторы этой страницы, скорее всего, хотят подчеркнуть, что их атеизм не имеет ничего общего с воинствующим безбожием советских времен, и, надо сказать, иногда это у них получается», — комментирует священник Георгий Чистяков.

Игорь Шевелев. Бульварная пресса как литературный проект. — «Время MN», 2000, № 89, 20 июня.

Главный редактор газеты «Последние новости», *интеллектуальный провокатор* Игорь Дудинский на вопрос интервьюера о сотрудничестве с КГБ отвечает: «Дело в том, что когда в 70 — 80-е годы я занимался авангардным искусством, это была игра на грани риска. Мы продавали картины за доллары за границу, устраивали подпольные выставки на квартирах в Москве, писали статьи о них в заграничные журналы. В этих условиях связь с КГБ была неизбежна. Если ты был идеологом авангарда, ты зависел от людей, которые контролировали идеологию. Это полный бред, что кто-то мог устроить выставку за рубежом, вывезти картины или показать прилюдно авангардный спектакль на свой страх и риск! Все это согласовывалось, планировалось и разрешалось КГБ путем долгих дебатов с ними, компромиссов и даже чтения лекций на Лубянке... Для меня это было счастливое время. Я катался во всем этом как сыр в масле... Потом появилась Малая Грузинская, которую тоже делало КГБ, а я был одним из экспертов, продвигавших это искусство. Тогда все это было интересно и модно, это был кайф. Сегодня я пришел в музей смотреть коллекцию Лени Талочкина и подумал: „Господи, на какую же туфту мы тратили свою жизнь!" Все это было глубокой провинцией, позавчерашним днем!»

О Дуде (Дудинском) и других участниках литературных тусовок 70-х см. главу «В подполье» из книги Николая Климонтовича «Далее везде» («Субботник НГ», 2000, № 25, 1 июля).

Игорь Шевелев. Петрович сегодня — это Леонардо вчера. — «Время MN», 2000, № 84, 10 июня.

Беседа с карикатуристом А. Бильжо, который некогда был врачом-психиатром. «Венедикт Ерофеев лежал у нас много раз и в Кащенко, и потом, когда мы переехали на Каширку. Удивительно, что при его махровом алкоголизме, описанном в „Москва — Петушки", при множестве „белых горячек", с которыми он поступал, в нем совершенно не было алкогольной деградации личности... Он абсолютно выпадал из типичного течения болезни. Вне запоев это был совершенно рафинированный интеллигентный человек».

●

ПРЕМИИ: премию «Северная Пальмира» получили в этом году Сергей Гандлевский («Конспект»), Александр Володин («Попытка покаяния») и Яков Гордин («Мистики и охранители») — *см. резко критический отклик Надежды Григорьевой на это событие («Не приходя в сознание» — «Коммерсантъ», 2000, № 102, 8 июня), а также памфлет Виктора Топорова «Как в Питере пилят „Пальмиру". Физиология литературной премии» («Литературная газета», 2000, № 25, 21 — 27 июня)*; премия имени Михаила Шолохова, учрежденная Союзом писателей России, вручена в этом году Михаилу Шангину (Омск) — за роман «Ни креста, ни камня», Валентину Осипову — за пропаганду творческого наследия Шолохова, Феликсу Кузнецову — за научно-изыскательскую деятельность, связанную с рукописью романа «Тихий Дон» (ИТАР ТАСС).

●

АДРЕСА: Андрей Немзер: **http://www.ruthenia.ru/nemzer**

●

ДАТЫ: в октябре/ноябре исполняется 180 лет со дня рождения Афанасия Афанасиевича Фета (1820 — 1892); 2 (14) октября исполняется 160 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Писарева (1840 — 1868); 10 (22) октября исполняется 130 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870 — 1953); 14 (26) октября исполняется 120 лет со дня рождения Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева; 1880 — 1934); 22 октября исполняется 75 лет со дня рождения поэта Евгения Михайловича Винокурова (1925 — 1993), долгое время возглавлявшего отдел поэзии «Нового мира».

Составитель **Андрей Василевский.**

СЕТЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА

*

Противостоят ли бумажная и виртуальная литературы в Интернете?
Высоколобые в литературном Интернете

В этом выпуске обзора мы сделаем небольшую паузу в описании собственно литературных произведений, появившихся в Интернете, и продолжим знакомство с культурным ландшафтом Интернета. Это не просто отработка заявленных ранее задач наших обзоров. Подобного рода инвентаризация имеет, на мой взгляд, еще и «концептуальное» значение. Несмотря на обилие уже высказанного о феномене литературного Интернета, по-прежнему остается открытым самый первый и самый простой, на поверхностный взгляд, вопрос: а что такое литературный Интернет? Сужу по серии интервью с ведущими обозревателями и деятелями русского Интернета (Фрай, Кузьмин, Курицын и другие), выставленными недавно Львом Пироговым на **ОбсЕрвере (http://rema.ru:8101/observer/levpir/).** Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно как минимум определить круг явлений, который мы называем литературным Интернетом.

Иными словами, наша сегодняшняя инвентаризация будет преследовать две цели. Во-первых, познакомить читателей с новыми сайтами. А во-вторых, поразмышлять над самой природой литературного Интернета, над тем, какой круг явлений следует считать для него структурообразующим. Я уже писал, что сколько обозревателей, столько и Интернетов. В какой-то мере это неизбежно, уж очень быстро насыщается это пространство, увеличивает количество своих функций. Но и бесконечно «плавать» в определении тоже плохо.

Еще год-два назад была ясность: интернетовская литература — это те тексты, которые вошли в наш культурный обиход из Интернета. Подразумевалось, что в Интернете складывается своя культура. Свой круг авторов. Свои литературные тусовки, свои дискуссионные клубы (гестбуки с самыми разными названиями), свое «общественное мнение», свои литературные премии. И чуть ли не свое литературное поколение. И все действительно было так.

Но вот черта сегодняшней интернетовской ситуации: заметно увеличивается (и соответственно «оттягивает» на себя значительную часть интернетовских читателей) количество сайтов, представляющих «бумажную» литературу. Скажем, сайт «Журнального зала» **(http://www.infoart.ru/magazine/index.htm)** на сервере Инфоарта, представляющий восемнадцать толстых литературно-художественных журналов. Это явление интернетовское или нет? На первый взгляд, разумеется, нет. Но только — на первый взгляд. А если принять к сведению, что, например, количество читающих «Новый мир» **(http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi/index.htm)** в Интернете давно превысило тираж бумажного издания и продолжает увеличиваться?

Что, например, проза и поэзия очередных номеров журнала становятся на месяц раньше доступными интернетовским читателям? Более того, сетевой «Новый мир» предоставляет своей интернетовской аудитории больший объем текстов, нежели «бумажный вариант»?

В том же положении сегодня журналы «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Новая Юность», «Арион», «Волга» и т. д. **(http://www.infoart.ru/magazine/index.htm).** Кстати, журнал «Волга» вообще стал практически интернетовским изданием (по причинам сверхнизкого тиража, где-то около 700 экземпляров, «бумажная» «Волга» — можно сказать, малодоступный, сверхэлитарный журнал[1]). Можно ли говорить о ресурсе «Журнального зала» как о явлении неорганичном, инородном для литературного Интернета?

Или литературные газеты? С недавних пор я, например, читаю **«Литературную газету» (www.lgz.ru)** в Интернете. Так же как и **«Ex Libris» (http://exlibris.ng.ru/),** а библиографические списки «Книжного обозрения» получаю непосредственно на свой компьютер по e-mail.

Это ситуация с прессой. А как с книгами?

Точно так же. Книга современного прозаика выходит тиражом от тысячи до пяти тысяч экземпляров. А будучи выставленной в интернетовской библиотеке **Максима Машкова (http://lib.ru/),** наращивает количество читателей до 10 — 20 тысяч. Для русского читателя за рубежом вообще доступна она только через Интернет. И соответственно книга эта — явление «интернетовской литературы».

Или вот еще два симптоматичных литературных сюжета — издательская судьба романов Пелевина «Generation 'П'» и Болмата «Сами по себе». Известность этих текстов, и достаточно широкая, начиналась с интернетовских публикаций, и только потом романы эти обретали «книжную биографию». Как к этому относиться?

На мой взгляд, не нужно слишком серьезно относиться к разделению литературы на «интернетовскую» и «бумажную». И вообще — хорошо бы перейти к написанию слова «Интернет» с маленькой буквы. Не пишем же мы с большой буквы слово «телеграф» или «телевидение». Литературный Интернет — это только часть общекультурного пространства. И даже те явления, которые изначально считались (и справедливо) «эксклюзивно интернетовскими», вполне органично смотрятся и в пространстве «бумажной» литературы. В данном случае я имею в виду замечательную, на мой взгляд, антологию малой прозы «Очень короткие тексты. В сторону антологии», составленную Д. Кузьминым (М., «Новое литературное обозрение», 2000), — содержательная основа этой книги, поэтика ее прозы выбраживались именно в Интернете (лично я воспринимаю эту книгу как своеобразную визитную карточку нового литературного поколения).

Короче, ответ на простой вопрос, что такое интернетовская литература, не так прост.

И еще одно укрепившееся мнение о литературном Интернете, которое, кстати, очень любят высказывать почему-то именно писатели на своих конференциях и «круглых столах»: Интернет — это свалка графомании, это «заборная литература», это изначально и принципиально лишенное какой-либо культуры собрание текстов. Последнее высказывание такого рода, прочитанное мною, принадлежит писателю Алексею Варламову, на очередном писательском обсуждении этой темы ратовавшему «за элитарность хорошей литературы, тогда как Интернет все уравнивает и делает одинаково массовым и доступным» («Независимая газета», 2000, 8 июля).

То, что литература в Интернете стала общедоступной, на мой взгляд, как раз очень хорошо. А что касается отбора текстов для собственного чтения, то почему в Интернете мы должны вести себя не так, как ведем себя в книжном магазине или библиотеке, где мы делаем некое естественное для нас усилие по ВЫБОРУ того, что намерены читать? Мы ИЩЕМ нужное нам и не испытываем из-за необходи-

---

[1] Еще в августе из Саратова пришла тревожная новость: сотрудники редакции журнала «Волга» работают над последним номером — из-за финансовых проблем издание журнала прекращается. Очень хотелось бы надеяться, что не навсегда.

мости искать никакого раздражения. Кому-то нужен Платон или Платонов, а кому-то очередной «женский роман» или Лев Гумилев. То же самое и в Интернете. Есть сайты откровенно графоманские, а есть достаточно культурные. Если не сказать — элитарные. Есть литературные сайты, в создании которых, то есть в отборе текстов для них, так или иначе принимает участие вся редакционно-журнальная элита страны; опять же сошлюсь на «Журнальный зал»: тексты, выставленные на его страницах, — а ресурс там, кстати, уже колоссальный, один из самых значительных в русском литературном Интернете, — отбирались редакторами лучших русских журналов. (Кстати, и проза самого Варламова там представлена достаточно широко.)

Я не очень понимаю, почему в качестве критерия предлагается серый массив Интернета. Возможно, людям, которые берутся судить о литературном Интернете, вообще неизвестен, так сказать, его «высоколобый» сектор.

По мере сил я попробую как-то восстановить этот пробел.

Начну с хорошо знакомого уже по «Журнальному залу», но теперь открывшего еще и собственный сайт редакционно-издательского дома **«Новое литературное обозрение» (http://www.nlo.magazine.ru/nlo1.gif).** Сайт довольно компактный, его авторы не стали подавать отдельными разделами журналы «НЛО» и «Неприкосновенный запас», а предложили новую структуру. На карте сайта в разделе «Хозяйка» подвешено интервью с главным редактором издательства Ириной Прохоровой, его можно считать программным для сайта. Весь остальной материал разбит на разделы:

«Взыскательный художник — этические и эстетические проблемы современного искусства»;

«Книжный червь — критико-библиографические статьи и рецензии на книжные новинки»;

«Ученый — историко-филологические исследования»;

«Мыслитель — статьи и материалы по теории и истории культуры»;

«Прозаик — новая проза и комментарии к ней»;

«Властитель дум — интеллектуальная эссеистика»;

«Политикан — рефлексии и вольные суждения о политике». И так далее.

Здесь же разделы с информацией о книжных новинках издательства и о местах, где можно купить вышедшие книги. А также — содержание журналов «НЛО» и «НЗ». Выставленные тексты обновляются каждые десять дней. В тот день, когда я составлял это обозрение, на сайте были представлены тексты Сергея Сафонова («Дела давно минувших дней: Юло Соостер против Константина Васильева»), Андрея Зорина («Последний проект Потемкина /Праздник 28 апреля 1791 г. и его политическая эмблематика/», «Скучная история»), Ольги Майоровой («Бессмертный Рюрик. Празднование Тысячелетия России в 1862»), Хейдена Уайта («По поводу „нового историзма"») и Сергея Козлова («На rendez-vous с „новым историзмом"»), Д. А. Пригова («Живите в Москве». Рукопись на правах романа) и другие материалы.

Читатель, следящий за содержанием «Нового литературного обозрения» и «Неприкосновенного запаса», может убедиться, что перед ним вполне оригинальная — интернетовская в данном случае — журнальная структура.

Почти одновременно с «НЛО» свой сайт открыл, так сказать, широко известный в узких кругах журнал **«Логос» (http://www.ruthenia.ru/logos/).**

Структура сайта:

НАЧАЛЬНАЯ — текущая страница.

НОМЕР — полностью доступная электронная версия последнего вышедшего в свет номера журнала.

К ПЕЧАТИ — некоторые материалы очередного номера, который готовится к выпуску в настоящее время.

PERSONALIA — персональные страницы авторов журнала.

ПОРТФЕЛЬ — сетевой портфель журнала, содержащий статьи, не включенные пока ни в один из печатных номеров.

АРХИВ — содержание всех номеров журнала начиная с 1991 года. Со временем предполагается сделать доступной полную электронную версию архива.

ПОДПИСКА — сведения о подписке на печатное издание журнала.

Особо хочу процитировать с титульной страницы сайта вот это уведомление: «Присланные тексты не рецензируются. *Единственное формальное требование, как всегда, — это профессионализм* (курсив мой. — *С. К.*)».

Наличие разделов «К печати», «Personalia» (страницы Кирилла Кобрина, Модеста Колерова, Виктора Молчанова, Николая Плотникова, Алексея Плуцер-Сарно, Дмитрия Шушарина) и «Портфель» делают этот сайт не просто механическим переносом в Интернет печатного издания, а вполне оригинальным интернетовским изданием.

Но, собственно, и обычный, так сказать, механический перенос малотиражного, доступного пока специалистам только нескольких городов России издания считаю делом очень важным. И вполне интернетовским.

К таковым я бы отнес сайт журнала **«Комментарии» (http://www.rema.ru:8101/komment/ktmain.htm).**

Вот как представляет журнал его редакция:

«ОРГАН РУССКОЙ МАРГИНАЛЬНОЙ МЫСЛИ
КОММЕНТАРИИ
журнал для читателя
1992—1997»

«...основан в 1991 году одним из создателей и руководителей первого независимого издания в СССР альманаха „Весть" (1989) Александром Давыдовым и петербургским поэтом Аркадием Драгомощенко. В регистрационном свидетельстве указаны основные задачи журнала: „Знакомить российского читателя с новейшими достижениями в гуманитарных науках как в СССР, так и за рубежом, публиковать исследования советских философов, филологов, культурологов нового поколения, а также переводы сочинений западных ученых, малоизвестных в СССР". Также в „Комментариях" предполагалось публиковать литературные произведения, иллюстрирующие наиболее значительные современные литературные и интеллектуальные процессы. С конца 1994 г. журнал выходит ежеквартально. Наряду с „обычными" номерами выпущено два „специальных" — посвященный культуре Франции XX в. и современной философии искусства. За эти годы журнал опубликовал первым или среди первых произведения российских философов и культурологов „новой волны", имена которых ныне общеизвестны, таких, например, как Б. Гройс, М. Рыклин, И. Клех.

Некоторые известные в России писатели и ученые были представлены в журнале в новых для себя жанрах. К примеру, лингвист Вяч. Иванов — как поэт, а поэт Алексей Парщиков — как культуролог. Одним из первых в стране журнал начал публиковать исследования крупнейших западных философов, таких, как Ж. Деррида, Ж. Батай, М. Бланшо, и др. Первым — Э. Сиксу, А. Ронелл и др.».

Редакция журнала: Александр Давыдов (главный редактор), Ольга Абрамович, Вадим Гущин, Аркадий Драгомощенко, Елена Наливайко, Алексей Парщиков, Алексей Туманский (ответственный секретарь).

Среди авторов журнала: Андрей Левкин, Александр Скидан, Петр Овчинников, Вадим Гущин, Алексей Погибенко, Вячеслав Курицын, Виктор Соснора, Юрий Стефанов, Владимир Микушевич, Валерий Подорога и другие.

И в завершение списка журналов — уж совсем специальный филологический сайт:

Philologica. Двуязычный журнал по русской и теоретической филологии **(http://www.rema.ru:8101 /philologica/index. asp).**

Редакторы журнала: М. И. Шапир, И. А. Пильщиков. Редакционный совет: Дж. Бейли (Мэдисон, США), М. Л. Гаспаров (Москва), И. Г. Добродомов (Москва), В. А. Дыбо (Москва), Вяч. Вс. Иванов (Лос-Анджелес — Москва), А. А. Илюшин (Москва), Дж.-Э. Мальмстад (Кембридж, США), А. Пятигорский (Лондон), Ю. С. Степанов (Москва), Л. Флейшман (Стэнфорд, США), Дж. М. Эндрю (Кил, Великобритания).

На сайте представлено содержание четырех выпусков журнала в русской и английской версиях.

Появление в виртуальном пространстве «бумажной» литературы выражается не только в создании электронных версий «бумажных» периодических изданий.

Вот еще четыре адреса — и, соответственно, четыре явления из разряда «высоколобой» литературы в Интернете.

Открыл свою постоянно обновляемую страницу доселе «бумажный» критик Андрей Немзер. Страница называется **«Немзересски» (http://www.ruthenia.ru/nemzer).** Наряду с персональной страницей Андрея Немзера в сетевом «Новом мире», обновляющейся раз в полгода и содержащей объемный блок его газетной критики, а также его книгу «Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е» (очень рекомендую интересующимся поставить в свое избранное вот эту сноску: **http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi/redkol/nemzer/index.htm),** в «Немзересках» критик начинает выполнять, по сути, еще и функцию интернетовского обозревателя.

Три других адреса я получил по почте от Павла Нерлера и Нины Шапиро, цитирую выдержку из их письма:

«Наиболее „продвинутой" литературной веб-страницей в Русском Интернете является сайт Набоковского Фонда **ВЛАДИМИР НАБОКОВ (http://www. comset. net. /nabokov/)**... На сайте доступны: биография В. Набокова и история семейного дома Набоковых в Петербурге; полная библиография (основные издания: русские издания после 1985 г.; журнальные публикации; литература о В. Набокове); редкие фотографии; тексты рассказов и стихов; информация о Музее В. Набокова в Санкт-Петербурге; информация о Набоковском Фонде (программа, состав, деятельность, новости, текущие события).

Приблизительно такой же сайт формирует и **Мандельштамовское общество (http://www.openweb.ru/dos/mandel/.htm).** В настоящее время на нем доступны: общая информация о Мандельштамовском обществе, его библиотеке и текущих событиях.

В процессе создания русских литературных веб-сайтов активно участвуют иностранцы. Так, усилиями Джона Барнстеда из Дальхаузского университета в Галифаксе (Канада) создана любопытная веб-страница **Коллекция Кузмина (http://www.dal.ca/~etc/kuzmin/).** На ней, в частности, доступны: изложение целей и планов этого сайта на будущее, вводный очерк о М. Кузмине, библиография М. Кузмина (первичные и вторичные источники), текст сборника М. Кузмина „Фудзи на блюдечке" (1917) вместе с его переводом на английский язык, выполненным Д. Барнстедом, а также целый оригинальный раздел „Михаил Кузмин в мире музыки", включающий нотную запись отдельных его музыкальных произведений».

В заключение вопрос к сомневающимся: все перечисленное выше — это ведь тоже русский литературный Интернет? Или нет?

Составитель **Сергей Костырко.**

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Октябрь

25 лет назад — в № 10 за 1975 год напечатана повесть Валентина Катаева «Кладбище в Скулянах».

50 лет назад — в № 10, 11 за 1950 год напечатана повесть Юрия Трифонова «Студенты».

65 лет назад — в № 10, 11, 12 за 1935 год напечатан роман Бориса Пильняка «Созревание плодов».

SUMMARY

*

This Issue publishes the Aleksey Varlamov's novel «Kupavna» and the Nikolay Baytov's narrative «The Verdict of Paris». You can also read here the story «The Double Person with Sad Eyes» written by Roman Solntsev, and the text «The Second Reading. Instead of a Novel» by Aleksey Slapovsky. «Odd notes» by Fazil Iskander «Small Remarks about Many Things» are included in this Issue.

The poetry section features new poems by Ilya Falikov, Lyudmila Abayeva and Sergey Khomutov.

In the section «Philosophy, History, Politics» the article «The First Person, Singular. Russia and the Presidency» by Nataliya Savelova and Dmitry Yuryev is published, and also an article «Prison or GULAG?» by Elena Oznobkina.

Valentin Nepomnyashchy, a researcher of the A. S. Pushkin's works, enters into polemics with Sergey Bocharov, a philologyst, in his article «About Horizons of Knowledge and Depths of Sympathy».

Under the heading «Essays» Sergey Borovikov goes on publishing his essay cycle «In the Russian Genre».

«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир"» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: **С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова**

Главный редактор **А. В. Василевский**

Редакционная коллегия: **М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев**

Корректоры **Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова** Редактор-библиограф **А. И. Фрумкина**

Компьютерная верстка — **И. Н. Колесникова** Компьютерный набор — **Т. В. Дорофеева**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,
зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,
для справок, продажа журналов — 200-08-29.
Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru
Сетевой журнал «Новый мир»: http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.
Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир"».

Сдано в набор 20.06.2000 г. Подписано к печати 27.08.2000 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.
Высокая печать. Объем 16,0 печ. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.

Тираж 13 300 экз. Зак. 2478. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Индекс 70636

**В год 75-летия журнала «Новый мир»
Благотворительный Резервный Фонд
и редакция журнала «Новый мир»
учредили литературную премию
имени Юрия Казакова
за лучший русский рассказ года.**

Премия присуждается автору, живущему и работающему в России, за рассказ, впервые напечатанный на русском языке в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, сетевые публикации и рукописи не рассматриваются).
Правом выдвижения произведений на премию обладают авторы, издатели и критики.
Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию» до 1 декабря 2000 года.

Состав жюри:

МИХАИЛ БУТОВ, председатель жюри, ответственный секретарь журнала «Новый мир»,
РУСЛАН КИРЕЕВ, зав. отделом прозы журнала «Новый мир»,
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ, президент АКБ «Национальный Резервный банк», президент Благотворительного Резервного Фонда,
АНДРЕЙ НЕМЗЕР, литературный обозреватель газеты «Время новостей»,
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА (Екатеринбург), прозаик, эссеист.

Координаторы премии:

главный редактор журнала «Новый мир»
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
генеральный директор Благотворительного Резервного Фонда
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

СУММА ПРЕМИИ — 3000 $.

Объявление лауреата и торжественное вручение премии произойдет в декабре 2000 — январе 2001 года (дата будет уточнена позднее).

Телефоны: (095) 209-57-02, (095) 209-91-81.
Факс: (095) 200-08-29.

E-mail: butov@aha.ru или seva@mail.cnt.ru

ISSN 0130 — 7673 Новый мир, 2000, № 10, 1 — 256